

ИГОРЬ ШЕСТКОВ ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

ККRR SSCSНН ТТІІАА

International

Literary

m a g a z i n e

Игорь
ШЕСТКОВ

ЖЕМЧУЖНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ



БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

Игорь
ШЕСТКОВ

ЖЕМЧУЖНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ

Избранные рассказы

Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2024

УДК. 821.161.1'06(430)-32
Ш34

СЕРІЯ «Библиотека “КРЕЩАТИКА”»
Заснована в 2023 році

Исправленное и дополненное издание

Шестков И.

Ш34 Жемчужное ожерелье/Игорь Шестков — Друкарський двір
Олега Федорова 2024 — 496 с.

ISBN 978-617-8252-78-6

Игорь Шестков (Igor Heinrich Schestkow)

Родился (1956) и вырос в Москве. Окончил мехмат МГУ. Работал в НИИ. В восьмидесятих годах участвовал в выставках неофициального искусства в галерее Горкома графиков на Малой Грузинской улице в Москве. В 1990 году эмигрировал в Германию. Берлинец. Автор психоделических и сюрреалистических рассказов, повестей и эссе об искусстве и литературе. В книгу «Жемчужное ожерелье» вошли избранные рассказы.

УДК 821.161.1'06(430)-32

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)
ISBN 978-617-8252-78-6

© Шестков И., 2024
© Федоров О.М., видавець, Київ 2024

МОСГАЗ

В начале января 1964-го года даже маленькие дети нашего двора узнали, что по московским новостройкам бродит таинственный убийца. Коварный и безжалостный. Изверг. Звонит в дверь. На вопрос — кто там, отвечает — Мосгаз. Его впускают, чтобы горелки и трубы проверил, а он убивает всех топором. Рассказывали, что он уже зарубил тридцать пять женщин и детей и в безумной ярости ищет новые и новые жертвы...

О том, что Мосгаз изнасиловал пятнадцатилетнюю девочку, а потом девять раз ударил ее по голове топором, мы не знали. О том, что она выжила — тоже. Не знали мы и о собирании им трофеев, которыми он хотел растопить сердце балерины-сожительницы.

Кофточка, платки, карманный фонарик, флакон одеколона, пляжные очки, носки, шестьдесят рублей, семьдесят копеек... Прихватил один раз и телевизор. Продал его и погорел. Жадность фраера сгубила.

Не знали ничего. До нас доходили только слухи. Один кошмарней другого. Поэтому для нас Мосгаз как бы и не был человеком. Скорее — роботом-убийцей. Машиной. Демоном. И это добавляло ужаса в и без того жуткую историю.

Говорят, что перед расстрелом Мосгаз, по профессии певец-тенор, день и ночь пел арии из популярных оперетт.

...

Мне тогда еще не исполнилось восемь. Школьные каникулы. Хотелось гулять, строить вместе с друзьями снежные крепости и кидаться снежками, но на двор выходить мне запретили из-за рыщущего по улицам Москвы тенора-Мосгаза. Няня моя, Тася взяла отпуск и уехала на родину, в Удмуртию, ухаживать за больной матерью. Поэтому я сидел дома один,

смотрел на крупные, медленно падающие снежинки, на заснеженные трамваи, грузовики, волги и москвичи, ползущие по белому проспекту, слушал радио, как завороченный глядел на его беспокойный зеленый глаз.

Я воспринимал слово «мосгаз» по-детски, чувственно, на слух. Мне казалось, что это какая-то пахнущая газом, клацающая (мосс-газз-мосс-газз) железяка с бурыми пятнами масляной краски и красными подтеками. Я не понимал, что это сокращение, полагал, что это имя.

Мосгаз представлялся мне психованным дядькой в темно-лиловом пальто, в черной готической вязаной шапке с ушами, с мертвенно-бледным лицом, выразительными, обведенными тушью, неестественно выпученными глазами и большими костлявыми руками. Топор мой Мосгаз держал под пальто, но молниеносно вытаскивал его, когда убеждался в том, что его жертва — беззащитная женщина или ребенок — одна в квартире, и крошил ее как капусту. Кровь не брызгала и не текла, ее вообще не существовало, и жертва и палач молчали, сцена напоминала заводную игрушку — жестяной петушок клюет зернышки...

По улицам Москвы Мосгаз ходил на цыпочках. В квартиры вбегал невидимкой, черным пуделем. Материализовался только в момент убийства.

Должен признать, что мой образ Мосгаза был отчасти навеян картинками из разных книг, не в последнюю очередь из толстенной немецкой «Иллюстрированной энциклопедии немого кино», которую я частенько вытаскивал с верхней полки книжного шкафа и жадно листал. Наивные взрослые полагали, что я не пойму того, что не предназначенные для детских глаз книги спрятаны от меня под потолком. Но я понял это еще до того, как научился читать. Не головой, а инстинктом. Чтобы достать книгу с заветной полки, нужно было встать на спинку кресла и подтянуться на руках. Я освоил скалолазание, потому что сообразил, что нижние, разрешенные книги я могу смотреть и читать в любое время, а верхние... только когда никого нет дома. Это — запрещено, значит тут тайна и приключение. В результате я прочитал «Монахиню»,

«Сатирикон» и «Гаргантюа и Пантагрюэля» до «Трех мушкетеров» и «Всадника без головы» и познакомился с великолепным графом Орлоком, с истеричным детоубийцей Хансом Беккертом (М) и с доктором Мабузе раньше, чем с навязываемыми мне Незнайкой и Волшебником изумрудного города.

...

В шесть лет, после трагической смерти отца, я осознал то, что люди — смертны. Это знание омрачило мою беззаботную детскую жизнь. История Мосгаза принесла мне еще одно знание. Существуют, оказывается, люди, которым нравится убивать, которые жаждут убийства.

Я боялся встретить таких людей, боялся Мосгаза.

И вот, однажды... сидел я дома один в моей и маминной комнате и играл в конструктор, строил из металлических деталей кадиллак размером с ступню пророка, в котором должны были ездить по кукольному городу оловянные солдатики.

И вдруг... услышал какой-то подозрительный шум. Как будто — на лестничной клетке, у нашей входной двери. Я тихо встал, положил свою поделку на багровый ковер с тиграми и пантерами и не дыша отправился к двери. По дороге я явственно слышал доносившиеся из-за двери топтание, сопение, сдавленные смешки. Тут в наш почтовый ящик кто-то бросил письмо и шумно удалился.

Или — только сымитировал уход и ждет за дверью с окровавленным топором?

Дрожащей рукой я вынул письмо из ящика и беззвучно ретировался. Письмо оказалось неаккуратно вырванным из детского альбома для рисования листом картона с написанным крупными буквами заголовком, небольшим посланием посередине и рисунком под ним.

ПИСЬМО ЩАСТЬЯ
СМЕРТЬ СМЕРТЬ СМЕРТЬ ЖЫДАМ
Я НАТАЧИЛ ТАПОР
ОТКРОЙ ДВЕРЬ ДАМ ПРЯНЕК
МОЗГАС

В слове пряник буква е была зачеркнута, а над ней была тщательно выписана буква и. На рисунке был изображен — в стиле ручки-ножки-огуречик — ухмыляющийся одной извилиной рта злодей Мосгаз с топором и ножом и лежащий у его ног мальчик без головы. Голова его, похожая на колобка с тремя волосинами, была помещена в нижний правый угол письма. Рядом с ней кто-то для верности приписал красным карандашом:

ЖИД ТВОЯ БАШКА.

Я хоть и прочитал уже «Копи царя Соломона», но царской мудростью не обладал и конечно не додумался до того, что это письмо — работа соседских ребят. Выполненная, возможно, не без участия их родителей (слово «жид» нам, первоклашкам было, кажется, еще незнакомо). Но отлично понял, что слова «твоя башка» относятся ко мне, и что это моя голова — по замыслу Мосгаза — должна быть откромсана от тела топором...

Отбросив письмо как невзорвавшуюся гранату, я бросился в кухню, открыл шкаф, схватил первый колющий предмет, который попался под руку — большую двузубую вилку — и убежал в самую далекую от входной двери комнату. Там я залез в наш старинный буфет красного дерева, выставил перед собой свое оружие и затаился.

И хотя гигантский этот деревянный ящик, с многочисленными отделениями и полочками, с башенками, мозаиками, интарсиями и цветными стеклышками, результат дружбы бабушки и дедушки с расконвоированными пленными немцами-краснодеревщиками, охотно подрабатывающими в начале пятидесятых за спирт и еду, не казался мне надежным убежищем, ничего другого, как спрятаться в буфете и ждать прихода взрослых, мне не оставалось. Разве что залезть в рояль.

...

Мое холодное оружие, вилка, была единственным предметом, оставшимся от роскошного набора столовых предметов богатого дедушки бабушки Али. Она помнила, как за

большим круглым столом, уставленным благородными винами и закусками седобородый Борис Певзнер сам разделявал жаркое ножом и этой самой двузубой вилкой, солидными изделиями фирмы «Цвиллинг Хенкельс».

На узкой шейке вилки было выбито клеймо — два танцующих человечка, широкое место ручки украшала гравировка — двуглавый орел и монограмма РМ. Бабушка утверждала, что набор раньше принадлежал одному из членов царской фамилии и был позже подарен ее семье. За особые заслуги. Бабушка не скрывала, за какие — якобы на фабрике ее деда производили лучшую тогда в России сталь, из которой во время Первой мировой войны изготавливались затворы для трехлинейных винтовок.

Любимая моя бабуля могла и загнуть. Делала она это редко, но со вкусом. Рассказала однажды соседям по палате в академической больнице, что ее настоящая мать — известная в Париже аристократка, мадам такая-то, и что только превратности судьбы загнали ее в этот медвежий угол Европы, в варварскую страну Россию, ставшую к тому же неизвестно зачем впоследствии эсэсэсэром...

Моего прапрадеда и мою прапрабабушку, имевших несчастье быть до революции фабрикантами и домовладельцами, большевики ободрали как липку. Забрали у них и столовое серебро. Кое-что случайно уцелело, в том числе и эта вилка с орлом. Бабушка ею очень дорожила, хранилась вилка в особом отделении кухонного шкафа, раз в год Тасе было разрешено ее чистить.

Использовать царскую вилку по назначению позволялось только тогда, когда к нам приезжала из Ленинграда бабушкина сестра, добрейшая толстушка тетя Ася и привозила с собой целый чемодан говяжьих языков. Языки эти долго варились в соленой воде, после чего их охлаждали и нарезали тонкими кружочками, придерживая двузубой вилкой, обыкновенным советским кухонным ножом за два девяносто с треснувшей лоснящейся деревянной ручкой. Ели мы языки как Чичиков жареных поросят — с хреном и со сметаной.

Это недоступное простому советскому человеку лакомство присылал нам в подарок работавший заместителем директора одного из ленинградских мясокомбинатов дядя Миша, второй муж тети Аси. К языкам он присовокуплял обычно бутылок пять армянского трехзвездочного коньяка, большим поклонником которого был, по его словам, с детства. Коньяк полезен для здоровья, говорил маленький круглый дядя Миша с сильным еврейским акцентом. Потом вздыхал и добавлял — люди, регулярно пьющие коньяк, живут очень-очень долго...

Верность этого утверждения дядя Миша доказал делом — дожил до девяноста с лишним лет и мирно умер в эпоху первоначального накопления капиталов. Когда на улицах колыбели революции вечерами постреливали.

И тетя Ася и дядя Миша были удивительно добрыми людьми. Может быть потому, что после пережитого в ленинградскую блокаду кошмарного голода, жили благополучно и ели очень вкусную пищу. Никогда не забуду вкуса торта Наполеон в приготовлении тети Аси. Это была не еда, а поэзия. Пушкин. Однажды, впрочем, тетя Ася приготовила кушанье, которое я не смог есть. В глубокой сковородке, полной соблазнительного оранжево-белесого жира, плавали десятка три куриных попков. Все это божественно пахло чесноком, луком и какими-то, неизвестными мне, пряностями. Я осилил только половину чайной ложечки, жир был умопомрачительно вкусен, но больше я есть не стал, боялся отбросить копыта прямо за праздничным столом. А два пожилых, не очень здоровых человека, Ася с Мишей, потихоньку съели все. С белым хлебом. Дядя Миша периодически прихлебывал коньячок, а тетя Ася то и дело садилась за фортепьяно и разражалась бурлескными импровизациями.

Мой дедушка предпочитал коньяк Курвуазье, который поступал к нему по неизвестным мне каналам лет пятнадцать кряду, но не пренебрегал и трехзвездочным армянским. Курвуазье оставлял для компании важных людей, а армянский потреблял в одиночестве, когда смотрел по телевизору футбольные матчи с участием московского Спартака. Каждый за-

битый Спартаком гол дед приветствовал двадцатью граммами бурого напитка в пузатой чешской рюмке. Коньяк, говорил дед, закусывать не надо, это вещь в себе. Но сам же охотно нарушал это правило и съедал во время матча здоровенный бисквитный торт со сливочным кремом, купленный в киоске у метро Университет.

...

Случаются же курьезы — однажды я нашел в нашем буфете старинную фотографию молодого Ленина. С дарственной надписью. Дорогой Алечке от...

Нашел и очень взволновался. Находка чрезвычайно поднимала в моих глазах статус нашей семьи. Фотография Ленина с автографом... в нашем буфете?!

Современным молодым людям невозможно даже представить себе, какую удивительную роль играл Ленин в жизни любого советского ребенка. Невыразительное слово «культ» мало отражает глубину и интенсивность этой тотальной девиации, перверсии, этого морганатического брака мертвого старика и пионера. Правы были коммунистические пропагандисты — Ленин был действительно живее всех живых, он всегда был с нами. Был вездесущ, всепроникающ... как бог-отец, как святой дух...

Лениным, его осточертевшим черепом и маленькими руками негодяя, его мерзостными цитатами, его детством, его борьбой, его победой и его смертью советские люди закармливали других советских людей и самих себя с детства и до самой смерти. Как тошнотворным рыбьим жиром.

Мне становится страшно за человечество, когда я представляю себе, что они делали это добровольно.

Он смотрел на нас со страниц учебников, с обложек книг, с орденов, плакатов, почетных грамот, с денег, паспортов, знамен, со стен домов, с гор и с небес (было и такое), с экранов кинотеатров и телевизоров, со значков октябрят. Отлитые в гипсе ленины украшали коридоры нашей школы, кабинет директора, учительскую и библиотеку. Бронзовый Ленин стоял на школьном дворе, гранитный Ильич ожидал нас в университете, мраморный, мозаичный — в метро. На громадных российских просторах несли вахту сотни тысяч ленинских бюстов, портретов, статуй.

Ленин был главной темой для бесконечных казенных разговоров, сочинений, нотаций, похвал. Он был главной музой советской поэзии, прозы, живописи, графики, театра и кино. Главным и единственным авторитетом. Основной метафорой для всего чудесного.

Ленин был философским камнем, ответом на все вопросы, альфой и омегой...

У детей, наших сверстников в Европе и Америке, по грубому выражению двоюродного брата моего отчима Миши Бронштейна, эмигрировавшего в Штаты в восьмидесятом году, — из задницы торчали ананасы и бананы, а у нас, бедных совковых ребят — из тощих задниц, а также изо рта, из ушей, и из носов торчал этот отвратительный картавый сифилитик — Владимир Ильич Ленин. Он же сидел у нас в головах и в яичках, тербил бородку и посмеивался.

Когда я, первоклассник, нашел его фотографию в нашем буфете, где-то между дедушкиной полосатой пижамой и бабушкиным старым шелковым халатом, я так взволновался, как будто нашел золотой самородок или живого крокодила и понес свою находку бабушке на кухню.

Бабушка повела себя непонятно. Она поцеловала фотографию, потом изорвала ее на мелкие кусочки и выбросила их в мусоропровод. Когда я уходил из кухни, я расслышал, как бабушка шепчет сама себе — дура я, дура...

Позже, когда я немного повзрослел, я сравнил даты рождения бабушки и вождя мирового пролетариата и понял, что Лениным этот тип на фотографии быть никак не мог. Кто же это был? Бабушка за все проведенное нами вместе время поведала мне только о двух своих интимных знакомых. Один из них занимал должность директора завода, где она работала начальником цеха. Этот директор исчез, как и положено, в тридцать седьмом году вместе со всей семьей. Чудо, что бабушку не тронули. Другой был, если верить бабуле, генералом НКВД. Он в свою очередь исчез во времена процесса над бериевцами. Оба не были, по рассказам бабушки, похожи на Ильича. Странно все это.

Вернемся однако в буфет красного дерева, в его просторное нижнее отделение, где я все еще сижу с вилкой наперевес в ожидании вечера.

Сижу я, сижу на затекающих ногах, потею, слушаю тишину. В буфете душно, тошно, неудобно. Минуты ребенка тянутся как столетия...

И вот, то ли во сне, то ли наяву слышу я, как кто-то идет по коридору.

Это Мосгаз наверное взломал входную дверь и теперь ищет жертву в квартире. Фалды его длинного пальто развеваются как черное знамя сатаны. В его ужасных белых рукавах — топор-колун.

Глаза его сверкают от ярости.

Мосгаз шипит и клацает стальными челюстями.

Я сжал вилку так, что серебро затрещало, и зажмурил глаза. Решил, что не буду дожидаться, пока он найдет меня, вытащит из буфета и прикончит колуном, а выскочу из моего убежища как Чапаев на беляков и... ударю его вилкой в тощее брюхо. Он выронит топор и упадет, а я убегу в подъезд и спущусь к Ваське, на третий этаж. У него всегда дома дед-профессор. Он защитит меня от злодея.

Меж тем Мосгаз неотвратимо приближался к моему убежищу. Как будто его тянуло ко мне магнитом. Я слышал его дыхание. Он звал меня почему-то по имени, коварно предлагал вылезти из буфета и попробовать свежих пряников.

Постучал по красному дереву.

Сейчас откроются дверки буфета и...

Я набрал в легкие побольше воздуха, зажмурил глаза, бешено сжал вилку и, громко крича ураааа, выбросился из буфета, как цепной пес из будки...

Мой дедушка, зашедший проведать меня в обеденный перерыв, едва успел схватить мою руку с двузубой вилкой. Медовые пряники, которые он купил в булочной напротив, выпали из авоськи и раскатились по всей комнате как золотые монеты.

В дрожащих руках он держал письмо счастья и растерянно глядел на меня.

КИНЖАЛ

С недавних пор я чувствую себя каким-то не пришей кобыле хвостом. Пятьдесят седьмым колесом литературной телеги. Может быть потому, что интернет, этот гигантский электронный вихрь, втянул в себя убийственной тягой вакуума и мою душу. Высосал, как Дракула, кровь реальности. А мне подсунил репродукцию леденца. Обыкновенная история. Слегка даже и поднадоевшая.

Прошлое уже свернулось в пестрый войлочный ком. Ком этот выкатился у меня из-под ног и укатился в чеховский овраг, в Уклеево, где дьячок на похоронах всю икру съел.

Будущее так и не пришло, сколько я его ни звал. Не подействовали заклятья старого волынщика.

Настоящее пылает в малиновом зареве.

Ирония судьбы! Страстному любителю фривольных картинок и автору жестких текстов-маркизов, поминоков по идеализму, опротивели и картинки и тексты и сам индивидуализм. Опротивел до турмалиновой рвоты и весь всемирный культур-мультиур. И особенно — российские коллеги графоманы, упивающиеся лебедиными песнями русской культуры, как веничкины психбольные в «Шагах Командора» — метиловым спиртом.

Но — свято место пусто не бывает. И, вот уж чего от себя на старости лет никак не ожидал — мне до дрожи в руках захотелось наслаждаться вещами. Чем-то металлическим, холодным, тяжелым, брутальным. В кресло выдохшейся духовки залез с ногами хам-фетишизм.

Обиженные коллеги скажут: Металлическим? Холодным? Купи себе мясорубку! И наслаждайся.

Вы вульгарны и жестоки, господа. Похожи на меня. Покупайте сами себе мясорубки и соковыжималки, видеокамеры и современные романы, автомобили и дирижабли.

А я куплю дагестанский кинжал...

Положу его на темно-бордовый немецкий бархат, буду на него смотреть и играть на варгане...

...

Дагестанский кинжал подарили моему деду на шестидесятилетие его старинные друзья-чеченцы. Не настоящий, декоративный. С маленькой изящной рукоятью из слоёного агата. Обшивка ножен и длинный, тупой клинок с тремя желобками посередине — из серебра. Чернь. Резьба. Мархарай и тутта. Работа мастера.

Мне, тогда четырнадцатилетнему подростку, кинжал не то чтобы нравился, он мной овладел, как Пушкин своими крепостными девками. Я не мог выпустить его из рук, прижимал к щеке, закрывал глаза и представлял себе лермонтовских героев: Азамата, Казбича, Печорина, Максим Максимыча...

У всех у них, даже у нежной княжны Мери, у искусственного Грушницкого и у доброго доктора Вернера были в руках различные кинжалы, которыми они томно обмахивались как веерами.

Из глубокой раны на спине у Бэлы не лилась ручьями кровь. Она тоже держала в руках кинжал, но не прямой — кама, а искривленный — бебут и пристально смотрела на смурного Казбича. Темные ее глаза под угольными бровями сверкали как сваровские жемчуга.

Бабушка отбирала у меня кинжал, клала его на книжную полку, за стекло, и говорила неискренно: Гулик, я боюсь, что ты порежешься.

Она знала, что дед не любил, когда я брал в руки его подарки. Дед не любил и когда я делал себе бутерброд на кухне. А особенно не любил, когда я кланчил у него деньги. С легким сердцем давал мне разве что гривенник.

Я попытался выцыганить у деда кинжал, придумал хитроумный обмен, уговорил бабушку замолвить за меня словечко. Но дед был непреклонен и кинжал мне так и не отдал.

Когда дедушка и бабушка умерли, кинжал вместе со всем остальным их скарбом перешел во владение моей железной тетки Раисы. И сгинул в семейной Лете.

Так и осталось во мне — неутоленное детское желание иметь кинжал. Над этой своей слабостью я сам всю жизнь потешался и желание это, несмотря на многочисленные, открывающиеся тут и там возможности — не утолял. Еще чего? Экая блажь!

Но однажды в Иерусалиме... Все-таки утолил.

На улице Эль Кханка в христианской части старого города. По которой пару тысячелетий назад Иисус Христос якобы тащил свой крест на Голгофу.

Забрел я туда не ради сомнительных соблазнов Виа Долорозы (там показывают среди прочего и следы сандалий Девы Марии и углубление в камне, оставленное рукой облокотившегося Спасителя) и уж конечно не для того, чтобы покупать кинжалы, а для того, чтобы посетить магазинчик армянина Кеворка, который торгует фотографиями своего отца, замечательного фотографа Элии Кахведяна, потерявшего во времена бойни, учиненной турками, родителей, пять братьев и трех сестер, переправленного американцами вместе с тысячами других армянских сирот в Ливан, а затем на Святую Землю.

В этой лавке я побеседовал с симпатичнейшим Кеворком, купил у него фотоальбом старого Иерусалима и несколько напечатанных на принтере фотографий Элии. Положил все это в черную сумочку-авоську, в которой обычно ношу йогурты и булочки у себя в Берлине. И в хорошем настроении от беседы с умным человеком и от удачной покупки отправился дальше, по узенькой улице, ведущей к арабскому кварталу, мимо лавок христианских сувениров, мимо мастерских, закусовых.

Некоторые торговцы разложили свой товар прямо на улице, на небольших деревянных лотках. Тут торговали не только украшениями, четками, всевозможными распятиями и

греческими иконками, но и ножами, шашками и кинжалами. Все это барахло не вызывало у меня никаких эмоций. Не навредило ни на какие мысли. Машаллах!

Но у арабов-торговцев в крови — какие-то особенные гены. Они чувствуют покупателя. Знают, как его заинтересовать, как прилипнуть к нему незначительным разговором, начинающимся обычно доверительной просьбой перевести немецкую фразу, приглашением на чашечку кофе или дежурным рассказом о том, в каком ресторане его брат работает в Мюнхене, а затем терзать, терзать показами товаров и предложениями скидки, пока он что-нибудь у них не купит втридорога. Умеют они и оклеветать конкурентов. И вовсе задурить голову.

Как только я вышел из магазина Кахведяна, вокруг меня зашуршало и поползло по старым мамелюкским стенам, как сотни невидимых змей, эхо: Он продает не оригиналы, а фотокопии... Простые фотокопии... Этот армянин обманщик... Фотокопии...

Я остановился, осмотрелся, оглянулся — торговцы были заняты своим делом, торговались с покупателями, перекладывали товар, посетители кафе поедали свой хумус, пили гранатовый сок по два бакса за стакан, два деловитых еврея-ортодокса спешили по своим делам, полная арабская дама в голубом шелковом пальто несла домой тяжелую сумку с провизией и вела за руку двоих вертлявых детей.

Никто на меня не смотрел, никто ничего мне не говорил, не шептал...

Но, как только я двинулся дальше, эхо тут же продолжило свои ядовитые речи. Змеи опять зашипели.

— Фотокопии! Фотокопии! Дешёвка! А ты заплатил по десять долларов за штуку! Тебя обманули!

Почти телепатический этот шепот транслировался в мой мозг не на понятных мне русском, немецком или английском языках, а на каком-то дьявольском гортанном эсперанто — но я его понимал!

А потом...

Тот же невидимый змеиный хор приказал мне: Купи кинжал! Посмотри, как сверкают клинки! Потрогай их! Ме-

талл холоден, а кровь мюрида горяча. Вспомни кинжал своего деда! Ты всегда хотел купить кинжал.

И, представьте себе, я как ошалелый, как зомби из дешевого сериала подошел к соседнему лотку и мгновенно выбрал глазами из пары дюжин лежащих там кинжалов — свой, уже любимый, без которого не могу жить, клинок. Украшенный фальшивыми драгоценными камнями, фальшивым серебром и фальшивым золотом, с пошлым крестом тамплиеров на рукояти. Поднял его и подал продавцу. Тот сказал: Двадцать долларов.

И завернул кинжал в газету. Я подал ему деньги, положил сверток с кинжалом, похожий на упаковку селедки советских времен в свою черную сумку рядом с фотографиями и книгой и дальше пошел.

Эхо отреагировало на мой поступок так — вокруг меня зашипело, застрекотало.

— Цок-цок-цок... Шшш-шшш-шшш! Он купил кинжал за двадцать долларов! А ему цена — семь! Купи, купи еще один. Потрать тысячу долларов! Тысячу! Тысячу! Купи пятьдесят кинжалов! Иди к Стене и накажи неверных! Гурри ждут тебя в раю!

Перед глазами у меня замелькали маски на чертовском маскараде, обнаженные смуглокожие девушки в тяжелых жемчужных ожерельях, рубины и изумруды, отбрасывающие во все стороны волшебные лучи, откуда-то вынырнул Казбич и вонзил свой темно-синий, выточенный из цельного кристалла, кинжал в грудь трепещущей княгине Лиговской, Максим Максимыч, интимно приблизившись к моему лицу, пожаловался на осетин: Преглупый народ. Порядочного кинжала ни на одном не увидишь.

Я впал в какое-то блаженное исступление, в моем мозгу скрипка и фортепьяно вовсю наяривали до боли знакомую, чарующую мелодию. Поддавшись магнетизму, подошел было к другому лотку с кинжалами, но испугался подступающего безумия, пересилил себя, повернул направо и потрусил по направлению к туннелю, ведущему к Стене плача.

К Западной Стене можно подойти с трех сторон. Самый большой проход — от Мусорных ворот. Туда подъезжают такси, там остановка автобуса. Еще один проход, сверху вниз по каменным лестницам, из еврейской части старого города. И третий — через туннель, со стороны арабского квартала.

Желающего посетить главную святыню иудейства ожидают во всех трех проходах магнитные арки. Сумки просвечиваются, как в аэропорту, рентгеновскими аппаратами. Военнослужащие армии Израиля проводят личный досмотр. Пристально всматриваются в лица. Ничего подозрительного ни в карманах, ни в сумках, ни в душах проносить к Стене плача нельзя.

Знал я это все?

Еще как знал! Десятки раз проходил через все эти проверки не без необъяснимой внутренней дрожи. Ничего запрещенного у меня с собой не было, никакой опасности для молящихся у Стены евреев я не представлял, но само слепое подозрение в терроризме порождало во мне бурю эмоций и представлений, не всегда положительного характера. И это, неприятное, сокровенное, тоже было известно дьявольскому эху.

Знал, знал, все знал...

Но когда подходил тогда к контрольно-пропускному пункту в туннеле — ни о чем таком не думал.

Положил на движущуюся ленту сумку...

Напевая, прошел через магнитную арку. Солдат пытливо посмотрел мне в глаза и, не найдя в них никакой крамолы, улыбнулся мне белозубой улыбкой. И скопил глаза на маленький монитор.

И тут же улыбка слетела с его румяных уст. Глаза солдата округлились и наполнились ужасом, он быстро вынул из черной сумки роковой сверток, развернул газету и...

Темноватый туннель озарили разноцветные, отраженные от моего кинжала, его стеклянных драгоценностей и фальшивых позолот, лучи.

Ко мне молча подошли двое солдат и крепко взяли меня за локти. От одного из них неприятно пахло чесноком. У второго на руке был поддельный золотой ролекс с бриллиантами, а на шее золотая цепочка.

— Что эээто такое?!

Голос первого солдата гремел как набат.

Я не понимал, что они от меня хотят. Мой мозг упорно не хотел включаться и думать. Как пятитонки нашей коммунистической молодости. Тоже упрямо не заводились. Разве что нехотя, после того как изможденные шоферы, матерясь и отплеываясь, минут пять крутили своими кривыми железяками у них в зубах.

Солдат повторил грозно, как архангел, свой вопрос.

— Что эээто такое?

Кинжал он держал, как бомбу или ребенка, осторожно, двумя руками.

Я тихо ответил по-немецки.

— Айн долх.

Солдат еще более страшно округлил глаза, напряг скулы и заговорил быстро. Его английский был нехорош.

— Это оружие! Запрещено к проносу! У Стены запрещено любое колюще-режущее! И носить с собой в Иерусалиме такой огромный ножик запрещено. Дома хранить запрещено! Будем вызывать полицию, составлять протокол о незаконном ношении холодного оружия!

Тут наконец я проснулся. В голове пролетели картинки: длинный темный коридор подземной тюрьмы, железные зеленые двери в камеры. Решетки на крохотных окнах. Крысы в унитазе. Свирепые лица уголовников. Каркающий голос объявил в мегафон: У них изъяли кинжалы на пути к Стене плача! Это не люди, а звери, фашисты! Хотели изрезать кинжалами плачущих евреев.

— Извините, я не знал. Я простой турист. Из Германии. Даже не хотел покупать этот чертов сувенир. Проклятые арабы мне его всучили...

Тут солдат неожиданно для меня смягчился.

— Арабы? Тут, недалеко, на лотках?

— Да. Они мне внушали. Как телепаты. Купи-купи. Я и купи! Эхо тут странное у вас... Нет сил противостоять.

— Ладно, бери свой ножик и вали назад к продавцам, может, они тебе деньги вернут.

Голос солдата заметно потеплел.

— Ну нет. Не пойду. Они меня там уговорят базуку купить. Оставьте кинжал у себя, а я пойду к Стене. На обратном пути зайду к вам и заберу сверток. А если не зайду, передайте кинжал в арсенал Армии Обороны Израиля. Как дар от немецкого народа.

Солдаты сделали вид, что не расслышали мои последние слова и пропустили меня к Стене.

...

Поехали мы в Гагру. На поезде. В Ростове-на-Дону к нам в купе вошли два пассажира. А до Ростова мы катили вдвоем. Я и дружок мой школьный, Женя, Жэк.

Как же здорово ехать на поезде с другом, когда тебе только семнадцать лет! Голова не болит. Душа не ноет. Смех и радость у нас вызывало решительно все — и вонючее четырехместное купе грязного советского поезда, и ехидные узкие глазки коротышки-проводницы, угощавшей нас янтарным чаем в ужасных подстаканниках и крошащимся в руках невкусным печеньем, и тревожные синие и желтые огни на ночных станциях, и дневные ландшафты необустроенной, печальной родины за окном.

Новыми попутчиками были незнакомые между собой люди: Солидный седобородый старик в национальном костюме — в черкеске с газырями, при папахе и с кинжалом у пояса, не совсем трезвый, возбужденный видимо прошедшим культурным мероприятием, в котором он участвовал с еще несколькими десятками таких же как он, разодетыми под горцев лицами кавказской национальности, разместившимися в других купе, и плюгавенький мужчина с серым неприметным лицом обыкновенного русского человека. Старик с газырями оставил у нас свой чемодан, погрозил нам огромным пальцем и ушел к друзьям в другое купе. Оттуда донесся звон бокалов, а затем послышалось многоголосое протяжное пение. А неприметный залез на верхнюю полку и там затаился. Мы с Жэком сидели внизу и болтали о том, о сем.

Поздно вечером вернулся раскрасневшийся седобородый черкес. Он обратился к нам по-отечески: Сынки, сынки мои,

что вы знаете о нас, адыгах? А мы — великий народ! Самый мужественный на Кавказе, самый добрый! Мы взяли для вас Казань! Победили крымских ханов! А ваш царь нас к туркам выселил! Я — шапсуг, живу в Куйбышевке. Пою в хоре. У меня внуки, такие как вы. Да...

Седобородый замолчал, мы думали — задремал. Но он неожиданно пригрозил нам, сверкнув недобрым глазом, как зловещий конь в рассказе Эдгара По: Если вы меня ночью ограбите, бомбилы московские, отрежу вам яйца в Туапсе!

Проговорив это, победитель крымских ханов схватил кинжал, показавшийся нам тогда вовсе не декоративным, вынул его зачем-то из ножен, слегка поводил им в воздухе у нас перед носами, затем достал толстый засаленный бумажник, открыл его и показал нам красненькие советские червонцы, штук наверное сто, потом спрятал бумажник в карман, клюнул несколько раз носом, встряхнулся, громко запел какую-то бойцовую песню. Пропел несколько минут, прослезился, хотел было еще раз показать нам бумажник, но повалился на свою нижнюю полку, как есть, в газырях, папахе и кожаных сапожках и захрапел. Послышалось бульканье как бы сотен бутылок, заревел горный поток, не знаю, Терек это был или Кубань, заклацали то ли затворы винтовок абреков, то ли бульдожья челюсти...

Мы переглянулись, подавили смешки и тихо отправились спать.

...

Проснулись мы от бешеного крика. Кричал тот, серый с обыкновенным лицом. Наш престарелый джигит сидел на своей полке, полуголый. Видимо, разделся ночью. Седая борода прикрывала его толстый волосатый живот и доходила до синюшных кальсон. Голова, лишенная папахи, сверкала лысиной. Левой рукой он держал за жидкие волосы плюгавого соседа сверху, а правой точил свой кинжал о его тело. Голова у плюгавого была запрокинута, рот открыт, по груди стекали капельки крови.

— Где мой кошелек? — ревел разъяренный черкес.

— А-ааа, я не браааал! — отвечал ему неприметный русский.

— Ты ростовский вор! — рычал представитель великого народа адыгов. — Я тебя сейчас зарежу!

— У-уу, не надо! — умолял плюгавый.

Мой смелый друг Жэк решительно прыгнул с верхней полки, встал на колени перед суровым стариком, пошарил руками по полу, нашел и подал шапсугу его бумажник, ничуть не потерявший в толщине. Старик не сразу понял, что ошибся. Когда понял, отпустил волосы ростовского вора, вставил кинжал в ножны и положил на полку, раскрыл бумажник и мрачно посмотрел на красные бумажки. Потом убрал бумажник, достал из чемодана большой носовой платок с красивой вышивкой, две бутылки коньячного спирта, груши, сыр, хлеб и четыре стаканчика... Разложил все это у себя на полке и гостеприимным жестом пригласил всех к столу.

Ростовский вор сходил в туалет и обтерся там вначале мокрым полотенцем, потом сухим. Мы приложили к его ранкам пропитанный спиртом носовой платок.

Во время пира черкес рассказывал нам о второй жене Ивана Грозного Марии Темрюковне, о газавате Мухаммеда, об ансарах и мухаджирах и о пути духовного восхождения истинного мусульманина — тарикате. Тарикат явно не сочетался с коньячным спиртом. Мы молча слушали. Раненный вор вздыхал и поглядывал на часы.

В Туапсе наши соседи покинули поезд.

Мы открыли окно, жадно нюхали морской воздух и пытались разглядеть скрытое другими поездами море...

За несколько секунд до отправления к нам в купе опять ворвался проклятый старик.

Размахивал кинжалом, сверкал страшными глазами, рычал и пускал из ощеренной пасти пену. В левой руке он держал свой раскрытый бумажник, в котором вместо червонцев лежали аккуратной пачечкой нарезанные красненькие бумажки с маленькими розовыми сердечками. Из детского набора «Сделай сам».

ЖАСМИН

Аннелизе страстно любит жасмин.

Жаркий июнь — ее любимое время года. Из-за цветущего жасмина. По дороге на работу Аннелизе останавливается у огромного жасминного куста недалеко от ее дома, гладит ветки и белые цветы и, зажмурившись от удовольствия, нюхает сладкий аромат. Ее узкий лисий нос, густо усыпанный то ли веснушками, то ли старческими пятнами, неприятно подергивается.

Аннелизе пахнет жасмином — потому что регулярно принимает жасминные ванны, моется жасминным мылом и растирается жасминным кремом. Душится жасминными духами. И даже зубную пасту покупает всегда с жасминным экстрактом.

Я жасмин терпеть не могу — от него у меня голова болит. И июнь в саксонском Кирлитце не люблю именно из-за жасмина, которого тут до безобразия много посажено. Тяжелое это благовоние может чувствительного человека в гроб загнать. А я — человек чувствительный. Как все эмигранты. И аллергия меня мучает. На все. На самого себя. На Кирлитц. На жасмин.

...

Аннелизе живет в центре Кирлитца в четырехэтажном доме с балконами, эркерами и башенками, построенном еще до Первой мировой войны, в квартире с просторными комнатами, высокими потолками и внушительной угольной печью, топящейся из коридора и выходящей двумя своими могучими зелеными кафельными боками в гостиную и детскую. На кафельных плитках изображен Роланд с высоко поднятым мечом в правой руке и щитом в левой. На щите — трехголовый грифон.

В длинной, узкой как гроб, спальне отопления нет.

Аннелизе работает вместе со мной в городской галерее современного искусства «Синяя лампа».

...

Дом, где живет Аннелизе, случайно не пострадал при бомбардировке Кирлитца в марте 1945 года. Союзники дружно громили тогда уже беспомощную Германию, чтобы быстро не встала на ноги, и кошмар не начался бы сначала. Английским пилотам перед вылетом, например на уничтожение Дрездена, рассказывали по секрету, что по сведениям разведки в Дрездене находится руководство Германии во главе с Гитлером. Почему надо сжигать жилые кварталы, в которых жили только старики, женщины, инвалиды и дети, пилотам не объяснили. Но они, кажется, и не спрашивали. Военные любых национальностей охотно совершают массовые убийства, если за это их не наказывают...

Почти все соседние дома были разрушены и не восстановлены после войны, а заменены на ужасные, крысиного цвета двухэтажные строения, слепленные из мусора, глины, щебня и плохого цемента, с крохотными квартирками и маленькими окошками. Эти убогие лачуги достояли до объединения Германии. Удивительно то, что многие их жители не хотели покидать свои первобытные жилища, когда городской совет решил наконец их снести, построить на их месте современные светлые коттеджи и расселить там старых жителей. Правда, цена за квадратный метр должна была возрасти в четыре раза.

...

Пожилые немцы не любят рассказывать о своих подвигах на Восточном фронте. Отнекиваются. Говорят, что в боевых действиях не участвовали. Что служили радистами, конюхами, поварами, шоферами. Только один старый актер, бывший директор драмтеатра в Кирлитце, замечательный знаток творчества Булгакова, тяжело посмотрев на меня, признался: Я был танкистом. В войсках СС. Я убивал ваших людей каждый день, убивал столько, сколько мог... Участвовал в операции Цитадель под Курском. Ничего страшнее я за свою жизнь не

пережил... Мой танк сгорел, но я смог из него выбраться. Остальные погибли. Почти вся наша дивизия была уничтожена. Закончил войну во Франции. Пришел пешком домой, в Кирлитц, а в нем уже была советская комендатура. В вилле Morgenштерн. Меня вызвали к коменданту. Он сидел за старинным столом, а над ним на стене, там где раньше был гравированный портрет Гёте, висел ужасный портрет Сталина, намаленный масляными красками прямо на гравюре. Комендант был пьян. Спросил меня о том, где я воевал. Я рассказал. Он выслушал и сказал — Фритц, видишь березу во дворе? Вот веревка. Сейчас выведем тебя во двор и повесим! Потому что ничего другого ни ты, ни весь твой народ не заслужили. Я ответил — воля ваша. А он рассмеялся и сказал, что с повешением несколько повременит, если я через две недели, к приезду высокого начальства поставлю Фауста в местном театре и сам сыграю Мефистофеля. Рассказал, что других актеров тоже пугал березой и веревкой, чтобы они не кочевряжились. Через полгода меня арестовали прямо в театре и отправили на Кавказ, строить дорогу на озеро Рица. Там я доходил. Меня спасли местные жители. Приносили фрукты и вино. Через четыре года отпустили. Я русских понимаю и ни за что не виню, но и себя виноватым не считаю. Что я мог сделать? Меня воспитали как нациста.

...

Одной из многочисленных неприятных неожиданностей, поджидавших на территории бывшей ГДР меня, москвича, прожившего всю жизнь в квартире с центральным отоплением, была такая же, как у Аннелизе, колоссальная угольная печь. Само ее наличие. И необходимость ее топить. А также отсутствие в квартире ванной комнаты и туалета. Туалет был на лестничной клетке, между этажами. Поход туда в шлепанцах на босу ногу по ледяным каменным ступенькам (подъезд не топился) был тяжелым испытанием. Особенно, если как раз в это время по лестнице поднимались в свое логово подвыпившие соседи сверху — бывший таксист Хельмут и его визгливая сожительница Бригитта.

Хельмут и Бригитта устраивали по ночам настоящие шабаши с ведьмовскими плясками, зазывали на них всю окрестную пьянь, орали, топали ногами и ревели как медведи. Не боялись даже полицейских, которых вызывали по телефону мрачные супруги Зигле или сенильный дед Зигфрид, бывший секретарь парткома машиностроительного завода.

Теплыми летними деньками Хельмут и Бригитта выносили на балкончик, выходящий на внутренний двор, радио и врубали на полную мощь немецкие шлягеры в ритме марша. Слушать эту удивительно бесталанную музыку, доказывающую самим своим существованием упомянутую классиком еще в девятнадцатом веке пронизывающую все и вся пошлость немецкой культуры было невыносимо. Если бы у меня было ружье, я застрелил бы и Хельмута и Бригитту. Но ружья у меня не было, поэтому приходилось терпеть, скрипя зубами, или уезжать кататься на велосипеде в парк Чижиковый лес, собирать там ежевику. Собирал я ее впрочем только до того момента, пока не прочитал надпись на табличке у входа в лес «Просим воздержаться от собирания ягод из-за их заражения яйцами ленточных глистов!».

Хуже популярной немецкой музыки второй половины двадцатого века — только советская популярная музыка того же времени.

...

В моей кухне в стене рядом с небольшим старомодным умывальником с большими фарфоровыми кранами была ниша — душевая. Там можно было помыться, стоя в прямоугольном пластиковом корыте с круглой зарешеченной дыркой, в которую стекала вода. Стены ниши были покрыты зловещей сизой плесенью. Несколько раз я соскребал ее вместе с штукатуркой, обрызгивал стены специальной жидкостью, штукатурил их как мог, и красил заново. Ничего не помогало — через месяц плесень появлялась вновь. Однажды я мылся, думал о чем-то приятном и свистел соловьем. Вдруг корыто подо мной заходило ходуном. Землетрясение, подумал я и выскочил из ниши. Через несколько секунд наполовину полное водой корыто (дырку я затыкал пластиковой крышкой от

мармелада) медленно, как в фильме ужасов, провалилось и упало в кухню живущего подо мной машиностроительного деда Зигфрида. Моя прыть спасла мне жизнь. Падать пришлось бы долго — потолки в нашем доме высоченные. Деревянные балки под корытом прогнили от постоянно сочащейся воды. Несколько месяцев ко мне приходили рабочие заделывать дыру. Один раз они украли у меня десять марок из буфета (тогда еще были марки) и свитер. Свитер позже возвратили, а деньги нет.

...

День приходилось начинать с посещения угольного подвала и растапливания печи. В подвале меня мучила клаустрофобия. Мне казалось, что его низкие арочные перекрытия это нёбо пасти огромной каменной черепахи.

Тишина грохотала.

Из темных, затянутых грязной паутиной, углов подвала доносились зловещие шорохи, хруст, шуршание. Я подозревал, что это духи живших в моем доме до войны евреев взывают ко мне о помощи. Я ничем помочь им не мог. Только иногда представлял себе, глядя в моей квартире на выцветшие старинные обои с растительными орнаментами, на которых сохранились какие-то подозрительные светлые силуэты, — вот, тут видимо стоял бельевой шкаф, а тут у них располагалось брачное ложе. И тут же, как по волшебству, передо мной проходила танцующей походкой полупрозрачная девушка в длинном старомодном кремовом платье, кокетка и шалунья, за ней шли размеренным шагом ее пожилые родители в черном, отец держал в руках газету, а мать вела за руку толстого карапуза в матросской одежде.

Карапуз застенчиво смотрит в пол...

Ленточки на его бескозырке развиваются на беззвучном ветру. Он поднимает голову и проникновенно смотрит на меня. Затем опять печально опускает голову.

Мертвые...

В общине мне сообщили бесстрастно: Всех бывших жителей вашего дома убили в Освенциме.

Знай, мол, куда приехал, и что тебя возможно ожидает в будущем. Это были старые, немощные, бедные или хронически больные люди и брошенные дети. Молодые, богатые и энергичные евреи покинули Германию еще до «Хрустальной ночи». Пережили Холокост и вернулись в Кирлитц только несколько полудевреев. Их отправили в образцовый лагерь Терезиенштадт в конце войны, и они чудом уцелели.

...

Приходилось тащить два тяжелых ведра с бурым углем на третий этаж. Несмотря на всевозможные химические средства и достаточное количество сухих чурок для растопки, дешевый польский уголь загораться в печи не хотел, только вонял отчаянно. Возможно, я сам был виноват и делал что-то неправильно. Заслонки что ли не так открывал? В СССР я был относительно благополучным человеком, дворником, истопником или рабочим как некоторые сильные личности не работал, угольные печи в глаза не видел.

Мне казалось, что проклятая печь не топится из-за моего презрения к Кирлитцу и его обитателям. Вроде как мстит.

...

Муж Аннелизе Хайнц — безработный алкоголик. Торчит вечно на вокзале — у тамошней пивнухи. Той, что между магазином комиксов и аптекой для домашних животных. Рядом с которой невоспитанный спаниель, принадлежащий бывшему советскому немцу, в прошлом директору музыкальной школы в Екибастузе, укусил за палец дочь обер-бургомистра.

Хайнц загибает собутыльникам на вокзале, что он во времена ГДР работал инженером на фабрике протезов. На самом деле он был сантехником, мне Аннелизе рассказывала. На заводе по производству мотоциклов в Рудных горах. Чинил сортиры и душевые.

Приходил Хайнц и к нам в галерею, жену поведать. Врал и мне про фабрику протезов. Зачем, один Фрейд знает.

Натолкнулся я недавно в интернете на страницу «Секс с женщиной, у которой ампутированы ноги и руки». Не хотел смотреть, жалел несчастную. А потом все-таки посмотрел. Ка-

кой-то любопытный дьявол сидит во всех нас. Ампутирована у женщины была только одна нога. Оставшимися конечно-стями, красивым гибким телом и прекрасной головой она орудовала на удивление шустро. Страстный любовник покрывал жадными поцелуями ее культяпу.

Каждому свое.

...

Бедная Аннелизе от стыда за мужа кашляла.

Сейчас тут многие врут. Стесняются правды. Честному немцу стыдно днем по улице слоняться или на вокзале торчать. Он должен вкалывать на работе. Зарабатывать деньги.

Спросил я однажды знакомого предпринимателя, купившего у меня еще в начале девяностых несколько рисунков, человека уже не молодого, по моим меркам — очень богатого, владеющего и солидным капиталом и дюжиной доходных домов недалеко от Рейна: Зачем ты работаешь, пашешь как пчелка? Шел бы на покой, ездил бы по свету и наслаждался жизнью!

Бедный богач ошалело посмотрел на меня, в его усталых глазах на мгновение вспыхнул огонек страха, потом погас. Он выдавил из себя какую-то банальность, отошел от меня, а позже... перестал отвечать на мои приветствия.

Человек-робот ничего не может сделать против встроеной в него программы бессмысленного обогащения. Его приоритеты безнадежно деформированы всеобщим радостным безумием общества потребления. Раб собственного социального статуса, конкуренции, комфорта и денег боится свободного времени, ненавидит не асфальтированное, незастроенное под фабрики, конторы или доходные дома пространство, не выносит незасаенное поле, не обкорнанный сенокосилкой садовый участок, он испытывает ужас перед органикой — природой и человеком, всячески стремится надеть на них хомут и запрячь, а если нельзя, то по крайней мере вставить их в рамку и продать. А вечерами он компенсирует свою механистичность платным садо-мазохистским сексом, любовью к кошке или собиранием фарфора...

Клаус, богатый кузен моей бывшей подруги, показывал ей на семейной сходке коллекцию своих часов. Некоторые стоили более миллиона евро.

— Посмотри, на эти камни из Южной Африки! Горят! Тридцать карат! Платиновый корпус, ручная работа, гарантия на тысячу лет...

Коридоры его виллы были завешаны пестрыми картинами, в которые он, по его словам, успешно вложил деньги. Его кухня — мать-одиночка с тремя малолетними детьми — в те времена бедствовала, не могла позволить детям на завтрак съесть более одного тоненького лепесточка копченой колбасы с дешевым хлебом. Клаусу и в голову не пришло предложить ей какую-то помощь.

Клаус умер от удара прямо на заседании правления его фирмы. Из-за нерадивости одного из директоров фирма потеряла выгодный контракт за границей. Клаус расстроился и разругался с коллегами. И умер. Клауса похоронили, а его виллу, акции, коллекцию часов и картин выставили на продажу. По завещанию все вырученные деньги должны были пойти на убежище для бездомных собак. Наследники оспорили завещание. Процесс тянется уже больше десяти лет, и конца ему не видно. Вилла все еще не продана, ее уже несколько раз пытались ограбить. Коллекция часов хранится в банке. Полагаю, кроме моей бывшей подруги о Клаусе больше никто не вспоминает. Она одна ухаживает за его могилой. Сажает на ней фиалки и анютины глазки. От спора за наследство она отказалась.

...

Хайнц погибал последовательно. Он де работал инженером, делал протезы для безногих женщин. Изобретатель и механик. Прочитал доклад в Кирлитцском техническом университете, сам профессор Хемпель хвалил его и звал на работу. Без пяти минут доцент. Сделал стальной протез с движущимися резиновыми пальцами для знаменитой фигуристки Габи Эш...

— Что? У нее и руки и ноги целы? Ну тогда, для этой, для другой Габи. Зайферт.

— Ах, Фрау Зайферт до сих пор катается? Недавно посещала галерею? Ну не помню, может это и не фигуристка была, а певица. Ну эта, ваша бывшая жена... Эбштайн...

— Простите, но моя фамилия Эпштайн, и Катя Эбштайн не имеет ко мне никакого отношения, и насколько я знаю, не нуждается ни в каких протезах.

...

Еще одна неожиданность. Чисто мифологического свойства. Не знаю, почему, но почти все мои знакомые в Кирлитце уверены в том, что я — бывший муж известной немецкой певицы Кати Эбштайн. Кроме того, они уверены, что я страшно богат. Только тайно. Что я прячу где-то большой белый мерседес и имею несметное количество денег в швейцарском банке. На номерном счете. А то, что я живу в Кирлитце более чем скромно — это маскировка, маскарад, который я разыгрываю для каких-то одному мне известных зловещих целей. И сколько я не убеждал моих друзей, что не знаком с фрау Эбштайн, что настоящая ее фамилия Виткивич, что я действительно беден и нет у меня ни белого мерседеса, ни даже прав на вождение, ни номерного счета, ни каких-то тайных целей — все было напрасно. Мне вроде верили, а потом, за глаза, рассказывали, что видели меня на Кудаме в белом мерседесе, а рядом со мной сидела Катя Эбштайн в норковом манто.

Из-за этих идиотских сплетен я чувствовал себя в Кирлитце каким-то Чичиковым. Слава богу, за Наполеона меня все-таки не принимали. А вот за русского шпиона, увы, приняли. Эта, третья мифологическая неожиданность настигла меня однажды вечером. Я был дома, сидел в своем любимом красном кресле с ногами и читал какую-то монографию, кажется о Питере Брейгеле. Кресло это кстати мне досталось в подарок от бывшего судьи, высоченного породистого старика, похожего на Бисмарка, решившего провести остаток дней на Северном море и раздававшего мебель нуждающимся. Я тогда поблагодарил его жену и потащил кресло с десятого этажа вниз по лестнице, в лифт оно не входило. Где вы поставили свою машину, спросила меня жена судьи. И очень удивилась, когда я сказал, что потащу кресло домой на руках.

Нести было не далеко, с километр. Изнемогая от боли в руках, я упрямо тащил кресло метров сто, затем ставил его на тротуар и садился в него отдыхать. Потом опять нес. Прохожие удивлялись, таращили на меня глаза. Даже полицейский подошел и осведомился, почему я не везу кресло на грузовой машине. Я сказал, что это мое хобби — таскать мебель по заснеженным улицам. Полицейский недобро осклабился, но оставил меня в покое.

Так вот, сижу я дома в судейском кресле и слышу настойчивый звонок в дверь. Дверь у меня стеклянная — вижу, стоят за дверью двое мужчин казенного вида. Открыл.

— Вы такой-то?

— Да.

— Мы из БНД, хотели бы с вами поговорить.

— БНД? Это что такое?

— Федеральная разведывательная служба Германии.

— Проходите.

...

В этот момент мне припомнилось, как два господина в черном арестовали несчастного прокуриста Иозефа К. В день его тридцатилетия. Два типа из БНД вполне могли бы сыграть их роль. Но я на бедного Иозефа К., литературного двойника Кафки, вовсе не был похож.

Господа из БНД рассказали историю проведенного ими расследования. Они де меня сфотографировали на улице. А потом показывали мою фотографию различным людям в Кирлитце. Каким — не сказали, но я позже догадался. И спрашивали этих людей — уж не шпион ли я. И эти люди подтвердили — да, да, конечно он шпион. И не просто шпион, а резидент российской разведки в Саксонии!

Спасибо, что не во всей Германии!

Проговорив все это, типы из БНД уставились на меня своими змеиными глазами. Я твердо заявил, что не шпион и прошу прекратить эту комедию.

— Все шпионы так говорят.

— Но я действительно не шпион...

— Лучше признайтесь.

Разговор наш продолжался примерно час. Потом я догадался, что надо делать.

— Господа, мы все уже оговорили, я должен уходить, прошу вас уйти.

Они неохотно согласились, но пришли еще раз. Месяца через два. После их второго прихода я послал в штаб-квартиру БНД электронное письмо с просьбой больше ко мне никого не присылать, иначе де буду жаловаться канцлеру и напишу во все газеты о том, что меня, политического беженца, еврея, преследует БНД. Больше они не приходили.

На следующий день я пришел сдавать книгу в городскую библиотеку. Ко мне подошла ее директорша, старая знакомая, и шепнула мне на ухо: Так ты что же, еще и шпион?

...

Пропавший человек этот Хайнц. Глаза у него мерзкие, воспаленные. Зрачки — как у дохлой рыбы.

У многих немцев такие глаза. Первые годы жизни в Германии мне казалось, что на улице все на меня смотрят. Пристально смотрят на меня своим мертвыми глазами, усмеваются моей неловкости и насылают на меня зло.

Аннелизе рассказала мне позже, что сказал ей муж после первого посещения «Синей лампы» и знакомства со мной.

— Эти проклятые евреи! Паразиты! Не дотравил их Адольф в газовых камерах, а жаль. Понаехали опять. Они хотят только наши деньги. Не верь этому типу! Посмотри на его спесивую рожу! Все он врет, никто их в России не преследует. Им бы только не работать, сосать из других народов кровь и трахать арийских девушек. Блондинок им подавай! Смотри, не спутайся с ним, зарежу!

...

Хайнц не был так уж неправ. Не только я, многие другие «евреи» из СССР — пишу в кавычках, потому что среди этих евреев процентов семьдесят людей других национальностей, купивших в конце восьмидесятых за полсотни долларов фальшивые свидетельства о рождении, да еще процентов двадцать пять половинок с русскими женами, а настоящих

религиозных евреев нет вообще — приехали в Германию потому, что тут можно было жить, не напрягаясь. Кому охота ишачить?

Работу в галерее и работой-то трудно было назвать. Одно удовольствие. Художники — милые ребята. Публика вежливая. Денег немецких мне конечно не надо, но... Если дают просто так, ни за что, то почему бы и не взять?

Сосать кровь не гигиенично. Можно что-нибудь подхватить... А вот против блондинок я ничего не имею. У них шейки тоненькие, нежные, как у ощипанных курочек. Я — не какой-нибудь декадентствующий степной волк, перегрызать их мне вовсе не хочется, а вот романец закрутить можно. Поставить им, как говорил мой покойный друг Боб Френкель, большой любитель клубнички, затяжной пистон в растяжку. Немки — бабы ёбкие и не жеманные, не то, что русские интеллигентные женщины, измученные советским бытом. Они, как говорил тот же Боб, сисястые, но с тараканом в голове. Жены рыцарей.

Помню, связался я лет двадцать назад с одной блондиночкой, арийкой. Соблазнила она меня на музыкальном вечере чудесными волосами, которыми встряхивала как молодая лошадка и короткой замшевой юбочкой, чуть прикрывающей длиннющие ее бедра, похожие на гидравлические приводы. Пела какая-то старая негритянка блюзы до того хорошо, что хотелось тут же взять билет и в Америку улететь, поселиться там где-нибудь в Алабаме рядом с Глазастиком и Боо Рэдли, пить Кока-Колу и весь день блюзы слушать.

Звали красавицу несколько на славянский лад — Влада. Странная была девица. Трахалась днем и ночью как бешеная лисица, но безумно боялась, что я как-то попорчу ее золотые волосы. Страшно переживала. Три часа их расчесывала, каждый день мыла и холила. Заставляла меня специальную повязку на лоб надевать, чтобы во время любви и капля пота на ее волосы — не дай бог — не упала.

А мне, когда сзади, черт шептал в уши — намотай ее льняное золото на руку и дерни как следует за волосья эту кобылу, когда будет кончать. Месяцев шесть я черта не слу-

шал. А потом дернул. Не сильно, так, для страсти. Красавица моя заржала и как-то быстро — вьюном — из-под меня выскочила. Встала и окаменела лицом. Оделась, сказала, что пойдет на заправку сигареты купить. И свалила. А я мирно заснул. Вернулась часа через полтора с двумя полицейскими. Оказывается, она для начала сбегала к своему знакомому домашнему врачу, который уж не знаю как и зачем, освидетельствовал несуществующую гематому на ее затылке. С этой справкой Влада направилась в полицию, где заявила, что я ее изнасиловал и избил. Волосы ей драл. Полицейские увезли меня с собой. Допрашивали. Но как-то вяло, без огонька. Я рассказал про наши отношения. Про волосы сказал, что да, дернул, в пароксизме страсти. Полицейские выслушали мой рассказ равнодушно, посмотрели на меня своими глазами цвета болотной трясины и пошли советовать к шефу. Пришли от шефа скучные. И отпустили меня с миром. Я был на седьмом небе. Помчался как поручик Пирогов в кондитерскую, заказал там горячий шоколад и пирожное «Дунайские волны». В четыре слоя пирожное. Шоколадная глазурь. Сливочный пудинг. Вишенки. Легкий бисквит. С ума сойти как вкусно.

Скоро я узнал, почему меня тогда отпустили. Рассказал один знакомый городской чиновник. Оказывается, на мое счастье, Влада не была в полиции белым листом. Помимо трех-четырех краж косметики в супермаркетах, за ней числились несколько случаев рукоприкладства по отношению к коллегам по работе (Влада работала синхронной переводчицей с чешского, словацкого и украинского, непонятно, кого она избивала) и шесть ложных обвинений мужчин различных возрастов и национальностей в изнасиловании и побоях. Вот уж действительно — каждому своё!

Свой рассказ о Владе мой знакомый закончил так: Ты не переживай, она просто психованная. Понимаешь, у нее мать, бухгалтерша, с собой покончила. Владе было четырнадцать или пятнадцать. Приходит домой из школы, а посиневшая мертвая мать у газовой плиты лежит. Тут каждый сбрендит.

Дочка Аннелизе, Моника, живет с Лукасом, служащим страховой компании и двумя детьми в старинном городе Роттенбурге. Это там, где все как в средневековье. Музей пыток даже есть. Кресло для допросов с короткими шипами для рук, ног, спины и задницы. Железная дева с шипами подлиннее, металлическая клетка для утопления ведьм, виселицы, специальные маски для срама и поношения преступников. Все как полагается.

Моника — продавщица в магазине сувениров, ей уже сильно за тридцать. Лукасу под пятьдесят. Лукас третий муж Моники. После тяжелого развода с первым мужем, другом детства, оказавшимся домашним садистом и бездельником, Моника полгода лечилась в психбольнице. Вторым мужем Моники был добрый вьетнамец, из тех двух или трех миллионов вьетнамцев, которые работали как рабы на гэдээровских заводах. Они были платой натурой за оружие, экспортируемое из Восточной Германии во Вьетнам.

Вьетнамец был маленьким, честным и работающим муравьем. С ним дородная Моника развелась еще до объединения Германии и вьетнамца позже безжалостно выслали назад во Вьетнам, который хоть вроде и получил слегка, но остался, как и его гигантский северный сосед, тоталитарным коммунистическим государством. Вьетнамец открыл на родине обувную мастерскую и до сих пор присылает Монике по почте или передает с оказией ее любимые сладости — арахисовые плитки на меду. А Моника посылает ему консервированные баварские сосиски.

...

Лукас был женат четыре раза. С первой женой, Сабиной, у него все было хорошо, пока ребенок не родился. Слепоглухонемой мальчик. Родители возились с ним четыре года. Потом сдали-таки в специальную лечебницу. И развелись. Но не из-за сына, а из-за того, что Сабина, художница и писательница, как она сама себя называла, нашла себе более выгодную партию чем Лукас — врача интерниста. Интернист купил специально для свиданий с ней виллу в стиле ар нуво недалеко от Мюнхена, полную дорогого антиквариата. Даже письмен-

ный стол знаменитого Ван де Велде там был. Овальный, с выдвигающимися частями. Купил-то купил, но с собственной женой, Гудрун, гордой дочкой немецкого посла в Венесуэле, подрабатывающей кстати у него в клинике медсестрой, не развелся и виллу для верности записал на жену, а не на Сабину. Сабина так из-за этого переживала, что тоже четыре месяца отлежала в психушке. Затем прижилась в гудруновой антикварной вилле. Рисует там свои портретики и пишет любовные романы купленной в Париже ручкой Ватерман на овальном ван-де-велдевском столе.

Второй женой Лукаса была мексиканка Розита с ревнивым характером. Из Гвадалахары. Она познакомилась с Лукасом в интернете на сайте любителей кактусов. Когда он приехал к ней в Гвадалахару, показала ему плантацию редких кактусов во дворе ее дома и так накормила перченой мексиканской едой, что Лукас чуть не умер от заворота кишок. Розита переехала к Лукасу в Штутгарт. Ревновала его ко всем женщинам. И не напрасно — Лукас изменял ей с собственной шефиней во время частых совместных командировок на различные острова в океане (оба любили тропические фрукты, галечные пляжи и вареных омаров с чесночным соусом). Шефиня говорила, что они тяжело работают в страховой компании не для того, чтобы вести скучную жизнь домоседов, и ездила с любовником за счет фирмы то на Гавайи, то на Мальдивы, то в прекрасную Тасманию. Во время развода, в суде, мексиканка вынула вдруг из пышного платья мачете и недвусмысленно пригрозила им Лукасу. После этого он согласился вернуть ей все совместно нажитое имущество. Отдал ей даже подарки шефини, на что та смертельно обиделась и продолжила свои вояжи уже с новым сотрудником, представительным и динамичным шотландцем Патриком, предпочитавшим фруктам, пляжам и омарам — ядовитое блюдо фугу, приготовляемое из скалозубов. Шефиня и Патрик зачастили на Японские острова. Однажды или повар перестарался или Патрик переел своего любимого деликатеса и скончался на руках у безутешной шефини в страшных муках. Перед смертью он прошептал: Лучше бы мы ограничились нарэдзуси...

Третья жена Лукаса привела в его новый, только что купленный в кредит дом двух дочерей от предыдущих браков. Отец первой дочери, мулатки, уехал в Конго, помогать президенту Сассу-Нгессо где, по слухам, был взят в плен повстанцами и после неудачной попытки получить за него выкуп, обезглавлен. Отец второй дочери, таиландец, не собирался никуда уезжать, работал себе в китайском ресторане и наслаждался жизнью; жена бросила его ради Лукаса. После чего таиландец уехал в Таиланд. От обиды. Работает в Бангкоке поваром. Две эти шальные дочки — от негра и от азиата — после нового брака их матери вдруг бешено полюбили своих за тридцать земель от Германии живущих отцов и начали им звонить по мобильному телефону. Хотя отец-конголезец был кажется уже мертв, а у таиландца не было телефона. После получения трех месячных счетов за телефон — каждый был больше двух тысяч евро — Лукас подумал о разводе. Через восемь месяцев он уже был снова женат на бездетной и надежной в финансовом смысле восточногерманской женщине Монике, дочери Аннелизе.

...

Аннелизе — пятьдесят восемь. Она не пьет и не курит. Зарядку делает утром и вечером. На даче разводит розы и жасмин. Тяжелые сумки не таскает, отовариваться в супермаркет ездит на своем маленьком фольксвагене. Пьет только минеральную воду. На курорты ездит. Даже на Мертвом море две недели в грязях купалась. Приехала оттуда — кожа как у молодухи. Светится как утренняя заря в Пиренеях.

Немцы вообще здоровые как лошади. Не то, что мои бывшие соотечественники. Созвонился я недавно с Лукьяном, одноклассником. Лукьян рассказал, что половина нашего московского выпускного класса — уже на кладбище. Пьянство, курение, антисанитария, неправильное питание, тоталитаризм. Двое — в автомобильных авариях погибли. Один отравился водкой. Наташенька Голохвастикова, красочка наша, вторыми родами умерла. Ребенка спасли, а ее нет. Муж дал дёру. Дети у ее престарелых родителей остались. Инка Малик умерла от болезни почек. Лекарство купить было не на что. А клоун наш классный, Димка Банжо —

в Москву-реку бросился с Крымского моста. Из-за долгов. Лед башкой пробил и как ракета во льду застрял. Ногами кверху. Лукьян говорил, торчал он будто бы во льду целых три дня. Москва января девяносто третьего, понятное дело. Может, кто и помог. Пятерых наших ребят рэкетеры убили в девяностые. Фирмы из ничего организовали, открыли бюро и торговые точки. Еще двоих посадили в двухтысячные-нулевые. После того, как у них бизнесы отобрали. В тюрьме их опустили и заразили туберкулезом.

Ничего в России по-человечески сделать нельзя. Ни пожить, ни поработать, ни умереть...

Я тогда, после разговора с Лукьяном, специально Аннелизе про ее школьный класс расспросил. Чтобы сравнить. Дети военных лет все-таки. Оказалось — все живы. Собираются раз в год в Золотом петухе. Любительский фильм делают после каждой встречи. Аннелизе показала мне фильм — все крепкие, спокойные, солидные. Но хмурые. Немцы. Вещи в себе.

...

Многие после объединения Германии на Запад уехали, пожили там и приехали назад. Некоторые и квартиры и семьи бросили. И в Америку подались. Или в Канаду.

Почти все оставшиеся тут, на территории бывшей ГДР, работу потеряли. Экологически грязные, морально устаревшие гэдээровские предприятия закрылись уже в первые месяцы после объединения. Немногие рентабельные фабрики бывшей ГДР были сознательно уничтожены западными конкурентами.

Поначалу люди растерялись. Потом почти все как-то устроились. Подрабатывают то тут, то там. Иногда и на пособия прозябают. Ничего, и так жить можно. Особенно, если тебе за пятьдесят пять и у тебя есть свой домик в предместье, с садиком и гаражом.

Сидят бывшие строители коммунизма в своих уютных пивнухах с оленями и кабанами на стенах, ругают вполголоса новые порядки и пьют пиво. Летают раза три-четыре в год в Барселону, Стамбул, Анталию, Грецию, Тунис. А потом рассказывают друг другу...

— Как там хорошо кормят и все вообще дешево...

— Гостиница только была грязновата. Гюнтер купил себе серебряный арабский кинжал с рубинами, а Эрн — персидский ковер и чучело крокодила с малахитовыми глазами. Ковер быстро вылинял, рубины из ножен кинжала вывалились и закатились под шкаф, а крокодила отобрали неизвестно почему чертовы таможенники. Я просила хотя бы глаза оставить, но таможенник сказал, что это не малахит, а пластмасса. А про кинжал сказал, что он не серебряный. Везде один обман. Но море там изумрудное. Только загажено сильно. Пахнет тухлой рыбой.

...

Работа в галерее была не пыльная. Посетителей приходило за день — от пяти до десяти человек. А иногда весь день никого не было. Я обрамлял и развешивал работы очередного художника, организовывал и проводил вернисаж. Представлял артиста гостям, кратко характеризовал его творчество, после этого следовали музыкальный номер (саксофон, гитара или барабан) и фуршет (пиво нескольких сортов, белое и красное вино, бутерброды). После открытия делать в галерее было нечего. Выставки у нас продолжались два месяца. Аннелизе убиралась, мыла окна, пылесосила. Я читал искусствоведческие книжки или писал что-нибудь свое от скуки. Поначалу мы оба дисциплинированно отсиживали в галерее обязательные шесть часов. Потом я осмелел и уговорил пугливую Аннелизе разделить между нами присутственные часы пополам. Аннелизе вначале боялась проверок, коммунистическая картина мира — мы работаем, а всевидящие, всезнающие, карающие они нас наблюдают и проверяют — все еще крепко сидела в ее голове. Потом привыкла и начала всю использовать свободную жизнь — выполняла в рабочее время дома небольшие дизайнерские работы (Аннелизе закончила художественное училище), моталась по магазинам, навещала подружек.

Так мы работали, жили каждый своей жизнью и только раз в неделю пили вместе кофе с пирожными после завершения короткой субботней смены, которую не делили, а

проводили вдвоем для обсуждения планов и распределения обязанностей. Наслаждались выгодами мирного сосуществования.

Трудно было, наверно, найти на всем свете более различных людей. Я — толстый, лысый, эмигрант, антикоммунист, мизантроп, эгоист, бобыль, обжора и циник. Да еще и еврей. Аннелизе — худая, стройная, с огромной копной крашенных рыжих волос, бывший член Социалистической единой партии ГДР, добрая, отзывчивая, спокойная, семейная, обязательная немка. Умеренная во всем. Даже отчасти верующая в Бога и регулярно жертвующая деньги на борьбу с малярией.

Противоположности, как известно, сходятся.

Однажды, после долгого скучного разговора о планах на следующую неделю...

Планов не было никаких, но я постоянно придумывал различные легкие дела для того, чтобы Аннелизе не чувствовала себя невостребованной, а в годовом отчете можно было бы отчитаться о наших социальных проектах (ненавижу это слово, его используют профессиональные шарлатаны), на которые мы собственно и получали деньги от саксонского министерства культуры.

Однажды мы собрали, расписали красками и увесили подарками четырехметровый деревянный корабль на колесах, с парусами, с командой из двенадцати кукол (платья кроила и шила Аннелизе), с широко раскрывающейся бегемотовой пастью, в которой прятались куклы-пираты и животом, в котором хранились игры-сюрпризы. Наш веселый корабль мы торжественно ввезли по длинному коридору городской библиотеки и установили в большом вестибюле, в котором проводились предрождественские детские праздники. Дети в первый же день ободрали корабль как липку. Сломали и украли все, что смогли. Мы увезли корабль после Рождества в галерею и целый год его восстанавливали для следующего праздника, не забыв, разумеется, выцыганить под эту работу еще пару тысяч евро у государства.

Так вот, однажды после субботнего кофе...

В тот раз мы ели творожные пирожные с взбитыми сливками, клубникой и мандаринами. Пицца богов. Я пил капучино из любимой японской резной чашечки, Аннелизе — как всегда — эспresso. Из белого голландского наперстка. Перед кофе и пирожными мы попробовали новый сорт французского козьего сыра. Сыр мы нарезали тонкими ломтиками и уложили на белый хлеб с маслом. Сверху положили дольки сладкого красного перца и листики петрушки. Резали мы все это роскошным кухонным ножом фирмы Золинген, купленным несколько дней назад для нашей галереи на деньги от очередного проекта. Я этот нож с темной удобной рукояткой и изящным длинным лезвием сам выбирал в дорогом магазине металлической посуды и гордился им как собачник гордится породистым щенком.

Допив свой капучино, я уже собрался было встать из-за стола и распрощаться с Аннелизой. Посмотрел на нее так, как смотрят на коллегу по работе или на старую мебель. Не то чтобы равнодушно. А так, с легким раздражением от нудности повторяющихся форм, слов и ситуаций.

Посмотрел... и увидел на ее лице выражение то ли скуки, то ли легкого беспокойства. Мне показалось, что в углах ее губ легла синеватой тенью озабоченность добропорядочной семейной женщины, хозяйки.

Ее лицо припудрил прах уходящего времени...

Это было так щемяще! Я встал, подошел к Аннелизе, нежно обнял ее, заглянул ей в глаза и поцеловал. Потом прижался лбом к ее тонким сухим губам. В мой нос ударил запах жасмина.

Аннелизе попыталась отстраниться, потом смирилась, замерла. Через минуту я ощутил, что по моему лицу текут ее горячие слезы. А еще через минуту ее язык уже переплетался с моим. Аннелизе обняла меня бедрами. Мы кое как устроились на стуле.

Этот первый наш любовный дуэт продолжался минут пятнадцать. Перед самым концом я услышал, что позади нас открылась дверь, и кто-то вошел в галерею. Подошел к нам и что-то хрипло прокричал. Потом крикнул опять. И снова и снова, громче и громче...

Тут невыносимо сладкий запах жасмина навалился на меня как стена, обвился вокруг горла, сдавил и не отпуская до тех пор, пока я не кончил.

...

Очнувшись через несколько мгновений, я наконец слышал то, что кричал застукавший нас на месте преступления Хайнц, зашедший за женой, чтобы вместе с ней поехать в только что открывшийся в центре роскошный шестиэтажный магазин и сделать необходимые покупки на уик-энд. Он размахивал нашим новым ножом фирмы Золинген и рычал: Проклятая русская свинья!

Оторопевшая Аннелизе тут же отлепилась от меня и убежала в туалет. Я встал, поправил одежду и отобрал у Хайнца нож. Сделать это было не трудно, руки бывшего слесаря дрожали, силы в них не было.

Хайнц перестал орать, сел на стул и уставился на картину на стене. На картине была изображена пустынная улица странного города, по тротуару шла красная кошка, ее шея была обвязана белой ленточкой, на которой красовался синий бантик. Из окна дома напротив на нее угрюмо смотрел мужчина с фельдмаршальскими усами, в темном костюме-тройке с бабочкой и в котелке. Глаза мужчины были широко раскрыты, губы сжаты.

Вскоре Аннелизе вернулась. На меня и не взглянула, а мужу улыбнулась просительной улыбкой. Хайнц заплакал. Мне стало его жалко.

После их ухода я решил выпить еще одну чашечку капучино...

УЛЫБКА ГОПИ

В начале лета, когда к Горбачеву Рейган приехал, но еще до взрыва в Арзамасе, по нашему двору прокатился припахивающий какой-то мерзкой достоевщиной слух. Будто бы три ученика соседней десятилетки жестоко изнасиловали в лифте нашей девятиэтажки на улице Голубинской свою одноклассницу, хроменькую и косоглазую Алинку Беспалову.

Об этом ужасном происшествии мне рассказала Зинаида Викентьевна Подливанная, пенсионерка с лицом, похожим на блин, которую хорошо ее знающие соседи за глаза звали не иначе как «эта подлюга». Подливанная двадцать лет возглавляла парторганизацию одного из проектных институтов недалеко от Калужской, а потом проштрафилась, вылетела из партии и чуть не загремела в тюрьму.

— Вся кабина в крови! Сама видела. Три часа лифт стоял, жильцы вверх-вниз пешком ходили, а они там зверствовали. Бедная девочка в голос кричала! Дети перестройки. Горбачов будет доволен! Вот вам ваша свобода-гласность! Хромоножку изнасиловали, звери! Святую юродивую! Девочка в больнице, а изверги на свободе! В этом деле заводила — Левинсон. Он остальных науськал, ясочку нашу в лифт затащить. Святого нашего ангелочка. Сколько еще русская земля этих иродов носить будет? Будет нам когда избавление? Да воскреснет Бог! Да расточатся врази его, яко исчезает дым! — восклицала подлюга Зина и томно закатывала невыразительные белесые глаза без ресниц, сжимая пухлые розовые кулачки и прижимая их к вздымающейся груди. Чувствовалось, что пакостная эта новость ей очень нравится. Отрывает ее от грешной земли и уносит в заоблачные дали.

...

«Святая юродивая хромоножка» Алина Беспалова была моей соседкой по подъезду. Маму ее звали Полина. А папу —

Николай Петрович. Познакомился я с Полиной случайно, в универсаме. В очереди в кассу. Заметил, что какая-то усталая женщина читает книгу — «Сарторис» и спросил ее, покосившись на книгу, купил ли уже молодой Байярд автомобиль? Она заинтересованно посмотрела на меня, рассмеялась и похорошела. Мы разговорились. Позже Полина познакомила меня с мужем и дочкой.

Супруги Беспаловы работали в ЦАГИ, в Жуковском. Рано утром их подбирал служебный автобус на Кольцевой дороге. Ровно в семь вечера привозил назад. Беспаловы жаловались, что раньше им приходилось тащиться на работу через всю Москву. Рейсовым автобусом до Беляево, на метро до Выхино, а потом на электричке еще двадцать пять километров. Оба они были инженерами, работали на аэродинамических трубах. Иногда и по ночам. Мне эта техника была знакома, я рассказал им, как на студенческой практике ошибся в расчетах и получилось, что самолет летит хвостом вперед. А они поведали мне о том, почему пассажирские самолеты Туполева зовут «тушками».

В гости друг к другу мы не ходили. Я был бы пожалуй и не прочь раз в месяц раздавить бутылочку с соседями, но Беспаловы не звали, а я не напрашивался и к себе тоже не звал. Что мне им в моей холостяцкой однокомнатной квартире показать? Чем похвастаться? Тараканами на кухне? У них, небось, своих полно. Разве что книгами, но я не люблю давать книги — зачитают. Чем мне их угостить? На мою зарплату не разгуляешься. У меня даже кофе не было. Пил я обычно кипяченую воду.

Разве что, дать им мой рукописный роман? Написал я тогда роман про недовольного советской жизнью молодого человека, который решил убивать в месяц хотя бы одного коммуниста. И преуспел. Заканчивался роман описанием того, как Америка уничтожает СССР массивной атомной бомбардировкой. А мой герой, увидев за несколько секунд до смерти из окна главного здания МГУ атомные грибы, вырастающие по всей Москве, впервые в жизни ощущает радость и умиротворение. И шепчет: Наконец-то догадались...

Полина была такой серенькой мышкой, начитанной, даже по-своему сексапильной, но какой-то погасшей, прокисшей, безвольной и раньше времени постаревшей. Хорошела она, только когда смеялась. Полина рассказывала мне про дочь, которую она называла «нашей дурочкой». О том, как неожиданно, когда ребенку было уже полгода, началась болезнь. Как они с мужем боролись и победили. Как их измучила советская медицина.

Николай Петрович — худой, высокий, с рябоватым лицом и сонными, всегда полураскрытыми глазами сразу показался мне человеком с двойным дном. Беспалов никогда не глядел в глаза собеседнику, ускользал, уходил от контакта, прятался. Чувствовалось, что ему есть что скрывать. Полину он подчинил себе полностью. Помню, как он однажды пробурчал что-то ей в подъезде, у лифта, и по ее лицу прошла дрожь. Она дернулась, и как будто еще сильнее прокисла, обмякла, постарела, в самой ее фигуре появилась томная линия смирения, согласия, собачьего подчинения.

Однажды я, войдя в наш подъезд, получил сюрприз. На грязном кафельном полу стоял целый флот парусников. Катти Сарк я узнал сам, а названия остальных, удивительно добротно сделанных, почти метровых моделей, с изумительными шелковыми парусами огласил мне сам мастер, вышедший из лифта с трехтрубной Авророй под мышкой.

— Фермопилы, Сэр Ланселот, Титания, бригантина Юнона, фрегат Паллада. А этот глупый крейсер, — как бы извиняясь, добавил Николай Петрович, — мне пришлось сделать, чтобы допустили к участию в конкурсе.

— А как же самолеты? Ревновать не будут?

— Этого добра и на работе выше крыши. Вся жизнь мечтал прокатиться на паруснике. Но удалось пока только на Голландце по Клязьме несколько раз пройти. Однажды даже спинакер выпускали. Красота.

Тут Беспалов запел скрипучим баритоном популярную тогда песню.

— В флибустьерском, дальнем синем море, бригантина поднимает паруса.

Я подпел, побрякал уважительно, потрогал снасти и ушел к себе. От всех этих парусников пахло чем-то фальшивым. А «Бригантина» написана в 1937 году!

Мне показалось, что чайные клиперы, фрегаты и авроры — это второе дно Беспалова, существующее только для того, чтобы лучше спрятать от всех и от самого себя — третье или четвертое или энное, настоящее дно этого неприятного человека. Какие чудовища там обитали? Какие страсти-мордасти пришлось прикрывать алыми парусами?

С Алинкой я тоже несколько раз перекинулся парой слов. Вовсе она не дурочка, не святая, не юродивая! Ну да, глазки слегка косят, отчего она только интереснее кажется, ходит чуток на цыпочках, коленки тоненьких длинных ножек как будто друг к другу приклеены. На школьном синем пиджаке — дюжина значков неправильной группкой. Города. Несколько значков и на жилетке. Суздаль с куполами. Киржач с совой. Псков с Довмонтовой башней. Нормальная московская девчушка. Белокурая. Задумчивая. Но не печальная. Кокетливая даже. Что-то было в ней от чудесных пастушек гоги, беззаботных богинь-милашек, спутниц Кришны.

...

Вначале я Подливанной не поверил. Подумал — врет, подлюга. Кабина в крови?

Хотел было подняться к Беспаловым, потом раздумал. Припрусь без приглашения? И что я им скажу? По плечу хлопая?

Через несколько дней после разговора с Подливанной я пошел на отчетно-перевыборное собрание нашего жилищно-строительного кооператива «Ясень». Ненавижу пустую, бессмысленную говорильню! Но пойти надо было — хлопотал тогда о телефоне, нужна была подпись председателя на ходатайстве. Надоело на улице в мороз бегать.

Собрались все в правлении. Тяжелое это испытание — советские люди в массе. Мучение — и для слуха и для носа и для глаз. А особенно для здравого смысла.

Первым, неожиданно для всех, взял слово участковый милиционер Сидорчук. Он читал по бумажке.

— Преступление совершено 28 мая текущего года в лифте подъезда номер три, около двух часов дня. Три школьника, личности которых еще выясняются, заманили потерпевшую, Беспалову Алину, пятнадцати лет, страдающую детским церебральным параличом, под предлогом, что покажут ей значки, в подъезд, затащили в лифт, остановились между восьмым и девятым этажом и изнасиловали. Крики Беспаловой услышаны не были. После совершения преступления подозреваемые пригрозили убить потерпевшую, если та расскажет обо всем дома, и разбежались кто куда. Беспалова пришла домой плачущая, расхристанная, в крови. Мать потерпевшей вызвала скорую помощь. Потерпевшую положили в больницу на обследование. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на детальное установление обстоятельств совершенного преступления.

На тут же посыпавшиеся на него вопросы взволнованных пайщиц нашего кооператива Сидорчук отвечать отказался, но попросил присутствующих помочь следствию.

— А если у вас есть что сообщить по делу, передавайте мне в письменной форме.

...

Тут поднялась со своего места тихо и смиренно до сих пор сидевшая мать Митеньки Горлова, одного из неназванных Сидорчуком малолетних преступников, Милена Карловна, полная дама сорока пяти примерно лет, страдающая астмой. Горлова начала было говорить, но задохнулась, схватилась за сердце, продолжила, но поперхнулась на первом же слове, закашлялась, стала пунцовой.

— Мой Митенька кха-кха ни в чем не виноват, вы все его знаете, он мухи не обидит, если бы он кха-кха тронул несчастную девочку, я сама бы отвела его в милицию и в колонию отправила! И всю жизнь бы стыдилась. Он говорит, все было не так. И я ему верю. И не позволю тут моего ребенка шельмовать! Не позволю! Кха-кха-кха. И значков никаких у него никогда не было. Митенька марки собирает. С животными.

Какой-то грузный мужчина атлетического сложения про-басил: Кааанечно, она сама себя изнасиловала, а Митенька — ангел божий. Марки собирает с сусликами и дикобразами. В колонию его надо, к петухам на насест, пусть там жизнь узнает.

Горлова в ответ на эту реплику так зашлась в кашле, что чуть не умерла.

Участковый Сидорчук скорчил зверское лицо, гневно посмотрел на грузного мужчину и проговорил: Попрошу тут без мнений и комментариев! Сказал же, личности преступников выясняются! Предложения и пожелания — в письменной форме.

Отбрив так атлета, Сидорчук собирался с достоинством покинуть собрание. Направился к выходу. Но по дороге неловко зацепился ногой за ножку алюминиевого стула и чуть не растянулся. Заскакал растопыренной жабой, уронил фуражку и бумаги. Пайщики дружно заржали.

...

Эстафету переняла мать Игорьька, энергичная Софья Павловна Аскольдова, породистая горбоносая красавица в строгом бежевом костюме и с небрежно наброшенной на высокие декадентские плечи пестрой итальянской шалью. Аскольдова медленно отчеканила: Милена Карловна права. Митенька еще ребенок. И мой сынок тоже. Игорьь на такое злодеяние не способен. Он сознательный школьник — отличник, староста класса. Участвует в выпуске школьной газеты «Юный ленинец». Написал статью о зверствах израильской военщины на оккупированных палестинских территориях. Не трогал он эту Беспалову. Он еще с морскими свинками играет. Кто-то другой над Беспаловой надругался, а на наших мальчиков валят все. И у него никаких значков нет, кроме пионерского.

Бас-атлет и тут не удержался: Ну вот, еще один агнус деи. Юный ленинец он, ути-ути-люшенки. Со свинками играет и о зверствах израильской военщины пишет. Писатель. Знаю я этих юных ленинцев. В колонию его надо отправить, на опетушение!

Народ загоготал, а Аскольдова метнула в атлета злобный и презрительный взгляд. Как дискбол — огненный

диск. Горлова задышала еще тяжелее. На ее рыхлом лице появились, как звезды на вечернем небе, бусинки пота.

Как-то само собой подумалось, что теперь самое время выступить с адвокатской речью перед кооперативными приглашаемыми и матери Павлика, Нине Левинсон. Я поискал ее глазами в толпе и не нашел. Не было ее в зале, потому что после посещения милиции и разговора со следователем, в котором она получила ужасно возмущившее ее предложение, Ниночка так расстроилась, что загремела в Белые Столбы. А отец Павлика, доцент, кандидат химических наук Борис Левинсон, половину жизни проводящий в командировках в Пермскую область, общие собрания нашего кооператива не посещал принципиально, брезговал.

Кстати, через несколько лет Левинсону эту его брезгливость припомнили. У нас ничего не забывают. К тому времени он уже с Ниночкой развелся, сына отправил жить к каким-то родственникам, а сам женился на оптимистке Юльке Млажиной, личной секретарше директора Губахинского химкомбината, Мордашина. Млажина привезла с собой в квартиру доцента двоих писклявых избалованных детей. Доцент тут же захотел расширить свою жилплощадь и подал заявление на освободившуюся из-за отъезда на историческую родину семьи Гузманов трехкомнатную квартиру. А его поставили в конец очереди из тридцати семей. Несмотря на взятку в тысячу рублей, которую он самолично дал бухгалтерше Рубахиной, толстой и вредной женщине с дурным запахом изо рта и черным глазом. Рубахина деньги спрятала в лифчик, но на доцента посмотрела неприязненно, прищурилась как-то по-лисьи и кольнула: Что же Вы, уезжать стало быть, не собираетесь в Телявив, дорогой наш товарищ Лявисон? А мы уж тут думали-гадали, кого в вашу двухкомнатную пустить. Все ваши уже там. А тысяча уже не деньги. Четыре батона купить можно.

Левинсон смутился и на следующий год, не выдержав российских кошмаров, уехал-таки в Израиль. А уже оттуда с огромным трудом и не без греха перебрался в Бостон, где изучает наверное свои формальдегиды и по сей день. А Млажина с ним не поехала, осталась в Ясенево, куда к ней приехал жить и ее бывший шеф Мордашин, отсидев несколько лет по незна-

чительному делу. Говорят, Млажина работает в новопостроенной в Ясенево бело-синенькой мемориальной церквухе. Продает там иконки и свечи. А один из ее сынков там то ли в попах, то ли в дьяконах. А в квартиру Гузманов въехал тогда новый пайщик Архип Черных, заводской завхоз из Лобни, человек современный, то есть совершенно бессовестный гад. Говорят, он так много на своем заводе наворовал, что и Измитову и Рубахиной и Косоротову и даже участковому Сидорчуку за прописку подарил по автомобилю. Врут, наверное. Никогда я не видел Сидорчука за рулем. Он бы и с велосипедом не справился.

А вот что достоверно известно, так это то, что этот Черных довольно быстро ухитрился стать председателем кооператива, а всех старых членов правления заменить на своих людей из Лобни. Косоротова ударил из-за этого инсульт. Он пролежал полгода в Брежневском доме для престарелых и умер. За его рыбками в это время ухаживали соседи, а после его смерти все три его аквариума — с неонами всех цветов, барбусами, гуппи с шикарными хвостами и божественными скаляриями — отдали в детский сад напротив нашего дома.

Измитов живет на Кипре, а Рубахина стала бухгалтершей соседнего кооператива «Тополь». Его председатель, бывший моряк Северного флота, Никифор Трифонович Заглыба, изменяет с ней, несмотря на дурной запах из ее рта, на кожаном диване в помещении правления своей нежной жене Хлое Искандеровне.

Так что никто Павлика Левинсона на собрании не защитил. Или он и не нуждался в защите? У Левинсона водились деньги. Он гордо водил белые жигули. Даже гараж имел. Кажется, после участия его сына в «изнасиловании в лифте», Левинсон гараж продал.

Атлетический бас продолжал басить и изрыгать яды. Некоторые пайщики распалились праведным гневом и жаждали мести — предлагали выгнать семьи насильников из кооператива. Особенно громко кричали те, кому самому хотелось хотя бы в мечтах изнасиловать малолетку-хромоножку.

Горлова потела и безудержно кашляла. Мать отличника Аскольдова сверкала подведенными тушью глазами и греме-

ла своим хорошо поставленным голосом, то и дело впрочем срываясь на истерический крик, и метала во все стороны свои раскаленные взгляды.

Левинсоны блистали своим отсутствием.

Председатель правления кооператива, Измитов, маленький, ловкий и умный татарин, старший научный сотрудник литинститута, написавший докторскую диссертацию о необходимости возвращения в русский язык буквы «ё», предложил вернуться к отчету правления. Его никто не послушал. Запахло судом Линча.

В этот момент старый и опытный в работе с массами член правления, внешне напоминающий бывшего кандидата в члены политбюро ЦК КПСС академика Пономарева, автора учебника «История КПСС», вышеупомянутый ветеран Косоротов, человек нудный до рвоты, любитель аквариумных рыбок и большой почитатель писателя Кочетова, начал монотонно зачитывать отчет.

Постепенно страсти улеглись и все погрузились в сонное идиотическое оцепенение, в котором советские люди проводили значительную часть своей печальной и абсурдной общественной жизни.

...

Несколько дней после собрания в нашем дворе только и говорили, что об изнасиловании в лифте. Слухи о происшествии поползли вначале по Ясенево, а потом и по Москве. Где-то в Кузьминках преступник-подражатель попытался изнасиловать в лифте гражданку Евдокимову, маленькую женщину средних лет, продавщицу в овощном отделе. Та сумела за себя постоять — ударила насильника сумкой по голове. В сумке Евдокимова везла домой с дачи прохудившуюся керосинку. Ударилась как раз в тот момент, когда злодей пытался задрать ей юбку и ревел: Раздевайся, подлюга! А не то замоччу!

Насильником оказался подвыпивший рабочий АЗЛК Владимир Фомичев, по кличке Фомич, дважды судимый пьяница и вор, лицом и повадками удивительно напоминающий нынешнего премьера Путина. Фомич этот умудрился обменять громадный токарный станок на три литра технического спирта. Половина цеха помогала ему выносить и тащить станок к дырке в стене вокруг АЗЛК.

Евдокимова проломила Фомичеву керосинкой голову, но героические нейрохирурги из института Склифосовского спасли зачем-то его никчемную жизнь. Фомичева и до сих пор можно встретить у выхода из метро Текстильщицки на Волгоградский проспект. Он показывает там прохожим какой-то орден, просит у них деньги и рассказывает, что получил этот орден на Афганской войне. Орден Фомичев украл у спящего недалеко от Курского вокзала бомжа. А тот — снял с трупа ветерана, умершего в одиночестве в своей квартире на шоссе Энтузиастов и пролежавшего там ровно два года и три месяца. Когда бомж взломал фомкой дверь и влез в квартиру, чтобы поесть и прибарахлиться, мумия ветерана в полном параде сидела в кресле перед мертвым телевизором. На телевизоре стояли пластиковые слоники и бюстик Ленина.

Евдокимова была осуждена условно за превышение пределов необходимой обороны. В ее родном магазине ее стали дразнить керосинкой. Возможно, это прозвище как-то таинственно повлияло на ее судьбу. Евдокимова-Керосинка сгорела в собственной даче недалеко от Усово. Ее сожитель поджег дачу и уехал в Москву. Из-за ревности. А ревновал он Евдокимову к продавцу в сельпо, Лешке Сухорукову, бывшему охотнику из Барнаула, задушившему, по его словам, голыми руками сорок медведей, настоящему краснощекому русскому богатырю, предпочитающему вместо кофе и чая пить натошак настойку на зверобое и закусывать ее собственноручно завяленным лосиным мясом.

— Мой тузлук, — говорил Сухоруков, попыхивая Примой, — всем тузлукам тузлук. Использую соль с Тихого Океана.

...

После обращения участкового к народу к нам во двор потянулись со всех сторон туристы — они глазели, просили показать тот самый лифт, искали следы крови, охали. Роль гида добровольно взяла на себя Подливанная. Она сидела целый день на лавочке перед злосчастливым подъездом номер три и открывала его своим ключом, когда ее об этом просили туристы. Подливанная показывала им грязный ясеневский подъезд так важно, как будто это была знаменитая картина «Джо

конда», затем вызывала лифт и причитала: Вот, полюбуйтесь, господа-товарищи! Вся кабина была в крови! Сама видела. До чего перестройка довела молодежь! Насилуют друг друга в лифтах, как ястребы. Скажите спасибо президенту нашему, Горбачеву! Армяны с азибаржанами дерутся уже, вот до чего довел страну! А у нас хромоножку изнасиловали параличную, подонки! Святую, юродивую! Сионисты! Сколько же еще протерпит великий русский народ? Да не убоишься от стрелы, летящая во дни, от вещи во тме преходящая, от сряща и беса полуденного.

— От срача? — переспрашивали туристы, посмеиваясь.

— От нападения жидобесов! — поясняла подлюга.

Подливанная была хорошо подкована по этой части на собраниях общества «Память и даже сделала там сообщение, одобренное самим Емельяновым, «об изнасиловании русской юродивой сиономасонами в лифте».

...

Всех, и аборигенов и туристов, удивляло то, что лифтовые насильники не были до сих пор отправлены в колонию или по крайней мере арестованы, а продолжали как ни в чем не бывало жить в своих семьях. Как шло официальное следствие никто не знал. Не знали, стоит ли ждать суда и наказания виновных.

В конце июня все участники прискорбного происшествия были отправлены на каникулы, кто куда. Игорек Аскольдов отдыхал, кажется, в Артеке. Павлик Левинсон жил на даче в Малаховке, Митенька Горлов прозябал в пионерлагере в Звенигороде, а Алинка, пролежавшая недельку в больнице и освобожденная от практики, гостила у бабушки в Павловске. К началу учебного года дети вернулись в Ясенево и первого сентября отправились в школу. Дирекция школы разбросала их по четырем различным седьмым классам, и следила за тем, чтобы мальчики не подходили к Алинке. Но уже в первую неделю учения выяснилось — никакого антагонизма между Алинкой и тремя ее предполагаемыми обидчиками не существовало. Их видели вместе. Они увлеченно о чем-то беседовали и хохотали.

Шло время и ясенеvцы начали потихоньку забывать о «жестоком изнасиловании хромоножки в лифте». Много случилось в тот приснопамятный год событий и поважнее. СССР официально отказался от использования карательной психиатрии для борьбы с инакомыслящими. Началось армяно-азербайджанское противостояние, закончившееся как известно кровавой войной. Россия торжественно отпраздновала тысячелетие введения христианства на Руси. В Сеуле состоялись Олимпийские игры.

...

Помню, стоял на удивление теплый для конца сентября вечер. Около половины седьмого я подошел к нашему дому. У моего подъезда косо припарковались скорая помощь и две милицейские машины. Вокруг них толпился народ. В толпе шныряла Подливанная. Глаза ее радостно сверкали. Туда-сюда бегал еще живой ветеран Косоротов, похожий на Пономарева. Для важности он нацепил на пиджак медаль с профильным изображением Сталина с надписью: «Наше дело правое. Мы победили». Я различил в толпе сипящую Горлову, прекрасную Аскольдову, измученного в борьбе за букву «ё» председателя Измитова, участкового Сидорчука и бухгалтершу Рубахину. Кто-то закричал: Несут! Несут! Пропустите носилки!

Несколько санитаров вынесли из нашего подъезда чье-то тело, покрытое зеленым в желтую полоску одеялом, и поспешно вкатили носилки в машину. Неестественно белая рука вылезла из-под одеяла и беспомощно свесилась. На руке были мужские часы «Полет» на потрескавшемся ремешке из кожзамениителя.

Кто-то прошептал мне в ухо: Беспалов это. Повесился. Прямо над своими парусниками.

...

Вдруг раздался страшный крик, похожий на всхлипывания безумца. К машине скорой помощи подскочила Полина, схватилась за ручку железной двери, задергала ее, попыталась открыть, затем почему-то засмеялась неестественно, грузно осела, посинела лицом и медленно повалилась на землю.

Голоса закричали: Она не знала! Инфаркт!

Санитары открыли дверь, втянули сильными руками Полину внутрь и тут же уехали.

Метрах в двадцати от толпы неподвижно стояла Алинка. Она спокойно смотрела на отъезжающую машину. Улыбалась. Что-то в ее фигуре мне показалось странным. Контуры ее явно изменились. Чуть позже ее увела толстая милиционерша.

У Полины был диагностирован шок.

...

История с изнасилованием в лифте получила, казалось бы, логическое завершение. Безутешный отец покончил с собой. Мать в шоке. Малолетние насильники — на свободе, потому что родители дали кому надо в лапу.

Я вспомнил «Золотого жука» и «Убийство на улице Морг» и решил, если удастся, провести домашнее расследование этого дела. Еще до возвращения Полины из больницы подловил на улице полкана Сидорчука. Участкового нашего я знал лет десять, с тех самых пор, когда в Ясенево поселился. Было у меня с ним одно дельце, закончившееся полюбовно. С тех пор я его дразнил — генералом, а он меня — космонавтом.

— Разрешите обратиться, товарищ генерал?

— Чего тебе еще от милиции надо? Не тронь, как говорится.

— Расскажи, что там с этим проклятым изнасилованием в лифте. Следствие окончено? Суд-то будет? Люди болтают черт знает что. Да ты и сам просил помочь следствию.

Сидорчук почему-то смутился и забурчал: Не суйся ты, космонавт! Не надо. Дело темное, не поймешь ничего. У девчонки тогда врачи сперму обнаружили. Отымели ее грубо. А кто и когда — вопрос. Потому что пацаны эти сопливые, даже если бы захотели, такого сделать бы не смогли, разве что шваброй. Короче, Беспалова уже давно-давно не девушка. И поди разбери, с кем она. А пацаны у следователя пересрали... Все бы рассказали, если бы было что рассказывать, хорьки гундосые...

— Говорят, родители в лапу дали?

— Говорят, что кур доят! Этой гниде Зинке давно пора хлебоприемник порвать за такие заявления. А может и сунули, не знаю. Следствие прекратили. Девчонка сжалась, бесто-

лочь. Уперлась как взрослая. А на очной ставке с подозреваемыми — начала с ними про их классные дела болтать. Географа им какого-то нового дали, обалдую-нацмена. А детки мышей белых на пол выпустили. Поприветствовали. Следак-то ушлый, про мышей и про нацмена послушал, посмотрел, да дело потихоньку и свернул. И мамаша ее — та тоже... Дичь какую-то порола вместо показаний. Больше ничего не знаю. Не разглашай, что сказал, а то посадим. И с папашей Беспаловым, тем еще фруктом, покойником, все неясно. Лет двадцать назад он за малолетку сидел. Зачем он удавился-то? Может, заметил что? Последствия, так сказать, своих собственных действий. Догадайся сам, космонавт.

Сидорчук подмигнул мне как-то неловко и быстро ушел. А я остался стоять. Вот тебе и хромоножка. Пятнадцать лет. Дела.

...

Второй разговор у меня состоялся с Митенькой Горловым. Недалеко от школы. Я его увидел, подошел к нему, не знал, что сказать. Мы с его папашей на рыбалку вместе ездили, на Можай. На его москвиче. Ничего не поймали, кроме одного маленького леща. Когда митенькин папаша из его жабр крючок вытаскивал, я слышал хруст. Дал себе зарок — никогда больше рыбу не ловить. И поясницу я там застудил. До сих пор мучаюсь. А митенькин папаша — какую-то телку в деревне подцепил, да и загудел с ней, пришлось мне назад на электричке ехать. Спасибо, до вокзала подкинул. Закончился его скоротечный роман в милиции. Что-то он со своей телкой не поделил. Занялся рукоприкладством. А она — не дура, в сельсовет, к телефону, у нее дядя мент. Тот приехал и рыбака забрал. А с телки побои сняли в Можее. Короче, он им все деньги отдал и еще раза три туда приезжал и платил ментам дань как Чингисхану.

А ко мне на обратном пути хулиганы пристали у Кубинки. Пришлось от них по поезду драпать. Отстали. Еще к кому-то полезли. Был бы у меня пистолет, убил бы гадов. Что мы за народ? Уроды.

Митя меня узнал и сам заговорил.

— Вы меня о том деле спросить хотите. Да?

— Ответь мне только на два вопроса. В лифте вчетвером в тот день были?

— Были.

— Беспалову насильно затащили?

— Нет. Мы к Игорьку ехали, на восьмой. После школы. Хотели у него в гоп-доп поиграть. Его мать на передаче была. Лифт застрял. Свет погас. Мы дурачились, орали. Потом Павлик догадался — встали все так, чтобы пола не касаться. В стены ноги уперли, в распорку. Алинка не смогла, пришлось ее руками держать. Она тяжелая. Пол у лифта поднялся — нас и вызвали. Свет зажегся. Только тут мы кровь разглядели.

— Какую кровь?

— В темноте кто-то случайно Алинке по носу врезал. Ну не нарочно! У нее кровь шла из носа. Как из крана. Лифт приехал на первый этаж — а там, эта. Зинаида. Глянула на нас — у меня рубашка из штанов вылезла, у Павлика штаны на коленях, Игорек трясется, он нервный. А Алинка — вся в крови. И на полу кровь. Зина визжала как психованная. Про Горбачева что-то сказала. И про бесов. Обещала в милицию позвонить. Мы испугались. Алинка и Павлик — по домам. А Игорек — ко мне. У меня в комнате шалаш и радио. С лампочкой. Мы там три часа просидели. Читали книжку веселую. «Монахиню». А потом, я уже спал, милиция приехала. Я им все рассказал, мне не поверили. А Алинка уже в больнице была. А почему — не знаю. Не из-за носа же. Под утро меня домой мама на такси отвезла. Потом еще таскали. Орали на меня. Наручники надевали. Провода показывали. Говорили, будут пытаться и бить. Бумагу мне какую-то совали. Сказали, подпишешь, больше не будем таскать. Я подписал. Мать там кашляла. Отец наш старый москвич продал. Говорил — откупиться надо. Больше ничего не знаю. Не говорите родителям, что я вам рассказал. Меня отец выпорет. Как продал москвич, напился, и меня и мать избил. У матери приступ, а он ее по лицу.

...

С Павликом разговор получился короткий.

— Все было по согласию. Алинка сама нас в лифт заманила. Давалка. Юбку задрала, грудь показала. В рот брала и туда

давала. Митенька испугался и даже штаны не снял. Игорек так трясся, что так и не попал в цель. А я — все сделал как Шварценеггер.

Я не поверил ни одному его слову. Но понял — он будет стоять на своем до последнего, потому что сам верит в эту ложь. Или не ложь?

...

А с Игорьком разговор был еще труднее.

Игорек с виду — послушный такой мальчик. Причесанный. В белой свежей рубашечке. Аккуратный пацан. На мать похож. Может, пидорок? Представился ему, сказал зачем-то, что я из органов. Показал для понта институтский пропуск, он у нас с гербом. Он вроде поверил, затрясся как ребенок.

Заглянул я ему в глаза. Нет, не боялся он меня. И трясся не от страха, а от возбуждения. Начал со мной комедию ломать. Как с тем учителем-нацменом. Это ведь он тогда мышей в зоомагазине купил и пустил в класс.

— Насиловали вы тогда вчетвером Беспалову в лифте?

— Да.

— А ты не врешь?

— По очереди. Двое за руки и ноги держали, а третий. Все отметились...

— А в лифт Алинку как заманили?

— Сказали, у Игорька коллекция значков. Хотели завести домой и связать — руки и ноги веревками к ножкам лежанки, в растяжку. Веревки заранее приготовили. И кляп. Но Митька не выдержал и в лифте бузу начал. На кнопку стоп нажал. И понеслась. Алинка орала как сумасшедшая, а мы все на свете забыли, когда ей трусики стянули.

— А откуда кровь? Били ее?

— Не били, только лапали. А кровь — у Алинки менструация была. Мы и не знали, что так бывает. Запачкались все.

— Ты это все следователю рассказал?

— Все рассказал. А он меня спросил, есть ли у нас машина или дача. А у нас — ни того, ни другого. Я с матерью один живу. Отец уже пять лет как в другой семье. И алименты не платит. А милитон тогда на мать посмотрел и сказал — ничего,

найдем другой выход. Мать зубы сжала, но к нему домой целый месяц ходила. Приходила под утро. Рассказать, что она у него делала?

— Не надо.

— Ну что, довольны? Доволен ты, козел с гербом?

Игорек дернул щекой, нервно затрясся и убежал от меня. Отбежал метров двадцать, поднял камень и в меня бросил, сволочь. Слава богу, не попал. Но охота вести мое расследование дальше у меня пропала.

...

Месяца через четыре встретил я Полину. В том же универсаме, на Паустовского. Все дороги туда вели

Она ждала у открытых холодильников мясо. И я ждал. Там и столкнулись. Вбрасывали продавщицы в контейнер мясо, как шайбу в хоккее. Все жадно хватали замороженные куски и отходили в стороны. Продавщицы орали: По одному куску на человека, граждане, не толпитесь, не давите!

Но мы толпились, давили, мужчины грубо отталкивали женщин, те отпихивались как могли и царапались. Несколько рук одновременно хватали один мерзлый кусок в целлофане, начинались схватки из-за желтых костей. Дарвинизм...

Я оттащил тогда два куска. Как тогда шутили — для себя и для того парня. Полина к самому пеклу пробиться не смогла. Я галантно подал ей мясо. Она приняла. Улыбнулась, сверкнула стальной коронкой. Опустила глаза, повела кокетливо плечами. Я предложил ей донести до подъезда тяжелую сумку. Поздним вечером Полина спустилась ко мне на первый этаж.

Мы сидели на кухне друг против друга, пили сладкий чай, ели принесенный Полиной пирог с капустой и болтали. Я налил себе и ей грамм по пятьдесят водки, мы выпили, а еще через полчаса уже лежал на ней и наслаждался тем, как мягко волнуется подо мной ее податливое тело. Уснули мы только под утро.

Вечером следующего дня Полина пришла ко мне с беременной дочерью. Алинка ласково обняла меня, нежно заглянула мне в глаза, поцеловала в губы и солнечно улыбнулась.

ОБНОВКА

Человека, входящего в семейное рабочее общежитие, расположенное в двух блоках типового панельного девятиэтажного дома на улице Паустовского, встречал алый транспарант, на котором было начертано крупными белыми буквами: ОБЩЕЖИТИЕ СЕРЫЙ СОКОЛ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕРОИЧЕСКИЙ РАБОЧИЙ КЛАСС СТРАНЫ СОВЕТОВ! ПАРТИЯ ЛЕНИНА — НАШ РУЛЕВОЙ!

В правом углу транспаранта неверной рукой какого-то мизантропа было приписано черным фломастером: А ИДИТЕ-КА ВСЕ НА ХЕР!

В левом углу тем же фломастером кто-то написал СОКОЛ СРАНЫЙ, Я ТУТ НОГУ ПОТЕРЯЛ и нарисовал рядом птичку, похожую однако больше на обыкновенного воробья, чем на сокола, несущую в клюве маленькую человеческую ногу, волосатую и босую.

Под транспарантом сидела вахтерша баба Нина, равнодушная по-видимому и к транспаранту и к надписям на нем, женщина неопределенного возраста с колючими глазами, небрежно выщипанными и подведенными черным карандашом «по-древнеегипетски» бровями и подкрашенными хной клокастыми волосами. Баба Нина в любое время года парилась в сером ватнике, из-под которого вылезала грубая коричневая юбка, похожая на медвежью шкуру. Летом баба Нина носила щегольские сапожки «Аляска», подаренные ей бескорыстными искателями ее милостей, а в остальное время — короткие, лоснящиеся валенки непонятного цвета с галошами.

— Пар костей не ломит! — авторитетно утверждала баба Нина.

— Тута на проходной сквозняки почки студют! У нас полы холодные, как в мертвецкой. Совсем можно заболеть...

До общежития баба Нина работала сторожихой в Пятой Градской и про полы в морге знала не понаслышке.

На голове у бабы Нины круглилась мохнатая молочно-белая вязаная шапочка с маленьким пятнышком. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что это не пятнышко, а аккуратно пришитая к шапке тряпочка с вышитым изображением розовой кошечки, выпустившей противные круглые коготочки и готовящейся сцапать ими микроскопическую мышку.

Баба Нина встречала всех входящих в общежитие одинаково приветливо: Гражданин, покажи документ! Пропуск, говорю, покажь! В десять закрываем двери! У нас тут семьи с детьми живут, а не разиньрот и поелбля!

«Разиньрот» на бабынинином языке означало — разврат. Что значит мнимосоставное слово «поелбля» читатель может догадаться сам.

...

На девятом этаже общежития, в трехкомнатной «мужской» квартире, в четырнадцатиметровой комнате, выходящей единственным окном на огромный, замызганный и уделанный собаками двор, в середине которого стоял небольшой бетонный сарай с каким-то электрическим и водным хозяйством, к северному боку которого были пришпандорены две телефонные будки, к которым, как ленточки к бескозырке, прилеплялись очереди, состоящие из нетерпеливых и раздраженных людей, жили два шофера — Иван и Митрофан. Оба за тридцать, оба родом то ли из-под Анапы, то ли из-под Анадыря, оба холостые, крепкие, как все шоферы, оба регулярно пьющие. Иван был повыше и фигурой помощнее, любил и поговорить. Активный человек, активистом на выборах работал. Правда домой к избирателям, как того от него требовали в избирательной комиссии, он никогда не заглядывал. Только галочки в списке ставил. Объяснял он свое поведение так: Ходи, не ходи. Все равно в задней комнате бюллетени нетронутые лежат, как ИМ надо заполненные. А всю макулатуру, что избиратели заполняют, тут же после выборов, не считая — на помойку. Без эмоций!

Митрофан — был поменьше и послабее Ивана, он почти всегда молчал. Даже остановки забывал объявлять в своем автобусе, когда объявлятельная машина сбоила. Вообще, был человеком пассивным. Разве что, раз в месяц на голубятню лазил. Гонял сизарей по сизому московскому небу. Ему эту его пассивность всю жизнь вменяли в вину различные советские начальники. Ставили его на вид. Прорабатывали. А он в ответ только зевал, кивал и даже не оправдывался.

Иван носил по выходным замшевую куртку и гэдээровские джинсы. Митрофан и на работу и на танцульки ходил в темной мешковатой куртке непонятого покроя, в таких же штанах и коричневых бутсах. Словом, Иван и Митрофан были обычными шоферюгами, только Иван был чуть побойчее, а Митрофан — поскромнее. Жили шофера ладно, как говорил Иван — без эмоциев. Не дружили, но приятельствовали. Выпивали вместе. Лежали на своих кроватях, курили Беломор. Иван раздражался иногда потоком непечатных слов, потом замолкал и подолгу смотрел на нечистый потолок их комнаты. Митрофан часто дремал или книгу читал, «Историю древнего мира», учебник для пятого и шестого класса средней школы. И Иван и Митрофан не имели и восьмилетнего образования, были взятые в Москву «по лимиту», водили рейсовые автобусы и терпеливо ждали собственную жилплощадь — комнату в коммуналке в том же Ясенево, которую начальство обещало предоставить каждому из них по окончании десяти лет работы.

— Если не будет выговоров или взысканий!

— Если будешь активно вести общественную работу и регулярно ходить на выборы!

— Во всем одобрять и поддерживать линию коммунистической партии!

— Не давать спуску прогульщикам, пьяницам, летунам, самогонщикам, морально разложившимся тунеядцам и скрытым врагам советского строя!

...

Иван и Митрофан ни с кем не боролись, но разлагались как умели, работали свехурочно, поддерживали линию, не ввязывались в драки, случавшиеся в общежитии почти еже-

дневно, к советской власти во всех ее проявлениях относились с народным фатализмом... Как к природным явлениям — горам, ураганам, равнинам или лесам. Не верили, что люди где-то живут иначе. Были довольны своей бессемейной, бестолковой жизнью.

У Ивана то и дело появлялись подруги на стороне. Чаще всего — такая же лимита, как и он, только из женского общежития. Он нелегально жил с ними неделями или месяцами, потом его с позором выгоняли вахтеры или сами же хмельные сожительницы, и он возвращался в свою неуютную, неприбранную мужскую комнату на девятом этаже, к своему неразговорчивому соседу, читающему учебник истории.

Митрофан и подруг не заводил. В его теле не бушевали страсти. Приходил, смертельно усталый после смены, принимал душ, варил макароны, пил чай и ложился на кровать. Перед сном онанировал, тихо сопя и вздыхая, кончал под одеялом, вытирал сперму полотенцем, убирал его в тумбочку и засыпал. Возбуждал себя Митрофан картинками из того же учебника. Представлял себе страстную Клеопатру, с изумрудным ожерельем на смуглых грудях, прекрасную бледную, в сиреневых шелках, царицу Елену или доисторическую, с открытой волосатой грудью, похожую на гориллу, женщину с огромной корявой дубиной, австралопитечку с иллюстрации к статье «Высшие приматы в пустыне Калахари — роль труда в становлении человека».

Этой женщине Митрофан дал зачем-то странное имя — Мончичи. Когда Иван отсутствовал, Митрофан громко говорил с Мончичи в своей комнате, рассказывал ей о проделках пассажиров в его автобусе, жаловался ей на погоду, на механиков, на начальство, желал ей спокойной ночи...

Изредка Митрофан пытался разобраться в себе, понять, что же он все-таки сам за существо. Напрягал память, пытался что-то хорошее вспомнить, о чем-нибудь важном подумать, что-то сам для себя решить, но ничего на ум не приходило, кроме Мончичи. В голове у Митрофана было какое-то зудящее марево. В ушах часто звенело и стрекотало. Тысячи потусторонних кузнечиков покрывали своим стрекотом его жизнь, как снег — московские улицы...

Соседями Ивана и Митрофана по квартире были три толстых казаха — Бактыбай, Бактыгерей и Балабек, тоже шоферы, и живущий один в крохотной комнатке ловкий старичок Урмантай Урмантаев, слесарь. Иван и Митрофан звали его дядя Урма, относились к нему «без эмоций», иногда приглашали его третьим.

Казахи с соседями не общались. Жили какой-то своей жизнью. Пели вместе что-то заунывное по вечерам. Младший, двадцатипятилетний Балабек заходил иногда к русским соседям и спрашивал: Иван-Митрофан, бутылка есть?

Иван отвечал ему лениво: Нет водки. Ты, эта... Без эмоций! Сходи на перекресток с Голубинской, там у таксиста всегда купить можно. Пятерик дай, хватит с них, а то они всегда червонец просят. И нам нальешь за совет по чекушке. Шутю, шутю...

Когда Балабек уходил, Иван замечал горько: Нацмен — он и есть нацмен. Чурка глупая! Шуток не понимает! Целина! Не может водки купить! А баранку вишь крутит, как ты да я. Забись, вока! Что ты думаешь, Митро?

Митрофан тянул: Да ушшш... Чуркодаавы...

...

Дядя Урма говорил о себе так: Я православный татарин, волжский болгар, кряшен-кераит, крещеный значит, мой род от Золотой Орда, мой предок — святой Авраам, который колодец рыл. С живая вода. Его убил Чингисхан. У меня в Буинске жена Агдалия... Хочешь перекрещусь? Икону видишь в углу? Казанская... Чудеса делает. Из запоя выводит. Что? Почему Сталин рядом с иконой? Потому что при нем был порядок! Он любил простой человек. Церковь у нас открыл.

О том, что пришлось ему таки при Сталине отсидеть семнадцать с половиной лет по пятьдесят восьмой статье, дядя Урма никогда никому не рассказывал, стыдился. Когда его, девятнадцатилетнего паренька из предместья Казани, арестовали и посадили, он по-русски и говорить не умел. Ему шили политическую статью, а он думал, что его преследуют за то, что на работе инструменты крал на обмен и продажу. Он так всем и говорил в лагере: За плоскогубца пострадал, значит...

А на самом деле его осудили по статье 58-9 за «причинение ущерба системе транспорта, водоснабжения... в контр-

революционных целях». На фабрике трубу прорвало с горячей водой. Оборудование новое залило, обварило рабочих. Чинил трубу Урмантай, за это его и посадили. Вместе со всей бригадой. И хотя по статье 58-9 наказание такое же, как и по страшной статье 58-2 (вооруженное восстание), Урмантая не расстреляли, а дали «десятку». А потом, как и другим, от доброты советской души, «добавили». Вышел из лагеря он только в пятьдесят четвертом. Выжил дядя Урма в лагере, потому что по счастливой случайности угодил в придурки, прислуживал начальнику лагеря, подполковнику-татарину, говорил с ним по-татарски, убирался, стирал и гладил его одежду, подворовывал, жировал, а потом, когда и подполковника арестовали, не колеблясь подписал показания, которые подсунули ему следаки. Если бы он умел читать по-русски, то наверно ужаснулся бы тому, что подписал — подполковник его обвинялся в том, что собирался передать автономную Татарскую Советскую Социалистическую Республику, вместе с рекой Волгой, со всем населением и полезными ископаемыми — нефтью, углем и доломитами — то ли Римскому Папе, то ли японскому императору, но дядя Урма читать не умел, сам по подполковничьему делу осужден не был и остался в придурках. Любопытно, что по своей прямой специальности — слесаря-сантехника — он не проработал в сталинском лагере ни одного дня.

По выходе из лагеря Урмантай устроился на молочной комбинат в городе Набережные Челны, связался там с православными татарами — кряшенами, ходил в церковь, даже причащался и каялся, но икону свою, Богоматерь Казанскую, умудрился таки в церкви прямо со стены украсть. За несколько лет до выхода на пенсию перебрался за взятку в Москву, работал слесарем в большом гараже, осторожно подворовывал и там... Надеялся, что заживет в столице как король. Но быстро разочаровался. Хотел было вернуться в Набережные Челны, но так и не поднялся.

— Что тут в этой ваша Москва делать? Человек — одна сволочь тут. Собаки—народ. Ясенево — один церковь и тот закрыт. Могила-город.

Не чуждый идеям евразийства Иван отвечал ему лениво: Ты, дядя Урма, монголотатар. Москва ему не нравится! Ты без эмоциев, хунвейбин! Не пугай Европу! Чурка ты, гони на чetyрех в свою Казань, к твоим пидорам-кряшенам. Там тебе будет хорошо. Заебись, вока!

...

Шестого ноября 197... года Иван пришел домой, в общезитие, радостный, с обновкой. Которую тут же показал Митрофану.

— Митро, гляди, какие ботинки! Саламандер, бля. Почти новые. Полтора года носил хозяин. Кожа-нубук! Такой обуви износу нет! Мелкий ворс! Заебись, вока! Я уже бабе Нине показал, сказала глупая баба, что это козлина. Ну что с вахтерши взять? Какая, говорю, тебе козлина? Сама ты козлина стоеросовая в валенках, это... кожа-нубук, немецкая работа. К замшевой куртке будет пара!

Иван рассказал, что ботинки эти расчудесные подарил ему армянин Назарян, «цеховик и жучище», которому он сегодня, после смены: Кафель ложил в ванной. А кафель этот я вчера прямо на автобусе с центрального склада увез. Кореши отложили. Голубой кафель. С лебедями. Импортный, голландский. ЭластИк... Сотенку подкинул и ботинки подарил! Заебись, вока! Армяшка, а богат, как жид! Нацмен, конечно, чурка черножопая, а человек солидный, без эмоциев. Честно расплатился. Руку пожал. И Саламандер вручил. Я их, сказал, только полтора года носил, а им износу нет. Скорее ноги отсохнут, чем такие ботинки поломаются! Бежевая кожа. Нубук! По самой по ноге! Немецкая работа...

Лежащий на своей кровати Митрофан отложил учебник древней истории в сторону, осмотрел ботинки, потрогал коротким большим пальцем толстую мягкую подошву и сказал: — Даа, ушшш, ботиинки...

Иван пошел показывать ботинки дяде Урме.

...

Утром следующего, праздничного дня Иван и Митрофан спустились в Красный уголок, посмотреть военный парад. На старом, выдавшем виды, письменном столе стоял цветной те-

левизор «Темп». Вокруг него сидели на поломанных алюминиевых стульях обитатели общежития — рабочие с женами и детьми. Пришли смотреть парад даже некоторые нелегально проживающие в общежитии бабушки и дедушки. Подошла баба Нина в своем ватнике. Спустился и дядя Урма.

Многие курили, в воздухе можно было топор вешать. Пахло перегаром и нечистой одеждой. Дети кашляли. Женщины шушукались, хихикали. Мужчины басили. Старики кряхтели. Бабки потирали себе поясницы, кутались в оренбургские платки. Были и пьяные. Эти городили чушь, хватали за руки, приставали, пытались что-то объяснить. Их вежливо успокаивали. Иван и Митрофан раздавили под парад свой первый «пузырь» — бутылку Московской. Закусывали ржаным хлебом, переложенным розоватым салом и маринованными чесночными головками. Сало привезла несколько месяцев назад мать Митрофана, приехавшая повидать сына и отовариться. Уговаривала сына бросить эту Москву и вернуться в их поселок: Сынок, ты мое единственное утешение, пропадешь ты в этом вертепе. Сколько можно тут на боку валяться? Я тебе и невесту присмотрела. Такая стройнюшенька, Сонечка Простова, помнишь напротив нас, в бараке бабка Простуха жила? Которая в корыте утонула. Дразнили ее еще уткой дохлой. Ее внучка.

Митрофан отвечал матери: Ну, маа... Чего ты...

Маринованный чеснок покупал Иван на Черемушкинском рынке у знакомого грузина Мамука, продавца и известного бизнесмена, хозяина подпольного игорного заведения, необыкновенно породистого человека с тонкими старомодными черными усиками над синеватыми губами, называющего себя карабахским князем. Под белым халатом князь носил кольчугу и небольшой кинжал. Иван говорил про него так: Во, Мамук-Карабах! Тоже ведь чурка, а миллионер! Жукастый. Без эмоциев пацан. Зарезать может.

Игорный дом Мамука помещался тогда в гостинице при рынке, а до этого — в деревянной избе.

Избу эту игорную я прекрасно помню. Стояла она недалеко от рынка до начала семидесятых годов. Вечерами и ночами в

ней резались в карты непонятные нам, детям окрестных домов, люди. К избе этой было опасно подходить — оттуда могли выстрелить. Ночами окна избы светились оранжевыми огнями, за тяжелыми кремовыми занавесками мелькали тени, из избы доносилась неприятная глухая восточная музыка. Милиция — и рыночная и окрестная была куплена на корню и к избе и близко не подходила. Однажды в избе убили какого-то человека средних лет. Труп его, не мудрствуя лукаво, выбросили в окошко. Целый день на его залитые кровью седые волосы глазели с безопасного расстояния прохожие и мальчишки. Только к вечеру приехали скорая помощь и милиция и забрали мертвое тело. В избу санитары и милиционеры даже не зашли.

...

События, показываемые на экране телевизора, общежитская публика комментировала вяло.

Когда генерал армии Говоров доложил о построении участников парада маршалу Устинову и камера показала толпу ветеранов с медалями, кто-то заметил горько: Ветеринары. Так в те времена дразнили иногда ветеранов Великой Отечественной Войны. Иван говорил в сердцах: Ветеринар сам не работает, другим работать не дает. И ворует. Без эмоциев.

Устинов объехал войска. У каждого подразделения прычал свое поздравление. Казалось, что военные отвечали ему громоподобным лаем. Заиграли фанфары. Камера показала крупным планом портрет Ленина. Кто-то не удержался и брякнул: Лысый хуй!

Общежитские стукачи тут же приподнялись, вытянули шеи, пытались определить, кто это сказал, но, встретившись с нескрываемо агрессивными взглядами рабочих и шоферов присели, поникли.

Как всегда решительный, целеустремленный Ильич на советской иконе смотрел куда-то влево, вбок, поверх солдатских голов, в сторону Исторического музея, основанного кстати указом императора Александра Второго. Не мог же он смотреть прямо перед собой — там стоял мавзолей, в котором лежало его собственное тело в стеклянном саркофаге. И это предусмотрели кремлевские пропагандисты.

Ильич казалось играл желваками на желчном лице. Что еще хотел этот террорист от России? Почему так тревожен был взгляд его надменной рожи? Догадывался ли он, что советскому строю и самому, созданному им, государству осталось существовать одно, последнее, десятилетие? Или прозорливый статистик уже провидел, в какую гадость превратят его наследники «новую свободную Россию» и тайно ликовал.

Устинов на мавзолее уткнулся в бумажку в небольшой папке и зачитал речь. Камера показала крупным планом стоящего рядом с ним в могучей меховой шапке как будто надутого старика с брюзгливым глупым лицом — Брежнева, потом остановилась на сочащейся высокомерием и подлостью морде Гришина, задержалась на лисьей мине педофила Сулова, этого советского идеологического доктора Менгеле.

— Ууу, сычуги, — отозвался кто-то из рабочих.

В конце речи Устинов провозгласил по-старчески грозно: **ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, РУКОВОДЯЩАЯ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИЛА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА! СЛАВА ВЕЛИКОМУ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ, СТРОИТЕЛЮ КОММУНИЗМА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ БОРЦУ ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ! УРА!**

И Красная площадь и вся огромная советская страна, раскинувшаяся громадным бычьим цепнем от Пскова до Владивостока ответила этому дебильному призыву ревом одобрения.

Рабочий класс в Красном уголке общежития «Серый сокол» промолчал. Слышно было только, как булькает водка, переливаясь из бутылок в граненые стаканы, как кто-то тихо говорит: Ну, будем, эти их всех... С праздничком!

«С праздничком» говорилось не без едкости, но не зло, а как бы опущено, безнадежно. Тысячелетние рабы давно уже не страдали от ошейников, не реагировали на пинки и окрики, а от массовых мероприятий и зрелищ, устраиваемых властителями для демонстрации их ничтожества, научились получать удовольствие.

Чеканный марш кремлевских курсантов, «победителей социалистического соревнования среди воинов», рабочие люди прокомментировали так: Во как идут, касатики. Сапог к сапогу. Победители. Сволота...

Иван сказал в полголоса: Заебись, вока! Без эмоций шпарют. Как меха у баяна. С хрустом, как по костям. Их бы за баранку посадить, посмотрели бы мы...

Кто-то отозвался: Ваня всех за баранку своего сто восьмого посадить хочет. Следующая остановка Киевский вокзал.

После окончания парада Иван и Митрофан поднялись на лифте на девятый этаж. Прошли в свою комнату. Открыли банку сайры в томате и начали давить второй пузырь.

После праздничного обеда пути соседей должны были разойтись. Иван хотел навестить одну из своих пассий — красавицу Мотю из Челябинска, могучую бульбоносую женщину с рябым квадратным лицом, живущую в рабочем общежитии где-то в районе метро Полежаевская. Собирался надеть свою замшевую куртку и обновку — мягкие бежевые ботинки.

А Митрофан хотел соснуть, а затем заняться чтением своего учебника. Судьба, однако, распорядилась иначе. Уже через несколько часов их тела лежали в судебно-медицинском морге на улице Цюрюпы.

...

Поверьте мне, дорогие читатели, описывать то, как они туда попали, не доставляет мне никакого удовольствия. Мне искренно жалко этих работяг, провозглашенных гегемонами советского общества, а на самом деле презираемых и партийной номенклатурой и интеллигенцией париев. Я жил той же жизнью, что и они. Смотрел на тот же двор. Покупал ту же дрянную колбасу «по два двадцать», тот же синеватый творог «в гондоне» и ту же перловку в том же ясеневском универсаме, дышал тем же отравленным выхлопными газами воздухом, ездил на работу в тех же переполненных автобусах и в вонючем метро, что и они. Много раз заходил в общежитие «Серый сокол», чтобы обменять там краденый на работе спирт на различные, необходимые в домашнем хозяйстве, вещи — выключатели, краны, замки, доски, цемент, оргалит, алебастр, краску, эбокситку и прочее. Видел там и иванов и митрофанов и, хоть и опасался по вечерам, что кто-нибудь из них хрястнет меня чем-нибудь тяжелым по голове, просто так,

от избытка чувств, но общий язык находил с ними гораздо быстрее, чем с высоколобыми и чванливыми коллегами по научно-исследовательскому институту.

Понимал, что разница между мной и ими — причуда судьбы, случайность, что я запросто мог бы оказаться на их месте, родился я не в привилегированном московском доме в семье ученых, а где-то в глухой провинции — в Армавире или Актюбинске...

Прежде чем продолжать мой горестный рассказ, я, в интересах истины, хочу вернуться к тому моменту, когда Иван и Митрофан, прихватив с собой водку, сало и маринованные головки чеснока с Черемушкинского рынка, удивительно кстати похожие на небольшие перламутровые полумесяцы, вышли из своей комнаты и направились пешком вниз по лестнице, даже не вызвав общежитский лифт, в кабину которого с трудом втискивались трое нормальных мужчин.

Как только говор Ивана и шаркающие шаги ленищегося поднимать ноги Митрофана затихли, дверь в комнату дяди Урмы беззвучно открылась и оттуда, удивительно мягко и легко для своего возраста, выпрыгнул самопровозглашенный старичок-кряшен. По-воровски оглянувшись и убедившись, что входная дверь заперта, он изящным движением отодрал от четырехугольного отверстия, в которое должна была войти защелка английского замка, приклееную к нему крохотную деревяшечку, открыл дверь в комнату Ивана и Митрофана, шмыгнув туда, мгновенно нашел опытными глазами Иванову обновку, спрятанную под одеяло, вынул ее оттуда, положил на место ботинок Иванову старую рубашку, свернутую в трубу, завернул Ивановы ботинки в принесенное с собой с преступными целями цветное махровое полотенце и тут же покинул комнату соседей. Захлопнул за собой дверь. А через минуту покинул и квартиру. Дверь в свою собственную комнату дяди Урма предусмотрительно оставил чуть приоткрытой.

На лестничную клетку он вышел в домашней одежде, поверх которой накинул старый пиджак, на голову натянул засаленную спортивную шапочку, похожую на тубетейку, а под мышкой нес небольшую матерчатую сумку, на которой было

грубо напечатано изображение улыбающейся девушки с гитарой. С этой сумочкой Урма вышел на холодную улицу, протрусил по ней метров двести и зашел в подъезд кооперативного шестнадцатизэтажного дома, поднялся на лифте на одиннадцатый этаж и позвонил в квартиру номер 134. Открыла ему какая-то женщина, по виду — тоже татарка. Ей он что-то сказал по-татарски и подал сумку. Сумку женщина приняла и исчезла. А еще через две минуты дядя Урма уже сидел в Красном уголке, недалеко от Ивана и Митрофана и вместе со всеми смотрел парад на Красной площади. После окончания парада дядя Урма наверх не пошел, а поболтал с людьми, а потом потихоньку ушел к своей татарке в шестнадцатизэтажный дом и заночевал у нее.

...

Иван заметил пропажу обновки не сразу. Приятели сидели на своих кроватях, между которыми они поставили тумбочку. Вторая поллитра была уже пуста. На тумбочке лежали остатки ржаного и пустая консервная банка из-под сайры с несколькими красными каплями на сверкающих металлических внутренних сводах.

Иван захотел полюбоваться на обновку, откинул одеяло, но вместо «Саламандера» обнаружил там собственную рубашку, которую давно было пора постирать.

Поначалу Иван только тупо смотрел на рубашку, потом развернул ее зачем-то, по-видимому надеясь, что ботинки как-то в ней затерялись. Из нагрудного кармана рубашки посыпалась на кровать мелочь. Иван сгреб ее и засунул в карман брюк. Деньги эти он украл в квартире армянина Назаряна. Монетки лежали в вазочке для конфет и Иван прихватил их по дороге в ванную, когда хозяин был на кухне.

Забыв про мелочь, Иван устался на ни в чем не повинного Митрофана. А тот даже не понял в чем дело. Лег на кровать, взял в руки книгу.

Тут Иван завелся. Впал в ярость, в аффект, взбесился — назовите как хотите. Выбежал из комнаты и, не постучав, ворвался в комнату к казахам. Те сидели по-турецки на полу, в кружок. Посередине что-то курилось. Воняло как-то странно.

Иван, теряя голову и сатанея, спросил казахов прерывистым сумасшедшим голосом: Ботинок моих не видели, чурки? Кожанубук, спиздили, суки! Заебись, урою гадов!

И бросился зачем-то на старшего, Бактыбая, здоровенного сорокалетнего быка, с мордой шириной в таз. Бактыбай поведению Ивана не удивился, и не такое видел в общежитиях, и ударил Ивана тяжелым кулаком в лоб. У Ивана посыпались искры из глаз, он сел на пол и уставился на казахов. Разглядел на их лицах глубокое презрение. Понял — не брали казахи его обновки. Вскочил и вылетел из их комнаты. Как ураган ворвался в комнату дяди Урмы. Даже не удивился тому, что дверь была не заперта, и мгновенно раскидал все его вещи. Открыл чемоданы, вытряхнул на пол содержимое небольшого шкафа-пенала. Ботинок своих, естественно, не обнаружил и вернулся к себе.

Подскочил к бедному Митрофану, схватил его за грудки, встряхнул и грозно глядя ему в глаза спросил: Митро, где моя обновка? Где? Где?

Митрофан и ответить не успел, как Иван подошел к окну, быстро открыл его. Страшно скрипнули ручки и петли, стекла задрожали и чуть не вылетели.

В лицо бешеному Ивану ударил холодный и гнилой московский воздух. Иван глянул вниз. Двор зиял ужасной ямой. Покрытая салатovým кафелем стена тянула в бездну.

Через мгновение несчастный Митрофан уже висел головой вниз, лицом во двор...

Обезумевший Иван держал его правой рукой за ногу. Тряс его, поднимал и отпускал, и скрежетал шальной глоткой и ощеренной пастью.

— Где, где, где, где, где моя обновка???

Митрофан видел исчезающее и появляющееся вновь серое небо и качающуюся противоположную стену двора, тоже кафельную, салатovou. Поискал глазами в небе голубей...

Он ничего не отвечал ошалевшему приятелю, только хрипло стонал, когда его голова билась о холодную стену. Инстинктивно дрыгал свободной ногой. Митрофан был тяжеленек, держать его Ивану на вытянутой руке было трудно.

Бесчисленные окна нашего прямоугольного двора стали с храпом и треском открываться. В комнаты падала противная старая вата, которой забивали на зиму швы. Люди высовывались, жестикулировали, что-то кричали. Кто-то уже вызвал милицию. Услышав во дворе шум, я тоже отодрал длинные белые полосы бумаги и открыл заиндевевшее окно. Увидел висящего вниз головой человека.

Видел я и как Иван неловко дернулся, перегнулся в окно, посмотрел на двор, затем потерял почему-то равновесие и полетел вместе со своей жертвой вниз, прямо на асфальтированную площадку перед домом, незадолго до этого очищенную дворниками от снега. Слышал хлюпающий глухой звук от удара. Видел два распростертых белых тела. И медленно растекающиеся багровые лужицы.

Митрофану повезло — он ударился головой об острый угол бетонного куба, установленного кем-то для того, чтобы машины не припарковывались слишком близко к окнам первого этажа. Он умер сразу, даже не почувствовав боли. Перед самым концом ему привиделась разодетая в сиреневые шелка, с изумрудным ожерельем на волосатой шее, женщина-обезьяна Мончичи. Она послала ему своей мохнатой лапой воздушный поцелуй. А потом схлопнулась и исчезла в томной белизне смерти.

Иван умер на полчаса позже приятеля, в машине скорой помощи по дороге в больницу, рыча и воя от страшной боли в раздробленных костях и сломанном позвоночнике. Врач вколол ему морфий и Ивана тоже посетило перед смертью счастливое видение.

По широкой, обтянутой кумачом лестнице, спустился к нему с неба хрустальный розовый Ленин. В прозрачных светящихся руках вождь мирового пролетариата нес ивановы немецкие ботинки. Подал их Ивану, посмотрел на него ласково и сказал картаво: Носи на здоровье, товарищ!

Иван ботинки прижал к груди и прошептал синеющими губами: Спасибо, Владимир Ильич...

ЛЕТЯЩИЙ МЕРТВЕЦ

Всякий раз, когда я хочу тебя утешить, мой дорогой друг, вспоминаю одну картинку из детства. Нарисовалась она в центре Москвы, на Кузнецком Мосту. В середине шестидесятих годов...

Слякотная была зима. Холодная, ветреная, с гнилыми оттепелями. Помню, все мечтали о крепком сухом морозце с солнышком. Но в городе было пасмурно и сыро, дул пронизывающий ветер, а с тяжелого пластилинового неба то и дело сыпалась колющая щеки снежная крупа вперемежку с острыми, ледяными капельками зимнего дождя. Москвичи обвиняли во всем недавно вырытые вокруг столицы водохранилища.

Шел я по Кузнецкому с моим отчимом, что-то мы хотели там купить канцелярское или книжное, не помню уже что. И вдруг видим, толпа небольшая собралась вокруг лежащего на грязной коричневой снежной каше мужчины с багрово-синим окровавленным лицом.

Зрители, как и полагается, в темных бесформенных пальто советского покроя, в мокрых кроликовых шапках с ушами, на мордасах — типичное совковое выражение, приличными словами вовсе не передаваемое.

Это чёё? Мертвый что-ля? Ну ни хуууя!!! Скутузило, бля, мужика по полной!

Все на лежащего уставились, как будто он бриллиантовый-самоцветный, но никто ничего не делал. Только один мужчина его ботинком пнул. Брезгливо так... отстраненно... мол, мне-то что? Мне — ничего. Лежи себе...

Скорую никто не вызвал. На женских лицах ни следа сострадания не видно, на мужских — только тупое удовлетворение. Удовольствие даже от чужого несчастья.

И вот вижу... сквозь толпу старушка какая-то сердобольная к лежащему пробивается. На голове — шляпка с потертой шелковой розочкой и синей вуалью, в руках — сумочка старомодная, глаза — добрые, подслеповатые, носик точеный, породистый, руки — в узеньких перчатках. Пробилась и давай пульс искать на его грязной лапе. Потом достала из сумочки цилиндрик валидола, свинтила ему крышечку и таблеточку в рот пострадавшему всунула... под язык.

Лежащий на асфальте поначалу и не отреагировал никак. Зрители подумали — и вправду помер. Закивали удовлетворенно. Но тут он шевельнул своим отекившим багровым веком и открыл ужасный правый глаз. Толпа охнула и затаила дыхание...

Глаз этот прошелся яростным взглядом по толпе зевая, быстро обнаружил сердобольную старушку и тут же налился кровью, как гребешок боевого петуха. Мне показалось, что глаз начал стрелять в старушку разрывными пулями.

Зашевелились и его опухшие синие губы. Так, как будто они не принадлежали своему владельцу, а действовали самостоятельно. Мы услышали что-то вроде: Оша йу тарай жыка... траить хошш сско чка ука...

Мой быстро соображающий отчим засмеялся первый.

А через полминуты гоготали все, а мужик на асфальте громко и вполне внятно хрипел: Пошла на хуй, старая жидовка! Отравить хочешь русского человека, сука?!

Лежащий выплюнул таблетку валидола и, несмотря на то, что был мертвецки пьян, ухитрился-таки лягнуть старушку нечистым своим ботинком в бок. После этого, как и был, лежа, достал из кармана пальто папиросу, всунул в угол рта, чиркнул спичкой и закурил.

А старушка схватилась за сердце... уронила сумочку и шляпку на грязный снег... розочка оторвалась и укатилась куда-то, вуалька сбилась неприятным клоком... ветер растрепал ее седые волосы... по морщинистым щекам покатились слезы.

Она подобрала шляпку и сумочку трясущейся рукой и, все еще держась за сердце и тихо постанывая, протиснулась через толпу и похромала в сторону Рождественки.

Толпа отреагировала на уход вуалевой старушки брезгливыми гримасами и злорадными восклицаниями.

...

Странная штука — воспоминания. Написал про лежащего на асфальте пьяного и про пожалевшую его старушку, — и тут же в голову против воли втиснулся другой, уже не мнимый, а настоящий покойник, лежащий на московском асфальте.

Случилось это уже в семидесятых, я был гордым студентом МГУ и быстро шел по улице Димитрова (ныне опять по-старинному — Большая Якиманка) от Октябрьской площади, мимо французского посольства к букинистическому магазину, что был на набережной, напротив Ударника, в доме, который снесли позже новые хозяева города. Не могу утверждать, что их предшественники, планировщики сталинско-брежневской Москвы, были лучше ельцинско-путинских — при них Москва потеряла половину своих романтических урбанических островков и украсилась тысячами уродливых коробок, но последние строят из себя русских патриотов, восстанавливают церкви, старые названия... но на самом деле являются такими же безмозглыми и наглыми варварами как и их предшественники — коммуняки... их город и Москвой-то назвать нельзя... столица паханата... Пуйловск... тьфу, тьфу на него тысячу раз!

Да, лето, жаркий московский вечер, я спешу в магазин, в котором хочу купить том Гоголя с «Выбранными местами» дореволюционного издания... знакомый продавец, декадент и стилига, позвонил мне и предупредил, что если я до семи не выкуплю книгу, то он отдаст ее другим соискателям, из которых выстроилась уже длинная очередь.

— Уйдет, уйдет книга прямо из твоих потных ладошек, — твердил стилига, и я знал, что он на другом конце провода скалится гадко, показывает телефонной трубке свои гнилые зубы.

Книга эта имела тогда среди нас, не уехавших и не собиравшихся уезжать набитых дураков с претензиями, заигрывавших с гонимым еще православием, культовый статус. «Выбранные места» представлялись мне, именно в силу своей базальтовой недоступности, самой интересной, загадочной работой автора «Мертвых душ». Запретный плод сладок... но быстро теряет вкус!

Книги, картины, архитектурные шедевры, женщины, заморские страны, чудеса природы... разочаровывают нас, как только перестают быть недоступными... лучше было бы им навсегда остаться запретными плодами... и служить недостижимыми целями нашей бессмысленной беготни... маяками в наших бесплодных странствиях. Но нет, мы получаем все, что хотим, наслаждаемся всеми наслаждениями, о которых иступленно мечтали, за которые были готовы отдать жизнь... и мы отбрасываем без сожаления муторные книги, забываем мертвые картины и дурацкие постройки тиранов или фанатиков, бросаем любимых женщин в погоне за первой попавшейся юбкой, с удовольствием покидаем осточертевшие нам города и страны и плюем на природные красоты. Узнали бы мы близко Спасителя или самого Создателя Вселенной — и уже через пару часов начали бы зевать и проситься к дьяволу. Наши разочарование, сплин, меланхолия — испепелили бы и само Солнце, если бы нас близко к нему допустили.

...

Я шел тогда как раз мимо церкви Иоанна война, доброго солдата карательных войск Юлиана Отступника. Прохода к ней с улицы кажется не было, но луковки были видны и с Димитрова. Церковь эту, еще не отреставрированную и не такую вульгарно-пеструю как сейчас, я часто рисовал зимой и любил ее благородный ступенчатый силуэт. Чего не бывает? Изображал я ее в стиле Эдварда Мунка. Моя Иоанн воин кричал о моем московском отчаянии громче норвежской девушки на мосту.

Ну так вот, шел я по тротуару на Димитрова, чуть не бежал... бодро кидая колени вперед и вдыхая выхлопные газы...

автомобильное движение по этой, тогда еще не расширенной, двухполосной улице было сумасшедшее, ведь Ленинский проспект вливался в нее, как Волга в Москву-реку.

И вдруг, как будто почувствовав, что сейчас произойдет что-то ужасное, я уставился на притормозивший впереди меня автобус пазик. И тут же из-за его кабины на дорогу вышел шатающийся пьяный мужчина и попытался перейти улицу. И в тот же момент его сбил набитый под завязку пассажирами городской автобус 144-го маршрута, обгонявший пазик по встречной полосе.

Я видел и слышал, как 144-й ударил пьяного. Это был страшный удар. С зловещим треском и скрежетом... всхлипом и чмоком... как будто лежащую на наковальне конскую тушу ударил мясник-великан трехметровым медным молотком.

Бедняга пролетел метров тридцать и приземлился уже не человеком, а измятой, изодранной куклой с расщепленными костями. Ботинки его улетели как грачи метров на двадцать дальше тела. А окровавленная его кепка, упала, возвратясь как бумеранг, прямо мне под ноги.

Я ощутил, как время убийственно замедляется. Оно почти остановилось в тот момент, когда произошло столкновение автобуса с человеческим телом. А потом медленно-медленно начало ускоряться. Я наблюдал полет мертвеца, как мне показалось, минуты три, хотя в реальности это были секунды.

Я поднял кепку и кинулся к телефонной будке. Говорил со скорой как будто не я. Бросил трубку и побежал к телу, чтобы положить кепку рядом с ним. Почему-то мне казалось это чрезвычайно важным делом. Мертвец лежал чудовищно неправильно. Руки и ноги его не были соединены суставами с туловищем, их удерживала только кожа и одежда. Голова с выбитыми, висящими на веревочках глазами, покоилась на его колене. Кто-то уже положил рядом с ним его ботинки.

Тело умершего, нелепо размахивая руками, закрывал собой шофер 144-о. Он истошно кричал сходящимся со всех сторон зевакам: Не смотрите, не смотрите!

Скорее всего он был лимитчиком, судя по акценту — азербайджанцем. И вне себя он был не только из-за того, что на глазах множества свидетелей нарушил правила движения и убил человека, но и потому, что разрушил этим свое будущее. Рухнули его надежды на комнату или квартиру в Москве, на то, что сможет наконец привезти сюда семью и попытаться поместить хронически больную мать, от которой давно отказались гардабанские врачи, в московскую клинику.

Подъехала скорая. Врач, тридцатилетний усталый брюнет с бородкой, бросил только один взгляд на тело и тут же тихо приказал двум дюжим санитарам: Грузите... везем в морг.

Вторая скорая забрала шофера 144-о. Он рыдал, рвал на себе одежду и продолжал кричать: Не смотрите, не смотрите...

Два милиционера начали лениво разгонять народ. Один из них посмотрел на меня провинциально-укоризненно, ткнул кулаком в плечо и сказал: Ну ты, что встал, сказали ведь всем, расходитесь, нечего тут смотреть!

Пазик уехал, 144-й остался на Димитрова. Мне расхотелось идти в букинист и покупать книгу Гоголя. Произошедшее на моих глазах несчастье показало мне истинную реальность мира, в котором я живу. Я понял, что отныне буду смотреть на все глазами того летящего мертвеца. Многие важные для других людей вещи и понятия тут же и навсегда потеряли для меня ценность и смысл. Я прошел к набережной и до полуночи гулял вдоль Москвы-реки.

КОКОСОВЫЕ ШАРИКИ

Есть в немецких провинциальных городах женщины-энтузиастки, которые посещают, часто с измученным бессонницей маленьким ребенком, любимцем публики, оперные премьеры, концерты, вернисажи, чтения... дамы эти охотно дарят цветы певцам, художникам, писателям... они всех знают и их все знают... они вхожи в лучшие дома, несмотря на то, что сами часто живут на пособие... разносят и сплетни, но делают это удивительно деликатно, так что невозможно и подумать про них что-то плохое... одеваются не по средствам и с фантазией, хотя и не без некоторого излишества в кашне, шелковых рюшах и позолоченных финтифлюшках.

Уверен, что вы таких дам видели и не раз. С одной из них, Шарлоттой Р. я близко познакомился в незабвенном саксонском городе К.. Это была огромная женщина лет двадцати восьми. Ее маленькая красивая голова была коротко подстрижена. Волосы она красила попеременно в желтый и зеленый тона. Длинный ее нос компенсировали подведенные черной тушью «египетские глаза». Чувственные полные губы обещали изощренные ласки дерзкому соискателю, необъятных размеров грудь заставляла вспомнить волны Тихого океана.

Не хочу описывать историю наших отношений — она коротка и банальна. Какое-то время я, тогда еще художник, был в городе К. в моде, что ли... особенно после нескольких прошедших с большим успехом, если вообще можно говорить в таких случаях об успехе, выставках. Желтая городская газета поместила на второй странице большую статью с ужасно нерезкой фотографией моей картины под названием: «Мистические конструкторы эмигранта», а Культурный Вестник опубликовал нестерпимо эвфуистическую рецензию ме-

стного искусствоведа, которая начиналась так: Он пришел к нам с востока, этот таинственный чародей графики....

Видимо этого «чародея» хватило для того, чтобы Шарлотта пригласила меня на «парти с миндальными зверюшками», в конце которого томно посмотрела на меня египетскими глазами, поколебала для верности пудовыми персями и прошептала: Я надеюсь, вы останетесь, по ночам я так одинока... в этом старом доме так холодно.

Остался. Согрел ее. Два долгих раза.

Хотел было заснуть... но Шарлотта решила одарить меня историей. Сам виноват. Не надо было спрашивать ее о пятне.

У нее на руке, как раз посередине между ладонью и тем местом, из которого у нас сосут кровь медсестры, располагалось крупное, с памятную медаль, круглое пятно. Или шрам. Выглядело оно так, как будто кто-то пересадил с другого места на теле кожу внутрь пятна, чтобы не было видно, что там вытатуировано или процарапано. Кошмарное пятно. Я спросил Шарлотту о пятне, когда она подошла ко мне с подносом, на котором валялись вышеупомянутые зверюшки и тонко позвякивали узкие бокалы с белым вином. Она глубокомысленно улыбнулась и прижала длинный палец к густо напыленным коричневым губам.

А сейчас, в три часа ночи, вместо того, чтобы раскинуться на своей колоссальной кровати, на которой легко уместилось бы шестеро здоровенных матросов, и заснуть после праведных любовных трудов, решила рассказать мне душещипательную и жуткую историю происхождения этого пятна. Каюсь, я несколько раз засыпал во время ее повествования, поэтому, господа, прошу вас, не сетуйте на лакуны в изложении.

...

Это все случилось три года назад... Вы в городе, человек новый, а я тут и родилась, и выросла, и мама и папа и оба деда у меня люди известные... я всегда была на виду... обо мне не раз писали в газетах... ну вот... и наблюдали за мной не только хорошие люди, актеры, художники, музыканты, но и неофашисты, которых тут у нас после объединения Германии развелось, как крыс на городской свалке... Вы не поверите, сколь-

ко их там, я ездила, меня дирекция свалки приглашала на прием, я кукольное представление организовывала для детей сотрудников. Нам дружно аплодировали, а потом собрали деньги на мой сборник. Я пишу, знаете ли... хайку... только не из слов, а из одних слогов.

Почему неонацисты обратили на меня внимание? Потому что я активно помогала в организации «Дней еврейской культуры». Я и мелкие поручения исполняла, и артистов приезжих кормила и дома оставляла ночевать, у меня останавливались и писательница Саломея Генин из Берлина и клезмер-трио Игнатия Бердичевского и многие другие. Сами нацисты на «Дни еврейской культуры» не ходят, поэтому они меня там, например, когда я цветы дарила артистам, заметить не могли. Кто-то им донес и адрес мой дал. Всегда найдутся доброжелатели. А потом состоялся у нас перед ратушей большой антифашистский митинг. Я там выступала. Призывала неонацистов нашу историю вспомнить. Стыдила их. И они решили отомстить. А предводительствовал всем некто Пауль Н.. Он дружил со мной в гимназии, а потом мы разошлись, и Пауль в нацики подался. Поваром работает в забегаловке на Касберге — «У черной вороны». Там на витрине надпись — «Настоящая немецкая кухня». Сосиски с капустой подают и пиво. Красивый раньше был, платиновый блондин, а сейчас растолстел, голову бреет наголо и штиблеты носит до колен с красными шнурками. Это у них означает — готов на убийство. Ну так вот, Пауль мне прислал письмо... а я тогда любила одного еврея... Ури. Он ко мне из Кёльна приезжал каждую пятницу. А рано утром в понедельник — назад, прямо на работу, в бюро. Он не очень верующий, но всегда носил кипу. Любил меня очень. Подарил мне серебряный Могендовид в кружочке на цепочке. Наверно Паулю и о Ури рассказали... потому что он в письме угрожал убить «моего еврея», а меня искалечить... потому что я — «жидовская подстилка» и «порчу германскую кровь с паршивой собакой».

...

Трое нацистов ворвались ко мне в квартиру. Я начала орать, но Пауль дал мне пощёчину и всунул в рот какую-то

гадкую тряпку. И клейкой лентой заклеил рот. А у меня как назло насморк был, трудно было дышать через нос. Я закашлялась, из глаз слезы потекли. Пауль ленту одним рывком от меня оторвал, вынул тряпку, дал мне платок, позволил высморкаться. Потом опять тряпку в рот... и ленту приклеил и еще глаза завязал. Хорошо, Ури в ту субботу не было у меня, они бы его убили. Ну вот... и эти три мерзавца решили устроить надо мной «суд». Я их не видела, слышала только их скабрёзные шуточки, отвратительный хохот, чувствовала, как они меня лапают.

«Суд» длился наверное час. В конце Пауль прочитал мне приговор, но я ничего не поняла, потому что они влили мне стакан шнапса через трубочку в нос. Затем они меня раздели. И я почувствовала...

...

Не знаю, сколько раз. Помню только, что они во время... били меня по щекам. А потом связали веревкой, а сами ушли на кухню и долго что-то там делали. Орала там как павианы и ржали. Затем пришли и Пауль сказал: А теперь, Шарлотта, потерпи, сейчас мы твою жидовскую звездочку тебе на шкурке выжжем.

И тут же схватили они мою правую руку и прижгли чем-то. Мне показалось, что раскаленным железом. Я от боли сознание потеряла. А когда в себя пришла, жутко рука зудела. Нацисты ушли. Смогла себя освободить... кляп выплюнула и повязку с глаз сняла. Посмотрела на руку — багровое пятно страшное. Ожог. Они раскалили мою Звезду Давида и прижгли меня ей, заклеямили. Вызвала такси и в больницу поехала. Там мне рану обработали и обследование сделали. Эти подонки меня...

...

Через три недели врачи пересадили мне на руку кожу, а еще через неделю мне сделали аборт. Не хотела я ребенка от нациста-насилльника. На суде Пауль кричал мне в лицо: Надо было тебе, суке, глаза выколоть... выйду из тюрьмы, поквитаемся.

Всех троих осудили. Дали от пяти до восьми. Вы не знаете, у нас тут суды к нацистам добрые. Один уже вышел — из-за примерного поведения. Видела его на Рождественском базаре... Глазами сверкнул и голову опустил. Пауль задушил кого-то в тюрьме и получил пожизненное. А третий будет сидеть еще несколько лет. Я боюсь, что...

...

Дальше я уже ничего не слышал, заснул мертво и проснулся на следующий день часов в одиннадцать. В кухне нашел кофе в термосе и два бутерброда с вареными яйцами, огурцом и салями. Рядом с термосом лежала записка: Милый, я сегодня с утра в Доме Актера. Приходи, если хочешь, мы репетируем «Кукольный дом». Звони! Твоя Шарлотта.

Мы разошлись через неделю, даже без прощальной ссоры.

Через несколько лет я познакомился с одним поклонником моей графики — хирургом местной больницы, человеком занятым, волевым и циничным. Он пригласил меня в только что открывшийся в центре города индийский ресторан, полакомиться острыми жареными цыплятами с лепешками. За едой мы мило посплетничали. Заговорили и о Шарлотте. Выяснилось, что хирург тоже знаком с Шарлоттой. Примерно так же, как и я.

— Историей про изнасилование и клеймение серебряной звездой вас, наверное, тоже попотчевали, — предположил хирург, повертев в руке неправдоподобно алую куриную ногу.

— Да, и во всех подробностях, только я половину рассказа проспал.

— Немного потеряли. Все это — чистойшей выдумка. Никто ее не насиловал и Звездой Давида не жёг. А пятно — случайная родовая травма. Кстати, попробуйте эти кокосовые шарики с курагой — во рту тают!

ГИНЕКОЛОГ

Поехал я по институтским делам в Челябинск. Встретился с кем-то, что-то обсудил...

А перед тем, как улететь в Москву, заехал на два дня в Златоуст, навестил старых знакомых моих родителей, передал им два килограмма сыра, продукта, почему-то несовместимого с советским строем. Меня во время этой командировки так интенсивно поили фруктовой настойкой и так усердно кормили уральскими пирогами и пельменями, что от всей поездки осталось в голове только воспоминание об этих самых пирогах (неприлично большого размера и удивительного вкуса) и о страшной головной боли после перепоя по пути из зеленеющего уже Челябинска в заснеженный еще Златоуст на автобусе.

И еще одна маленькая история, которую мне рассказал бывший одноклассник моего отца Арик.

Пошли мы с ним в местный центральный гастроном покупать водку. Время еще было догорбачевское, водки и другого спиртного в промышленном Златоусте — прорва. Купили сколько-то бутылок шнапса и винца взяли для отвязки и полировки, но домой не пошли, а остались на площади рядом с каким-то большим старым домом с кремовым фасадом. Решили по полстаканчика раздавить прямо тут, на бодром майском солнышке, на холодке. Пили, смотрели на хребет Большого Таганая, похожий на спину доисторического ящера, закусывали сушками.

Тут к нам один белокурый такой мужичок-алконавт подошел, со своим граненым стаканчиком, поздоровался с Ариком, попросил выпить. Мы ему налили. Он выпил и — к моему искреннему удивлению — расплакался и начал что-то возбужденно рассказывать. Он так всхлипывал и стонал, что я ни слова понять не смог.

Арик показал мне глазами, что надо уходить. А дома, под пельмени и холодную водочку поведал мне о горькой судьбе этого человека, прозванного в златоустовском народе — гинекологом.

Оказывается, звали алконавта Ваней, и он тоже был одноклассником Арика и моего отца. Способный, прилежный, дисциплинированный и очень наивный мальчик. Хороший и добрый товарищ. После школы закончил Ваня какой-то уральский технический институт и приехал в родной Златоуст работать инженером на ЗЛАТМАШе или на каком-то другом заводе.

Да... а еще до института влюбился он в девочку из параллельного класса, прелестную Эльзочку. И она ответила ему взаимностью. И поклялись они быть друг другу верны и пожениться сразу после окончания институтов. Эльза училась где-то далеко от Урала, кажется на Украине. За время учения виделись они всего несколько раз и обнимались, и заливались слезами, и клялись в вечной любви у памятника металлургу Аносову.

Так уж получилось, что Эльза закончила свой экономический институт на полгода раньше Вани. Приехала в Златоуст и устроилась на тот самый завод, на который позже пришел работать и Ваня. И как-то удивительно быстро сделала там карьеру. Ваню взяли инженером, а Эльзочка уже трудилась в аппарате управления. Счастливые молодожёны сыграли свадьбу в ресторане. А в брачную ночь произошла неприятность. Цирк. Хорошо еще без членовредительства.

На следующий день Ванечка, как говорили, — растрепанный и одуревший направился прямо в златоустовский народный суд... устроил там скандал, а при попытке его успокоить — распустил руки и страшно кричал и рыдал, в конце концов был забран милицией и получил свои первые пятнадцать суток. Буйствовать после заключения не перестал, — пытался пробиться к директору завода, устроил драку и дикую сцену на улице...

В общем, пропал парень... был уволен, развелся, опустился, забичевал.

Причиной всех его злоключений стала, и он этого не скрывал, а наоборот, кричал об этом на всех перекрестках... отсутствующая девственная плева или, выражаясь более консервативно, поруганная невинность его избранницы.

Да, в первую брачную ночь выяснилось, что Эльзочка вовсе не девушка... мало того, она уже и аборт успела сделать. И злые языки говорили, что не один и не два... Другой бы обрадовался, что не ему придется пещерку рыть, ну или, посетовал бы, вздохнул, да и простил любимой... и смысл бы горячей любовью все, что было до него.

Любой, но не Ваня-гинеколог. Отчасти виновата была в этом и прелестная Эльза. Она в ту злосчастную ночь, когда ее муж обнаружил пропажу и принялся голосить, расплакалась и соврала ему, что ее совратил или даже изнасиловал директор их завода, Михал Иванович такой-то. И ненависть, и бешенство, и обида Вани обратились не на жену, а на начальство. Ваня побежал в суд, жаловаться на Михал Ивановича.

Директор завода, помогший своей юной пассии в карьерном продвижении, никак не мог понять, чего же хочет от него этот взбесившийся молодой инженер. А потом испугался... набрал номер милиции, поговорил с начальником отделения и Ваню первый раз избили... потом посадили.

Ваня ездил жаловаться в Челябинск и в Белокаменную. Ему казалось, что перед ним встала страшная свинцовая матрешка. Он ее наклоняет из последних сил, а она упрямо встает. И ухмыляется. Написал даже в СЭВ и ООН. Побывал, и не раз, в лагере и в дурдоме...

В заключение Арик сообщил, что Ваня судится с кем-то по — гинекологическому делу до сих пор.

НАВАЖДЕНИЕ

Уральский регион... да, место непростое. Некоторые говорят — проклятое. Якобы из-за убитого царя. Хотя там не только царя с семьей... многих покрошили. И не только красные. Ты меня правильно пойми — люди на Урале разные, не то, чтобы все бандиты или воры, нет, просто древние какие-то люди. Троглодиты. Как жили пять тысяч лет назад — так и при Брежнев... а все эти штучки — телевизоры, запорожцы с жигулями, компьютеры — это все на поверхности, а внутри, как была, так и осталась — берлога.

Поехал я однажды по телефонному вызову в Кардай-курдюмово. Деревня сразу за границей города. Татары там или башкиры живут — хрен их разберет. Подъезжаю к дому. На дороге стоят трое чурок. Поперек себя шире, морды самоварами, кулаки — как у быков. Угрюмые. И у всех под пальто или топоры или стволы. Батюшки-святые! Все трое сзади сели. Завоняло в салоне сразу перегаром и лучищем. Самый быкастый сказал: Поезжай в Котлы, Полежаева четыре!

Голос — как у медведя.

Не люблю чурок возить! Каждый раз не знаешь, что от них ожидать. Могут нормально расплатиться, а могут и топором по темечку. И не со зла, а... вроде так и надо.

Котлы эти на другой стороне города, поселение шахтеров, главная улица, Пролетарская кажется, километра три тянется вдоль карьера. Полежаева там вроде переулочек, домов десять всего. Нашел на карте. Приехали.

Ландшафт — прям как у Левитана. Слева — ворота закрытые, забор, колючка, за забором котельная. Труба метров двадцать высотой, дымок вьется, несколько фабричных строений. Черные почти от угольной пыли. Справа — барак

деревянный, длинный. Может, там рабочие живут или зеки на вольном поселении. Здесь этого добра навалом.

Ёкнуло сердце. Тут меня запросто грохнуть могут. Или чурки или их дружки. Сколько раз пропадали в Петяринске таксисты! Сунул руку под сиденье — у меня там железный прут граненый, килограмма полтора весом... положил тихонько прут на колени. Напрягся, приготовился крушить мордоротов по сморкалам. Жду.

Ничего. Все три быка вышли из машины, стоят, между собой что-то по-ихнему обсуждают. Я сижу на своем месте, газету вынул... читаю мол... ведь тут правило простое, как с собаками и лошадьями — не смотреть в глаза их лупые... не провоцировать.

Тот, быкастый подошел к моему окну и сказал: Ея, водила. У нас тут дело. Подожди, в накладе не будешь. В Кардай отвезешь, зеленый билет получишь.

Я кивнул.

«Зеленый билет» это пятидесятирублевка. На счетчике у меня двенадцать. Значит чаевые будут — двадцать пять. В семидесятые это были еще хорошие деньги.

Чурки мои пошли в барак. Я жду.

Как-то быстро темно стало. Один фонарь загорелся, метра в десяти от меня. Видно было, как в конусе света снежинки летали... как белые бабочки... Я на них смотрел-смотрел и кемарить начал. Но спать нельзя. Вышел из волги, поприседал, попрыгал.

С полчаса уже прошло. На счетчике — семнадцать с копейками. Пора действовать. Или уезжать — тогда холостого пробега на тридцатку наверх. Или идти в барак разбираться.

За смену такое, чтобы не платили, раза два-три бывало... Обычно припугнешь милицией — платят. Иногда убегают через задний двор.

Каждый раз решаю по обстоятельствам... знаешь, когда опасно, я стараюсь думать не головой, а задницей. Так вернее. Ну так вот, жопа моя мне тогда на Полежаева твердила: Уезжай, пока цел. Дуй на вокзал, там московский поезд, через час прибитие, посадишь сдобную бабенку или какого-нибудь барыгу...

А жадная голова противоречила: Московская краля тебе не даст, и не надейся, а с барыги больше рублика чаевых не получишь... а чурки твои четвертак обещали.

Еще ждал минут десять, потом отъехал немножко назад, чтобы машину в тени спрятать, прут в специальный внутренний карман положил, куртку расстегнул, чтобы легко его вынуть можно было. Мотор отключил, ключ забрал, проверил, как лежит кастет в бардачке... переднюю дверь у волги оставил чуток приоткрытой. И пошел в барак... постучал.

Жопа моя в это время вопила фальцетом: Не ходи туда, пропадешь... там плохо!

А голова советовала солидным басом: Извинись у мужиков за вторжение, попроси расплатиться, получи бабки и уезжай с богом. Там ведь люди, а не аллигаторы. Вежливый язык понимают.

Никто мне не открыл... я толкнул дверь... вошел.

В бараке, разделенном вроде как плацкартный вагон на купе, было густо накурено, воняло старой одеждой. В сизом полумраке трудно было что-то разобрать. Пошел по проходу справа вдоль барака. В первом купе два мужика спали на нарах под ужасными одеялами. Храпели как мастодонты. На столе стояли несколько пустых бутылок, на грязных тарелках — остатки еды. Во втором купе никто не спал, там на месте стола возвышался самогонный аппарат... круглосуточно работал наверное... из краника сочилась синеватая жидкость... и стекала по кухонной доске в ведро. На стенке ведра висел черпак, вместимостью грамм в двести. Жуткая беззубая женщина лизала длинным фиолетовым языком эту гадкую доску. На мое появление она никак не прореагировала. В пятом купе я обнаружил еще одну синюху... косоглазую... она держала в руках свои пустые отвисшие груди и стучала ими по столу как ложками. Посмотрела на меня, открыла свой черный рот и сунула в него нечистый большой палец. Засосала и вынула с хлопком. Меня чуть не вырвало... поспешил дальше. Видел еще несколько мертвецки пьяных.

Но никаких следов моих чурок не обнаружил.

Пришлось спросить ту, косоглазую.

— Я таксист, тут где-то мои пассажиры. Три мужика. Башкиры или татары. Вы не видели?

Косоглазая посмотрела на меня так, что у меня зачесались бока и шея, и прошепелявила: Ты что, мусор, бля?

— Я таксист. Мне пассажиры не заплатили.

— Иди на хуй.

Надо было наверное уйти, но я упорный. Меня дома семья ждет. Людка и три спиногрыза. Их кормить надо. Не позволю я так просто меня кидать.

Достал свой прут и несильно ударил им синюху по ноге. Та взвыла и ткнула пальцем куда-то в сторону. Там оказывается была еще одна дверь. Не на улицу. У барака было ответвление. Я прошел по узкому коридору... до еще одной двери, металлической. Как в тюрьме, с окошечком. Постучал. Окошечко открылось, кто-то посмотрел на меня и спросил: Тебе чего тут надо?

Я повторил то, что сказал косоглазой.

Тяжелый засов открылся с невыносимым клацаньем. Меня впустили. В похожей на внутренность юрты, круглой комнате, за карточным столом сидели трое мужчин. Но не мои чурки, и не алкаши из барака, а совсем другие люди. Блатари.

Паханом там был, кажется, плотный, невысокий, чернявый тип. С бородкой. Он держался с достоинством, как бы брезгливо отстраненно. Двое других были явно рангом пониже — зловещий худой старичок с лишаем на лице и тощий гигант с косматыми руками, постоянно сжимающий и разжимающий свои огромные кулаки. Лицо его перерезал длинный шрам со следами швов.

Пахан долго и тяжело смотрел на меня. Затем спросил: Зачем пришел?

Он говорил с легким грузинским акцентом.

Я был вынужден в третий раз повторить, зачем. Но пахана это, по-видимому не убедило. Он сделал глазами знак гиганту, и тот встал, развязно подошел ко мне и пробурчал: Гребала в стороны... И не дергайся, чушок, щекотить не буду.

Моя голова едва доставала ему до груди. Обыскал меня, забрал прут, удостоверение и кошелек и почтительно положил все это перед паханом на стол.

Тот покрутил в руках прут, покачал головой, раскрыл и тут же закрыл кошелек, в котором было тогда рублей двести, посмотрел на удостоверение и подтвердил удивленно: Действительно, таксист.

Потом вздохнул, посмотрел на меня, как на верное смотрят на вошь, перед тем, как ее раздавить, и сделал рукой знак гиганту и старичку. Гигант не без удовольствия и очень сильно ударил меня в глаз, а старичок врезал по скуле так, что искры засверкали перед глазами.

Пахан прервал избиение: Довольно... Так ты ищешь своих пассажиров, которые тебе не заплатили... Тут, у меня? Ха-ха-ха.

По сравнению с его смехом, смех Фантомаса показался бы арией счастливого Фигаро.

Железный смех, шелест цинковых листьев, хруст ломающегося гроба.

Сизарь, — приказал он старичку, — предъяви таксисту его пассажиров!

На гнилом лице старичка показалось нечто вроде улыбки, ему было приятно то, что ему, а не конкурирующему с ним гиганту, хозяин поручил показать мне пикантную картинку. Старичок ласково поманил меня пальцем, взял за шкирку и пинками подвел к двери, ведущей в какой-то сарай... втолкнул меня туда и оставил там на некоторое время одного. В сарае было темно, но еще темнее стало у меня на душе, когда я понял, что это было за помещение. Это была камера пыток. Подробности я опушу, не хочу тебя расстраивать... Со всеми, как говорят твои новые сограждане, пи-па-по. Тела моих пассажиров висели на стальных крючьях, а их головы покоились отдельно — на полке. На трех маленьких колышках. Почему-то они улыбались...

Кроме них в этом страшном сарае я насчитал еще пару дюжин мертвецов. Может быть, их было и больше. Когда лишний старичок вел меня назад в круглую комнату, я не мог

унять дрожи в коленях. Меня посадили на стул напротив пахана. Трое злодеев явно наслаждались эффектом, произведенным на меня сценой в сарае.

— Ну что же, товарищ таксист, вы, кажется уже поняли, в какую беду попали. Выход для вас отсюда один — повиснуть там, где уже висят ваши пассажиры, и от вас будет зависеть, долго ли вы будете мучиться. Вероятно, вам будет интересно узнать, зачем сюда приезжали эти глупые толстомордые люди с топорами. Я не буду делать из этого тайны — они не хотели отдать мне карточный долг. Желали расплатиться иначе. И расплатились.

Голос пахана все еще напоминал шелест цинковых листьев, несмотря на старание снабдить его интеллигентским шармом. Грузинский акцент придавал его сарказму дополнительный градус язвительности... Слушать его было тяжело.

Я решил попытаться использовать последний шанс на спасение. Схватил прут со стола и как мог сильно ударил им сидящего рядом гиганта. По роже. Гигант захрипел и повалился на пол. В тот же момент Сизарь выстрелил в меня из пистолета и попал в лоб... вышиб мозги, убил, наповал. В кровавых струях увидел я зловещую морду пахана и успел услышать: Тащи его в яму. Да отпили ему башку для коллекции.

А потом как будто что-то переключилось, и другой голос сказал: Ея, водила, заснул что ли? Вези нас в Кардай!

Батюшки-святы! Я проснулся. Чурки мои уже сидели на заднем сиденьи. В руках у них были какие-то кульки. Снежные бабочки все падали и падали в желтом свете фонаря. В салоне почему-то нестерпимо пахло пирожками с мясом. Быкастый открыл один кулек, вынул из него и подал мне свежее испеченный беляш и сказал: На, попробуй, теща испекла. День рождения праздновать будем.

СПРУТ

Помните, Антон, что так мучило булгаковского Мастера? Его одиночество и противостоящие ему в Совдепии тотальные силы зла воплотились в мерзчайшего спрута с длинными и холодными щупальцами, которого он безумно боялся, который его всюду преследовал, и особенно — в темноте. Репрессивный аппарат озверевшего государства, десятки миллионов его добровольных помощников — доносчиков, охранников и палачей и еще десятки миллионов на все готовых, чтобы выжить, трясущихся в своих коммуналках совков — чем не спрут? По сравнению с этим, советским спрутом, вонючий лавкрафтовский Ктулху кажется аквариумной рыбкой.

Мой, индивидуальный спрут ничего общего с этим кошмаром не имеет. Даже и не знаю, проклятие ли это или, наоборот, одна из опор бытия. Послушайте мой короткий рассказ, может пригодится для писанины, а нет — так посмейтесь над старухой... Вместо того, чтобы внуков нянчить и о болячках рассказывать, занялась бабуля эротическими воспоминаниями. Впала в детство. Все старухи — мешки, наполненные глаголами прошедшего времени. Потерпите.

...

Если бы Гумберт Гумберт посмотрел на меня, восьмилетнюю, он бы сразу признал во мне нимфетку. Ножки точеные, тело вытянутое, бодрое, эластичное, мордочка подвижная, черные кудри до пупка... кожа свежая, чуть смуглая, губы полные алые, сосочки — нежно розовые... чувствительная как ласточка, не трусливая, не жеманная... Ребенок-демон. Тогда, впрочем, я и себя и других вовсе не понимала... считала себя гурнушкой за курносый нос и широкие ногти.

Вышеприведенный словесный автопортрет я составила по своим детским фотографиям. Недавно альбом нашла, ду-

мала, он потерялся. Хотелось на себя как бы со стороны посмотреть. Через увеличительное стекло времени. Уж лучше бы и не смотрела.

Во дворе нашей пятиэтажки на Вавилова были установлены качели. Я их обожала... и вот, однажды, в жаркий августовский день... помните это странное московское томление перед концом каникул... лето пролетело... до начала занятий еще несколько дней... взрослые уходят на работу, а ты торчишь весь день во дворе и чувствуешь неотвратимо приближающуюся осень... зелень начинает желтеть... дома и деревья как будто в обмороке... все готово перевернуться с ног на голову... но не переворачивается... и детское одиночество мучает зверски и предчувствие будущей взрослой жизни потихоньку наваливается как великан на фарфоровую куколку и дробит, дробит твои косточки... и тянет взлететь на воздух... но что-то нам всегда мешает... усталость рода человеческого... и мы так и проводим здоровую половину жизни в розовом тумане несбывшихся надежд, а вторую — в жестяном пальто и в свинцовых сапогах старости. В корчах и муках.

Мама ушла на работу, сказала, что прибежит в обеденный перерыв, накормит меня и опять уйдет... надела мне торжественно на шею ключ на ленточке и запретила уходить — дальше беседок. Это означало, что находиться моему телу разрешалось в прямоугольнике, ограниченном стеной нашего четырехподъездного кирпичика, длинным высоким и глухим забором какого-то закрытого учреждения с противоположной стороны и двумя беседками по бокам, сталинскими строениями с обрушившимися лестницами, прогнившими скамеечками и остатками здоровенных гипсовых баб, призванных, наверное, олицетворять мощь и красоту советского строя. От этих мегалитов, впрочем, во времена моего детства остались лишь могучие торсы с отбитыми головами и руками, в неприятных их недрах скапливалась дождевая вода и всякая дрянь, там жили сколопендры, которых дети очень боялись.

Проводив маму до одной из беседок и вдоволь напрыгавшись на ее пыльной лестнице, я побежала к качелям. Там уже качались две девочки — веселая энергичная толстушка

Ирма, родом из Прибалтики, из соседнего двора, и худенькая, застенчивая, но себе на уме, Светлана, моя соседка по подъезду, дружба с которой так и не завязалась, несмотря на все попытки наших мам-одиночек нас подружить. Ирма была на два года меня старше и заслуженно считала и меня и Светлану малышней, с которой стыдно иметь дело. Обменявшись парой пустых слов с Светланой и кивнув Ирме (никакой реакции с ее стороны), я залезла на теплое деревянное сидение, оттолкнулась ногами и принялась сосредоточенно раскачиваться... через минуту я догнала и перегнала по высоте осторожную Светлану... догнать Ирму было труднее... тем более, что она тут же заметила мой порыв и, не изменив никак выражение чуть деревянного, как будто припудренного янтарной пылью лица, начала качаться мощнее и выше, чем до моего прихода.

Короткие наши юбочки задирались на грудь.

Старые качели отчаянно скрипели.

Песок под ногами улетал вниз и назад и его место занимало звенящее в августовском мнении коричневатое московское небо... воздух сек и ласкал щеки... мир качался, качался, качался.

...

Между качелями и домом росли липы. Высотой с наш дом. Под одной из них, в тени, рядом с изрезанным ножом стволом, стоял мужчина. В длинном, темно-бежевом плаще, наброшенном на плечи, но запахнутом. Поначалу я его и не заметила. Потом заметила, но как-то не восприняла... а он пристально смотрел на нас... переводил воспаленный взгляд с одной на другую... пожирал глазами наши ручки, грудки, ножки, обнажающиеся в движении до трусиков. Да, он пялился на нас и делал что-то рукой под плащом... тогда я и понятия не имела, что.

Все эти взрослые слова иностранные «экспозиционизм», «онанизм», «мастурбация» и замороженное «рукоблудие» были маленьким московским девочкам середины шестидесятых неизвестны. Честно говоря, я в свои восемь лет даже не знала, что мужчины имеют член, а короткое грубое матерное слово — воспринимала как некую абстракцию, несколько да-

же космического характера (как бы — Марс), также как и длинное неприличное женское слово. Только в главном русском непечатном глаголе мерещилось мне какое-то содержание... неприятное... садистское. Вроде — бил твою мать.

Да, слова в моем лексиконе не было, но процесс, описываемый этим словом, происходил на моих глазах. Возбуждись от вида наших мелькающих перед ним голых ножек и дополнительно возбуждив себя механически, мужчина в плаще заметил мой недоуменный взгляд смущенной нимфетки... и это, по-видимому, разожгло его и заставило сделать несколько шагов в сторону качелей и резко распахнуть плащ. Под плащом он был голый. Поневоле я взглянула туда.

Пах мужчины зарос курчавыми рыжими волосами. Его член, показавшийся мне похожим на мягкую игрушечную пушку, выстреливал в мою сторону белыми струйками. Я отвела глаза. Краем глаза увидела, что Светлана уверенно соскочила с качелей и побежала к нашему подъезду. Ирма же продолжала качаться и, казалось, вовсе не замечала навязчивой фигуры, похожей на дергающуюся летучую мышь. Потом выяснилось, что так оно и было — Ирма была страшно близорука, но стеснялась этого и не носила на улице очки.

После разрядки, мужчина серьёзно посмотрел на меня своими зелеными глазами, усмехнулся чему-то, запахнулся и покинул наш двор.

Да, Антоша, забыла упомянуть важную подробность. Метрах в трехстах от нашего дома, на улице Ферсмана, тогда работала — «Березка». Помните, что это были за магазины? Да, да, валютные, для номенклатуры. На витрине ее ничего не было, кроме длиннющей розовой гирлянды на фоне панорамной фотографии Москвы, которая глупо мигала. Я так внутри и не побывала до самого отъезда из СССР. Не было у нас валюты. Рядом с — «Березкой» дежурили милиционеры.

Так вот, мужчина в плаще покинул наш двор, а потом, минут через пять, я вдруг услышала милицейский свист, отчаянные крики и топот. Затем все стихло. Я пошла домой и заперлась там на цепочку. Мать пришла через два часа, не смогла войти и кричала на меня. Только мы сели обедать... по-

звонила милиция. Милиционеры расспрашивали меня о мужчине в плаще, а я как могла описала его и то, что видела...

Оказывается, неудачливого эксгибициониста арестовали метрах в стах от нашего дома. Светлана была к тому, что произошло на наших глазах, подготовлена. Она пришла домой и тут же позвонила матери, работавшей в Министерстве иностранных дел. Та — в милицию. Милиция оказывается на этого человека давно охотилась. Они по рации уведомили своих людей у «Березки» и те подкатили на мотоцикле, а наш плащ на свою беду зашел в молочный, в котором глазурированные сырки продавались, полакомиться хотел после оргазма, принимаю... Ну, его и сцапали.

Но это все не важно. Меня этот человек не испугал, испугала меня милиция и моя нервная мамочка, царство ей небесное, устроившая вечером жестокую истерику и говорившая со мной так, как будто я была в чем-то виновата... меня эксгибиционист поразил, озадачил... и совратил.

Да, совратил.

Несколько дней, впрочем, все было нормально. Я пошла во второй класс, началась учеба, новые предметы давались мне нелегко... Училась я хорошо, но меня отвлекали разные мысли и чувства... а затем... сентябрьским вечером... засыпая на своей кровати... я вдруг увидела эти зеленые глаза прямо на стене. Они сосредоточенно смотрели на меня. А вся моя промежность как будто превратилась в спрута. В жадного, хищного... мечтающего только о том, чтобы в него вошел большой горячий член. И с тех пор нет мне покоя.

КАРБУНКУЛ

Так уж получилось, что многие друзья и знакомые рассказывали мне о том, о чем рассказывать не принято. Не знаю почему, но я очевидно располагал их к подобным излияниям. Особенно после совместного распития спиртных напитков. Проникновенные эти истории запали мне в душу.

Странно, память у меня дырявая, как жаберная сеть с крупными ячейками... во время учебы на мехмате формулы, определения и доказательства теорем выскакивали из головы также быстро, как имена летних кавказских подруг по возвращении в Москву. Но все эти покаяния отлились соляными столбами на внутреннем ландшафте моей памяти. Из любого угла — их видно. На столбах стоят рассказчики или рассказчицы, протягивают ко мне свои огромные руки из соли и бубнят и бубенят...

Несколько раз я пытался срыть столбы бульдозером — не тут-то было! После долгих колебаний я решил, нехорошие эти рассказы записать и опубликовать, чтобы переложить боль и стыд — на читателя.

Так что, господа, предупреждаю, речь дальше пойдет об очень неприятных вещах, не сердитесь на меня потом... почитайте лучше какой-нибудь сказочный детектив или любовный роман с хеппи-эндом, написанный дамою... лучше английской... или посмотрите ироническую комедию с Вуди Алленом, потому что в моем тексте нет ни детективного сюжета, ни приключения, ни любви, ни иронии, ни хеппи-энда... только мучительство обычной жизни.

Эту историю рассказал мне один художник... горы все рисует... синих верблюдов, красных оленей, зеленых ишаков... смахивает немного на Сарьяна.

Гостили мы у общего знакомого, успешного галерейщика, на загородной вилле под Мюнстером. Компашка небольшая, человек десять. Выпили хорошо, но не чрезмерно. Танцевали, курили травку, дурили... потом разошлись кто куда. Две парочки уединились. Хозяин с хозяйкой и двумя приятелями решили пересмотреть — «120 дней», а мы с этим Сарьяном расселись в креслах у электрического камина в библиотеке. Приятно на родном наречии поболтать!

Камин обдавал нас теплыми волнами, сиреневые светильники светили тускло, старинные книжные корешки романтично поблескивали в полутьме.

Собеседнику моему было, как и мне, сильно за тридцать. Высокий, склонный к полноте восточный человек. интеллигентный... не липкий, не страстный... скорее спокойный... пожалуй, даже апатичный, что редко бывает с кавказцами. Звали его — Давид. Фамилия кончалась на — швили.

— Да, да, и имя и фамилия — грузинские, — подтвердил художник. — Папа мой курд, а мама — наполовину армянка, наполовину азербайджанка, из Тбилиси. Порох! Познакомились родители в Москве, оба учились на инженеров... ну и поженились... у отца был блат... остались в столице... так что я родился на Арбате, у Грауэрмана.

— А как же национальные обычаи, традиции, горы, верблюды, ишаки?

— Да пошли бы они... Хорошо идут у местных басурман... обхожусь без пособия. Отец из езидов, у них, между прочим, главный бог — павлин. А мать из семьи репрессированных сталинистов. Родители одного хотели, жить по-человечески... комнату снимали в коммуналке на Чистых прудах. Потом кооператив смогли купить... в Черемушках... там я в школу пошел. То, о чем я хочу вам рассказать, случилось со мной, когда я заканчивал восьмой класс... в апреле или мае. На улице было тепло. Травка зеленела, солнышко блестело... или как там?

Да, я был толстый... в детстве часто макароны ел... в восьмом классе был уже большой и килограмм на тридцать тяжелее, чем сейчас. Усы брил, а мозг все еще был как у ребенка. В голове — одни страхи, комплексы, а ниже пояса — страстные

желания, неиспользованные гормоны. Отец умер рано, перебежал улицу Горького, попал под машину. Трагедия. Мать заплакала и хахая завела. Я ревновал... в общем, судьба была — как у многих других... да еще и в школе меня затравили... измывались как могли. Дразнили черножопым, жиртрестом. А я был креативным невротиком, трусом, в кружок живописи ходил, туда, где одни девочки, защитить себя толком не умел. Много чего пришлось вынести... книгу могу об этом написать... только кто это будет читать?

Да, тогда, весной. Был наш класс дежурный по школе... помните еще эту советскую канитель? Повязки, уборки, проверки. Чччерт бы с ними... было уже около пяти... остался я в школе один... нужно было еще классы на втором этаже проверить, вымыты ли, окна закрыть, если открыты, поставить галочки в каком-то истрепанном журнале, запереть школу, а потом ключи занести во флигель и завхозу в руки отдать. Все это я сделал... но перед тем, как уходить, услышал шум в мужском туалете и зашел туда. Застукал там двух третьеклассников, известных в школе хулиганов. Они сидели на подоконнике, курили папиросы и смачно плевали на вымытый пол. Не помню, как их звали... простые имена... ну, пусть будут Витька и Митька. Знаете, есть такой вырожденный тип русских детей. Худые... носы курносые приплюснутые... веснушки... лбов нет вообще, зато рты большие, челюсти как у этих... морлоков. И выражение глаз как у голодных крыс. Чтобы такое подтибрить... испортить... кого бы исподтишка ударить костлявым кулачком... унижить... девочку лапнуть... мальчику в лицо плюнуть... урки.

Трогать их боялись, потому что у них были старшие братья — человек пять банда — настоящая шпана. Братьев этих из школы несколько лет назад турнули, но о затеянных ими драках с поножовщиной еще помнили. Где-то они рядом жили... ошивались часто на школьном дворе. Деньги клянчили. Приставали... кого-то били. Поэтому Витька и Митька никого не боялись, вели себя нагло, задирали всех, даже некоторым учителям грубили. Грубили они и мне... плевались, обзывались. Я не реагировал, шел себе дальше, а потом замечал, как

на меня смотрят девочки нашего класса... с презрением. А что я должен был делать... я чувствовал себя среди русских чужим, парией, боялся шпаны.

Ну так вот, по шкодистому выражению их лиц я догадался, что они меня поджидали... значит меня ждет какой-то подвох. Может где-то тут и их братишки недалеко... с ножами. Стыдно мне это вам говорить, но я до смерти испугался этих пацанов... как слон моську... шарики какие-то панические через всего меня прокатились и упали в мошонку.

Они соскочили с подоконника и подошли ко мне. Витька (он был повыше и посильнее Митьки) ни слова не говоря ударил меня в живот кулаком. Я невольно присел и получил удар от Митьки — в нос. Витька ударил меня по скуле...

Такой яростной атаки я не ожидал. Страх... гнев... как синие и красные огненные кони побежали перед глазами, но вместо того, чтобы встать и отогнать маленьких негодяев, я сел на пол, закрыл лицо руками и заплакал.

А затем со мной случилось что-то непонятное. Не могу точно описать это чувство... как будто выпадаешь из поезда... да, меня вынесло из нашего мира как на салазках... тьфу, не даются мне метафоры... в общем... выбросило меня из этого воюющего советского туалета.

Очутился я почему-то в ресторане.

Сажу за столиком, передо мной тонкая рюмочка, в ней зеленая жидкость. Ликер? Рядом — еще столики... и публика сидит на них... не нашинская. Сутулый старик в золотом пенсне. Молодой брюнет с прилизанным пробором, а на галстук его зеленом — лучится рубин с трехкопеечную монету. Карбункул. Толстый лысый дядька в роскошном малиновом пиджаке... с сигарой. Офицер в незнакомой форме, тоже в пенсне. На холеных руках — перстни.

На небольшой сцене пианино. Престарелый тапёр. И контрабасист-китаец с лицом мартышки. Во фраке. Наяривают чарльстон. Две обнаженные по пояс девицы танцуют. Худенькая брюнетка без груди с черненькими волосиками подмышками и пухлая блондинка с увесистыми грудями прекрасной формы.

Потанцевали, подошли ко мне. Блондинка ударила меня кулаком в бок и превратилась в Витьку, а брюнетка — ударила в другой и превратилась в Митьку.

Витька взял меня за нос, дернул за ноздрю и спросил: Пузырь, ты чего, в обмороке?

Митька пояснил Витьке: Кабан от страха сейчас обоссывается, смотри, как вспотел и губы трясутся!

— Давай ему штаны и трусы снимем! И с голой жопой на улицу выгоним.

Два негодяя тут же расстегнули мне брюки... стянули и штаны и трусы...

Витька, кривясь, дернул меня несколько раз за член и глумливо заржал. А Митька ткнул пальцем с грязным обкусанным ногтем мне в лобок. Сморщился и прошепелявил: Гляди, волосня...

Достал из кармана школьного пиджака старую бензиновую зажигалку, щелкнул и поджег волосы. Захрустело и запахло жжёными перьями. Боли я не почувствовал, но огонь как будто опалил мне сердце.

Я вскочил... бешеная злоба бушевала во мне как Ниагарский водопад в половодье!

Потушил одним хлопком огонь, схватил двумя руками мерзавцев за шкурки и треснул их друг об друга головами. Хотел размозжить им бошки. И бил, бил их, в черном аффекте головами друг о друга. Не знаю, сколько времени. Как в чаду... положил истекающих кровью мальцов на кафельный пол. Как раз туда, куда они плевали. Затем снял с них брюки и трусы, разодрал их на тряпки и связал им руки и ноги. Боялся, что они очнутся, встанут и начнут опять меня избивать.

И тут... галлюцинация моя... ну та, ресторанный... возобновилась. Диссоциация что ли.

И вот, лежат передо мной, на бильярдном столе, на зеленом дорогом сукне те самые дамочки-суфражистки, блондинка и брюнетка... голые.

И потянуло меня к ним... как голодную собаку к мясу.

И я... впервые в жизни... да... ублажился и с той и с другой.

Как на фотке... продавали у нас в школе шведскую порнушку... сзади.

Разомлел.

И тут вдруг появляется китаец... ну тот, контрабасист. Бешено так на раскинувшихся девушек смотрит, а потом залезает на бильярдный стол и начинает их душить синими жиллистыми руками. Задушил брюнетку, а потом за блондинку принялся.

Меня это убийство почему-то ничуть не взволновало... я встал и зашагал, качаясь, как привидение по длинному коридору, обитому от пола до потолка розовым шёлком.

Вернулся в ресторан, попросил извинения за то, что долго отсутствовал, у того, с пробором и карбункулом, присел к нему за столик и начал непринужденно беседовать, как примерно с вами сейчас. Пили мы абсент... закусывали лимонными дольками... и он рассказал мне о том, где и как он приобрел свою драгоценность. Оказывается, он работал военным корреспондентом в Шанхае в 1932 году, освещал захват японцами Маньчжурии. Писал он и о загадочном убийстве, случившемся у Великой Китайской Стены. При невыясненных обстоятельствах кто-то жестоко убил и ограбил семью богатого американца-туриста, купившего будто бы тот самый камень у беглого монаха. Мой друг говорил и говорил, рассказывал подробности следствия, описывал его собственную роль в этом деле, и в частности то, как и почему он завладел рубином.

Я пожирал глазами карбункул, а затем... оторвал его от галстука, сжал в ладони... и его магические бордовые лучи, казалось, пронзили все клетки моего тела... я заснул... прямо за столиком.

А проснулся — как вы уже, наверное, догадались — все в том же школьном туалете. На полу. Без штанов. Рядом со мной лежали два полуголых связанных мальчика. Бездыханных.

На голову мне как будто кто-то ведро цемента опрокинул. Засудят. Посадят. Жизни конец.

И тут в туалет вошла милиция. Завхоз, оказывается, вызвал. Ждал, ждал ключа... не дождался, обошел школу и нашел

троих окровавленных школьников на полу в туалете. Подумал, что все мертвые и побежал звонить.

На следствии я повторял одну и ту же фразу — знакомый отца адвокат подсказал — закончил дежурство, зашел в туалет, увидел третьеклассников, тут на нас напали, а кто не знаю, потерял сознание.

Версию мою подтвердило то, что лицо и тело у меня были в синяках. Рядом с причинным местом — ожог. Видимо, пока я в первый раз галлюцинировал, маленькие садисты продолжали меня избивать.

Давид сделал паузу. Видимо, боролся с собой. Потом проговорил что-то вроде — ах, да что уж теперь — и продолжил рассказ.

— Да, Антон, так все и было... но самое интересное... вот тут, в маленькой коробочке... ношу всегда с собой... посмотрите...

Он вынул что-то из внутреннего кармана пиджака и подал мне. Это был крупный, чистойшей воды рубин. Карбункул!

Я похмыкал, а затем не удержался и спросил: Откуда это у вас такое сокровище?

Он дернул щекой и сказал: Вы конечно не поверите, но камень этот я сжимал в руке тогда... когда проснулся на заплыванном полу в школьном туалете.

ЛЕПРЕКОН

Дядя Боря подарил мне, семилетнему жителю Дома преподавателей на Ломоносовском и регулярному посетителю филателистического отдела в книжном магазине за углом, коллекцию почтовых марок, большой, старомодный альбом. На первой же его странице между бравым синюшным Джузеппе Гарибальди (150 лет со дня рождения народного героя Италии) и могучим отечественным Белым медведем красовалась почтовая марка СССР 1957 года «Падение Сихотэ-Алинского метеорита 12.2.1947». Достоинством в 40 копеек. На марке, которую я рассмотрел в бабушкину лупу, была изображена деревня, щербатый как рот ветерана забор, домики на фоне синих гор и желтое зарево над ними. Нечистое небо и искусственные облака пересекала какая-то косая, расширяющаяся кверху дубина. Слово «Падение» на марке было написано через «ч» — Паденче.

...

Кстати, вы замечали, что слова с «ч» неблагозвучны? И неприятны как собачья шкура с проплешиной или смуглая скула с розовым чирьем.

Человек, Чиновник, Червяк, Чулок...

У Чехова эта полная национального гноя шипящая пролезла сквозь имя в легкие и обернулась чахоткой. Да, господа, Чехова погубила не Ольга Леонардовна, от игры которой у него чесалось в горле, а буква «ч». А Пушкина вознесла на небывалую высоту легкопера, полетная буква «п». Пушкин — не пушка, а пушинка. Два колеса велосипеда, на котором сумасшедший хохол Гоголь въехал в заколдованное место русской прозы — это два «о» в его фамилии.

— Го-го-го, — тихо ржет Гоголь-велосипедист на середине Днепра, — го-го-го...

Цик-цик-цик, — отвечает ему с Черной речки сверчок Пушкин.

Попросить взрослых растолковать мне надпись и картинку на метеоритной марке я стеснялся. Отвратительное слово с фурункулом — «паденче» вызывало у меня отвращение. Я не понимал, что это за странная дубина застряла в небе. Сихоте ассоциировалось почему-то с Дон-Кихотом Ламанчским. Прочитать толстенную книгу мне было еще не под силу, но иллюстрации Доре я рассматривал пожалуй еще чаще, чем заходил в книжный, поглазеть на витрины с марками и понюхать запах кляссеров. Алинский привязалось к имени завуча нашей школы, неопрятной и злой Алины Викторовны. Ключевое слово надписи «метеорит» я тогда понимал по-детски — мне представлялось, что это не предмет, а особая болезнь, вроде небесной скарлатины, поражающая изображенной на марке дубиной земных детей.

Однажды мне приснился кошмар. Дубина-метеорит проникла в мою комнату и замерла, в готовности ударить, прямо над моей кроватью. Я закричал, пришла мама, я рассказал ей мой сон, показал марку. Это событие имело неприятные последствия (никогда не рассказывайте никому ваши сны — вас не поймут и обязательно обидят или накажут). Мать не дала мне денег на серию почтовых блоков «Фауна Кубы», выпущенную во время Карибского кризиса, обладатели которой пользовались в нашем дворе почти таким же почетом, как владельцы пятиметровых шароваров в дворце Топкапи. Видимо побоялась, что изображенные на кубинских марках рептилии, насекомые и летучие мыши как-то проберутся ко мне в комнату и причинят мне зло.

...

Когда я учился в третьем что ли классе нам показали в школьном актовом зале про Сихотэ-Алинский метеорит кино, и все постепенно расставилось у меня в голове по своим местам. Кроме паденче, разумеется. Я был вполне советским ребенком — мне и в голову не приходило, что нечто напечатанное может быть ошибкой или ложью.

До сих пор не могу забыть восторженно-доверительный голос диктора, рассказывающего про удивительное природное явление и несколько экспедиций, посланных это явление исследовать.

Против сильного течения реки Бейцухе шли на шестах. Только двадцать километров отделяли экспедицию от цели.

Но труден путь по уссурийской тайге! Дорогу преграждали завалы, полные вешних вод ручьи.

Внезапно тайга поредела. Кратер! Другой! Третий! Целое кратерное поле!

В тайге вновь застучали топоры.

«На шестах» означало тогда для меня — на ходулях. «Кратеры» представлялись мне кратерами вулканов, полными багровой лавы, а «застучали топоры» я понял так — ученые начали от радости иступленно стучать по деревьям тыльными частями топоров. Как дятлы.

...

И почтовая марка и фильм появились через десять лет после падения Сихотэ-Алинского метеорита. Почему не через год-два? Или не через месяц?

На дворе 1947-й год. Разруха. Голод. Миллионы советских людей сидят в тюрьмах или доходят в лагерях. Не репрессированные строители коммунизма не могут спать по ночам. Боятся ареста. И перестают стучать зубами, только если кого-то в их подъезде уже забрали этой ночью. Значит — сегодня не меня. Можно поспать.

Их энтузиазм и собачья преданность усатому вождю непоколебимы, безграничны...

Разобравшись с внешними врагами, поделив мир и организовав красный террор в освобожденных странах Восточной Европы, неплохо бы и на своей территории потешить молодецкую силу — раззудись плечо — поквитаться с власовцами, полициями, советскими военнопленными и жителями оккупированных немцами территорий, с крамольными журналами Звезда и Ленинград, с историками, с репертуарами театров, с пушкинистами, киношниками и другими низкопоклонниками перед Западом, заискивающими, искажающими советскую действительность и безыдейными, а потом — размахнись рука — ударить по безродным космополитам, по членам Еврейского Антифашистского Комитета, по врачам-вредителям и прочим вражинам. Великие свершения великой страны!

И тут на тебе... Сталину докладывают о взрыве в Приморье. Так мол и так, что-то колоссальное взорвалось в атмосфере и на землю упало.

Сталин говорит с акцентом, не торопясь, хоть и раздражен, в паузах глубоко затягивается дымом из трубки, недобро смотрит на докладывающего. Рябая морда ящерицы не выражает никаких эмоций, кроме застарелого презрения к людям.

— Что там взорвалось? Почему не дасматрели? Кто зачинщик? Метеорит? Или атомная бомба? А кто его к нам послал? Почему ударили па советскому Приморью, а не па США? Атарвался из пояса астероидов? А кто его атарвал? Чан Кайши? Срочно пашлите наших товарищей в Приморье. Пусть вазьмут с собой саперов и других специалистов, может быть метеориты заминированы или отравлены. Или все это — правакация? Вредительство, террор, интервенция? Сабрать все метеориты и срочно даставить в Москву! Праверить, абезвредить, далажить. Виновных наказать по всей строгости закона!

...

Поехал я однажды тут, в Берлине, на блошинный рынок. Хотел побродить среди людей, посмотреть на всякие любопытные вещицы... чтобы хоть ненадолго отвлечься от русского языка, этого капкана, отрывающего меня от настоящего, гонящего против течения немецкой жизни, вспять, в прошлое, в мир мертвых... и купить какую-нибудь ненужную штуковину. Покупать нужное — скучно. Приятно приобрести что-нибудь ненужное, но забавное, евро эдак за двадцать. С одной стороны — не велика потеря, с другой — захотел и купил, удовлетворил исконную потребность члена общества потребления, стал хоть на несколько минут таким же как все!

Помнится, купил я лет пятнадцать назад круглый бронзовый барельеф. Небольшой, в две ладони. Старик экспрессивный, изображен в профиль. Заплатил 12 марок. Пробил я в нем варварски сверху дырку гвоздем, проволоку в дырку всунул, сплел петельку и повесил над кроватью на гвоздике.

Приходит ко мне моя ненаглядная Франческа. Глянула на мой барельефчик и зафыркала-запрыскала, даже закашлялась.

— Ты, говорит, кхы-кхы, кого это на стену повесил?

— Сама видишь, старичка горбоносого, купил на блошином рынке. Смотрит выразительно так... Громобой!

— Громобой? Ты что, офонарел? Стареешь! Бороденка вперед. Нос крючком. В правой руке мешочек с деньгами... А ты, стало быть, купил, на стенку повесил и будешь теперь на него пялиться и наслаждаться? Вот уж действительно, подобное к подобному тянет! Протри глаза! Это же Иуда Искариот с фрески в Милане. Леонардо! Ты еще тогда сказал — единственный еврей во всей гоп-компании.

...

Ну так вот, брожу я по рынку, рассматриваю товары, слушаю ужасный берлинский диалект, приобщаюсь европейской цивилизации. И вдруг замечаю на прилавке среди различных статуэток, медалей, тарелочек, браслетов, биноклей, старых часов и прочего хлама — две милые коробочки. Коробочки открыты, и в них лежат странные какие-то камешки или железки. Сантиметра по три-четыре в поперечнике. Спросил седого дядю-продавца с сонной мордой, можно ли в руки взять. Тот кивнул, зевнул и отвел глаза...

Положил коробочки на левую ладонь и стал глядеть на камешки через увеличительное стекло.

Ба! Да это метеориты! Железо-никелевые! Октаэдриты! Индивидуальные, не какая-нибудь шрапнель! Оплавленная корка, а чашечки-регмаглипты такие, как будто кто-то целовал железную плоть в засос, высасывал и отплевывал ее куски прочь.

— Сколько хотите за пару?

— Сто. Заключение экспертов есть. Сихоте-Алинь, лучший товар.

— Даю пятьдесят.

— За пятьдесят я бы и сам купил.

— Шестьдесят.

— Ладно, забирайте за семьдесят. Уже три года не могу продать...

Я положил коробочки в карман и поехал домой на с-бане. По дороге любовался покупкой, сжимал метеориты в руках. Пытался ощутить космическую энергию. Метеориты как будто плавилась у меня в руках. Мне даже показалось, что они светятся.

Я представлял себе, как они, тогда еще части небольшого астероида, осколка расколовшейся планеты Фаэтон, покоились себе в его толще, вертелись вместе с ним миллионы лет между Марсом и Юпитером, а потом прилетевшая из загадочного облака Оорта дура-комета ударила астероид в его выпуклый неровный бок. И он сошел со стационарной орбиты и понесся по направлению к голубой планете. Догнал ее, вошел в атмосферу, разогрелся... несколько раз взрывался и дробился... и упал бешеным железным роем где-то в тайге между заснеженных сопек Сихотэ-Алиня. Снег зашипел...

Вскоре моих красавцев подобрали и припрятали геологи, гэбисты или саперы, те самые, которые шастали по тайге на ходулях и стучали топорами по деревьям и разминировали метеориты по приказу Сталина... а через пятьдесят лет их дети или внуки, выпущенные наконец из душной советской зоны на волю меченым генсеком, провезли, дрожа, через таможенную метеориты в Европу и продали по дешевке оптовому торговцу минералами, неприятному потному старику с бородавками на лбу. Тот вложил их в ювелирные коробочки по марке за штуку, приложил к ним фальшивые свидетельства с печатями и выставил на продажу. Какой-то семейственный бюргер купил их для сына-гимназиста, якобы увлекающегося астрономией (сломал уже два бинокля и один телескоп-рефрактор), и тот играл с ними на диване целых десять минут. Потом показал подружке, кокетке и дурочке. На ту небесные камешки впечатления не произвели, и сынок зашвырнул их под кровать, вместе с коробочками. Там их нашла заботливая мама, почистила, завернула в веленевую бумажку и положила в ящик письменного стола. Глава семейства вынул их оттуда только через восемь лет, после развода с веленовой женой, после потери работы и дома, после ухода сына, сделавшего к тому времени несовершеннолетней подружке ребенка, бро-

сившего институт и разбившего вдребезги семейный ауди, и продал их на блошином рынке. Что с ними еще делать-то?

Такая же примерно судьба ожидала метеориты и у меня. Я конечно забавлялся бы ими подольше, чем сын предыдущего владельца. Начал бы их фотографировать, гадать по ним, искать в их необычных формах скрытые фигуры. Дал бы им имена. Высосал бы из них всю космическую энергию и зарядил бы их своей. Бессовестно использовал бы их падение в каком-нибудь душещипательном рассказе с ужасным концом — как метафору для эмиграции... А через пару месяцев забросил бы глупые камни под кровать или положил бы их в особый ящик моего комода, туда, где уже лежал барельеф с Иудой, пробитый гвоздем, альбом для марок и десятка три других забавных, давно осточертевших мне предметов, о которых я возможно еще расскажу. Там бы их вероятно и нашла дочка после моей смерти. Повертела бы пальцем у виска. И отнесла бы метеориты на блошинный рынок...

Но судьба их сложилась иначе. Случаю было угодно, чтобы метеориты еще раз попали в историю, пусть и не в космическую, а в морфическую. И не через годы, а ровно через неделю после их покупки.

...

Да, именно через неделю после покупки метеоритов ко мне проездом из Цюриха в Иваново приехал мой старый друг Нэт. Был он, как и я, бывшим совком, и звали его конечно по-другому. Но я его еще много лет назад прозвал Нэтом в честь и им и мной любимого чернокожего певца Нэта Кинг Коула с бархатным низким баритоном, и он охотно на Нэта откликался.

Приехал Нэт, как всегда, без приглашения, неожиданно-негаданно. Артист!

Не буду мучить читателя изложением истории жизни моего друга, описанием его характера и наших отношений. Не хочу этот однодневный, трагикомичный рассказ утяжелять свинцовыми мерзостями жизни — злокачественным нарциссизмом, ложью и всяческими подлостями. Оставим это неблагородное занятие вечным завистникам.

К делу! Как сказал палач, задумавшийся было о смысле жизни. Сказал и вложил голову осужденного преступника в отверстие гильотины. Поправил корзину. И дернул за веревочку.

После обильного ужина сидели мы на нашей семейной итальянской софе. Ели десерт — крупную чернику с взбитыми сливками. Франческа молчала. А Нэт рассказывал о своем последнем концерте в Монте-Карло.

— Велиикий был концерт, граандиозное шоу, — тянул Нэт, покачивая головой, жмурясь и смакуя сливки...

— Мировая премьера, новое слово, прорыв, каждая нотка прозвучала, Рахманинов ликовал, оркестр играл как один человек, по залу летали ангелы... Я был в ударе, зал не дышал... Публика таяла от моих обволакивающих звуков, после окончания бисов началась овация, мужчины ломали стулья, а дамы срывали с шей бриллиантовые колье и кидали к моим ногам...

— Привез бы хоть одно. Или ножку от стула...

— Ну что ты, я не взял ничего, драгоценности поднял и вежливо вручил владелицам. Так они потом их мне по почте высылали. Предлагали отдаться и состояние. Одна обещала подарить мне замок с семидестью восемью комнатами. Ключи прислала! Другая, принцесса между прочим, уговаривала незамедлительно вступить во владение ее средиземноморской усадьбой с яхтой и пятидесятью пятью афганскими сенбернарами. А третья...

— Незамедлительно? Усадьба, яхта и пятьдесят пять собачек? Неплохой улов! Только вот, чем бы ты их кормил, принц? Гречневой кашей?

— А третья прислала мне акции компании, занимающейся продажей земель на Марсе. Для будущих переселенцев. На сто тысяч долларов прислала акций. И кольцо с марсианским камнем...

— Чудесно! Пробовал загнать акции и кольцо?

— Сливки у вас хороши!

— Франческа купила настоящий ванильный сахар. Не халтуру с Мадагаскара. Послушай, Нэт, ты человек великий, марсианин, миллионер, сенбернар, признаю... ты уж нам, бер-

линским нищebroдам, сделай одолжение, сыграй что-нибудь на фортоплясах. Только вчера настройщик приходил. Полсотни выложить пришлось. Ноктюрн или балладу. Чтобы и у нас в гостиной ангелы поселились.

...

Честно говоря, я слушать его игру не хотел. Отгорела у меня любовь к музыке годков этак тридцать пять назад. Для Франчески старался. Потому что она безумно музыку любила и сама по клавишам постукивала. Мне из дома уходить приходилось. И скандалы с соседями терпеть.

Нэт долго себя просить не заставил. Сел и заиграл что-то печальное. По комнате полетели звуки... как светлячки...

Франческа слушала жадно, прижимая к груди платок и оттопырив пальчик. А я потихоньку заснул.

А метеориты мои лежали на журнальном столике перед софой.

Источали голубоватое сияние.

Ждали своего часа, как то чеховское ружье на стене.

...

Ждать им пришлось недолго.

Как в тумане я видел — вот, Нэт закрыл пианино и присел на софу. Полупрозрачная Франческа начала его славословить, вытягивать шею, вздымать грудь, ломать суставы и пожирать Нэта своими глицериновыми глазами.

— Маэстро, браво, вундербар, вандерфул, белиссимо, экстраординер...

А он... вот же подлец... разомлел и положил свою огромную бритую голову ей на колени! А она стала ее гладить розовой лапкой. А он замурлыкал как кот в сапогах. И стали они нежно так переглядываться и токовать. Как влюбленные голубки. У меня на глазах.

...

Все говорят аффект-аффект...

В аффекте мол схватил топор и прикончил жену и ее любовника.

Не было у меня никакого аффекта. Не было естественно и топора. Но как-то реагировать нужно было! Даже в обволакивающем сне и синеватом тумане.

Достал я метеориты из коробочек, поиграл ими, как игральными костями... положил их на правую ладонь, размахнулся как дискобол и ударил моего друга по голове. Да так сильно, что метеориты в его череп вошли, как инкрустации в дерево. Глубоко-глубоко. И засверкали на нем, как бриллиантовое кольцо на красном бархате.

А Нэт вместо того, чтобы затрястись в агонии и умереть, стал почему-то маленьким, морщинистым и гадким. Спокойно так на меня посмотрел, улыбнулся неприятно и сказал: Спасибо тебе, Вадя, за полосатые носочки! Буду в них танцевать и колокольчиками звенеть! А еще у меня зеленые ботиночки есть! И горшочек с золотом! Пули-пули-пули...

И пустился в пляс на потолке. И танцевал, танцевал...

Пока я не проснулся.

Франческа трепала меня по щеке и тянула за руку.

— Милый, вставай, пойдем в спальню, там уютнее. Нэт уже два часа дрыхнет на диване в твоём кабинете. Ему завтра рано вставать. Самолет в Шереметьево вылетает в восемь. Пока ты спал, я фильм посмотрела. Про лепрекона. Такой милашка...

ВАЗЕЛИН

Посвящается грядущему сорокалетию издания первого тома Архипелага.

Познакомился я с Таней в пансионате «Ёлочка». В февральские студенческие каникулы 1974-о года. Родители чудом достали путевку. С пятого по шестнадцатое. Рука неизвестного администратора, вершителя судеб, размашисто написала фиолетовыми чернилами на моем и на ее удостоверениях гостя «столик номер семнадцать» и обрекла нас на интимное знакомство. И вот, сидим мы напротив друг друга за покрытым клеенкой с изображением Кремля и московских высоток столиком в столовой пансионата. Недалеко от фикуса бенджамина с вылинявшими кромками листьев и искусственных пальм.

Полдничаем.

Танечка смущенно смотрит вниз, одной милой лапкой держит румяную ватрушку, а другой теребит патриотическую клеенку. Жует.

Уронила ложку на покрытый лаком дубовый паркет.

Бросила смущенный взгляд на фикус.

Повела плечами.

Поправила прическу.

Я поднял прибор и подал ей. Поднимая, успел понюхать ее каштановые волосы. Они пахли ландышами и укропом. Дело было сделано. Сигналы были поняты, пули легли в десятку, поезд достиг пункта назначения. Некоторые реле сомкнулись, другие разомкнулись, по нервам пробежали от нейрона к нейрону переменные токи, химические реакторы выработали необходимые андрогены. Мой мозг засветился разноцветными огоньками как ЭВМ моей юности, в груди запылал огонь же-

ланья, а в штанах зашевелился лирический герой и залепетал козлиным тенором: Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще...

Мирррра и виииина — прогудели баритоны.

Я втюрился в эту милую девушку автоматически.

Ничего не поделаешь, не будь мы, мужчины, биологическими машинами с простенькой программой, человеческая раса давно перестала бы существовать.

В последующей застольной беседе Таня сообщила, что она — студентка первого курса филфака МГУ романо-германского отделения, что любит Гессе и Кортасара, увлекается теннисом, собирает марки с жирафами и мечтает посмотреть мир. Чутье подсказало мне, что Таня, так же как и я — в первый раз в жизни вырвалась из заботливых родительских когтей, и мечтает о свободной любви.

Чего же боле...

Кроме нас за столиком номер семнадцать сидели: мой долговязый приятель Жэк и однокурсница Тани Ксеша, кругломордая блондинка с локонами, в обтягивающих ее величественные формы зеленоватых джинсах и розовой кофточке с кружевами.

Намечался многообещающий союз четверых.

...

К сожалению, Ксеша не приворожила моего приятеля, хотя и поглядывала на него дерзко.

Жэк оперативно приударил за длинноногой старушкой двадцати семи лет — Людмилой с соседнего столика, тоже блондинкой, тоже с локонами и с каким-то особым двойным кучерявым чубчиком, худенькой, и не в джинсах, а в роскошных вельветовых бежевых расклешенных штанах с странными цветными нашивками на заду (на одной из них был вышит пес-барбос с выпученными глазищами-шарами, при внимательном рассмотрении оказавшийся сучкой, а на другой — тогда еще загадочные латинские буквы LSD, синие на розовом поле), держащихся на вельветовых же подтяжках, выглядывающих из под вельветовой курточки с противным изображением лыбящегося Дональда Дака на спине.

Через неделю мы жили в Ёлочке так, как будто мы в ней родились и выросли. И думать не хотели о скором отъезде. Роскошь разлагает и закабальет, даже такая, средненькая, номенклатурно-советская.

Днем мы катались на лыжах на водохранилище и в окрестных лесах, прочищали измученные московскими выхлопными газами легкие. На обед поглощали сомнительно пахнущий борщ и жирные отбивные с картофельным пюре, похожим на Сахару. Потом спали, играли в пинг-понг и в гоп-доп, трепались, тусовались, слушали музыку Deep Purple и Slade (у нас был с собой кассетник), танцевали, ужинали, после ужина делали еще одну, короткую лыжную прогулку.

Под звездами.

Искали потрясающий Орион, нежные Плеяды, Кассиопею.

Находили на небе яркую, источающую золотые лучи, точку — Венеру и бросали в нее снежки. Наслаждались волшебным лунным светом, как будто струящимся по снежным полям и оседавшим на ветках громадных дубов ледяным панцирем. Пили в темном русском лесу холодный рислинг, закусывали пряниками, целовали замерзшие губы своих любимых, слушали тишину, нарушаемую только потрескиванием стволов деревьев на морозе и глухими воплями не улетевших в теплые края перелетных птиц.

После прогулки принимали горячий душ.

А ночью...

Жэк уходил спать к своей Людмиле. Ксеша засыпала одна в ее и Таниной комнате. А моя милая девочка приходила ко мне, в нашу с Жэком комнату. Мы пили растворимый кофе, ели овсяное печенье или краденый из пансионатской столовой белый хлеб с маслом, часто и подолгу целовались, а затем ложились спать на сдвинутые вместе кровати.

Меня трясло как самолет, летящий через бушующую Атлантику, сладкие прелести некиннга не приносили мне облегчения. Танечка не позволяла снять с себя трусики, бешено сжимала бедра и грубо отталкивала меня, когда я терял голову от любви. Как и все советские девственницы, милая девоч-

ка страшно боялась заболеть чем-нибудь венерическим или залететь и снести яйцо. Все мои заверения и клятвы она пропускала мимо ушей.

Каждую ночь я жгуче завидовал Жэку, с настойчивостью бульдозера пахавшему костлявую плоть своей старушки, терпеливо объяснившей и показавшей ему, что и как надо делать, чтобы не стать курочкой Рябой, растянуть удовольствие и усилить конечный эффект.

Завидовал и вынашивал планы лишения девственности милой девочки Тани примерно также, как несчастный граф Матье в исполнении утонченного гидальго Фернандо Рея в еще не снятом в описываемую мной доисторическую эпоху последнем, мучительном фильме Бунюэля «Этот смутный объект желанья» где главную героиню, Кончиту, играют попеременно две различные актрисы, персонифицирующие две личности дьявола женского пола — кроткую и свирепую. В самый волнующий для графа момент он замечает, что на Кончите — особые, исполняющие функцию гротескного пояса верности, сплетенные из лиан, трусики ужасов. Стянуть их не под силу человеку, разве что самому сатане. Матье рыдает, зритель хохочет...

Купить моей возлюбленной дом в Мадриде я не мог, поэтому все свои надежды возлагал на более скромное средство — Советское Шампанское. Целых три сверкающих и томно побулькивающих бутылки которого хранились в пахнущей клопами глубине пансионатского бельевого шкафа, непосредственно за моим оранжевым чемоданом фирмы Ломбардини (купленным по дешёвке в ломбарде).

Вообще-то вылакать шампунь мы с Жэком планировали вдвоем, в последний вечер перед отъездом из пансионата. Но поскольку Жэк уже получил награду свою с ненасытной Людмилой, то я... решил, что могу нарушить договоренность и попробовать употребить это последнее средство для достижения моей цели. Ибо иначе, рассуждал я сам с собой, тебе останется только сойти с ума от приступов гиперсексуальности в лучшую пору твоей только что начавшейся самостоятельной жизни.

Сегодня же ночью выпьем шампанского и займемся глубоким бурением в мохнатой шахте! — подзуживал я сам себя, страдая от собственной пошлости.

Но как назло, как раз сегодня вечером у моей возлюбленной болела голова или горло. Стреляло в ушах. Ныла подвернутая лодыжка. Таня отказывалась от шампанского. И засыпала после влажных поцелуев, уютно положив изящную головку на мое широкое плечо, а мне не оставалось ничего другого, как последовать ее примеру.

После этих половых разочарований я подолгу не мог заснуть. Тянуло почему-то в животе (мой инстинкт знал, почему), на душе было скверно. Тело моей спящей подруги раскалялось как заслонка русской печи. Мутная душная ночь, казалось, никогда не кончится, в глазах плыла пылающая планета Венера, в ушах гремело эхо песни Child in Time, пространство комнаты качалось как будто на качелях, складывалось в ромб и закручивалось как пропеллер.

...

Однако тринадцатого февраля мои планы чуть было не осуществились, я чуть было не достиг седьмого неба. Помешал этому, как это ни странно, Александр Исаевич Солженицын. Не нарочно, конечно. Но все равно, я это ему еще припомню.

Спросишь сегодняшних молодых людей: Что произошло в феврале 74-о?

Не знают и знать не хотят. И правильно делают. Ну а для человека моего поколения — этот самый февраль — незабываемое, судьбоносное время.

Как известно, во время допроса помощница Солженицына Елизавета Воронянская выдала гэбэшникам местонахождение рукописи «Архипелага». После чего бедняжка повесилась. Солженицын в ответ разрешил печать книги в издательстве ИМКА-Пресс. В декабре 1973-о года вышел первый том.

Книгу эту мне тогда прочитать не удалось. В январе мне ее с благоговением, осторожно, как величайшую святыню, показали знакомые. Даже открыли секунд на двадцать. Но в ру-

ки так и не дали. Я успел прочесть слова: Поставив молодого Лордкипанидзе на колени, следователь измочился ему в лицо! И что же? Не взятый ничем другим, Лордкипанидзе был этим сломлен. Значит, и на гордых хорошо действует...

Больше всего меня поразила тогда не сама эта отвратительная сцена, символизирующая и материализующая всегдашние отношения российских властей с собственными людьми, а неприятное слово «измочился». Написал бы просто «помочился»...

Только через много лет я понял, что Солженицын попросту не владел хорошим русским языком. Оттого и защищал его так от заимствований и германских суффиксов и приукрашивал свои тексты — весьма навязчиво — неуместными сусальными завитушками из славянского шкафа с пауками. Отвлекал внимание читателя от своего косноязычия.

Коммуниздия ответила на Архипелаг невероятным даже для советской прессы потоком словесной блевотины, настоящим взрывом холуйства.

В январе, после тайного решения Политбюро о дискредитации книги и наказании ее автора, Правда напечатала статью Соловьева «Путь предательства». За этим флагманом идеологического флота последовали кораблики поменьше, и сколько! Целая флотилия. Не буду называть авторов, перечислю только несколько характерных названий:

Позор клеветнику,
Без роду без племени,
Цена предательства,
Всеобщее презрение,
Отщепенец громоздит новую гору лжи,
Лишь бы очернить,
Власовец от литературы,
Политический слепец,
Рыбак рыбака видит издалека,
Измену Родине не прощают,
Зарвался!

Народ проклинаят,
Растленная душонка,
Мы отвечаем презрением,
Солжец антисоветчиков,
Нам не по дороге,
Терпению пришел конец,
Туда ему и дорога.

...

Тогда я наивно полагал, что авторы этих текстов — или продажные лжецы на службе у коммунистических фараонов или несчастные люди, вроде Шостаковича, Щедрина или академиков Александрова и Колмогорова, которых кровавые звери гэбисты вынудили подписать всю эту ложь, шантажируя, выкручивая руки и прижигая им кожу раскаленными щипцами. Теперь я думаю иначе — все эти замечательные образцы русской словесности написаны искренно, от всей души и с полной убежденностью в правоте своих слов. И академиками, и писателями, и музыкантами, и учителями, и доярками, и сталеварами, и плотниками, и прочими инженерами. Путинская эпоха расставила все точки над всеми i русской истории. Вывесила на всеобщее обозрение русские характеры. Осветила черным светом подвальных пыточных камер Чернокозова сталинское нутро России. Показала, что эта страна наводнена, переполнена подонками, палачами, способными на любую гнусность. Их вовсе и не нужно подкупать, шантажировать или запугивать. Они все сделают добровольно. И напишут и подпишут, и проголосуют, и виселицу сколотят, и веревку принесут, и мыло. Подставляйте только шею!

...

12 февраля издали Указ Президиума Верховного Совета СССР.

Учитывая, что... систематически совершает действия, не совместимые с принадлежностью к гражданству СССР, наносит своим враждебным поведением ущерб Союзу ССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет... лишить... выдворить... Георгадзе.

По радио сообщили об аресте Солженицына.

Политика была мне до фени. Но то, что происходило тогда на моей родине, не было политикой, это было непрекращающейся ни на секунду общественной гнусностью, ложью, преступлением. И я чувствовал это и ощущал на самом себе безнадежную глубину падения.

В перерывах между танцами, лыжами и пинг-понгом, я пытался поймать специально препарированной Спидолой «Голос» или «Свободу». Делал я это в одиночестве, не только потому, что не хотел никого просвещать, но и потому, что и прослушивание голосов на людях было тогда наказуемым деянием, а мне вовсе не хотелось вылететь из университета и приземлиться в доблестной советской армии, в гарнизоне какого-нибудь Верхоянска или в тюрьме. Все тогда боялись КГБ и доносчиков, только те, кто постарше — боялись панически, смертельно, а те, кто помоложе — боялись, но не очень. Не потому, что были мужественнее, великодушнее, смелее, а скорее потому, что... не удивляйтесь... были еще подлее и равнодушнее тех, кто прошел сталинскую эпоху.

Я тогда относился к Солженицыну гораздо лучше, чем теперь, после свободного ознакомления с его текстами, после «Двухсот лет вместе», братания престарелого писателя с Путиным и путинцами. Мое мышление было еще блаженно мифологичным, насквозь образным, детским. Солженицын представлялся мне апостолом правды, новым протопопом Аввакумом, распинаемым советскими извергами, а Сахаров — юродивым профессором-идеалистом, не понимающим, с кем и с чем он собственно имеет дело. Я жалел их обоих, сочувствовал им и жадно следил за развитием событий. Но юность брала свое и все еще недоступный мне цветок любви моей любимой без всякой борьбы вытеснял с главной сцены моего сознания мысли о кисло-сладкой парочке сахаров-солженицын. К сожалению монументальную заднюю стенку этой сцены — главный фон русской жизни — огромный опрокинутый свинцовый стол с кровавыми подтеками — ни девичьи прелести, ни пинг-понг, ни Пляды, ни музыка Slade вытеснить не могли.

Тринадцатого февраля, вечером, я достал заветные бутылочки из шкафа и вывесил их в сумочке за окно, на морозец. Привел в порядок комнату, поправил постель, выложил кружочком печенье на тарелке, а в середину кружочка положил сюрприз — подаренные мне бабушкой перед отъездом в пансионат трюфели. Вынул из чемодана маленькую баночку вазелина и положил ее на тумбочку и прикрыл газетой. Принял душ и залез под одеяло.

Танечка вошла, заперла за собой дверь, потушила верхний свет, включила торшер, задрапировала его голубым шелковым шарфиком, скинула одежду — все, кроме трусиков — и нырнула ко мне под одеяло.

Первый раунд любовного боя прошел без нокаута.

Я решил выложить все козыри на стол — достал и разлил шампанское. Предложил Тане трюфели. Мы сели по-турецки и начали пить божественный напиток, есть печенье с трюфелями и балдеть.

Через несколько минут опьяневшая Таня притянула меня за шею к себе и, ловко стянув трусики, обвила меня ножками.

В последний момент я потянулся за вазелином, а моя милая девочка неожиданно для меня включила стоящую на тумбочке Спидолу. По-видимому почитательнице Кортасара и собирательнице марок с жирафами захотелось потерять невинность если и не под музыку Вивальди, то хотя бы под Оскара Фельцмана.

Ландыши, ландыши...

Вместо ландышей, предательница Спидола провещала нам, слегка потрещав и повыв на разные глушилкины мотивы, прекрасным низким голосом обозревателя Свободы Владимира Матусевича следующее: Аэрофлотовский воронок приземлился во Франкфурте-на-Майне. Из него вышел великий русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Иса... В аэропорту его встречали...

...

Я инстинктивно отпрянул от готовой принять меня в себя девушки и наострил уши.

А с Таней произошло нечто странное.

Ее симпатичная томная рожица исказилась вдруг гримасой дьявольской злобы. Она посмотрела — вначале на Спидолу, потом на меня — как раненая в грудь орлица, выскочила из-под меня, вскочила, мощным ударом кисти (теннисистка!) скинула ни в чем не повинную Спидолу на пол, мгновенно оделась, окатила меня, как из огнемета, едким презрением и прошипела страшным ведьмачьим шипом: Если бы я встретила этого твоего Исаича на улице, то проломила бы ему голову первым попавшимся под руку кирпичом. Так, чтобы мозги вытекли! Антисоветская мразь! Предатель Родины! Гадина.

После этого ушла, бешено хлопнув дверь. Вазелин нам так и не понадобился.

РАСШИШИ

— Случилось это в тридцатом году. Или в тридцать первом, не помню. Я учился в инженерно-строительном институте в Ленинграде, тогда «Гражданских инженеров». Несмотря на идейность и преданность партии, группа наша весь семестр ни черта не делала, только в расшиши играла на заднем дворе.

Битами служили медные кругляшки — специально в мастерских заказывали, с инициалами. В казне, на кону — прямоугольник на асфальте мелом рисовали — лежали монеты. Биты бросали с закрутом, но аккуратненько. Попал за черту — вылетай. Тот, чья бита ближе всех к казне лежала, бил первый. Пятачки, помню, были. Копеечки. Двушки, трешки. И серебро — гривеннички, пятнажки, двадцатки, полтиннички. Особенно ценили мы рубли с рабочим и крестьянином. Рабочий там такой коротконогий, мужику сиволапому с бороной и серпом фабрику показывает, а над ней — солнце коммунизма восходит. Светлое будущее вроде. Восемнадцать грамм чистого серебра..

Дед тяжело вздохнул, помолчал, побрякал, затем потер коленку, достал пачку «Столичных», вынул сигарету, щелкнул увесистой зажигалкой с бронзовой русалкой на боку, которую получил в подарок на шестидесятилетие «От коллектива Рособоронгипростроя», закурил, еще раз потер коленку и продолжил.

— Ну так вот, расшиши. С умом надо было бить, с подковыркой. Перевернулась монетка — твоя. Бей еще. А не смог перевернуть — уступи место следующему. Как в жизни, так и в игре. Были у нас асы. Друг мой, еще со школы — Миха Гершензон и украинец Леха Полесский. Герша — здоровый, как кирасир, мог одним ударом все монеты перевернуть. Силища, как у Геркулеса. А Леха Лес — маленький, шустрый, бабник

институтский, тот бросал как бог. Бита, как приклеенная, оставалась лежать в казне. Все, игра закончена. Талант! А моя бита вечно куда-то укатывалась.

Подошла, помню, сессия. Половину нашей группы до экзаменов не допустили, а вторая половина на сопромате срезалась. Вызвал нас тогда профессор Коган и сказал: Надо было бы вас, бездельников, всех из института поганой метлой... Но, боюсь, меня за это по головке не погладят. Ладно, руководство вас временно прощает и посылает на два месяца в область, помогать партии с кулаками бороться. На двоих выделяется один наган. Патроны — только холостые. И так справитесь. Приедете назад — поговорим, поможем. Инструкции, кирзачи и продукты — у Алешина. Он с вами поедет. И чтоб не пьянствовать там, курицыны дети!

Вот так, сынок, тебя посылали на картошку, чтобы ты жизнь нашу советскую, значит, узнал и народному нашему сельскому хозяйству помог, а нас, комсомольцев тридцатого года, посылали тогда по деревням — коллективизацию проводить, давить кулаков и вредителей. Изымать у паразитических элементов зерно, скот, недвижимость, орудия производства и ценности.

Я работал в связке с Михой. У Михи — наган. А у меня — только пролетарское происхождение. Сознательность и убежденность. Мы ведь в коммунизм верили. Не то, что сейчас — брехуны да шакалы в партии. Мой отец, твой прадед, Иуда, разнорабочим был на кожевенном заводе. И все мои дяди там ишачили. И мне пришлось пацаном там побегать. До сих пор вонь в носу стоит. Что такое эксплуатация, знаю не по Гегелю.

— Дедуль, как это так, ценности изымать? Вроде как милиция у воров. По какому праву?

— По революционному. Молчи и не перебивай! У меня и так до сих пор кошки по сердцу когтями скребут, будешь меня подковыривать, не буду рассказывать.

— Молчу, молчу.

— Вот то-то. Ты что же думаешь, у нас выбор был? Время-то было какое, забыл? Жизнь человека и медного гроша не стоила. Пустое место. Постановление приняли. О мерах по ли-

ликвидации кулачества как класса. Ликвидации — понимаешь, что это значит? Сказали — ехать. Все. Мешок за спину и на поезд. До Гатчины. А потом — телегу искать надо было с лошадью, да по грязи, по кочкам... До Андреева Колодезя. А там уже везде наши были. Избиение младенцев...

Тут дед опять закричал, завздыхал. Минуты три молчал, коленку тер, потом продолжил.

— Не хочу, сынок, на тебя своих собак вешать. Слышал небось, что это такое было «коллективизация» эта. Смертоубийство чистое. Расскажу тебе только одну историю. В душу запала. Перед самым возвращением в Ленинград притащились мы в одну богатую избу, а там значит баба с дитем. Мужа у нее уже с неделю как забрали. Подкулачник был он или вредитель, кто знает? Хорошо хоть не троцкист. Этих гнобили беспощадно. А так... Может и выжил. Случались чудеса. Скот, зерно и все запасы у них отобрали, лошадь увели, только младенца оставили в люльке. Увесистая эта люлька висела на четырех цепях, в потолок избы было врезано кольцо.

У матери то ли от голода, то ли от горя молоко пропало — младенец орал как резаный, а она, не помню, как ее звали — Евпраксия что ли, или Параскева, с почерневшим лицом, сидела на лавке, качала люльку худой рукой и смотрела в пол. И выла тихонько. Батиньки-мои-батиньки-мои, Спаси-гос-ди-спаси-гос-ди...

Алешин говорил нам про нее: У этой кулацкой суки должны быть деньги. Много денег. Донесли соседи. Схоронены где-то. Мужа излупцевали, пальцы ему клещами вертели — молчит. Бабу били — тоже молчит. Леха ваш ее отодрал при всех и спереди и сзади — вот была потеха! Хотели ее выблядка у нее на глазах на штык поднять, но побоялись, что рехнется, пропадай тогда золотишко... Ваша задача — узнать, где деньги, и изъять. Вы ребята умные, будущие архитекторы и инженеры, вот и поработайте с ней убеждением.

Узнать, изъять. А как узнаешь? Убеждением? Архитекторы...

Ну, вот, расселись мы в избе на лавках. Горница просторная, жили кулаки зажиточно. Мебель наши всю переломали,

клад искали, черти бухие. Пол вскрыли. Иконы как дрова накололи. Чего их жалеть — деревяшки, они и есть деревяшки. Это сейчас вокруг них хороводы водят, а при Никите, помню, штабелями жгли. Разнежились нынче все, а при Сталине было — без дураков!

Значит, сидим. Что делать — непонятно. Баба воеет, ребенок орет. Мочой пахнет и блевотиной.

Подошел я к бабе. Поглядел на нее. Молодка еще, привлекательная. Только худая как смерть, черная вся и зареванная. Сказал ей: Ты, как тебя, скажи нам лучше сама, где деньги спрятала, в живых останешься, дура, ребенка воспитаешь, может, обойдется все...

Погладил ее по плечу, хотел по-хорошему. А она дернулась от меня, как кобыла, которую овод в зад ужалил и давай выть... Спаси-гос, спаси-гос...

— Ты о ребенке подумай, ему жить тут... Мы с Михой не злые, скажи нам, где деньги, мы за тебя словечко замолвим. Попадешь в лапы к Алешину, он тебе ногти из пальцев вырвет, лют как сатана...

Полчаса уговаривал дуру. Все впустую. Переглянулись мы с Михой, плечами пожали.

Тут Миха наклонился ко мне и зашептал в ухо: Слушай, Зямик, у меня идея есть. Давай, как Шерлок Холмс, помнишь, письма он какие-то любовные у одной бабы выманывал... Письма или фотографии, не помню... божьего какого-то козлотура — князя что ли или короля, ну в общем, устроил он маленький фиктивный пожар, а баба эта кинулась письма спасать, а он подсмотрел, где она их прятала, чтобы потом фотографию выкрасть. Не помню, чем кончилось...

Ты, что же, хочешь избу поджечь? А если деньги где-нибудь глубоко в подполе или в огороде зарыты? Или в лесу, в дупле? Куда она тебе кинется? Посмотри на нее, ей все равно. Конченная баба. Дом пожжешь, а золотишко не найдешь. Алехин нам головы оторвет, а может и настучать, ты его знаешь, еще посадят... за порчу социумщества, загремим во вредители, не отмажешься вовек!

Но Гершу упрямого разве отговоришь?

В общем, достал Миха свой наган с холостыми патронами, стрельнул в потолок, для куража, конечно, а потом хватъ керсиновую лампу — и на пол ее. Вспыхнуло красиво.

Я поближе к двери... страшно! А он в темном углу стоит, как Гамлет, и на бедную бабу смотрит. Ждет, когда она ребенка и деньги спасать кинетса. А та — сидит себе как сидела, и воет. Пламя загудело, по стене поползло и на люльку перекинулось. Ребенок еще громче заревел... Тут не выдержал я, подбежал к бабе, схватил ее под руки и силой уволок на улицу. А за мной Миха люльку с ребенком вытащил. Вместе с цепями из потолка выдрал, мосластый черт. Ребенка в пеленках бабе в руки сунул, люльку под ноги швырнул, а сам скорей — в избу, пожар тушить. И ведь потушил, мерзавец! Вышел из избы, грудь колесом, как гусар ус подкручивает, а у него усов-то и нет. Так мы тогда между собой дурачились. Славный был Миха парень, подкосили его потом на фронте немцы, и трех недель не провоевал. Из всей нашей группы один я войну пережил... А некоторых еще в тридцать седьмом не стало... Горько, сынок.

Дед опять закурил, потер коленку, помолчал минутку, вытер слезы платком и продолжил.

— Вот, слушай, сейчас самое интересное будет. Параскеву эту с дитем я на дрова усадил, сам рядом сел, чтобы деру не дала, закурил самокрутку. Сижу, курю, смотрю в землю и плюю себе под ноги. Хорошим манерам нас тогда не обучали! Зато марксизмом всю плешь проели. Миха отлить отошел за угол. Вдруг, вижу, сверкнуло что-то на земле. Под ногами прямо. Я поковырял сапогом — вроде монеты серебряные. А вот и золотая. Царский червонец. С Николашкой. Дух у меня захватило, встал я на колени, люльку на себя опрокинул — а из нее прямо плеснуло на меня серебром. Полилось серебро как в раю молоко и мед. И золотинки засверкали. Вот ведь дела! В люльке был клад спрятан, под ребенком — прямо перед носом у нас, дураков, а мы и не догадались!

Тут Евпраския вроде как завозилась, застонала, положила ребенка на травку, а потом вдруг зарычала как медве-

дица и на меня бросилась, вцепилась в волосы, мерзавка, а я тогда кудрявый был как твой Шагал, и давай их драть и кусать мне руки...

Я ее хочу от себя отодрать — не тут то было! Волосы дерет, кусает и ругается, чертовка: Жиды, жиды пархатые, чтоб вам всем подохнуть под забором, погодите, скинут вашу власть мужики, кишки-то вам повыпустят! Ироды-хриstopродавцы...

Что с нее возьмешь? Несознательная. Кулачка. Совсем бы она меня загрызла, но тут Миха подскочил, хватить ее за волосы и давай тянуть, только отодрать ее от меня и он не смог.

Ну, тут он осерчал... да наганом ее... по тыкве...

Только переборщил, гусар, раскрыл ей череп, убил бабу совсем.

Жалко деваху. Хотя... Может оно и к лучшему, все равно ей было на свете не жить. Задрали бы молодуху наши кобели. А тут и Алехин к нам на мерине прискакал. Явление Христа народу... Увидел золото-серебро и залыбился, сучий пес. Куревом нас угостил хорошим и самогоном. На мертвую бабу и не взглянул.

Нашли мы добрый мешок и монетки в него покидали. Из серебра — одни полтиннички, а золота — и пятнадцатирублевки старые и пяти и десятирублевые монеты были. Только царские деньги хранили кулаки. Довоенные. Советам не доверяли. С пуд серебра государству сдали тогда. И с полкило золота.

А ребенка в другую, бедную избу, одинокой какой-то бабе отдали. Я ей потихоньку горстку серебра и три червонца в руку сунул, чтобы Параскеву эту, или Евпраксию похоронила. Та поняла, приняла, промолчала...

ОХОТА НА ВЕПРЯ

Интереснее симфонии, картины или романа — то, что от них остается в нас через месяц после концерта, посещения галереи или чтения. Это — их последствие, эхо, их новое существование в отрыве от оригинала. В сознании зрителя или читателя, в его воспоминаниях, иногда — и в его реальности. Или в его судьбе.

Полузабытое художественное произведение воскресает в нашем сознании и получает свое особенное, гибридное «тело», начинает новое, ни на что не похожее, «бытие».

Далеко не всегда радостное, светлое. За удовольствие надо платить.

Прекрасная мелодия повторяется и повторяется в нашем измученном черепе.

Забывтый ландшафт встает и встает перед закрытыми глазами... и никуда от него не деться.

Бывает и еще хуже — неприятный герой из наспех прочитанного романа или из невнимательно просмотренного фильма поселяется в нас как тропический паразит, и завладевает нами. Превращает нас в своих носителей. В рабов. Иногда и в двойников-подражателей. Всегда недоделанных, гротескных, ущербных.

Иногда это проделывает не сам герой, а только его физиономия... голос... реплика... улыбка. Или его кольт.

Сквозь наши слабые защитные мембраны в нас проникают и пытаются овладеть нами изнутри и сущности похуже Джеймсов Бондов или Мэрилин Монро — мерзавцы-политики, попы, vip-персоны из мира масс-медиа, дизайнеры и другие жулики...

Моцарт — сладкий и чудесный — ожил не только в «Степном волке» Гессе и в душах бесчисленных его поклонников, но и во рту кондитера Пауля Фюрста в Зальцбурге. И получил новое, марципановое тело, одетое в серебристо синий костюм из станиоли. Моцарту еще повезло — он стал конфетой, а мог стать, как Бетховен — сенбернардом или как Шопен — аэропортом.

Достоевский и Свидригайлов прохаживались в конце восьмидесятых среди небоскребов Манхэттена. Джентльмены хоть куда. В цилиндрах. Потом ФМ зашел в казино и уже никогда не вышел оттуда. И Свидригайлов нашел свой особенный клоак и погряз в удовольствиях несколько более утонченных. Оба фантома были оживлены писателем Д. перед его безвременной кончиной.

Возлюбленная и натурщица Эгона Шиле, голубоглазая Валли, известная по многим работам художника, не только вошла в наше коллективное бессознательное своей щемящей улыбкой и не менее щемящими изломами экспрессивного тела, но и воскресла в кино, а затем, в двухтысячные годы, появилась в новой роли — инфернальной художественной «реститутки», угробившей достопочтенного мистера Леопольда, коллекционера живописи.

Тема эта, разумеется, необъятна.

...

Когда мне надоедает возиться с нетленкой... когда одолевают навязчиво напоминающие о себе литературные герои, когда надоедает слушать их призывный шепот, их мольбы, когда нет больше сил наблюдать откалываемые ими коленца, выкинутые ими фортеля и кунштюки... я покидаю свою кишашую милыми чудовищами прозаическую лабораторию и бездумно погружаюсь в «чужие воплощения», и иногда... даже отдаю долги, выполняю взятые в прошлом обязательства. Так и случилось этой весной. Проглядывал я свой худенький архив и натолкнулся на статью-заготовку о первой встрече с творчеством графика-писателя Бруно Шульца. В то время — в начале девяностых — у меня еще не было компьютера, писал

я шариковой ручкой на бумаге. На пожелтевших страничках отпечатались мистическими кольцами следы от чашечек кофе со сливками.

Я набрал текст в формате ворд... начал поправлять, дополнять... увлекся. Позже не без труда нашел недостающие источники... часами рассматривал картинки, раз пять прочитал тексты... что-то писал, посмеиваясь.

Погружение в мир Шульца растянулось месяца на два. Сам собой возник не совсем серьезный текст-коллаж... без особых претензий... страниц на сорок — «Фуражка для лемура».

Отослав его главному редактору «Мостов» Б., я наивно полагал, что глава «Бруно Шульц» для меня закончена.

Думал так: Через пару лет — Бог даст — прочитаю Шульца еще раз в ванне... посмотрю картинки. Может, что-нибудь в голову и взбредет.

Книги Шульца убрал с рабочего стола, всунул их с трудом на книжную полку... между каталогами Феликса Нуссбаума и Альфреда Кубина. Расслабился.

Но не тут-то было.

...

Началось все с письма из Джобцентра (Биржи труда).

Терпеть не могу эти письма в гадких серых конвертах! Никогда! Никогда не было в них ничего полезного. Только гнусные угрозы и приглашения на бессмысленные беседы. Никогда немецкая Биржа труда не предложила мне приличной работы! Только пыталась загнать на какие-то ненужные курсы переквалификации, какие-то идиотские «европейские мероприятия». Все свои работы я нашел сам, без помощи этих надсмотрщиков.

Вскрыл письмо. Приглашение! Только не на Биржу, а... сюрприз... к ихнему врачу, доктору Отто Дратогу. В районе Веддинг принимает этот самый Дратог. Наверное, венгр или югослав. Решает работоспособен безработный или нет. Эксперт.

Письмо — пять страниц с параграфами. Текст приглашения — полстранички. Все остальное — угрозы на тот случай, если я вздумаю послушаться приказа и манкировать эксперти-

зу. Первый штраф — урезывание трети пособия. Второй — еще одной трети. Третий — лишение пособия. Это значит — без всяких преувеличений — голодная смерть бездомного под забором. Поеду, поеду я к вашему эскулапу... и не надейтесь...

Господа! Прошу вас перестать качать вашими умными седьмыми головами! К социальной системе Германии я отношусь с уважением. Когда работал, аккуратно вносил в нее свою скромную лепту. Стараюсь бешеных псов не дразнить, играю по правилам. Понимаю, что Джебцентр это Гестапо в мирное время. На беседы с последней моей «бераторшей», фрау Шепер хожу регулярно. Мы с ней в основном о политике болтаем. У нее жизнь тоже не того... зарплата низкая... забот много. Дети взрослые, но не без проблем. Внуки вечно нездоровы. Муж давно пропал. Уехал на заработки в Мюнхен, а вернуться забыл. И алименты не платил. Хвори одолевают. Помочь мне она не может и это прекрасно знает. Как помочь безработному за шестьдесят? Старается часто не тревожить. Но раз в полгода — вызывает на беседу. О России меня спрашивает. Задаст примерно такие вопросы:

Что же этот ваш Путин делает? У него, что, в голове редька растет? Не понимает, что ли, что большая война может начаться? Что вообще с русскими происходит? Народ как народ вроде... зачем они на Украину напали? Крым оттяпали. Взбесились? Какой еще такой «фашизм» в Киеве? Это у нас был фашизм...

Я пытаюсь ей отвечать, объяснять, что мол «русские-советские» всегда такими были, а не только сейчас, что настоящий «фашизм» — не в Кремле, а в постсоветских головах, только чувствую, что она мне не верит. Она, хоть и «веси», но к России и русским привыкла относиться лояльно. А тут вдруг почувствовала исходящую от путинской России угрозу мировой войны. И испугалась.

Во время нашей последней беседы, госпожа Шепер попросила меня перевести на немецкий надпись на плакате, который держала миловидная славянка на фотографии в Шпигеле: Мы готовы даже сдохнуть, чтобы Путину помочь.

Я перевел, но она мне не поверила.

Сегодня одиннадцатое, четверг. Надо ехать в Веддинг. На три часа назначено.

Жарко. Двадцать восемь градусов. Парит. Где-то грозы идут. А в Берлине только духота. Засуха. Вся трава высохла.

Чуть не полчаса решал, какие штаны надеть, короткие или длинные. Решил надеть средние. В них все-таки полегче. Задувает немного под брюки.

А футболку какую натянуть? Черная выглядит солидно, но Солнце до смерти запечёт. В светло-зеленой легче, но в ней я на курортника похож. Еще не хватает соломенную шляпу надеть или ласты с маской... Чертов Драгог может подумать, что я над ним издеваюсь. Напишет в заключении что-то не то. А что «не то»? Не знаю. Врачей с детства побаиваюсь. Они бо-бо делают.

Надел серую фирменную футболку, бежевые брюки, кепку песочного света, такие же туфли на толстой подошве и отправился.

Не успел на улицу выйти, как начались странности.

Откуда ни возьмись — порыв ветра. Холодного. Ноябрьского!

Я, сам не знаю почему, побежал. Задохнулся. Потемнело в глазах, как перед обмороком. Откуда-то сбоку послышалось резкое: Хальт!

Но никто ко мне не подбежал. За руки не схватил, не выстрелил.

Улица была тиха. Ни ветерка, ни дуновения.

Солнце въедалось жаром в бетон, жгло руки, слепило глаза. Над головой опаловое марево. Воздух плавился и слоился над горячим асфальтом. Фата-морганы над дорогами висели.

На углу нашего дома, у прохода, под огромным тополем, там, где обычно вьетнамец томился, член банды, промышляющей продажей скверных сигарет-подделок — стоял кто-то другой. Я разглядел его, подойдя поближе. Узнал.

Это был Додо!

Едва ли не самый колоритный персонаж Шульца.

Горбоносый, с густыми черными бровями и усиками...

Нижняя губа капризно вздернута, большие, выразительные, но лишенные глубины глаза, смотрят печально... темный котелок, пальто с плисовым воротником, трость с медным набалдашником. Только из его хорошо выглаженных, со стрелкой, узких брюк вылезали не ноги в изящных узких ботинках, а покрытые струпьями птичьи лапы с неприятными когтистыми пальцами.

Додо кивнул мне, как кивают старым знакомым, и сказал по-немецки: Ну что, Гоша, поиграем в салочки? Держу пари на трех попугаев, что вы меня не догоните.

Очертил, не дождавшись ответа, синим мелком вокруг нас круг на асфальте, отбросил в сторону тросточку и котелок и побежал как страус.

Он бегал... внутри круга. Хаотично меня направление. Потом вдруг остановился, забил локтями по бокам, как курица крыльями, осалил меня и прокудахтал: Салка, салка, дай колбаски, дай колбаски! Я выиграл, хочу призы! Только не вздумайте совать мне цукаты и наперстки, я хочу кубок из обсидиана с гербом и серебряные ложки!

Тут я заметил, что он не только ужасно похож на птицу. Он и был птицей. Большой странной черной птицей. С могучим клювом. И смотрел он на меня огромными круглыми глазами изумрудного цвета.

Да что это я говорю? Додо не был птицей! Даже чучелом не был. Он был вьетнамцем, стоящем на стрёме. А я почему-то держал его за руку. Вьетнамец весь сжался, побагровел от возмущения... готовился видимо к бою... но я отпустил его, извинился и отошел.

— Хальт! Штеен бляйбен!

Опять этот ужасный злобный голос. Или уже два?

Я побежал. Страх подгонял меня.

В спину мне дул ледяной ноябрьский ветер. Сзади себя я слышал цокот подков на сапогах моих преследователей.

Сам не знаю, как очутился в трамвае. В голове у меня как будто гремел гром... перед глазами плясали три попугая с серебряными ложками в клювах. Выглянул в окно, в надежде увидеть ИХ, но никого не увидел. Улица, ведущая от трамвай-

ной остановки до моего подъезда была пуста. Только вьетнамец все еще маячил под тополем. Что-то беззвучно кричал в свой мобильник и жестикулировал. Видимо рассказывал своим товарищам про бежевого толстяка, который ни с того, ни с сего схватил его за руку.

...

В трамвае все было как обычно. Кондиционеры источали прохладу. Электронные табло исправно показывали остановки. Свободных мест было много. Хмурая марцанская публика ехала в центр Берлина. По делам, за покупками или просто пошататься по городу.

Три прибалтийских пареня явно не голубых кровей разговаривали между собой на русском языке. До меня доносилось только: бля-бля-бля. Выражение лиц паренек было такое, как будто они собираются кого-нибудь убить и расчленить тело.

Турецкая мамка в пестром платке и черном платье, обтягивающем ее корпулентную тушу, говорила что-то на своем наречии наглому раскормленному сыну и худенькой, с выражением покорности на красивом лице дочери лет четырнадцати. Тоже в платке. Я видел, как маленький негодяй пинал сестру грязным ботинком в ногу... и щипал ее за грудь. Сестра не защищалась, а матери агрессия сына видимо доставляла удовольствие... на ее жирных, щедро накрашенных губах играла какая-то грязная полуулыбка.

Несколько кряжистых рабочих-поляков ехали на свои стройки. Играли в компьютерные игры, тыкали корявыми пальцами в поблескивающие мониторы смартфонов.

Трамвай катился по рельсам мягко, как велосипед по асфальтовой дорожке в лесу. Я и не заметил как задремал.

Проснулся я от холода. В реальности, которую никак нельзя было принять за салон берлинского трамвая. Общее с трамваем было только одно — я ехал. Ехал в грузовом деревянном вагоне без окон с полукруглым потолком. Щербатые стены вагона были покрыты изморозью. Пол усыпан опилками, как цирковая арена. Я, как и другие пассажиры, сидел на сложенных вчетверо мешках, и заду моему было нестерпимо

холодно. Обитатели вагона были одеты в старомодные пальто, шляпы, шляпки, шубки, а я был все в тех же бежевых брюках и серой футболке.

Решил, что галлюцинирую и зажмурил глаза, надеясь, на то, что все само собой исчезнет, как исчез несколько минут назад Додо. Не исчезло. Наоборот, стало еще хуже, потому что включился мой слух. Старый вагон невыносимо скрежетал, трещал... а пассажиры стонали, хрипели, выли. Я заметил, что все они измучены... многие ранены... больны... безумны. Их лица и руки носили следы чудовищных пыток, у некоторых были отрезаны уши или носы. В вагоне невыносимо пахло мочой и испражнениями.

Я кое-как отодрал зад от мешка, встал и пробрался к раздвижным дверям, стараясь не наступить на несчастных, умоляюще заглядывающих мне в глаза и протягивающих ко мне руки, на которых не хватало пальцев. Попытался открыть двери. Не вышло. Нашел в стене небольшую дырку, оставшуюся от сучка, и посмотрел наружу.

Там ничего не изменилось. Липы цвели. Прохожие вытирали потные лбы. По улицам мчались мерседесы и оппели.

В отчаянье я изо всех сил дернул ржавый рычаг... и он вдруг легко, как во сне, поддался... дверь неожиданно быстро отъехала в сторону и меня выкинуло из жуткого вагона в солнечную марь.

...

Я стоял на перроне берлинского с-бана (городской электрички). На станции Грайфсвалдерштрассе. Подошел поезд кольцевой линии, и я осторожно вошел в вагон, поминутно оглядываясь... боялся, что и тут встречу с чем-нибудь ужасным. Сел на сидение у окна на теневой стороне.

Публика на кольцевом с-бане отличалась от марцанской. Лица уже не излучали хроническое недовольство жизнью. Было много студентов, пестрого шумного народа в наушниках, съехавшегося в Берлин со всего мира, туристов, от которых веяло приятной праздностью и озабоченных их турецкими делами турок. Попадались красивые женские и умные мужские лица. И берлинского «моба» тоже было достаточно.

Напротив меня сидели два типичных представителя этого сословия. Муж и жена. Жена толстая-толстая, а муж худой-худой. Физиономии как у диких зверей. У нее как у разжиревшей, опустившейся и вконец обленившейся кабанихи, а у него как у волка, который лет пять не ел. Яростные их глазки горели каким-то особым серым, холодным огнем, какой встречается только у потомственных алкоголиков или дебилов...

Когда я много лет назад показал рукой моей тогдашней подруге на восточноберлинскую толпу на одной из остановок с-бана и спросил, как же это могло случится, что люди так выродились, превратились в железо-бетонных кретиннов (так они выглядели, клянусь)... она ответила: Ты еще не видел западноберлинских люмпенов, среди которых и твоих бывших соотечественников кстати навалом, они еще хуже наших.

Позже, когда жил в Западном Берлине, убедился в правдивости ее слов. Западноберлинский моб, в который так ловко вписались и «контингентные беженцы из бывшего СССР», действительно был в чем-то даже хуже восточноберлинского. Потому что гонора у западноберлинцев значительно больше. Совершенно, кстати, необоснованного.

В Берлин люди едут делать карьеру, покорять мир, доживать оставшиеся годы, бездельничать, тусоваться в недрах музыкальной поп-сцены, выживать и жиреть в национальных конюшнях, воровать...

Блестящий Берлин двадцатых испарился. Исчезла и столица Третьего Рейха. Пропал и элегантный послевоенный Западный Берлин, его уничтожило Объединение.

А новый город-молох превратился потихоньку в фильтр для всегерманского сливного бачка. В урбаническую сетку, на которой копошатся миллионы маленьких хамов.

И еще в Берлине — астрономическое число турок, курдов, арабов-палестинцев и прочих достойных жителей Магриба, справедливо полагающих, что жить в Европе легче, чем в пустыне... людей самих по себе, возможно, и симпатичных, но в немецком, откровенно ксенофобском окружении — обозленных, циничных...

И еще — с полмиллиона выходцев из бывшего коммунистического Востока, людей нахрапистых, но с мозгами, разжиженными коммунизмом, эти люди не горят желанием работать, но страстно алкают что-нибудь урвать...

Разумеется, разумеется, есть в Берлине и милые интеллигентные люди... но в с-бане они, по-видимому, ездят редко.

...

Так вот, еду я еду... и все вроде в моем вагоне, поезде и мире хорошо. За окном солнышко светит, бабочки порхают и птички поют... студенты качают ритмично головами, украшенными длинными разноцветными косичками, туристы внимательно рассматривают карты, решают в какой ресторан они сегодня пойдут, все остальные уставились в свои мобильные телефоны-компьютеры.

Сидящая напротив меня хавронья вдруг недобро улыбнулась, ощерила свою ужасную пасть и показала неровные желтые зубы... Маленькие ее глазки вспыхнули. Жадно прошептала что-то в замшелое волосатое ухо сожителю. И оба они вытаращили зенки на нечто, находящееся сзади меня. По вагону прошелестело эхо, или недоуменный вздох. Затем я расслышал невнятный стон, какое-то шарканье. Дунуло холодным сквозняком. Пришлось повернуться и посмотреть. И я увидел.

Увидел и подумал — ага, опять началось, и тут же зажмурил глаза.

По проходу между сидениями вагона очень медленно полз на четвереньках голый худой мужчина лет пятидесяти.

Я в Берлине навиделся всякого, не хочется и перечислять, но такого еще не видел. В правой руке он держал связку розог и вежливо раздавал их пассажирам. И они, как будто загипнотизированные его жалобным, но упорным взглядом, брали розги и стегали ими его по спине, ягодицам... и по голове. Кто слабенько, для хохмы, а другие энергично, с огоньком. Розги свистели, распарывая воздух. Некоторые даже вставали со своих мест, шли за ним и стегали. Тощее его тело быстро покрывалось ранками, как будто кто-то рисовал на нем алые линии фломастером.

Вот... несчастный подполз ко мне и подал мне и моим соседям розги. Я не взял, а они взяли и тут же начали хлестать. Волк старался попасть по лицу, а кабаниха — по половым органам...

Мученик повернул косматую голову и посмотрел мне в глаза. Взгляд его был бессмысленен и мутен, лицо как у распятого Христа на классических изображениях... но, несмотря на маску страдальца, на этом окровавленном лице невозможно было не заметить гримасу порочного наслаждения.

...

Подъехали к Веддингу. Я быстро вышел из поезда. Спустился по лестнице и потопал по солнечной стороне Люнарштрассе. Через десять минут открыл металлическую дверь и вошел в ничем не примечательный доходный дом на Тегелерштрассе. На двери красовалась табличка: Доктор Отто Дратог. Врачебная экспертиза.

Вошел и попал в неожиданно просторный, квадратный в плане зал. Никакой мебели, кроме стоящих вдоль стен пластиковых стульев в этом помещении не было. Потолок украшала старинная лепнина с барельефом. На барельефе была изображена охота на вепря.

Кроме меня в зале находился еще один человек, видимо, так же, как и я пришедший на медэкспертизу — мужчина небольшого роста, одетый в черное. Сидел и, опустив голову, смотрел на белый кафельный пол.

На противоположной от входа стене я разглядел крохотную, как в «Алисе в стране чудес» дверку с надписью РЕГИСТРАТУРА. Чтобы пройти, пришлось нагнуться. За дверью был коридор. Подозрительно длинный. Справа и слева двери. Пахло лекарствами.

В начале коридора, справа что-то вроде стойки бара. Но на широких полках стояли не сверкающие этикетками вина, коньяки и ликеры, а водяные часы различных видов. Вместо барменши тут хозяйничала молодая женщина в белом халате. Говорила она по-немецки как-то странно, как будто прикаркивала. Халат ее то и дело распахивался, обнажая интимные детали ее красивого загорелого тела. Мне показалось, что она с удовольствием демонстрирует мне себя. Бесстыдница.

— Здравствуйте, господин Ш. Мы вас ждали. Покажите ваш паспорт и вашу медицинскую карту. Так, прекрасно, теперь давление измерим. Да-да, повышенное. 190 на 125. От волнения? А что вам волноваться? Никаких причин нет. Да не смотрите на меня так. Тут жарко. А вентиляция сегодня не работает. Кстати, у вас тапочки с собой? Больничная одежда? Полотенца, простыни? Как, зачем? Экспертиза может затянуться. До завтра или дольше... Это зависит от вас. Для одного и анамнеза достаточно. А другим кардиограмму надо делать, компьютерную томографию... А кому-то надо и опухоль удалять. Или камни. Тут у нас на любой случай оборудование и специалисты имеются. Тут и тестируют и оперируют и даже грязелечение проводят... Почему медперсонал не видно? Так они все в операционных... в процедурных кабинетах. У нас даже электрошок есть и специальные камеры имеются... Для непослушных... И массаж, и фитнес-студия, и СП-салон, и морг и гордость наша, свой, санаторский миниатюрный передвижной крематорий... Во дворе стоит... выглядит как автобус без окон, а внутри... Сконструирован по проекту одного астронома на базе телескопа-рефрактора. Экологически чистая машина. На крыше солнечная батарея. Ездит себе по Берлину, от Цоо до Алексы... До двадцати трупов в день переработать может. Экспортная модель, российская армия покупает сотнями. Самообслуживание... Ну, не бледнейте, может быть, для вас все это и не понадобится... прошу вас перейти в комнату ожидания, господин доктор вас сам вызовет.

Я покинул регистратуру и опять очутился в квадратном зале.

Признаться, меня бросило в жар от откровений этой бабы в халате. Операция по удалению? Электрошок? Крематорий? А не сделать ли мне ноги, пока на операцию не положили и не кремировали?

А как же угрозы Джобцентра в письме? Это посерьезнее шульцевских кошмаров. Отнимут пособие — сдохну под забором как собака. Нет, надо с доктором поговорить. Может быть, он разумный человек... поймет...

И тут как молния сверкнула в голове догадка — эта каркающая баба в регистратуре, это же та самая краля, которую Шульц много раз с хлыстом в руках изображал... Украинка со скулами... А доктор Дратог... Сатанинская фамилия... Как же я не догадался... это же Готард наоборот. И клепсидры на стене. В Санатории я. В другом времени. А в том, настоящем Берлине, меня возможно как раз сейчас хоронят.

Сел на стул. И поневоле на того, другого, пациента засмотрелся. Тот так и сидел, опустив голову и глядел на кафель. Неожиданно дверь в регистратуру открылась и оттуда послышался тяжелый бас: Господин Шульц, прошу вас пройти в кабинет.

Маленький человек встал, печально глянул на меня (это был он, он, Шульц!), не нагибаясь прошел через дверной проем и зашагал куда-то по бесконечному коридору, похожему на внутренность длинного автобуса.

В комнате ожидания стало холодно. Стены ее начали сжиматься, а потолок опустился.

Я лег на кафельный пол. Скрестил на груди руки и закрыл глаза.

ГОСПОДИН МАКС

Моя подруга Рамона потеряла невинность в четырнадцать лет. В маленьком уютном живописном городке в Рудных горах, с речкой, замком и видами. В Ропау. Куда мы с ней позже регулярно ездили на электричке на дачу. Рамона занималась там разведением цветов, копала, сажала, окучивала, подрезала... а я сидел в полосатом шезлонге, оставшемся от предыдущих владельцев дачи, заядлых игроков в скат, которые землю не рыли, цветы не сажали, а только дули пиво, курили и в карты резались, читал или загорал...

Перед отъездом домой мы заходили в кафе «У диких бобров» и ели там розовые, запеченные в собственном соку форели, посыпанные укропом и петрушкой, пойманные у нас на глазах длинным сачком в крохотном, метров тридцать квадратных, отделенном от реки тонкой перегородкой прудике, заросшем белыми кувшинками, в бутонах которых сидели иногда, свернувшись колечком, небольшие черные змейки с золотистыми крестиками на головках.

Жила Рамона в Ропау с мамой, папой и бабушкой в средневековом доме, в котором сто лет назад находилась рыбная копильня. Комнатка ее все еще пахла рыбой, и в ней вместо окна была застекленная сверху дверца, выходящая прямо на речку. Через эту дверцу рыбаки загружали рыбу в копильню. До воды было метра три, но во время наводнений комнату подтапливало. Поэтому кровать Рамоны висела на деревянных столбах, и спала она почти под потолком. Над ее кроватью был лаз на чердак, оттуда можно было вылезти на крышу. Поднималась Рамона в свою кровать по веревочной лестнице.

Летом в ее комнатке было нестерпимо жарко, а зимой холодно, даже сосульки висели... греться Рамона уходила в теплую кухню, сидела там вечерами в плетеном кресле и про-

смастривала старые выпуски сатирического журнала «ULK», выпускавшегося в Берлине со времен Бисмарка и до 1933-го года, главным редактором которого одно время был сам Курт Тухольский. Нашла Рамона с дюжину перевязанных пачек на чердаке и скрыла от матери... чтобы та не сожгла их в печке. Уголь был дорог и топили, чем могли.

Других книг в их жилище не было.

Особенно ей нравились карикатуры на последнего русского царя времен Первой Мировой. Трясущийся от страха маленький Николашка сидит, забившись в угол, в купе царского поезда... Глупый царь с уродцем-царевичем на коленях читает статью «Вести с фронта». Невдалеке стоят два его генерала и один говорит другому: Неужели он верит?

Похожий на курицу в короне, с петлей в руке, царь показывает когтистым пальцем на здание с колоннами, на котором написано «Дума» и кричит: Вешать! Вешать их всех!

...

Семья Рамоны жила, как и почти все гэдээровские рабочие семьи того времени, очень бедно. Страна еще не преодолела послевоенную разруху, да и советчики ободрали свою зону оккупации как липку. Вывезли не только специалистов, станки, цветные металлы, автомобили, пароходы, локомотивы, самолеты, фильмы, колготки и иголки, но даже гвозди драли из стен и лампочки вывинчивали... и везли в СССР. К тому же ГДР платила стране-победителю репарации. Наличными и товарами ширпотреба.

Мать Рамоны работала на местном мясокомбинате, куда ее устроил ее дядя, тамошний заместитель директора, поэтому два раза в неделю семья ела тушеное мясо. С квашеной капустой. Да еще и подрабатывала вечерами кельнершей в таверне «Старая пивоварня». И дочь заставляла там убирать и прислуживать. Гости этого заведения, в основном зажиточные ремесленники, звонко шлепали и мать и дочь по крутым задачам. Мужчины тогда, в самом начале шестидесятых, еще были редкостью, и они это знали и с удовольствием этим пользовались. Чаевые были небольшие, но мать приносила домой остававшуюся от гостей провизию. Только поэтому семья Рамоны не голодала.

Отец ее работал забойщиком на урановой шахте предприятия «Висмут», зарабатывал по тем временам хорошо, но зарплату домой не приносил, а пропивал. Или прямо там, на Висмуте, где, несмотря на социализм и советскую администрацию, царила атмосфера Клондайка, прямо на территории шахты были организованы питейные дома с дешевым шнапсом и неофициальные публичные дома с недорогими девушками, или в городке, в той же самой «Старой пивоварне», в которой был завсегдатаем и слыл главным острословом.

Отец Рамоны, которого я близко узнал в девяностых, когда он уже был большим стариком, хоть и молодился, не был плохим человеком, эгоистом, грубияном... только типичным работягой. Да еще и с обидой на жизнь. Которую он нередко вымещал на семье. Бил жену... и дочери перепало.

Обида эта произошла вот от чего. Недалеко от дома Рамоны жили многочисленные ее кузены и кузины и другая родня по отцовской линии. Все они, включая четырех дядей, тетю, бабушку Рамоны и кучу отпрысков, перебрались на Запад через Берлин за неделю до постройки Стены. Отец Рамоны вместе с женой и дочерью должен был уехать через десять дней после них, но... оказался в мышеловке и очень из-за этого переживал. Тем более, что все его братья сделали, пусть и не сразу, карьеру в автоиндустрии и стали в Западной Германии хорошо обеспеченными, уважаемыми бюргерами. А он... так и остался шахтером на Висмуте и завсегдатаем «Старой пивоварни», где, не скрывая своих эмоций, честил ГДР как только мог. Забойщик на Висмуте, добывающий уран для советского ядерного оружия — средняя продолжительность жизни горнорабочего на урановой шахте была лет сорок, но отец Рамоны оказался крепким орешком и дожил до восьмидесяти пяти — мог себе это позволить.

Мать Рамоны очень любила рождественские украшения... деревянные фигурки... щелкунчиков, куращих человечков... народное искусство жителей Рудных гор... ее я тоже близко узнал в девяностые... бог с ней... не мне ее судить.

После окончания восьмого класса школы родители Рамоны не отправили ее в класс девятый, как она хотела, а опреде-

лили подмастерьем в единственное частное предприятие Ропу — на прядильную фабрику.

Приведу тут рассказ Рамоны, который я слышал раз двадцать... обычно до или после интима.

Надо отметить, каждый раз она рассказывала свою «обыкновенную историю» по-разному. Суть-то, конечно, оставалась одной и той же, но подробности от раза к разу менялись. Наверное, мутировали.

Рассказ Рамоны:

Я была девочкой своевольной и упрямой. Стала такой в «Старой пивоварне». Жизнь меня научила добиваться своего. В прядильне я работать не хотела, хотела учиться дальше в школе. Скучала по одноклассникам. К тому же была тогда влюблена в учителя географии, господина Кнопса. У него были большие печальные глаза. Говорил он не громко, но убедительно. Особенно, когда рассказывал про апартеид в Южной Африке. Болтали, что он воевал в составе ваффен-СС, но я не верила. Оказалось после, что правда, он сам мне рассказал. Да... а теперь мы все узнали, что и наш писатель великий, лауреат Нобелевской премии, тоже в составе ваффен-СС воевал. Защищал Берлин от ваших. А в плен попал по-умному — к американцам.

Умоляла мать не забирать меня из школы, дерзила ей, а мать меня увещевала-уговаривала, мол, деньги надо зарабатывать, родителям помогать, а не по школам понапрасну мотаться, даже несколько раз ударила по щеке. Обещала освободить от «Старой пивоварни». И отец... наорал на меня, чуть не побил, а потом заплакал. И полночи с матерью ругался. Я подслушивала за дверью. Он кричал: Ты сама проститутка и дочку такой же хочешь сделать! Ты что, не знаешь, кто там работает? Одни бляди...

Я против воли согласилась, а про себя решила, что как только заработаю достаточно денег, убегу из дома, вон из этого города... в Лейпциг или в Берлин. Так я и сделала... только позже... а год примерно пришлось на фабрике отпахать. По-

этому я знала потом, на профсоюзной работе, что рабочий человек на самом деле живет вроде как собака или осел, в пожизненном рабстве. Сочувствовала и, как могла, помогала.

...

Никогда не забуду свой первый день. Посадить меня сходу за ткацкий станок начальство не могло, сложное это дело и опасное. Поэтому меня для начала отправили в отбеливательный цех, на грубую, грязную работу. Там были горячие ванны с щелочной водой. Тяжелые рулоны ткани надо было подтаскивать, из одной ванны в другую переключать, мыть, что-то еще делать, не помню уже. Это сейчас все автоматизировано, а на той фабрике было оборудование тысяча девятьсот десятого года. Все в ручную...

Ну вот, привел меня директор в цех... а там жара — под сорок... пар... хлоркой воняет невыносимо... шум, гам. Но самое странное — все работницы, бабы под пятьдесят... до пояса голые. Красные, распаренные... сиськи огромные мотаются. Потные, пузатые, жирные. Таскают рулоны... в ваннах деревянными лопатами воду мешают... и директора, крючка такого очкастого, лысого... вовсе не стесняются. Обсуждают что-то с ним.

Да, кстати, после я его ближе узнала, он оказался неплохим человеком, помог мне из проклятой прядильни выбраться. Хоть и не безвозмездно, да... а кто в этой жизни что-то безвозмездно делает? Я таких не знаю.

Ну да, это что же, значит и мне надо... голой до пояса... при директоре... и рабочие в цех заходят... взрослые мужики, одетые, и молодые ребята-механики всего на два-три года меня старше. А мне четырнадцать лет всего... но у меня уже груди выросли... как большие персики, и я их ужасно стеснялась. Потому что у всех моих подружек грудки были маленькие, как блюдечки. Или вообще еще не было груди. Питались мы тогда как нищелюды. Ни жира, ни витаминов.

Ну вот, сняла я в раздевалке свою одежду, надела фабричную полотняную юбку до колен, а под ней ничего, только трусики. Платок меня заставили повязать, чтобы волосы в станок не попали. И сапоги громадные дали, чтобы хлор ноги не разъел.

Стою в раздевалке, дрожу, стесняюсь в цех выйти.
Директор ко мне подошел, поглядел на меня, а я чуть в не
в рев...

Он понял, глаза отвел, что-то доброе сказал и легонько
так меня по спине погладил. Меня как током... Потом за руку
взял, ввел в цех, показал, что и как делать, познакомил с ра-
ботницами. Ничего, бабы они были не плохие. Все, как одна —
вдовы военные. Я для них вроде сосунка была... Они меня и не
замечали.

Только одна, румынка из бывших заключенных — помо-
ложе остальных — кудрявая такая... когда никого рядом не
было, все норовила мне груди помять, да в шею целовала вза-
сос. Обнимала, шептала мне что-то страстно по-своему... гла-
зами сверкала.

Я ее не понимала, но не отталкивала, играла с ней, дура-
чилась. Несколько раз и ее за маленькие смуглые груди пощу-
пала. Но это меня не возбудило. Мне для любви всегда нужен
был мужчина.

Да, трудно было поначалу. С ног валилась от усталости.
Кашляла страшно. Но втянулась. Зарабатывала сто двадцать
марок в месяц. Гэдээровских. Половину мать отбирала.

А потом случилось то самое.

...

Инженером-механиком по ткацким станкам работал у нас
один дедушка. Сейчас-то он мне дедушкой не показался бы,
было ему только слегка за шестьдесят. Но тогда...

Господин Макс.

Однажды он зашел в наш цех. Увидел меня и видимо за-
горелся. После смены подошел ко мне... в красивом костюме,
галстук... старой культуры был человек, довоенной... в на-
грудном кармане платочек батистовый треугольником... на
мизинце кольцо с бриллиантом... надушенный весь... ногти в
маникюре и говорит вежливо. На вы.

— Позвольте мне, фроляйн Рамона проводить вас до до-
ма. Имя у вас какое... музыкальное. Будит воспоминания.

Взял меня под руку и повел, только не к нашему дому, а в
парк, туда где камни разные доисторические выставлены. Ну

эти... окаменелости. А затем к себе домой пригласил. Я пошла, не роптала. Что я в жизни видела? Дома родители грызутся, на работе — ад, а тут человек порядочный... чистый. Побывал в Париже.

У себя господин Макс на меня не набросился, как любой другой на его месте бы сделал, а угостил меня кофе со сливками и шоколадом, рассказал про Шанз-Элизе и площадь Пигаль, а потом отвез меня домой на своем стареньком мотоцикле с коляской. Я очень этим гордилась... Форсила перед подружками.

На следующий день — все повторилось... только я еще вдобавок цветы от него в подарок получила. Гвоздики. И погуляли немного... по кладбищу... там, где могилы цыганских детей. Помнишь, я тебе рассказывала, как эсэсовцы у нас, в Ропау, взрослых цыган в концентрационный лагерь отправили, а детей, за сотню их было, расстреляли на берегу реки, под мостом. Некоторые, впрочем, говорят, что они сами... от тифа умерли.

Господин Макс мне о своих приключениях в плену у французов рассказывал... как они в лагере в футбол играли... заключенные-немцы против охранников-французов и выиграла. А французы обиделись и немцев жестоко избили. И совестливый Макс, который уже было решил, что мы, немцы, самый жестокий на свете народ, тогда понял, что французы ничуть не лучше, только организованы не так хорошо... и Гитлера у них своего не было.

На третий день — опять гуляли... рядом с фабрикой мотоциклов, где господин Макс до войны работал... и опять кофе у него пили.

На четвертый день он меня первый раз поцеловал.

А на пятый день... в воскресенье... сидели мы у него дома, в кабинете. Господин Макс мне коллекцию марок показывал. Объяснял что-то про зубцы и гашение. Потом начал целовать... пошли в спальню, сели на его большую кровать.

Я разделась, зачем тянуть да жеманничать? Это ваши женщины жеманные. А мы, немки, относимся к телесной любви разумно.

Легла, расставила ноги... ждала, что он ляжет на меня...

А господин Макс... вдруг закурил сигару и сказал мне, что... по-настоящему меня любить не может... из-за ранения... А не по-настоящему не хочет. Но знает, как решить проблему.

Я промолчала, съежилась.

А он вдруг сказал громко: Входите же, господа, девушка готова.

В спальню вошли несколько мужчин.

Все с лысынами и брюшками. Голые, пьяные, возбужденные. Двоих или троих я встречала в «Старой пивоварне». Один, собутыльник моего отца, был даже старше Макса. С усищами как у кайзера Вильгельма.

Смутило меня только то, что среди них был и наш учитель географии.

...

Господа эти со мной не церемонились... времени даром не теряли... тут же начали меня за груди и между ногами трогать, попотчевали меня французской любовью, а потом тот самый, с усищами, лег на меня... придавил как сапог лягушку.

От него пахло потом, табаком и пивом.

А после него и все остальные... по очереди... меня трясли. Да как... Последним был господин Клопс. Как же он громко стонал... хрипел... просил меня смотреть ему в глаза и называть папой...

Потом пошли по второму кругу.

Часа три длилось представление. Ты только не подумай, что они меня насиловали.

Мне было очень приятно. Только за господина Макса было обидно, что он своей радости не получил.

А он, господин Макс все это время сидел на стуле рядом с кроватью, жадно смотрел на нас, курил сигары, пил красное вино и по голове меня гладил.

Так я потеряла невинность.

ИЮНЬ

Хорошо в Москве в июне. Особенно, когда тебе пятнадцать лет и ты на лавочке сидишь, пирожное ешь и с другом болтаешь. Вкусные пирожные продавали в начале семидесятых в кулинарии ресторана «Кристалл» на Ленинском проспекте. Это там, где потом была «Гавана». А сейчас казино, сауна и бордель «Гладиатор», в котором можно, согласно рекламе, «окунуться в атмосферу эротических игр средневековья».

Да, вкусные и недорогие были пирожные. Я взял эклер и миндальное, все вместе — двадцать шесть копеек. А Витька Рубин купил два куса пражского торта.

Витька маленький и толстый, любит шоколад. А я предпочитаю эклер. Тесто у эклера нежное, крем сладкий и жирный. Съешь один — и растечется слюна по рту. Еще хочется. А ты вместо второго эклера мягкий миндальный кружочек откусишь и не жуешь... Пусть тает.

Восемь классов отучились. Кайф! Выхлопными газами приятно пахнет. Что-то в них есть наркотическое. Зелень в июньском огне горит и не сгорает. Ленинский слепит отражениями. Не проспект, а путь в светлое будущее, как на плакате написано. Асфальт от жары как лава течет, и воздух над ним плавится, фата-морганы представляются. Море видно. Кораблики плавают.

Впереди каникулы. Большой кусок синей теплой пустоты. Расслабиться можно, пожить. Помечтать о любви. А может быть и не только помечтать, но и за мякоть потрогать. Или даже пальчиком туда... Вот, наверно, сладко, слаще эклера, слаще сочного томного дурака — пражского торта. Тридцать три веселых капитана девочку поймали у фонтана... Быстро трусики стянули... Началась веселая игра.

Так сидели мы на залитом солнечным светом Ленинском, блаженствовали, пирожные доедали. В неведенье, как в приятном сне. Витькины губы измазаны шоколадным кремом. Длинные бело-розовые пальчики с маленькими ногтями работают как щупальца. Аккуратно, легко. А я свои обрубки стараюсь не показывать. Стесняюсь.

Спросил: Ты куда летом собрался?

— На дачу, а потом в Судак. А ты?

— В Ферсановку. Надоело... Но разве олдам объяснишь что-нибудь? Слушай, Витьк, а там девушки есть, в Судаке?

— Аск! Там Генуэзская крепость, пещеры, монастырь, и красавицы на пляже валяются, ножки раздвигают, так, что волосики видно.

— Попробуй такую красавицу между ног погладь — первым под руку попавшимся камнем в лоб влепит.

— Слушай, что расскажу. Я вчера у одного знакомого был. В креслах сидели. Представляешь, входит вдруг в комнату его дочка, лет шести, подходит к отцу и ширинку ему расстегивает. А тот сидит, «Литературку» читает. Достает она его член из штанов, как Маяк свою краснокожую паспортину, и начинает облизывать и сосать. Воот такое эскимо! Здорово, а? Пососала у отца и спать ушла.

— Кто же он такой? Макаренко?

— Писатель. Популярные исторические романы пишет. Говорил, что десять тысяч лет назад все так жили.

— Писатели всё знают. Им виднее. Скажи честно, сейчас придумал? Или еще вчера?

Идиотские шуточки были у нас в ходу. Витька часто меня поддевал. И я в долгу не оставался.

— Нет, правда, сосала как водокачка! — настаивал Рубин, надев на лицо загадочную улыбку Джоконды.

— Витьк, а ты пизду, видел?

— Один раз. Когда маленький был. У мамы. Волосатая, с розовыми губами. Мать спала, ноги раскрыла. Я испугался, укрыл ее. А потом еще раз одеяло приподнял. С тех пор не видел. Только у малышни на пляже — мышки-щелки... Он еще говорил, — раньше матери с сыновьями спали. Вот это я пони-

маю... Отца часто голого вижу. Он меня в ванну вызывает, спину тереть. Веснушки у него везде или родимые пятна, не знаю. И хуй такой темный, старый, в складках, как гриб. Тон-тон, у тебя просто так встает?

— У меня встает на все, что не надо. На автобус, на Метромост. На Солнце. И на памятник Ленину. А вот когда влюблен не встает. Три месяца назад втюрился я в одну черноглазую. В какую, не скажу, а то ты всем разболтаешь. Хотел пососаться, не дала. Только обнимались. Сердце мое горело, а член спал. Мне казалось, что я сам член. Пламенный.

— Ты бы сегодня об этом в сочинении написал. Кем я стану. Стану, мол, пламенным членом... Политбюро... Ты о чем писал, о Радищеве? Или про Кошевого?

— Про Кошевого. Я и трети «Путешествия» не осилил. Не читается. Язык допотопный. Другое дело «Молодая Гвардия». Гестаповцы раздевают и терзают Улю Громову. А она запекает «Замучен тяжелой неволей». Клёво! Ты знаешь, что случилось, когда мне шесть лет было? Меня чуть сексуальный маньяк в Крыму не украл. В Симферополе. На площади у вокзала. Мы с бабушкой в Алупке отдыхали. На обратном пути, из Ялты в Симферополь, таксист пассажиров пугал, говорил, банда в Крыму орудует. Воруют детей. Насилуют, а потом в лесу живьем сжигают. Нашли тогда будто бы пять обгоревших трупов. В горах, недалеко от старой дороги на Ялту. Приехали мы в Симферополь, на вокзал. Бабушка в туалет пошла. А там очередь. Стоять надо долго. Меня на площадке оставила. Там много детей бегало. Вдруг подходит ко мне дядька какой-то и говорит — хочешь клубнички свежей? Только что на базаре купил. И подает мне газетный кулек. В нем клубника. Крупная. Голос мне шепнул — не бери! А я взял. Одну ягодку. Потом еще одну. Я клубнику ем, а дядька на меня смотрит. Жадно и пристально. Говорит — у меня и черешня есть. Целое ведро. В машине. И показывает мне на москвич, старый-престарый... Пойдем туда, посмотришь на мой автомобиль, черешни поешь. Тут мне опять голос внутренний шепнул — не ходи! Не послушал, пошел. А два наших чемодана на площадке остались. Подошли мы к машине. Дядька дверь открыл. На заднем сиденье стоит

ведро. Но в ведре не черешня, а три окровавленных человеческих руки, пальцами наверх, как куриные лапы. И ногти у них синие, длинные, винтом. А рядом ржавая пила валяется... Я от страха онемел. А дядька схватил меня железными протезами и как заорет — отдай мне свои руки!!!

— А в другом ведре — ноги. Ногти как сабли. А рядом точильный станок. Загибай, загибай дальше!

— Все было, как я сказал. Только в ведре, действительно, черешня была. Угостил меня дядька черешней. И уговаривать начал — поедем ко мне сейчас домой, там у меня во дворе шелковица, сладость одна! А вечером в театр пойдём. «Синюю птицу» смотреть. У меня два билета есть. И билеты мне сует. Одной рукой мне билеты сует, внимание отвлекает, другой в машину тянет. И глазами на меня крысчьи пьются. Рычит, хрипит... Когда я уже в машине сидел, и дядька дверь закрывал, подскочила к нам как вихрь моя бабушка. За руку меня, и из машины вон. Милиция, кричит, милиция! Прохожие на нас зенки вытарасили. А дядька тут же слинял. На своем москвиче.

— У нас на даче кот каждый день по пять синих птиц мертвых приносит. Думает, так лучше. Мать его газетой лупит за это, но он все равно приносит. Что бы дядька этот с тобой сделал? В попу бы выдрал, а потом придушил. Или в погребе бы запер и мучил?

— Не знаю. Я тогда и не испугался даже. Очень уж шелковицу любил.

— Тон-Тон, ты ведь дом большой знаешь, на Университетском? С башнями. Мы раньше там жили. Так вот, у большого полукруглого окна на лестничной клетке между первым и вторым этажом нашего подъезда дети собирались — друг друга страшными рассказами пугать. Машка Федотова рассказывала про мать. Слушай сюда. Умерла у одной девочки мать. Ее похоронили на кладбище в черном гробу. Девочка легла дома одна спать. Вдруг радио само включается и говорит: Мать вылезает из гроба.

Девочка подумала, что ослышалась, и заснула. Через двадцать минут радио говорит: Мать идет домой.

Девочка проснулась, но опять подумала, что ослышалась. Опять заснула. Еще через двадцать минут радио говорит: Мать подходит к дому.

Девочка проснулась и больше не могла заснуть. Через пять минут радио говорит: Мать входит в подъезд.

Девочка заплакала от страха. Радио говорит: Мать подходит к двери.

Девочка застучала зубами. Радио говорит: Мать входит в квартиру.

Девочка окаменела. Радио говорит: Мать рядом с тобой.

Мертвая мать говорит девочке: Мне холодно, мне голодно, я пришла, чтобы забрать тебя, пойдём на кладбище, в мою могилу. Мы ляжем в мой гроб и ты согреешь меня. А потом я буду есть твоё мясо...

Так вот, я недавно узнал, что у Машки потом, когда ей лет десять было, умерла мать. На самом деле. А Машка после похорон пропала. Так до сих пор и не объявилась.

— А отец?

— Не знаю, может он ещё раньше из семьи ушел... И про отца один пацан тоже рассказывал. Васька... У мальчика умер отец. У него были черные ногти. Его похоронили. Через день пошел мальчик на базар, купить что-нибудь поесть. Видит — баба торгует пирожками с мясом. Мальчик купил пирожок, стал есть. Подавился, закашлялся и выплюнул человеческий палец. Палец был с черным ногтем. Мальчик узнал палец. Побежал к Шелохолсу (так Васька Шерлока Холмса называл). Шелохолс пошел на базар. Нашел бабу с пирожками. Купил пирожок. Отошел. Разломил его — внутри глаз. Глаз смотрит на Шелохолса. Голос говорит: Иди к бабе в подвал, там лежит мясо.

Пошел Шелохолс к бабе в подвал. Не может войти — двери заперты. Он спрятался. Ждет. Пришла баба, открыла замок. Он вошел за ней. Баба ушла. Шелохолс пошел в комнату. Видит — комната до потолка заполнена человеческими пальцами. Пошел в другую — та комната полна глазами. Глаза смотрят на Шелохолса. Голос говорит ему: Иди туда и туда, на кладбище. Там баба и дед могилы роют. Вырывают покойников и делают из их мяса пирожки.

- Ну и чего? И у Васьки отец умер?
- Не знаю, но, говорят, что пирожки с мясом, которые у универсама «Москва» продают, — из человеческого мяса.
- Пиздить изволишь!
- Ты про свою синюю птицу и черешню не наврал?
- А ты, про своего Макаренко? Девочка шести лет. Сказал бы еще грудной младенец тятюку сосет!
- И грудные сосут, на острове «Тахо-Тиха» так детей выкармливают.
- А что на острове «Не-пизди-Ка» происходит? Макаренко! А ты знаешь, что меня чуть Мосгаз не задушил?
- А Мослеспром тебя на куски не распиливал? Или Росглавлегснаббытсырье? Или Тяжмашзагранпоставка?

...

Расстались мы мирно. Витька на автобусе уехал. А я вниз по Ленинскому поплелся. Забавно, как раз тогда, когда мы спорили, в неведомом кабинете неприятного учреждения, в котором коммунистические начальники судьбу сограждан решают, некто Рябов подписал одну бумажку. И печать поставил. Подписал, потому что получил за это взятку от витькиного папы, бывшего главного экономиста в министерстве. И бумажка эта, выйдя от Рябова, уже на следующий день оказалась в почтовом ящике квартиры Рубиных на шестнадцатом этаже высотного жилого дома на Ленинском проспекте. Чудесной квартиры с видом на лес и озеро. И изменила эта волшебная бумажка витькину жизнь. Ни дачи, ни Судака он больше не увидел. Потому что уже через неделю унесла его белая алюминиевая птица из СССР навсегда. За горы и моря.

На новом месте Витьке понравилось. Тепло, по радио рок-н-ролл передают, а не Людмилу Зыкину, и девушки не жеманные. С черными или рыжими кудряшками все. Закончил он там школу и пошел перед университетом в армию. И убили его там, в пустыне, непонятные темные люди, арабы. И очень обрадовались его смерти. А тело его целый день по улицам на веревке волочили. И маленькие девочки пинали его ногами...

А со мной вот что случилось. Шел я по Ленинскому в сторону «Синтетики». Захотел перейти проспект, но на переходе застрял. Правительственный кортеж из Внукова в центр мчался. Вначале волга новая пролетела. С разноцветными мигалками. Сириной оглушила. Только-только появились тогда в Москве эти машины. Все их ждали, надеялись. Думали, будет как кадиллак.

За волгой черные зилы понеслись. Сточетырнадцатые. Зашуршали. Брежнев наверное или какая-нибудь шушера. Много зилов. Все их боялись. Такие задавят, не заметят. Скорость под двести. И масса как у танка. После зилов — черные чайки. Штук тридцать. Вр-вр-вр... Проехали начальники. Теперь идти можно. Ну я и побежал. Не заметил вылетевшей сверху, как из облаков, последней, отставшей от кортежа, белой чайки. Не услышал крика прохожих — стой! Ты куда! Не почувствовал удара ребристой чайкиной морды. Не заметил, как взлетел, не понял, что умер в воздухе. Не видел, как чайка остановилась, как из нее вышел растерянный шофер. Не мог помочь женщинам, бившим шофера сумками. Не видел бутылку кефира с зеленой крышечкой, вылетевшую у кого-то из сумки и валявшуюся рядом со мной на асфальте. Не видел и как народ отогнали люди в одинаковых костюмах, как забрали мое тело.

Хоронили меня на Востряковском кладбище. Там, где тела не разлагаются, а замыливаются и как пластиковые куклы в пене вонючей десятилетиями лежат. И червь их не ест и бактерии не трогают. Мои родные на похоронах плакали, особенно мать убивалась, а одноклассники шутили, дурачились, в салочки играли. Андрюха Шаповал за Наташей Марец бегал, той самой, черноглазой. А она на красавчика Неверова заглядывалась...

...

Ничего моя смерть в мире не изменила. У бочки с квасом очередь стоит. На улице Панферова часто ветер дует. И Земля с орбиты не сошла, так и крутится, дура, по закону Кеплера.

А я в бабочку превратился. Не адмирал и не павлиний глаз, конечно, но тоже, ничего. С черными капельками на кончиках крылышек. Поначалу меня все на цветочки тянуло, нектаром баловался. В воздухе кувыркался, шалил. Птиц сторонился, хотя и объяснили мне, — бояться нечего... Своих искал, но как будто кто сиреневый гребень у меня перед глазами держал. Видел дома, провода, автобусы, трамваи, тротуары. А вместо людей вроде тени. И лица у всех как тарелки. Так никого и не нашел. До самой осени по лесам, по полям носился. Море видел, — то ли Черное, то ли Белое. Из сил выбился. Поташило тут меня смертным ветром вверх, через облака. Оторвало крылышки. Облепило металлом небесным. Стал я похож на голубя серебряного. И уже не летел я, а винтом в пространство пустое врезался. Прямо на Луну меня притянуло. Наелся я там пыли и песка и в расщелине между серых скал затаился.

РУСАЛКА

Давно известно, если много думать о путинской России — то заболеешь геморроидальным расстройством. Это подтверждается и статистикой...

Форма и протекание заболевания зависят конечно от состояния пациента, его возраста, работы и прочих факторов, но в самом возникновении геморроя у эмигрантов из бывшего СССР — виновата современная Россия и лично ее президент, эту болезнь олицетворяющий. Я к сожалению, особенно последние два года — годы аннексии Крыма, военной интервенции в Донбассе и резкого ухудшения политического климата в и без того обезображенной коррупцией и жестокостью стране — о России думал часто, слишком часто, переживал, скрежетал зубами от бессилия, комментировал путинские гнусности в интернете... и вот... получил геморрой... на свою задницу. Додумался. Допереживался. Докомментировался. Месяц мучился, надеялся на то, что само пройдет. Так наверное думают и многие честные и добрые россияне о Путине и путинщине. Само пройдет. Не пройдет, и не надейтесь!

И мои анальные страдания сами не проходили. Пришлось искать платного врача (бесплатных так мало, что записывают на прием через семь месяцев... а к этому времени или ишак сдохнет или султан умрет). Нашел врача. На Фридрихштрассе практика. У музея Чекпойнт Чарли. Созвонился.

— Приходите завтра в три.

Прекрасно! На следующий день — отправился. В кишке так жгло и свербело, что на Берлин и его обитателей даже не взглянул. Скорее, скорее... Когда шел по Фридрихштрассе — подвергся нападению двух дерзких цыганок. Как прилипли, паршивки. Суют мне в лицо какую-то бумагу с подписями, ло-

почут что-то по-своему и щупают мою куртку, бумажник ищут. Ну, я не лыком шит, заорал на них громко так, так громко, что вся улица на нас посмотрела: Хаут аб! Вэг!

Отцепитесь, мол, и катитесь... Испугались, вроде. Но как отошли от меня шагов на двадцать, повернули ко мне свои черномазые образины и злобно что-то прокричали. И, хотя я их наречие не понимаю, смысл их угроз я понял. Они кричали: Мы еще встретимся... еще встретимся... берегись!

Как же я ненавижу этих навязчивых попрошаек! Дашь им евро, им мало, требуют еще. Не дашь — такую рожу скорчат, как будто ты их ножом пырнул... и в глазах их черных — бешеная злоба.

...

Вошел в практику. В регистратуре — вежливая пожилая дама, слегка впрочем смахивающая на миссис Пикман.

Ни одного пациента! Это потому, что сотню надо выложить за первый прием. А у меня в районе, где только пациенты с государственной страховкой проживают, чтобы попасть к обычному врачу-терапевту — три часа надо в очереди отсидеть. Духота. Кашель. Дети орут. Сестры осатаневшие бегают. Врачи перегружены работой. Нервные, замученные. Социализм...

А тут — огромная комната ожидания, и ты в ней один. Кресла. Журналы. Аквариум с золотыми рыбками. Тишь да гладь... Только сидеть, даже в мягком кресле, когда у тебя геморрой, все-таки очень больно. Через несколько минут вышел ко мне врач и представился: Барток.

Батюшки! Венгр. И похож на автора оперы «Замок герцога Синяя Борода»...

Обходительный, седой, уютный дедушка. Пригласил меня в кабинет. Рассказал про геморрой. Показал ужасную картинку. Подробно опросил меня о симптомах и пригласил лечь в хирургическое кресло.

Хорошо теперь понимаю, что испытывают несчастные женщины у гинеколога. Минут двадцать пять он меня обследовал, совал в меня всякие холодные железяки, утешал, уверял, что ничего страшного у меня нет...

Потом опять пригласил сесть за стол, рассказал о том, что мне надо есть, как пользоваться мазями. Порекомендовал аптеку. Пожал руку. Заметил, что неплохо было бы показаться еще раз, через шесть недель... Еще полтинник.

Я вышел от доктора Бартока успокоенный и почти вылечившийся, давно заметил, что болезни, так же как и пациенты, боятся врачей и иногда отступают перед ними еще до начала лечения. С удовольствием заплатил миссис Пикман сотню. Договорился о следующем термине. Хотел уже было покинуть практику. Но тут...

Что-то треснуло, хлопнуло. Или разорвалось. Молния зеленая сверкнула. Ишак чихнул. Бабочка села на одуванчик. Дурак родился. В моей судьбе произошел глобальный сбой. Бульшит.

Трудно описывать то, что не понимаешь. Я не знаю, что произошло. Но впечатление у меня было такое, как будто фильм моей жизни, до этого момента мерно скользивший через колесики какого-то космического кинопроектора вдруг — неизвестно почему — застрял. По экрану расплзлось зловещее желто-коричневое пятно. Пленка вспыхнула, по кинозалу пополз ядовитый дымок. Публика стала свистеть и топтать ногами, а киномеханик выключил свою аппаратуру для срочного ремонта...

Но ничего у него не вышло, и он трусливо покинул кинотеатр. А зрители, вволю посвистев и потопав ногами, разошлись по домам.

...

Но это все метафоры. А в реале произошло вот что.

Я неожиданно услышал незнакомый голос, как будто падающий с небес, похожий на голос робота, объявляющего остановки в берлинском с-бане. Он провещал: Вам необходимо пройти дополнительное обследование!

Я испугался, запаниковал, мне захотелось выброститься в окно или что-то бешено заорать и начать крушить все вокруг себя. Но я не заорал и крушить не начал, а приоткрыл входную дверь практики, чтобы выйти на улицу. И тут кто-то схватил меня за плечо. Это был доктор Барток. Ставший за те

несколько минут, что я его не видел, неузнаваемым! Он постарел лет на десять и одичал! Безумные глаза сверкали, на щеках торчала клокастая щетина, под ногтями — грязь, а вместо аккуратно поглаженного белого халата — на нем была замызганная тюремная роба... Что за черт? Доктор Барток взял меня под руку и прохрипел: Вам необходимо пройти дополнительное обследование.

Это что же, мое собственное подсознание со мной заговорило? Не верю я во всю эту чушь.

Я дал ему себя отвести по каким-то длинным коридорам в отдаленную комнату. Может, это и была та самая, обычно запертая, комната, в которой Синяя Борода пытал и убивал свои жертвы?

Она походила на операционную больницы двадцатых годов (видел фотографии в медицинском музее в Шарите). На длинных металлических столах лежали скальпели, всевозможные щипцы, пилы, ванночки, шприцы, зажимы, какие-то зловещие трубки... Посредине комнаты стоял большой операционный стол, рядом с ним — бестеневая лампа, вокруг него — толпились хирурги-сенобы и ассистенты в зеленых халатах и таких же штанах.

На их лицах — маски.

Я попытался освободиться от доктора и удрать. Хирурги заметили это и пропели хором: Вам необходимо пройти дополнительное обследование.

И ударились в пляс.

Танец хирургов подействовал на меня гипнотически, я олабел, и доктор Барток подтащил меня к операционному столу. Множество рук в резиновых перчатках схватило меня, подняло и положило на стол. Куртку мою с меня сняли и отбросили в сторону, даже не порвав, а остальную одежду резали ножницами и сдирали лоскутами. После чего привязали мне руки и ноги к столу, а на лицо положили маску. Мои летние бежевые туфли злодеи почему-то оставили у меня на ногах.

В самый последний момент, когда я уже был готов отключиться и отдать себя на милость победителей, что-то во мне сдвинулось... я нашел в себе последние силы... предсмерт-

ный резерв... и с мужеством отчаяния рванулся, разорвал пу-
ты, сорвал маску, соскочил с операционного стола, разбросал
в разные стороны повисших на мне врачей. Схватил куртку
и, отбрасывая от себя хватающие меня со всех сторон руки и
расталкивая плечами встававших на моем пути плясунов-
хирургов, число которых возрастало с каждой секундой, —
пробился к двери операционной, протаранил ее, и не обра-
щая внимания на дикий визг миссис Пикман, пытавшейся
обвить и задушить меня своими длинными щупальцами, вы-
рвался из практики. Выбежал на Фридрихштрассе.

Голой. Поцарапанный. Напуганный. Дрожащий.

Нацепил на себя куртку, которая еле-еле прикрыла голый
зад и причинное место и поковылял в сторону Унтер-ден-
Линден.

По дороге судорожно думал (ясно думать не мог) о том,
где купить брюки. Перебирал в голове знакомые магазины, но
их названия путались, исчезали из памяти, оставляя после се-
бя что-то вроде пестрого пара, потом появлялись, но не дава-
ли себя прочитать, хихикали и потешались надо мной.

В голове звучал слоган популярного флешмоба: Сними
штаны и иди в метро, ведь ты человек, а не пу-га-ло...

Перед глазами все мелькало. Пульсировало.

Прохожие казались мне мутантами. Они кривили свои
отвратительные лица и показывали на меня пальцами, похо-
жими на обглоданные куриные ножки...

Автомобили ревели, били колесами об асфальт, как кони
копытами, гудели, прыгали как жабы и норовили раздавить.
От них приходилось убегать. Дома скалили на меня огром-
ные каменные зубы... протягивали в мою сторону свои кир-
пичные руки. Нюхали меня уродливыми ноздрями. Мостовая
то и дело разверзалась передо мной глубокими провалами,
из которых поднимались языки синеватого пламени. Неоно-
вые рекламы, трещина и прыскающая электрическими искрами, от-
валивались от фасадов и падали на меня. Фонари и реклам-
ные столбы стартовали как ракеты и улетали на околозем-
ную орбиту.

Неожиданно я увидел двух цыганок. Тех самых. И они заметили меня и тут же подскочили... и начали нагло задирать мою куртку... чтобы показать другим прохожим, что под ней ничего нет. Лица их сияли злорадством.

Не помня себя от стыда и гнева, я сбил их с ног и каждую несколько раз ударил ногой по лицу. Видел, как у одной выскочил изо рта зуб, а у другой оторвалась губа...

...

Заскочил в какой-то магазин одежды...

Искал брюки, но не нашел... схватил лежащие на прилавке черные женские колготки и с невероятным трудом натянул их на себя. Подошедшая ко мне миловидная продавщица с двумя розовыми носиками попросила меня пройти в кабинку для примерок...

А со стороны касс ко мне уже бежал, высунув язык, менеджер... бультерьер... захлебывался истеричным лаем. Я выскочил на улицу до того, как он смог схватить меня зубами. Прицемил дверью его длинный лиловый язык, слышал, как он заскулил.

В колготках я немного успокоился. Потому что уже не выглядел полуголым психопатом, сбежавшим из клиники, а подходил на одного из берлинских андрогинов, таких тут много... Повернул налево, на Ляйпцигерштрассе. И побежал так быстро как мог.

Потому что у меня наконец появился план. Я решил зайти в Картинную Галерею, погулять по ее просторным залам, полюбоваться на любимые картины и успокоиться. Обдумать все в знакомой и дружественной мне обстановке.

Миновал Потсдамскую площадь с ее безобразными небо-скребами и толпами глазающих туристов, перешел улицу у Городской Библиотеки и направился к главному входу в вестибюль Галереи.

Подошел к кассе.

Там сидела знакомая кассирша, которую я не любил. Злобная высокомерная старуха, красящая волосы в блекло-голубой цвет. Она неприязненно посмотрела на мой берлин-

ский пасс (документ бедняка) и выдала мне длинный бесплатный билетик. Потом сказала: Вам необходимо пройти дополнительное обследование.

Протянул билет коротышке в униформе (темные брюки, такая же жилетка, белая рубашка, красный галстук). Тот долго и недоуменно смотрел на мои колготки, потом также долго смотрел на куртку. Затем вежливо, но твердо произнес: Согласно новым правилам, находится в Галерее в верхней одежде нельзя. Прошу вас сдать куртку в гардероб или оставить в шлисфахе (запирающийся железный ящик, как на вокзалах). Кроме того, прошу не забывать — вы должны пройти дополнительное обследование!

Снять куртку? У меня же под ней ничего нет. План мой рушился. Попробовал уговорить коротышку.

— Я уважаю ваши правила, но посмотрите, у меня под курткой ничего нет... Только голое тело...

— Это дело частное. У каждого из нас под одеждой голое тело... А в куртках и пальто находится в музейных залах запрещено, понимаете! З-А-П-Р-Е-Щ-Е-Н-О! Приказ администрации. В связи с опасностью террора.

К коротышке на помощь подошел великан, тоже в униформе Галереи. Великан сказал тонким голосом: Запрещено в куртке. Сдайте ее в гардероб. Вы должны пройти дополнительное обследование.

Я взмолился: Не смотрите на меня, как на врага. Я не террорист, уверяю вас, я люблю картины... и Галерею... у меня украли штаны... я был сегодня у врача.

Коротышка был непреклонен: Мы не сторожа вашим штанам!

А великан добавил: Ваша частная жизнь нас не интересует. Где вы были, что вы были... Извольте куртку сдать, иначе не пустим в галерею.

Тут за меня неожиданно заступилась сердобольная пожилая дама, выходящая из Круглого зала. Говорила она с французским акцентом.

— Посмотрите, господа, эта куртка, единственное, что у него есть. А вы хотите заставить его раздеться и ходить по га-

лерее голым. Вы наслаждаетесь тем, что можете что-то за-
прещать, не пускать, унижать посетителя музея.... Требовать
от него что-то заведомо абсурдное... а это ведь фашизм... в вас
всех до сих пор сидят Гитлер и Геббельс!

Услышав слово «фашизм», великан, ни слова не говоря,
подошел к даме, грубо заломил ей руки за спину и быстро по-
вел куда-то. Наверное в комнату для арестованных террори-
стов, тех, кто пытался пройти в Галерею в куртке или пальто,
и их сообщников-французов. Издалека донеслось: Не ломайте
мне руки, фашист и садист...

— Поговори у меня, лягушатница, поговори, пока я тебе
зубы не выбил...

Тут коротышка прошипел: Видите, из-за вас пострадал
невинный человек. Курт наверное сломает ей руку или вы-
бьет глаз, он, знаете ли, хотя звезд с неба не хватает, но дело
свое знает, порядок в Галерее поддерживать умеет. Не дожи-
дайтесь, пока он назад придет... а-то придется и вам с ним
близко познакомиться, а он вашего брата ой как не любит.
Консерватор с младых ногтей! Сдайте куртку в гардероб и
проходите. Или убирайтесь по добру, по здорову. И помни-
те — вы должны пройти дополнительное обследование.

Я сдался. Спустился в подвал, положил куртку в шлис-
фах...

Ожидал, что вот... подойду сейчас в одних колготках к
коротышке и протяну ему билет... а он завизжит и Курта позо-
вет или полицию по телефону вызовет.

Но коротышка деловито отсканировал ручным сканером
мою бумажку и, ни слова не говоря, даже не взглянув на меня,
пропустил в Круглый зал.

...

Остальные посетители не обращали на меня внимания. В
колготках, так в колготках. Политкорректность.

И я спокойно бродил по Галерее, глубоко дышал, смотрел
на картины... пытался успокоиться...

Убеждал себя в том, что ничего страшного не случилось.
Что я не сошел с ума. Что с ума не сошел и окружающий меня
мир. Пытался найти разумное объяснение происходящему.

Особенно метаморфозе, произошедшей с моим доктором. Но не находил. Пытался свалить все на «нервы и переутомление». Не получалось. Уверял себя, что вот... приеду домой... приму ванну... отосплюсь... а завтра все будет хорошо, все будет по-прежнему... Но чувствовал, что «по-прежнему» ничего больше не будет. Что дома своего я больше никогда не увижу.

Потому что пятно на экране росло и росло...

А кинозал уже заволокло ядовитым серым дымом.

Некоторые, не успевшие убежать, зрители задохнулись.

Кинемеханик лежал, скорчившись, как младенец, на широкой лестнице, ведущей к выходу, покрытой ковром. Ковер, усыпанный попкорном и использованными билетами, начал тлеть. Неожиданно мне стало жарко. Я вспотел. Жжение, которое я последний месяц чувствовал только в анусе, распространилось по всему моему телу. Антонов огонь?

Вот и конец, — пронеслось в голове. Это и был конец.

Жжение усилилось. Я заживо сгорал, как еретик на аутодафе.

Слышал свист и улюлюканье толпы. Видел каменные лица инквизиторов, как будто выточенные из горного хрусталя.

Надо было спастись. Как? Инстинктивно я начал искать воду. И нашел. На левой створке «Алтаря святого Бертена» Симона Мармиона протекала река.

Я прыгнул в нее.

Свежая чистая водяная струя приняла меня в себя.

Погасила адский огонь.

И я от радости превратился в русалку.

...

Будете проездом в Берлине, зайдите в Картинную Галерею, найдите там живопись Мармиона... и реку... и замки... и светлые отвесные скалы... и островок на реке. На двух крохотных холмиках растут два дерева. В ложбинке между ними я лежу по ночам и смотрю на звездное небо.

Новая жизнь мне по нраву, только к рыбьему хвосту никак не могу привыкнуть.

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Рядом с огромным зданием Государственной Типографии, похожим то ли на Лубянку в Нью-Йорке, то ли на Рокфеллеровский Центр в Москве, на которой день и ночь неутомимые греи печатали денежные знаки Зодиака, стояла небольшая деревянная избушка. Или домик. Одной стеной домик примыкал к Типографии. Сверху он выглядел как детский кубик, приклеенный к чемодану десятиметровой высоты.

Сторожка? Сарайчик? Будка театрала?

От вибрации ротационных машин будка подрагивала и подпрыгивала, крыша ее неприятно покачивалась, а внутри ее был постоянно слышен гул и скрежет адской денежной мельницы капитализма.

Лино звал единственную комнатку этого домика-будки, помещение с унизительно низким и непонятно зачем высоким потолком, — каптеркой, потому что на трех ее стенах висели книжные полки Машкова, заставленные не книгами, а каким-то старым и пыльным военно-гражданско-оборонным барахлом.

Сапоги. Гимнастерки. Фронтальные подштанники. Пустые кобуры Макарова. Денегные автоматы с продырявленными дулами. Катюши и Машки. Учебные гранаты с перевала Дятлова. Противогазы дяди Сережи из Свердловска. Миги и фантомы ускользящей реальности. Дозиметры черныбыльские обыкновенные. Вещевые мешки Лукашенко. Гаубицы и танки бледной моли.

Все это воняло допотопной пластмассой, гниющей кожей, резиной и реакцией.

В сапогах и противогазах жили телефоны-мастигопротусы и сольпуги, называемые также фалангами, которых Лино безуспешно пытался давить ногами и ресницами. Что эти не-

счастливые насекомые в каптерке ели, когда и где спали, где они заряжали свои мобильники, все это оставалось загадкой и для Лино и для его напарника-орангутанга, Верзила-Бобби, который хватал когтищами мастигопроктусов за их мощные педипальпы и, невзирая на струйки уксусной кислоты, которыми отчаявшиеся насекомые прыскали в его круглую усатую образину, разрывал их тела своими лошадиными зубищами и жрал их, воинственно чавкая и борясь за мир во всем мире. Бобби был по национальности корейцем, но Лино он почему-то представлялся монголом-завоевателем. Современным Чингисханом. Вот Бобби вытаскивает свою кривую шашку и на всем скаку отрубает голову убегающему русскому блондину-подмастерью. Блондин бежит дальше без головы. Ему так легче. А вот сидит в синей шелковой палатке и принимает от различных народов дань — арбузы и тугрики. По его усам течет хмельная брага успеха.

Родители Лино были древними греками. Младенцем его унес орел, оказавшийся на поверку чужой манифестацией. Кажется, орел все-таки разодрал его на части, которые пришлось склеивать с помощью минеральной воды.

Четвертая, замызганная и темная, стена каптерки была украшена портретами Фрэнка Синатры в шляпе и генсека Черненко в гоголевской шинели, а также крохотным оконцем, из которого открывался удивительный вид на батальонный двор, заваленный ржавыми канистрами с потрохами убиенных младенцев и отработавшими свой век типографскими прессами. Между ужасными этими машинами шныряли худые пегие собаки, похожие на енотов. Или на бобров. Или на сусликов. Нет, пожалуй все-таки на бобров. Нет, на енотов. И это окончательно и обжалованию не подлежит. Как захоронение в Кремлевской Стене.

Однажды Верзила-Бобби поймал одну енотовидную сучку на панели. Как же она сопротивлялась! Как пела... что твоя канарейка! Царапалась и орала благим матом, партизанка фуева. Притащил ее в каптерку. И давай...

Верзила чесал ее шерстистой головкой свои небритые щеки... нюхал ее партийную промежность и лизал своим длин-

ным лиловым языком с желтыми крапинами ее живот. Потом Бобби отвернулся вместе со своей трясущейся добычей к стене... как-то странно заёрзал и замычал... и Лино услышал тоскливый вой и захлебывающийся скулящий лай насилуемого животного. А потом собака непристойно завизжала и захохотала как диктор центрального телевидения и упорхнула в Японию, как сибирские сепаратисты.

Подоконник, рамы и небольшая форточка так заросли грязью и похотью, что никому и в голову бы не пришло это оконце открывать. В каптерке Лино было душно, но тепло и привычно. К диким выходкам своего соседа он относился терпимо. Лино, хоть и терпеть не мог насилие, но еще в юности перестал осуждать и себя и остальное человечество за все творимые на нашей скучной планете гадости. Человек, как и орангутанг, — грязное подлое животное, готовое убивать и мучить своих близких и далеких, — говорил он сам себе, — и ты точно такой же. Все зависит только от воспитания, погоды, исторических обстоятельств и от политики номенклатуры.

И горечь этой полуправды не отравляла ему жизнь, а помогала замыкаться в себе и познавать свою природу.

В этой же стене была вонючая дверь, обитая жестью и пахнущая благовониями.

Тяжелую эту дверь украшал старинный медный замок на Луаре, уже наверное пять столетий как сломанный. Вмятины и царапины на его позеленевших боках доказывали, что не одно поколение обитателей каптерки пыталось этот замок открыть без ключа и без ветрил или выдрать его из двери как зуб мудрости. Но безуспешно, господа, безуспешно.

Ручки у двери не было, открыть ее было не легко. Для этого приходилось, ломая ногти, скрести ее занозистую боковую сторону. Поддевать ее за бретельки от бюстгальтера. Дверь при этом звенела, что твой колокольчик на молодецких плечах. И трясла спелыми средневековыми грудями.

Лино обычно мучился минут двадцать, прежде чем ему удавалось открыть проклятую дверь. Верзила-Бобби сидел в это время на своем стуле как Чингисхан на троне и демонстративно отрешенно смотрел в никуда, на кончик своего голу-

боватого носа. Казалось, он не замечал мучений Лино, не замечал вообще ничего, был глубоко погружен в себя. Но Лино знал, что никакой «глубины» в обезьяньей душе Верзилы нет, нет и самой души, и его отрешенность всякий раз была только маской Герострата, которую Верзила-Бобби охотно надевал для того, чтобы мирно и всласть подремать.

Выходить на двор было необходимо, потому что в каптерке не было туалета. А во дворе туалет был — общий, грязный, на полтора очка. Пользовались им не только Лино и Верзила-Бобби, но и шоферы привозящих в Типографию бумагу и краски грузовиков и охранники специальных бронемашин, увозящих из Типографии товар — сотни тысяч упакованных в целлофан банкнот в громоздких контейнерах.

Брезгливые греи этот полуторный дворовый туалет обходили стороной. Для них был построен специальный суперсортир в форме летающей тарелки, снабженный антигравитационным насосом. Он висел в сотне метров над крышей типографии и греи карабкались на него по канатам.

Один раз денежный контейнер сорвался с металлического крючка из-за неловкого движения руки крановщицы и упал на асфальт. Раскрылся. Несколько пачек тысячных банкнот выпали из него и позорно убежали с места действия. Одна из них от удара взорвалась как хлопущка во дворце Фридриха Великого.

Во дворе как персиковые голуби залетали деньги. Лино заметил, что в обычно ничего не выражающих, пустых и наполненных различными смыслами и ожиданиями глазах Верзилы-Бобби, загорелись и замерцали звезды... Большая Медведица и Южный Крест.

Верзила зевнул, и из его пасти вылетела галактика Андромеды. И все из-за денег!

При приеме на работу начальник, коротконогий, обрюзгший и лысый, но очень деловой господин Пратт, сказал Лино, подхихикивая ноздрями и голеньями и показывая три сотни маленьких, почерневших от курения зубов: «Прежде наш Бобби занимался грабежом банков. Несколько лет ему это сходило с рук. Затем он попался. Загребел в тюрьму. Со

следователями был груб. Не хотел выдавать зачинщиков. Так и не сказал, где они спрятали добычу. Был направлен за это на курс интенсивной гипнотерапии профессора Касперского, сопровождающийся лечением электрошоком. После третьего сеанса все понял, осознал свою вину и исправился. Выступил на митинге в защиту Стивена Кинга. Показал тайник в тридцати километрах от города, на страусиной ферме, в заброшенном киоске, где раньше торговали куриными яйцами и перьями экзотических птиц. И имена сообщников выдал. Нацарапал клинописью на берестяной грамоте. И положил в лучевой короб. Вышел из тюрьмы за три года до окончания срока президентства Клинтона. Из-за примерного поведения на фронтах Гражданской. Поэтому мы его и взяли в сторожа... как специалиста так сказать... по изготовлению яблочного джема и традиционного японского супа из головастиков... хм-хм... Говорят, в тюрьме его лоботомировали раскаленным металлическим прутом энтузиасты-сокамерники и использовали позже как пассивного педераста-застрельщика. Тем лучше. Потому что он потерял волю к жизни и способность к сопротивлению коммунистическому режиму. Возможно, до вас долетели слухи, что прежнего напарника Бобби, Соломона Боне, нашли на дворе Типографии мертвым, с перерезанным горлом... К тому же его жестоко изнасиловали безотносительно к вышесказанному... Да-с. Но вы не бойтесь котов и дирижаблей, Бобби — монгол смиренный, он на такое черное дело не способен, и, хотя виновные в этом тяжком преступлении так и не будут найдены, руководство полагает, это были румынские мстители-инкассаторы, задумавшие кражу невинности... вспомните нашумевший случай с Люсиль К., посещавшей школу для посольских детей в Шварцвальде... возможно уличенные или шантажированные Боне. Покойник был и хитер, и жаден, и недалек. Вот его и умучили. А может быть, он перехитрил самого себя. Так часто бывает в мире финансистов и фрилансеров».

Пол в каптерке был яшмовый. Утоптанная земля была покрыта слоем пыли и трухи, которая когда-то была свежей еловой стружкой на подвечном одре с вуалью. Стружка эта

или труха пахла почему-то болотной тиной и марципанами. Ночью она флуоресцировала как сестрорецкий планктон. Лино это нравилось. Он часто не спал по ночам, смотрел на волшебный мерцающий свет на полу и представлял, что плывет на кораблике в Тихом Океане и наслаждается простором и свежим ветром перемен. Считал огоньки и слоников, и потихоньку напевал песенку про Фанданго Харума.

Освещала каптерку единственная лампочка накаливания, свисающая с середины темного потолка на старом и жухлом двойном шнуре. Лино не раз представлял себе... как он или она взбирается на стул, осторожно вывинчивает лампочку с шуршащей никелевой спиралью и кладет ее в карман штанов, аккуратно делает петлю, продевает в нее голову... прощается с жизнью и показывает пылающим небесам язык... и опрокидывает неловким движением ноги алюминиевый стул с треснувшей деревянной спинкой, на которой была довольно реалистично нарисована шариковой ручкой сцена совокупления коня и толстенной негритянки-трехмоторки, а после... не корчится в агонии и экстазе, а обрушивается всей своей неловкой коровьей тушей на пол... лампочка лопается в его кармане и режет его стальное бедро... и он сидит на грязном полу... обсыпанный штукатуркой вечности, с выдравшимся из потолка обрывком двойного шнура на верблюжьей шее... с вывихнутой лодыжкой Иакова, порезанным бедром и с дикой головной болью... вынужденный продолжать свою прогорклую, бессмысленную и такую сладкую жизнь. Представлял себе, как тупо и равнодушно смотрит на него Верзила-Бобби и сплевывает в угол... а потом вскакивает и гонится за поблескивающим металлическими клешнями мастигопроктусом... настигает его... и долго рассматривает его мохнатое брюшко перед тем как всунуть в пасть и смачно разгрызть.

Убирайся к черту, подонок, — истощено, но беззвучно кричит Лино самому себе и всему прогрессивному человечеству, но успокаивается в бедламе собственных мыслей.

Поначалу Лино работал так — четверо суток в каптерке, неделю дома, месяц — на средиземноморском побережье Португалии и еще полчаса в горах заснеженной Мальты.

Но дома у него было нехорошо. Пусто, одиноко, не прибрано. Кошки стонали, ежики выпили все молоко, отопление не работало. Электричество уже год, как было отключено за неуплату ипотеки. Соседи казались Лино безобразными чудовищами, человеко-тараканами. Подъезд наводил на него ужас своими москитами и сталактитами.

Родные Лино перемерли и разъехались. Мертвые были вечно заняты, а уехавшие дружно потеряли адреса его электронной почты. Друзья уже много лет как исчезли в космических даях. Сидят себе в зарослях можжевельника на спутнике Сатурна и в ус не дуют.

Любимой женщины у Лино лет десять как не было. Последняя умерла в городской больнице от воспаления легких три недели назад. Лино рыдал два дня, еще день смеялся, а потом затих, ушел в себя с головой, да так из себя и не вышел. Не смог даже заставить себя пойти на ее похороны. Несмотря на то, что она так звала. Пончики приготовила с брусничным вареньем и вальтовым мясом и салат из косточек бегомота с трюфелями. Специально ездила в зоопарк.

И сейчас... после стольких лет одиночества... он забыл ее лицо, забыл и ее имя. Забыл даже запах ее... Забыл лица матери и отца... жен, и детей. Не помнил даже то, что они когда-то существовали, и любили его, и он любил их... в его душе не звучало эхо от этой любви... не светили теплые лучи гиперблоида... он все забыл и похерил.

Будущего у него не было, только настырно длящееся настоящее, черная материя и другие измерения.

Лино едва уговорил ломаку Пратта позволить ему неделю проводить в каптерке, а четверо суток дома. Пратт позволил, но без увеличения квартплаты.

А затем... Лино решил больше никогда не возвращаться домой и не посещать веселых вечеринок, от которых никакого толку не было, и остался в каптерке навсегда.

Годы потянулись за годами... два вперед и три назад... и он постепенно забыл и о доме, новые хозяева которого давно сожгли его пожитки и его потасканную мумию, продали его

книги и картины... и если бы его выгнали из каптерки, Лино не смог бы найти дорогу к храму Хомы, заросшую бурьяном и терниями.

Верзила-Бобби тоже не имел другого пристанища. Визу в Татаро-Монголию ему закрыли еще месяц назад.

Так они и жили-сторожили. Лино все пытался поймать фалангу, а Бобби ловил и пожирал казенных мастигопроктусов. На календарь они и не глядели. Электроникой не пользовались. Окружающий мир был им безразличен. И друг другу они не мешали. Днем сидели на стульях, смотрели в окошко, а ночью спали на койках в разных углах каптерки. Азия дремала, а Европа не чуяла беды.

Раз в две недели скряга Пратт давал им ключ от душевой кабины для шоферов. Заставлял их мыть посуду после совместного обеда членов правления Типографии. Тарелочки звяк-звяк-звяк и капут...

Умывались и чистили зубы они во дворе, там был кран, из которого текла чистая морская вода. А утекала вода в пресную решетку под краном. Воду кипятили — на воняющем керосином примусе, стоящем на маленьком столике под окном, там же Лино готовил себе бутерброды из купленных в типографском ларьке хлеба и колбасы. Делился этой нехитрой стряпней с Верзилой-Бобби. Верзила неохотно брал бутерброд, откусывал от него кусок и мгновенно глотал, не жуя. И никогда не благодарил Лино или вышестоящих товарищей. Говорить Верзила по-видимому в каптерке разучился... или никогда не умел... Лино впрочем и не хотел с ним разговаривать. Хотел высунуть навсегда свой родной язык, выкинуть наконец из головы осточертевшие слова, заменить их танцующими кроликами, крепенькими орешками.

Однажды ночью Верзила-Бобби неожиданно заквакал. Громко и ясно как день.

Он несколько раз повторил: «В ту ночь Александру пришло жемчужное ожерелье. Квак-квак-квак!»

Не спящий Лино, считающий кузнечиков на своем животе, был так ошарашен, что не сразу понял, что Верзила имеет в виду. А когда понял, спросил, с трудом припоминая и соеди-

няя слова: «О чем это ты, Бобби? Какому Александру приснилось? Македонскому, что ли? Или императору всероссийскому? Королю Шотландии? Или брату Молона?»

Верзила продолжил: «Будто идет он по песчаному пляжу. Идет и идет и вдруг видит жемчужное ожерелье. На песке валяется. Жемчуга — в три ряда. И бриллиантовая застежка. А рядом с ним сидит тетушка Петуния в шезлонге, пьет как всегда после обеда свой Арманьяк. Тетушка Петуния спрашивает Александра: Ты не знаешь, дорогой кузен, сколько лет я тут сижу? Александр отвечает: Ты сидишь тут с тех самых пор, как ты умерла в своем задрипаном шато, а я украл у тебя, мертвой, это жемчужное ожерелье».

Бобби проснулся и, подавленный перепетиями судьбы, больше ничего не говорил. Только искал глазами мастиго-проктуса пожирнее.

А Лино упал в объятия пьяной вакханки и успокоился. И даже не кричал больше по ночам: «Хочу, чтобы все было как раньше! Тритатушки тритата».

ПРИНЦЕССА

И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень

Тютчев

По радио объявили, что Бокассу свергли, а меня на картошку от нашей лаборатории послали.

Шеф вызвал к себе полпятаго. Сказал: Ты самый молодой и здоровый, вот ты и поедешь завтра в Звенигород. Найдешь пионерлагерь «Юный мичуринец». Там обратишься к Окунькову. Автобусом минут десять от станции. Разберешься. Я пытался на совещании у Ашатура отбазариться, тянул сколько мог, но из ректората бумага пришла железная — от каждой лаборатории двоих сотрудников в колхоз. Я смог второго отбить. Поедешь один. Ничего, недельку свежим воздухом подышишь. Может, новые идеи в голову придут.

Когда шеф кого-то к чему-то принуждал, на его серых угристых висках наливались кровью волевые жилки, похожие на красные сопротивления. Уши багровели. Глаза яростно выпучивались. Фигура напрягалась, как будто он к прыжку готовился. А складки нижней части его лица и вовсе превращали его в бульдога. Казалось, сейчас он зарычит и вцепится клыками в ногу.

Я не возражал этому агрессивному старому маразматику. Что толку артачиться — все равно пошлют, если решили. Сам виноват.

В чем виноват?

Да в том. Что не только родился тут, в СССР, в этом собачьем дерьме, но и выучился в их дегенеративной школе, закончил этот сталинский змеюшник — МГУ, и работаю теперь на них в этом долбаном институте, как последняя скотина.

Поконкретнее, пожалуйста. В чем же ты все-таки виноват?

Поконкретнее? Виноват в том, что побоялся даже начать процедуру отъезда. Лежит дома эта ксива, приглашение, или как оно там называется. Ну, из Израиля. Лежит уже три месяца между книгами спрятанное. А ты даже с женой поговорить не решился. Потому что знаешь, не поедет Нелька никуда. Не может мать бросить. Нелька тут карьеру делать собирается, а ты ей крылья обрезать хочешь. Кому она на Западе со своим филфаковским дипломом нужна? И кому ты там нужен?

И в ОВИР пойти — у тебя никогда смелости не хватит. Ну вот и терпи, терпила. Твои уехавшие одноклассники в Йелях и Калтехах в аспирантурах прохлаждаются, а ты в колхоз поезжай, в гнилой картошке рыться. И не чирикай, тварь дрожащая!

...

На следующий день достал я из антресоли свой походный спальный мешок на гагачьем пуху, который когда-то на три китайских фонарика выменял у одного альпиниста, который через три года на Кавказе на какую-то знаменитую ледяную гору влез, а слезть так и не смог, сел, оледенел и будет там сидеть всегда. Собрал рюкзак, поцеловал спящую жену за ушком и поехал.

До Белорусского вокзала тащился через весь город часа полтора. Потом — еще полтора часа электрички. Прибыл в Звенигород. Автобус на Мятино ходил раз в час. Хотел было в монастырь сходить, к Савве, посмотреть на новые кокошники на Рождественском соборе, но так и не решился. Ждал, ждал... От остановки — еще километр пешкодралом тащился до этого сраного Мичуринца.

Наконец, вошел в ворота... а дальше куда... хрен его знает.

Спросить некого. По особой гнусности архитектуры и плакату (изможденный Мичурин недобро смотрит на наливные яблочки, внизу цитата: Мы не можем ждать милостей от природы...) узнал административное здание. Постучал, подергал за ручки. Входные двери не открываются. Хотел ногой дверь выбить. Но не решился. Замки на дверях еще сталинского времени, надежные. Можно и палец сломать.

Никого... ничего... Ни звука, ни писка.

Может они все сдохли? Вот бы был подарок! Надежды юношей питают, отраду старым подают...

Нашел что-то вроде деревянного крыльца, смахнул пыль, сел на спальник, подложил рюкзак под спину, задремал.

Часа через два услышал голоса. Пригнанный из Москвы на сбор картошки ученый народ в пыльных ватниках, крихтя и матюгаясь, возвращался с полей. Откуда-то возник и Окуньков, гадкий тип с лицом, похожим на картофель. Нашел меня в свой громадной черной тетради, поставил против моей фамилии галочку, написал рядышком дату и время прибытия в «Юный мичуринец». Провел меня в пахнущую нестираными носками общую мужскую спальню, человек на тридцать пять. Указал на свободную койку. Сообщил, что душ временно не работает, а ужин с семи до восьми. Объяснил мне, как найти столовку и сортир, где можно взять напрокат ватник, рукавицы и сапоги...

Перед сном, лежа на скрипучей пионерской кровати в теплом спальнике поверх казенного одеяла, слушая мирное похрапывание коллег по несчастью, я испытал что-то вроде эйфории.

Этой эйфории заключенного, которому начальство милостиво разрешило поспать от отбоя до подъема, я боялся даже больше собственной трусости и пассивности. Потому что знал, что этим странным чувством дает о себе знать худшее из того, что есть во мне. Во всех нас. То, что бедняга Чехов якобы призывал выдавливать из себя по капле. Потомственное холуйство советского человека.

На следующий день я вышел на работу в составе бригады номер три.

...

Работу мне дали для почина нетрудную, можно даже сказать — женскую. На сортировочной машине. Шесть человек (пять женщин средних лет из соседних лабораторий и я) стояли рядом с движущейся и трясущейся дорожкой, по которой катилась картошка. Задача была — отбраковывать заведомо гнилые картофелины и похожие на картошку камни и комки глины. Женщины работали прилежно и умудрялись

еще и болтать без умолку на институтские темы, на меня поглядывали с недоверием. Кокетливо поправляли воротнички своих ватников. Качали плотно укутанными в платки головами. Мазали губы помадой.

Я работал спустя рукава.

Через час понял, что работа эта, даже если не утруждать себя особым рвением, вовсе не такая легкая, какой она мне показалась вначале. От грохота и вибрации болели уши и зубы, руки зудели и слабели с каждой минутой, внутри костей как будто бегали муравьи... много муравьев... ноги подкашивались, спину ломило, отчего все время приходилось переминаясь с ноги на ногу, перед глазами плыла трясающаяся картошка, как поток вопящих грешников в аду.

Через три часа я начал потихоньку сходить с ума.

Закрывал глаза, но все равно видел перед собой эту проклятую картошку. Которая все ползла и ползла справа налево, тряслась и корчилась...

Боялся, что упаду и меня эта проклятая машина прожует как мясорубка или у меня приступ эпилепсии начнется от сотрясения мозгов.

Полвторого машину выключили, и мы лениво побрели в столовую.

После ужасного обеда (серый хлеб, «щи постные», похожая на крупный песок, перемешанный с калом, «перловка с мясом» и мутный компот с «яблоками»), я, с трудом превозмогая икоту, на работу не вышел, а пошел искать протекающую в полукилометре от лагеря Москвареку.

Озирался по сторонам, как зека во время побега. Вдруг этот, картофелемордый, как его, Окуньков, тут слоняется со своей черной тетрадью. Настучит... только приехал и в лес ушел... мне по шапке дадут... будут мурыжить.

Реку я нашел. Окунька по дороге не встретил. Мало того, обнаружил на уступе обрывистого берега удивительно красивую беседку, как будто построенную не советскими людьми, а самим Аристотелем Фиорованте, что ли. Там можно было уютно посидеть на чистой белой лавочке, насладиться видом на речку, помечтать и вздремнуть.

Проснулся я оттого, что кто-то в беседке громко читал известные стихи: В небе тают облака, И, лучистая на зное, В искрах катится река, Словно...

Словно зеркало стальное, Час от часу жар сильнее, Тень ушла к немым дубровам, И с белеющих полей, Веет запахом медовым... — инстинктивно продолжил я и открыл глаза.

Рядом со мной стояла девушка лет шестнадцати и нюхала воздух породистыми ноздрями. Ее голос звучал как тибетская поющая чаша... Принцесса!

Не хочу тратить время на описание ее внешности. Если вы когда-либо видели картину Борисова-Мусатова «Реквием», то помните наверное девушку в белом платье с веером в руках. Только у Мусатова она постарше.

Внезапно, я ощутил упомянутый в стихе «жар». Всеми порами.

Жар? Когда я входил в беседку, было прохладно. И сифонило неприятно. Ватник пришлось застегнуть. Помню еще расстроился, когда выяснилось, что двух верхних пуговиц не хватает. А сейчас мне было жарко!

И время дня было другое — полдень. И одет я был не в позорную колхозную рванину, а в элегантный костюм, и обувь не в резиновые сапоги с рваными дырками по бокам... а в остроносые бежевые кожаные сапожки.

В правой руке я держал самшитовую тросточку с серебряной рукояткой в форме головы тигра, в левой — обтянутый шелком цилиндр. Над верхней губой росли у меня премерзкие щегольские усики. А в петлице на лацкане пиджака — торчала бутоньерка с лилией. В правом глазу — монокль. А в специальном карманчике — швейцарские золотые часы с цепочкой. Омега. И перочинный ножик.

...

Власть поудивляться и поразмышлять о переменах, произошедших со мной и с окружающим миром мне не позволила девушка в белом платье.

Она подошла ко мне, глянула дерзко мне в глаза, чиркнула кончиком своего носа мне по носу, тряхнула своими чуд-

ными кудрями и прошептала страстно: Барон, я хочу вам от-
даться! Здесь и сейчас! Возьми, меня, милый, если хочешь —
грубо, по-мужицки. Я твоя!

Затем она вульгарно раздвинула бедра и задрала свое
длинное платье так, чтобы я мог убедиться в том, что у нее
под платьем ничего нет кроме атласной ухоженной кожи и
мехового треугольника, перерезанного аккуратными скла-
дочками, на которых блестели слюдяные капельки. Задрала и
тут же опустила.

Захотела весело, скакнула несколько раз как молодая
кочочка и забралась напротив меня на лавку с ногами.

Я упорно не снимал с лица брюзгливую улыбку поручика
Ржевского, ковырял тросточкой песок под ногами и поглажи-
вал себе усы.

На вызов надлежало ответить.

— Польщен, польщен! Надеюсь, принцесса, Вы не будете
изводить меня позже любовными излияниями, слезами и
письмами. Не приклейтесь ко мне, как банный лист к... И не
расскажите все в подробностях вашему папа, братцам и еще
половине света. И вообще, тут ведь не французский роман,
может быть, вначале хорошенько подумаете... прежде чем со-
вершать необратимое. Тогда возможно позже... если у Вас ко-
нечно желание не пропадет... я весь к вашим услугам... Что-то
Ваньки нет, пора бы нам подкрепиться... Опять перепутал все
небось, мерзавец. Книгочей лапотный... Книжки мои на чер-
дак таскает. И читает ночами Шопенгауэра.

— У меня сейчас есть желание, барон. Сейчас.

И опять — страстный темный взгляд, подергивание куд-
рями и манипуляции с платьем... на сей раз она обнажила себя
сверху и сжала как ножницами небольшую левую грудь между
указательным и средним пальцем.

Этого я вынести уже не смог, отбросил трость и цилиндр
в сторону, подскочил к ней... уронил монокль...

Во время любви прелестница умудрилась укусить меня
до крови, прямо сквозь пиджак и рубашку и несколько раз
бешено дернула меня за уши. Смяла мою бутоньерку... да еще
и запачкала кровью мои штаны. Действительно, девственни-

ца! А я думал, все вдруг проклятые сплетники. Этот Дюрсо... язык ему вырвать надо. И Марселю тоже. Впрочем, теперь все это уже не имеет никакого значения.

Подождали еще немного Ваньку, но так и не дождались...

Накрылся наш пикник медным тазом.

Прежде чем идти домой, захотели в речке искупаться.

Одежду оставили в беседке, спустились к воде голые по деревянной лесенке и сразу вошли по пояс.

Вода была чудесная. Чистая, прозрачная, сладковатая на вкус. Рыбешки щекотали нам ступни своими губами. Роскошные плакучие ивы стыдливо потряхивали длинными веточками-пальчиками. Белые и лимонные бабочки садились нам на плечи, а потом взлетали и начинали любовную игру. Изумрудные стрекозы бесстыдно совокуплялись у нас на ладонях. Ослепительное солнце заражало нас своим мреющим жарким безумием. Принцесса продекламировала еще одно стихотворение Тютчева (Я помню время золотое...), а затем обвила мое тело ногами и руками...

...

По дороге в имение мы натолкнулись на моего лакея Ваньку. Он преспокойно сидел на лужайке под молодым дубком и жадно пожирал фрукты, ветчину и паштет из воробьиной печёнки, который нам специально для пикника Марчелло приготовил. Корзинка, которую он должен был отнести к нам в беседку, валялась рядом, полупустая. Ел Ванька руками и вытирал их о лопухи. Да так увлекся, что нас и не заметил.

В глазах моей прелестницы я заметил возмущение. Решил преподать лакею урок. Чтобы на всю жизнь запомнил.

Мощным ударом кулака в челюсть я нокаутировал негодяя.

Мы раздели и связали хама его же тряпьем. Положили задом кверху. Растопырили его ножищи крепкой метровой веткой с развилкой в конце.

Ванька к тому времени уже очнулся, смекнул в чем дело и начал меня увещевать и задабривать.

— Господин барон, Игнатий Павлович, прошу меня простить, дурака и обжору, развяжите, прошу, мне барыни нелов-

ко... право нехорошее вы дело задумали... отработаю я вам вашу ветчину и ваши груши, отработаю, будьте уверены. Бога побойтесь, я ведь не скотина какая, чтобы меня пороть...

Я срезал несколько длинных, упругих веточек орешника — на розги. Очистил их от листвы. Подал четыре тонких прутика моей принцессе, сам взял другие, потолще. Размахнулся и саданул Ваньке по голому заду, что было силы в руке. И еще. И еще...

Розги весело распарывали воздух.

И любимая моя от меня не отставала. Порола со знанием дела — с оттягом и поворотом.

Я бил Ваньку по толстому заду и по могучей бугристой спине, а принцесса норовила попасть между ног, по половым органам.

Ванька ревел благим матом...

— Пощадите! Пощадите! Прошу вас, перестаньте. Стыдоба какая! И больно страшно. Христом-Богом прошу...

Минут через десять, я решил, что хватит. Пора развязать парня, да отправить к деревенскому лекарю, пусть промоет ранки водкой, да смажет салом. Через два дня будет Ванька как новый.

Но принцесса не унималась, хлестала вовсю.

Ее было не узнать. Лицо ее покраснелось... пот катился с нее градом... платье сбилось в бесформенный ком.

Принцесса рычала, хрипела, ухала глухо, как филин...

Потом вдруг перестала пороть, схватилась руками за живот, округлила глаза и вскрикнула как в оргазме... Присела на траву.

Я засмеялся, думал конец комедии, но она вскочила и розовой своей ножкой начала бить стонущего парня по его мужицким шарам. Ох, ведьма!

Пришлось мне ее от Ваньки оттаскивать.

Но не тут-то было.

Выдралась она у меня из рук, зашипела страшно, скинула платье и оборотилась зеленым драконом-одноглазом. Вмиг разодрала несчастного Ваньку на кровавые куски и тут же их проглотила, а потом на меня глазом своим яростным черным посмотрела. И пустила из пасти огненный шар...

МОНСТР

Около пяти лет назад берлинские газеты сообщили о жестоком убийстве бездомной, обезображенный труп которой был найден в Марцане, на берегу речки Вуле. Женщину так и не смогли идентифицировать. Следствие подозревало поначалу местных неонацистов и сатанистов. По счастливой случайности анализ ДНК крови и спермы, обнаруженных на грязных простынях, в которые было завернуто тело, выявил настоящего убийцу бездомной, Николая П. (имя изменено), 1944 года рождения, жителя Марцана, позднего переселенца. Психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость. Суд учел возраст обвиняемого и другие смягчающие обстоятельства и приговорил его к шести годам заключения. Николай П. вышел на свободу после отсидки половины срока. В настоящее время живет где-то под Штутгартом.

Николай П. был моим соседом по подъезду. Может быть поэтому полицейские через общих знакомых неофициально попросили меня помочь переводчику — сделать расшифровку и перевод на немецкий язык записи его показаний.

Близко я его не знал... Только приветствиями обменивался. Таг-таг, халло-халло.

Обычный опустившийся русский старик, непонятно для чего приехавший двадцать лет назад в Германию. По-немецки говорить он не умел и не хотел. Вдовец. Неопрятный, пьющий, озлобленный. Вечно сипел что-то себе под нос. Я держался от него подальше...

Привожу тут несколько отрывков из расшифровки.

...

Вы на магнитофон записываете? Ну пишите, пишите, голубчики. Устроили тут гестапо. Измываетесь над стариком!

Не знаю с чего начать-то. Ну да, вот... Стиральная машина у меня сломалась. Многовато засунул в нее белья. Пожадничал. Сам понимаешь. Порошок пожалел на две стирки. Три простыни, пододеяльник, наволочку, пять маек, шорты, еще чего-то и еще... Прыгала, прыгала, в режиме отжима, как ошалелая, гремела-гремела, затем грозно так икнула, захаркала и заглохла. Через открывшуюся автоматически крышку поползли наружу пузыри с радужными разводами. И завоняло жутко в ванной комнате. Недостиранным бельем и горелым кабелем.

Ужасно неохота возиться с чертовой машиной, искать давно потерянную гарантию, звонить, договариваться... поэтому я сломанную машину потихоньку — тяжелая! — вытащил на улицу, ночью, разумеется, и волоком, волоком, оттащил ее подальше от нашего дома, перешел через речку Смородину по Калинову мосту и спрятал. Под ракитовым кустом. Даже белье не вынул, так вместе с бельем и выкинул гадину. По дороге машина противно булькала и пускала пену. И воняла. Обрезанные ножом шланги волочились за мной как щупальца дохлого кальмара...

Речка-то конечно по-другому как-то называется. Я ее Смородиной зову, потому что вокруг нее красной смородины кустов — видимо-невидимо. На Калиновом мосту медная табличка с именем немца какого-то, а ракитов куст — это вроде как ива плакучая.

Как бросил машину, испытал облегчение. Теперь — меня ее дальнейшая судьба не касается. Нате вам с кисточкой. После нас — хоть потоп!

Вы скажете: Что же ты, бывший директор школы, в Германии мусоришь? Заплатил бы за утилизацию машины положенное, и все было бы хорошо. Увезли бы ее аккуратные рабочие в синей униформе. А еще лучше — купил бы новую машину, а старую бы у тебя за это бесплатно забрали бы. Русская ты свинья!

А я так отвечу: Заплати... Купи... А пошли бы вы куда подальше со своими советами. На хххеррр идите, суки-советчики! Да, я тут никому не нужная русская свинья, а на родине был

уважаемым человеком, ко мне в очередь стояли... но если मुदाки-тевтоны меня приняли, обустроили и поят-кормят, то буду им — вам — назло всю оставшуюся жизнь все портить и мусорить. Я еще и не на это способен! Я могу и вокзал взорвать. Весь Берлин поднять на воздух! Горько будете плакать, ссуки! Вы меня еще узнаете! Я, блин, еще вам всем покажу, что такое русский интеллигент! Погодите, вас всех наш Путин в сортирах замочит! Чтоб больше не выросло! Под корень будем рубить нацию! Броня крепка и танки наши быстры! Небось забыли уже, как ваши фрау под русскими солдатами выли. Вспомните. Разжились тут... Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход! А то все советы дают. А я сrrрал на ваши советы! Сrrрал! Пидарасы зажавшиеся!

...

Бабы нету у меня, чтоб стирала, вот ведь как. Один я на белом свете. Дети меня знать не хотят. Вот недавно дочка моя, старшенькая, аптекарша, посмотрела на меня укоризненно, покачала своей умной головкой и сказала: Ты, папа, монстр.

А какой я монстр? Что это вообще такое — монстр? Не знаю, но чувствую, что-то нехорошее. Может быть это рыба какая кусачая или зверюга лесной. Надо же родного отца так назвать! И ведь не выпорешь и не приструнишь. Взрослая, самостоятельная. У самой уже детки есть. Живет богато, не то, что я. Пальцем тронешь — засудит.

Монстр!

Вот сосед мой, Мирко-серб дочку свою, пацанку двенадцатилетнюю, Славицу, выпорол по жопе ремешком. Не для боли, а для воспитания только порол. Потому что она воровка. Одноклассников обворовывала в школе. А Славица — на следующий день к школьному врачу обратилась. С жалобой на родного отца. У Марко рука тяжелая, следы на детской коже остались. Синяки. Врачиха их сфотографировала и протокол оформила. И в югендамт. На другой день Марко повестку в суд вручили. Тетка из амта притащилась. Славицу-дуру забрала из семьи в интернат. А Марко чуть не посадили. Жена его, Снежана, на суде лягнула: Он и меня бьет, изверг!

А это неправда. Не бьет Марко жену. Вы бы посмотрели на них! Марко — метр с кепкой. А Снежана эта самая — это тот самый монстр и есть. Франкенштейна напоминает из кино. Руки — грабли, ноги, как у лошади, а морда как у саблезубого тигра.

Это она его бьет, а не он ее. Я — свидетель. Разбудил меня однажды стук в дверь. Под утро было. Бешено стучали. И ор стоял на лестничной клетке серьезный. Я потихоньку, на цыпочках — мало ли что — к двери подошел, посмотрел в дверной глазок. Вижу, окровавленное лицо мелькает. И еще какой-то силуэт. Как будто мельница ветряная. И молотит-молотит крыльями. Открыл дверь, а там Марко... избитый. Вошел.

— Закрывай, закрывай дверь скорее, — кричит. — Иначе она сюда ворвется. Стерва эта, Снежанка-тварь. Изуродовала меня.

И показывает мне свои рваные раны...

А из коридора Снежана орет: Я убиху те, копиле...

Я соседа отвел в ванную, принес ему туда вату, водку и пластыри. Он раны промыл, водки выпил и пластырями заклеился. А я чайку заварил. Достал сухарики с изюмом. Любимые. Марко еще выпил и рассказал, за что его жена уродовала. Оказывается — за дело. Потому как бабу чужую грязную в дом притащил. И в койку ее. Снежана и Славица на Балтике отдыхали. На два дня раньше приехали, чем оговорено было. Потому что пацанка приболела. Простудилась на море. Засопливила. Приехали, а Марко в семейной кровати с какой-то синюхой. Ну Снежана и начала махать граблями. Чуть не прибила дурака. А синюху пыталась с десятого этажа в окно выбросить, но та отбилась и слиняла.

Я ходил к Снежане, убеждал простить Марко. Простила.

Дураки все.

Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, мы начеку, мы за врагом следим...

...

Ну вот, у меня значит белья скопилась — гора. А машины стиральной нету. И денег нет на новую. А подержанную брать не хочется — брезгаю.

Вспомнил я тут, что — остановок десять от нас трамвайных — прачечная есть. Засунул свои тряпки в сумку пузатую и поволок. Идти мне надо, ты знаешь, через парк. Ну, рядом с вами, с полицией. А там — лавочки. И вот... волоку я свою сумку и вижу — все лавчонки пустые, конец октября уже, сифонит всюду, а на одной — женщина сидит одинокая. Смазливенькая. Лет 35. Цыганка, что ли? Глаза — лазурь. А сама — смугляночка. Дрожит бедная, как осиновый лист, в короткой юбчонке. Но ножки длинные в черных чулочках так кокетливо протянула. И коленками — вправо-влево шурует. А чулочки — дырявые.

Обожгло меня как кислотой. Хотя сразу мысль закралась в голову — может это та, с которой Марко... Но я мысль прогнал.

А как иначе то? Я ведь еще живой. Хоть и в бобылях. Тестостерон в крови кипит. Подошел к ней, разговор начал. А она — на рот показывает и на уши — глухонемая, мол. Ну это нам не помеха. Положил я сумку с бельем на лавочку. Присел к цыганке поближе, обнял даже. А она — ресницами своими длинными хлоп-хлоп... и ротиком алым полуоткрытым меня завораживает. И коленками дальше... того. Ножки еще шире расставила, проказница. Так что тело ее сахарное, там, где чулочки кончаются — полосочкой виднеется. И волосики видны, круглявые. Ну, сурьма тебе на язык, чувствую — совсем приворожила.

Говорю ей: Пойдем, пойдем со мной!

А голос-то у меня не так как прежде, медный таз, а так, петухи залетные... Срамота, конечно, но все равно ведь ничего не слышит краля-то. Знаками показал, не удержался, поцеловал в смуглую щеку. Как будто розу чайную губами тронул... Холодные лепесточки. Мокрые.

За руку ее взял, стал тянуть.

А она... неохотно поднялась со своей лавки... посмотрела на меня так, что у меня все запало внутри... кивнула... сумку мою с бельем на плечо повесила, вроде как покорность свою так проявила и пошла со мной. Я сумку хотел сам нести, но она еще раз на меня глянула... и я оставил сумку ей.

Славабо, у подъезда нашего не было никого, а не то меня словоохотливые соседки потом вопросами бы изгрызли, как мыши — сыр. Шут бы их взял, сплетницы паршивые, в России не наболтались, приехали сюда болтать, только гной от них... Да и мужики у нас не лучше. Ходит тут один еврей, наблюдает за всеми, хмурый такой... Недобрые глаза у него.

Но если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде...

Зашли в дом.

А в лифте... прижалась моя краля ко мне грудью. Сквозь одежду почувствовал — соски у нее как иголки. Колют прямо до яиц. Я дрожу. Еле ключом в замочную скважину попал. Ты не поверишь... Старый баран, а как будто волны хмельные по телу. Бьют и бьют. И в океан уносят.

А на морде у меня — огненные знаки выступили. Как будто черт меня своим копытом припечатал.

А между ног — хер клюшкой торчит.

Ввел ее в квартиру, дверь запер, а сам поскорее — в ванную, отлить и холодной водой морду вымыть. Цыганка моя тоже в туалет запросилась. Головкой кучерявой трясет и глазками посверкивает. Курлычет что-то и на дверь в туалет показывает. А у меня на двери — мальчик писающий. Картинка забористая...

Как вышла, не стал тянуть, потащил ее в кровать. Одежду по дороге с себя сорвал. А она — под одеялом разделась. Обхватила меня худенькими бедрами... и поплыло все, закружилось, как на карусели и полетело в тартарары.

В себя я пришел уже вечером. В кровати под простыней.

Цыганки моей рядом со мной не было.

Ванну что ли принимает?

Я недавно новый экстракт купил. Апельсиновый. После такой ванны — кожа оранжевая и немножко ананасами пахнет.

Встал, подошел к двери в ванную комнату, приоткрыл, заглянул в щелочку. Стирает бедная, мое барахло. Руками трет. И ножки у нее без чулок — худенькие, плохонькие, как у больного подростка. На спине — ребра видны. Представил

я себе, как она по Германии бродит. И под любого ложится. Лишь бы накормил. Это меня прям пронзило, сердце заколо даже.

Да, господин хороший, тут бы мне и воспользоваться... перестать пить и жизнь мою паскудную изменить... Может быть, пожил бы с ней годок-другой, как люди, в мире-согласии.

Но я ведь не еврей, не немец, а русский человек! Как сердце отпустило, соскочил с катушек. Затмение на меня нашло. Под руку нож подвернулся. Помрачение сознания...

Гнев меня обуял. Аффект. Или белая горячка. Не знаю. Ты специалист, ты и разбирайся, как и почему.

Что, что ты свои глазенопа на меня выпятил? Спрашиваешь, за что убил? Загубил невинную душу? Удивляешься, да? Удивляйся, удивляйся, урррод рыбоглазый! Пожалел я ее! Тебе этого никогда не понять, падла фашистская! У тебя души нет, пидарас!

СОРОКОНОЖКА

Спорил тут недавно с одним новоприбывшим в русском магазине, доказывал с неуместным жаром очевидное. Орал даже: Ваше паршивое государство ничего не производит, кроме коррупции, подлости и мертвечины.

А мой собеседник мне ответил тихо, но убедительно: Ну зачем же так обобщать? Я вот недавно купил прекрасный бинокль. Отечественный. Между прочим, дешевле ваших, немецких! И лучше! Не скудеет наша земля на мастеров!

Это был удар ниже пояса, потому что я с детства обожаю бинокли и вообще всяческую оптику. С того самого времени, когда моя бабушка Алиса, чтобы не отправлять чувствительного мальчика в советский детский сад, брала меня с собой на работу в обсерваторию института им. Штернберга, и мне было там разрешено возиться с бракованными линзами, оправками, зеркалами, призмами и прочим оптическим хламом.

Лишних людей тянет как известно на покупку ненужных вещей. Поэтому я тоже купил русский бинокль. Мэйд ин Красногорск. 20 x 60. Это значит, увеличение — двадцать раз, а диаметр объективов — шесть сантиметров. Могучая машина. Нашел в интернетном каталоге это замечательное российское изделие, заказал и получил после трехнедельного ожидания (наверное на гоголевской тройке везли). Сорок евро всего! Даром взял.

Посылку сразу открывать не стал. Освобождение покупки от упаковки — сакральное действие, сравнимое с раздеванием невесты в первую брачную ночь. Поэтому я вынул бинокль из футляра только поздним вечером... торжественно... не спеша... хотя ужасно хотелось посмотреть на Луну в полнолуние... полюбоваться на кратеры, поковыть и помеч-

тать. Смотреть в бинокль сразу не стал... гладил его шершавую кожу, глядел в отсвечивающие оранжевым линзы, как любимой в глаза.

Вечер был чудный...

Аромат сирени перебивал вонь от выхлопных газов.

Лимонно-желтая Луна поднялась на юго-востоке, как раз за местной свалкой, и залила Марцан таким волшебным светом, что ужасная его архитектура начала напоминать что-то древнеегипетское или месопотамское. Зиккураты, пирамиды, ворота Иштар, висячие сады Семирамиды...

Душа моя затрепетала.

Я устроился поудобнее в кресле, взял наконец в руки тяжелый, ностальгически пахнущий рабочим классом бинокль и жадно навел его на Луну. Хотел побродить по «пыльным тропинкам». Погоняться за лунатиками. Поискать американский флаг, оставленный «Аполлоном».

Посмотрел... и тут же проклял Россию и собственную глупость. Как ни крутил настройку резкости, как ни пытался скомпенсировать разницу моих глаз правым окуляром... в бинокль я видел две квадратные Луны, окруженные розовой помадой.

Оптические оси не параллельны! Аберрация зверская! Кошмар! К тому же обе Луны были маленькие, явно меньше тех, которые я когда-то наблюдал в восьмикратный цейсовский бинокль, сгинувший много лет назад, как и все остальное мое барахло в оставленной на попечение друзей московской квартире.

Кратеров видно не было...

Луна в русский бинокль напоминала изъеденную червями задницу. Ярости моей не было предела. Больше всего я хотел разбить этот путинский бинокль молотком. Но опасался пораниться о стеклянные осколки. Поэтому смиренно запаковал изделие красногорских мастеров в родную упаковку и на следующий день отправил его на указанный в сопроводительной бумажке обратный адрес... берлинский, как ни странно. А через два месяца даже получил мои сорок евро. После нудной и унижительной переписки с изготовителем и продавцом.

Гнусное впечатление от бракованного продукта с бывшей родины я решил немедленно нейтрализовать покупкой западного бинокля. Заказал и через два дня получил бинокль Никон. Об этом инструменте я написал бы поэму, если бы был поэтом. До того он хорош. Изображение четкое, светлое... Потрясающая ясность... и Луну я в него рассматривал неоднократно, и Юпитер, и Млечный путь, и летающие тарелки, парящие в голубом океане над Берлином, видел, и лица прохожих наблюдал как под микроскопом, и даже картины в Берлинской Картинной галерее, когда я смотрел на них через Никон, выглядели лучше, чем оригиналы...

...

Однажды сидел я на своем балконе на девятом этаже и рассматривал дом напротив. Днем. Ничего особенного я увидеть не ожидал, так... смотрел просто на бетонные стены и окна.

Приобщался тупости отвеса.

Учился у мертвой материи — кротости и верности функции.

Ласточки то и дело секли поле зрения своими черными хвостиками, неторопливо пролетали вороны, весело и быстро — воробьи и еще какие-то птахи. Тополя махали своими зелеными руками и мешали смотреть. Бабочки суетились. Шмели...

И вдруг увидел, и тоже на девятом этаже, только не на балконе, там балконов нет, а просто в окошке каком-то, настежь открытом, человека, смотрящего в бинокль. Чем-то он был на меня похож. Старый, лысый, толстый. Сидел на стуле у окна и смотрел на мир. Вроде из наших. И кажется такой же... одинокий и потерянный.

И он меня заметил. Минуты две мы друг друга рассматривали, а потом он мне рукой помахал. Приветственно. А я — ему. На том и кончилось наше первое воздушное общение.

С тех пор я его часто видел. Почти каждый день. После обеда я всегда сажусь в кресло на балконе. Читаю несколько минут. Потом беру в руки бинокль. И наблюдаю жизнь, из ко-

торой меня несколько лет назад выкинуло. Смотрю туда... на него. А он уже смотрит на меня. Мы друг друга приветствуем. Я отдаю ему честь, а он показывает пальцем на лысину. Я догадываюсь — это значит «к пустой голове руку не прикладывают». Но не обижаюсь, а киваю, что означает «да, голова пустая, но еще кое-что соображаю» и показываю на него пальцем («и ты тоже»). Он понимает и кивает в ответ.

Вот, он показывает пальцем на группу мусульманских мужчин с глазами и прическами головорезов и женщин в черных платьях до пят и темных платках. Это новые беженцы. Из Сирии. Их теперь много тут разгуливает. Показывает и скорбно качает головой. Потом вздымает руки, в бессилии что-то изменить. Я киваю и тоже качаю головой и вздымаю руки. Это значит «да, да, согласен, это второе после завоза сюда миллионов турок-гастарбайтеров самоубийство Германии, ничего не поделаешь, полезные идиоты, леваки, кретины, не жалеющие ни собственных детей, ни своей культуры».

Я показываю ему рукой на группку людей, тусующихся у местной забегаловки. Это опустившиеся алкоголики. Почти все — наши. Русские мужья «поволжских немок». Качаю головой. Это значит — «эти не лучше». Он кивает и опять вздымает руки, пожалуй еще безнадежнее, чем в первый раз — «мы от этого уезжали... и вот опять... та же советская пьяная мразь».

Показывает рукой на отдаленное одноэтажное здание. Это то ли клуб, то ли кафе, то ли качалка... Там собираются вечерами марцанские неонацисты. Я смотрю туда и вновь вздымаю руки — «это вообще ни в какие ворота не лезет... их все больше и больше». Провожу большим пальцем по шее — «эти всех нас поубивают, когда нынешняя власть все угробит». Он кивает и показывает еще раз на сирийских женщин — «или они или дети этих мусульманок». Я энергично киваю в ответ. Подношу большой палец ко рту и делаю блаженную мину — «пошел пить кофе со сливками».

Он кивает и горько разводит руки — «а я давно пью только воду... вонючую берлинскую воду из-под крана».

Так я общался с моим беззвучным собеседником до самой осени. А потом, то ли он перестал открывать окно... холодно стало... то ли переехал.

Я и позабыл о нем.

А затем... Разговорился я как-то с знакомой продавщицей в русском магазине. Под Рождество. Как ее зовут? Любочка... Людмила... Липа... Не помню. Толстомясая такая, грудастая, руки сальные, и обсчитать может безбожно, но добрая. Хоть и крымшашка.

Говорит мне эта самая Люба-Липа: А вы слышали, что у нас тут за несчастье-окаянство приключилось? В октябре что ли...

— Какое такое несчастье-окаянство в октябре?

— А с одним евреем случилось. На вас похож. Я, как узнала, подумала с вами, да... Испугалась я. Нехорошо такого покупателя терять. С вами хоть поговорить можно по душам. А то тут такие ходят... Ублюдки паршивые. Берлин вроде, а народ, как в Челябинске.

— Не томите, говорите, что произошло.

— Точно не знаю я. Никто не знает. Но бабы говорят, смертоубийство вышло. Убила еврея одна румынка!

— Что за румынка?

— А бездомная, нищая, что тут летом таскалася. Видели вы ее. Ее все мужики замечают, потому что она не такая.

— Не какая?

— Ну необыкновенная. Ведьма она. Любого мужика разожжет. У них, у цыган, в крови огонек особый! Глазами сверк-сверк... и ваш брат на коленях.

— Да ну?

— Бабы говорят, он ее увидел и пожалел. А может и приворожила старого пердуна, на лавочке разлеглась... Ой, простите. Это я не про вас. В квартиру ее к себе взял. Отмыл, да накормил. Вдовец, бабы наверно десять лет не видел. Он тут бывал, покупал пельмени с индюшкой. Аккуратный такой. Гречку еще брал и конфеты «Птичье молоко». Ну вроде вас. Только говорил мало. Рот ему скривило, удар наверно был.

Ну, она его зажгла и он с ней того... женихался-кувыркался... уж как мог. А она под утро, как он заснул, горло ему перерезала бритвой, а может и перегрызла, сука! И всю кровь из него выпила, дракула окаянная... Квартиру ему изгадила... на стене гадость какую-то нарисовала... вроде сороконожки или муравья... кучки везде наложила как лисица... и бежать. Даже дверь за собой не захлопнула. Соседи через день зашли и посмотрели. Старый еврей мертвый лежит, голый и страшный. Серый, без кровинки. А на стене сороконожка... Да, полиция румынку эту вроде заарестовала. Судить будут. А еврея на еврейском кладбище похоронили. На Вайсензее. Тама кладбище огромное, все надгробья — мрамора-граниты, тока туда никто не ходит. Некому.

Я, разумеется, не поверил ни одному ее слову.

ЧЕРНЫЙ АСПИРАНТ

В рассказе «Трещина» я описал, как убил... утопил... одного сукиного сына — Кипа, которого я представил читателю так:

Боря Кипелов, по прозвищу «Кип», баскетболист, крашеный блондин, аспирант и известный на мехмате «покоритель женских сердец». С противной бородкой и сигаретой во рту... От него пахло потом и агрессией... Этот самый Кип любил в мужской компании рассказывать, как «та» или «эта» «дала ему в рот». С подробностями, от которых тошнило. Скотина...

...

Да, утопил и тело спрятал в подводной пещере недалеко от Большого Утриша.

В тексте. Только в тексте убил-утопил... не забывайте это, господа! Хотя и неспроста.

С тех пор меня мучает что-то вроде авторского раскаяния... есть такое особенное чувство, которое завладевает иногда жестокими, но легкомысленными писателями, сурово расправляющимися со своими героями.

Может быть потому, что прототип Кипа — звали его конечно иначе, но я буду его и дальше называть этим фиктивным именем — я хорошо помню. Не забыл и реальную историю его гибели, оспариваемую любителями страшилок и легенд.

Как же капризно наше подсознание! После того, как я написал «Трещину» мне стало казаться, что безобразная эта история, подлинная история гибели Кипа, выставленная кстати меня в далеко не лучшем свете, навязчиво требует, чтобы я ее рассказал.

Что же, терять мне уже почти нечего, расскажу...

Справедливости ради, должен заметить, что главная героиня рассказа «Трещина», Инга, ограбленная и униженная рассказчиком, ревность к которой и спровоцировала его на преступление — на самом деле ни к реальному Кипу, ни к его гибели отношения не имела. Ее я сделал из одной своей подруги, короткие летние отношения с которой ничего кроме радости мне не принесли, и были, как и все подобные отношения, банальными, даже скучными... хоть и сладкими как кавказское варенье из роз... Не пробовали?

Да, Инга... или другая летняя подруга, похожая на нее, много их было, является мне... иногда... тут, в Германии... приводит в замешательство...

Неожиданно и реально является... до того реально, что ее действительно можно перепутать с трещинкой засохшей краски на отопительной трубе на лестничной клетке нашего одиннадцатипятиэтажного дома в Марцане.

Но эти превращения... ороговевшие метафоры... это уже иная история, как говорят — «из другой оперы». Вернемся к Кипу.

...

Да, он действительно был аспирантом, баскетболистом с бородкой, вечной сигаретой во рту и крашеными блондинистыми волосами. От него действительно пахло потом и агрессией. И он действительно рассказывал о том, как та или эта давали ему в рот.

Но никаким «покорителем женских сердец» Кип не был, а все его многочисленные рассказы о французской любви «с той и этой» были обыкновенным враньем озабоченного совчела.

А был Кип — как и почти все молодые люди в те ужасные времена — похотливым козлом, готовым влезть на любую особь женского пола. Например, на дешевую проститутку с Сокола, после сношения с которой неизбежно «капало с конца», как у тульского самовара.

Или на жирную опустившуюся самогонщицу, подторговывающую краденым барахлом... После совокупления с этой

дамой недостаточно было получить укол в задницу от хмурого врача-венеролога, приходилось еще и сдавать кровь из вены на «реакцию Вассермана».

Или на в дымину пьяную строительную рабочую за сорок, лежащую где-нибудь в бурьяне с раздвинутыми толстыми ляжками в рваных синих колготках и дающую всем желающим... что гарантировало получение так называемого «букета» или венка.

Слава богу, СПИДа во времена моей юности в СССР еще не было, иначе мы бы все подошли еще в студенческие годы.

Почему?

Много раз писал об этом... надоело повторять...

Потому что противозачаточные пилюли в государстве рабочих и крестьян в аптеках не продавались...

Потому что ни у кого из нас не было своего жилья.

Порнография и легальная проституция были строжайше запрещены...

А юные ламии, «девочки из интеллигентных семей», студентки и аспирантки, — по крайней мере девять из десяти — со студентами и аспирантами в постель до брака не ложились.

С доцентами или профессорами... такое бывало, редко, но бывало... по любви или из карьерных соображений, а с молодым человеком, даже с любимым... только после печати в паспорте!

К чему это приводило, к каким психическим и физическим травмам — можете себе сами представить, дорогие читатели.

Может быть из-за этого постоянного полового голода и его очевидных последствий, студенты и аспиранты МГУ — девять из десяти — были нечистоплотными, грубыми и мрачными пошляками. Втайне мечтающими об изнасиловании.

Вот и Кип был пошляком. И насильником.

Но в безвременной его гибели, в которой он конечно сам виноват, есть и небольшая доля вины интеллигентных девушек семидесятых годов ушедшего столетия. И лично — СССР.

Случай свел в одной комнате коттеджа в спортлагере «Ломоносов» трех человек: аспиранта второго года Кипа, его друга, только что защитившего диплом на кафедре дифуров, по кличке Саня-Масяня, играющего рядом с огромным Кипом роль рыбки-лоцмана, и меня, закончившего первый курс, зеленого еще мехматянина.

Не знаю, осознанно ли, но Саня-Масяня предпочитал носить тельняшки... доводя этой полосатостью схожесть с рыбой-лоцманом почти до совершенства.

Соседками нашими, живущими в комнате, выходящей на общую веранду, были студентки экономического факультета: Ирочка, Леночка, Олечка и Зурочка. Все милашки и хотушки...

Ирочка, Леночка и Олечка были москвичками, не без характерного для детей начальства декаданса (папы их работали, если память мне не изменяет, в руководстве Госплана, Госснаба и Госстроя), а трудолюбивая и целеустремленная Зурочка, дочь простого пастуха, закончившая десятилетку с золотой медалью в дагестанском ауле... жила в общежитии. Летом следующего года она должна была защищать диплом.

Не хочу повторяться и описывать жизнь неспортивных студентов в спортивном лагере... перейду к делу.

В тот день мы пили особенно много. Пульку начали писать часов в шесть вечера уже пьяные. Саня-Масяня, отец которого был профессором на химфаке и имел соответствующий доступ, выставил на стол двухсотграммовый флакончик с чистым спиртом.

Спирт обжигал глотку, как кислота. Наводил на печальные размышления о многолистной вселенной.

После второго глотка, я мысленно слетал на ракете к Юпитеру и долго наблюдал загадочное Красное пятно, показавшееся мне глазом сидящего внутри планеты дракона... После третьего — долетел до Сатурна, потрогал руками его кольца и возвратился на Землю только для того, чтобы глотнуть еще раз.

Масяня выпил только один раз, меняхватило на четыре глоточка...

Кип допил остаток. В слегка раскосых его глазах появилось странное выражение, породившее во мне тревогу и вызвавшее предчувствие беды. В голове шумело, мне казалось, что я качаюсь на огромной сетке, натянутой между землей и небом...

Сетка эта грозила порваться... и выкинуть меня из уютного мира вещей и элементов.

Спирт мы полировали местным вином без названия.

Закуски у нас не было.

Кип во время игры угрюмо молчал. Только злорадно хихикал, когда я или Масяня оставались без одной.

Вокруг его головы носились как дьяволы лукавые преферансные мысли.

Надо отдать ему должное, играл он очень хорошо. Даже пьяный. Масяня и я играли средне. Бог особенно несправедлив при раздаче талантов.

Масяня говорил без умолку. Речь его трудно воспроизвести, даже не буду пытаться, потому что это была болтовня ни о чем... с множеством междометий...

То не угроза и не дума...

Ну да, Масяня усердно подтрунивал над Кипом. Не щадил ни его внешнего вида, ни его происхождения, ни скромных научных успехов, но делал этот так осторожно, деликатно, даже до подобострастности, что получалось, что он не подтрунивает, а сыпет и сыпет комплименты... как будто пену взбивает. И гладит и лижет своего закадычного дружка или повелителя.

В восемь часов закончили пульку...

Масяня отыгрался, а мне пришлось заплатить Кипу пятерку, которую тот с удовольствием спрятал в карман шорт. Самодовольно похлопал себя по длинным худым бедрам... потом как будто вспомнил что-то важное... пробурчал: Саня, друг, оставь нас с Димычем наедине, у меня к нему разговорчик есть... интимный, бля... пойдй, потанцуй.

Масяня ревниво сверкнул влажными карими глазами и подчеркнуто медленно начал натягивать на ноги свои, тогда

только недавно появившиеся у избранных «блатных», шикарные японские кроссовки. Надел свежую тельняшку, хмыкнул презрительно и исчез.

Я не знал, что Кипу было от меня надо.

Не успел поразмышлять на эту животрепещущую тему, потому что Кип вдруг схватил меня сзади за длинные, по моде, волосы и приблизил мое лицо к своей безобразной роже, похожей на поржавевшую и бородатую Луну.

Неожиданно я понял, что он смертельно пьян... или нет, не пьян... а впал в состояние делирия, или, как его тогда называли, «белочки».

Обезумел. Очумел. Слетел с катушек.

Таким я его еще не видел. Грубоватым, пошлым и агрессивным он был всегда. Но до сих пор держал себя в рамках приличия. А тут... может спирт так на него подействовал... или количество перешло в качество — пили мы без передыху две недели подряд. Все, что могли купить в гадком магазинчике по дороге в Гудауту. Портвейн... алжирское... водку. Кип пил раза в три больше, чем я и Масяня вместе взятые. И курил по три пачки местной Примы в день.

По вискам его катились капли пота, трясущийся рот был похож на трещину в скале, в которой живет саблезубый тигр, глаза покраснели.

В его правой руке я заметил опасную бритву.

Кип поднес лезвие бритвы к моему горлу, почесал ею мне кадык, скорчил зверскую рожу и просипел: Ты, Димыч, сейчас пойдешь к нашим соседкам, и уговоришь одну из них взять у меня в рот. Сейчас, ублюдок. Иначе я вас всех порежу. И не вздумай кого-нибудь на помощь звать, сука... распорю брюхо и собственные кишки жрать заставлю. На уговоры даю тебе полчаса. Ну, что уставился... вали...

...

Я, как тот чеховский землемер — такого реприманда не ожидал...

Читатель наверное хочет, чтобы я выбил каратистским ударом бритву из лапы осатаневшего баскетболиста и связал его подтяжками... или... убил бы Кипа тумбочкой... в целях самозащиты. И суд меня бы оправдал и еще наградил медалью.

Уверяю вас, я бы так и поступил, если бы позорно не струсил...

Я был уже на улице, но моя шея все еще ощущала холод металла... у сонной артерии.

К девушкам, которые, судя по веселому гомону, доносящемуся из их комнаты, устроили частный показ мод, я не пошел. Не хотел их пугать. За помощью к знакомым спасателям на водах не обратился. Потому что на самом деле не хотел, чтобы Кип кого-нибудь зарезал или был изувечен разозленными спасателями.

Предполагал, что единственным человеком, который мог бы уладить это дело без кровопускания и членовредительства был Саня-Масяня. И волк был бы сыт, и овцы целы. Спустился к открытой столовой, из которой доносилась популярная в то время песня Маккартни «Миссис Вандербилт»... Там танцевали. Поискал глазами Масяню. Не нашел. Хоп-хэй-хоп!

Что делать?

В панике выбежал на пляж. Масяня сидел на гальке, один, среди обнявшихся парочек, вздыхал и бросал в лиловую воду камешки. Сбиваясь и заикаясь, объяснил ему, в чем дело. Масяня не стал, как обычно, нести пургу, а проговорил неожиданно трезво: Так и думал, что у него какое-то говно на уме... К девушкам не ходи, не геройствуй, Кип тебя на куски порежет. Я побегу к Семенычу, попрошу его из Гудауты ментов и дуровозку вызвать. Только бы они не опоздали.

...

Приятно, когда кто-то другой снимает с тебя бремя ответственности.

Мне вдруг стало легко и хорошо. Я вздумал искупаться, очень тянуло в вечернее море.

Отошел на темную часть пляжа, сбросил с себя все и прыгнул с разбега в теплую черноморскую воду.

Отплыл от берега метров тридцать, лег на спину...

Глубоко дышал и смотрел на звезды. Казалось, их можно пощупать, вытянув руку из воды.

Забыл и про Кипа, и про девушек, находящихся в опасности, и про Масяню...

Очнулся от рева доносящейся из лагеря сирены скорой помощи.

После прикинул... оказалось, я больше сорока минут пролежал в воде.

Ну да, да, до сих пор стыдно...

А Кип, как я узнал от ставшей позже моей близкой подружкой Олечки (той, у которой отец работал в Госснабе), меня не дождался, и уже через четверть часа после моего ухода ввалился в комнату к бедным девушкам. С опасной бритвой в руке.

Девчонки конечно, когда его рассмотрели и поняли, что он хочет, завизжали и забились в углы.

Все, кроме бесстрашной горянки Зурочки. Она стояла посреди комнаты и мужественно смотрела в глаза обезумевшему идиоту. Мужество ее не подействовало.

Кип, «рыча как бешеный медведь», вначале «как будто отбивался бритвой от невидимых чудовищ», а затем бросился на девушку. Повалил на пол, разорвал на ней платье, схватил за грудь, присосался ослиными губищами к ее белой шее.

Зурочка как могла защищалась. Ударила его маленьким кулачком по носу.

Кип полоснул ее бритвой по животу, грубо развел ей бедра...

В самый последний момент Зурочка умудрилась из-под него выбраться и как была, полуголая, босая, зажимая рукой длинную рану на животе, побежала к знакомым студентам-дагестанцам, жившим за семь коттеджей от нас.

А Кип набросился на другую жертву — Леночку. Но изнасиловать ее он не успел.

Трое дагестанцев ворвались в комнату наших соседок за полминуты до того, как туда же вошли Мясня и начальник лагеря Семеныч, толстоносый мужик лет пятидесяти пяти, крепкий хозяйственник, бывший когда-то директором тюрьмы... с большим гаечным ключом в руках.

Олечка рассказывала: Это был такой ужас. Все что-то кричали дикими голосами. Наши тряпки летали по воздуху как взбесившиеся птицы. Дерущиеся умудрились лампу разбить на потолке. Поэтому главное сражение происходило в

темноте. Минут пять сражались добры молодцы. Мы хотели только одного, чтобы этот придурок Семеныч не раскрыл кому-нибудь из нас случайно голову своим оружием.

...

Когда дагестанцы, Масяня и Семеныч наконец одолели Кипа и положили его на спину, оказалось, что он мертв. На его груди зияли две колотые раны. Правая его рука все еще сжимала открытую опасную бритву, измазанную кровью.

Семеныч тут же заподозрил в убийстве дагестанцев. Стал искать ножи. Но у дагестанцев никаких ножей не было. На допросе в гудаутской милиции они заявили, что «пришли на помощь женщинам, не хотели никого убивать».

Скорая увезла тело Кипа в морг, а Зурочку отвели в лагерьный медпункт, где опытная медсестра Даша, свояченица Семеныча, промыла и зашила ее неглубокую рану.

Комнату наших соседок тщательно обыскала милиция. Единственным колюще-режущим предметом, который она обнаружила, были валяющиеся под столиком длинные портновские ножницы, принадлежащие кажется Леночке... Она привезла с собой в спортлагерь хлопчатобумажную ткань, выкройку, нитки, иголки и ножницы и собиралась вместе с подружками сшить из нее макси-платье.

Кто же все-таки убил Кипа — так и осталось загадкой.

Может быть он сам в неистовстве драки накололся на ножницы? Так по крайней мере объявил на общем собрании лагеря Семеныч... «для успокоения публики».

Дагестанцев все-таки задержали. Но через день отпустили. Все они были выходцами из бедных семей. Содрать с них что-либо было трудно.

Горевал по Кипу только Саня-Масяня.

* * *

Так уж получилось, что «бедная эта история» на этом не закончилась, а — неожиданно для всех — получила фантастическое продолжение.

Через несколько дней, ночью, я проснулся от воплей Масяни. Тот кричал во сне: Сгинь, черррртов урод! Катись в аааад!

Я разбудил его. Он долго смотрел на меня расширившимися от ужаса глазами, не узнавал. Потом узнал и спросил: Где он?

— Кто?

— Кип, он только что был тут и душил меня. Говорил, что я убил его ножницами, и что он за это задушит меня во сне.

— Очнись, Масыня. Это был кошмар. Кип — в морге. Мы живем в двадцатом веке, ты только что закончил мехмат МГУ. Синус икс по-прежнему меньше или равен единице. Все хорошо.

— Катись ты... Век... мехмат... синус... херня. Он был тут и душил меня, понимаешь? Посмотри, на шее пятна.

В этот момент мы оба услышали страшные крики и визг из соседней комнаты.

Напялил на себя шорты, постучал в дверь... никто мне не ответил. Прошел через нашу комнату на веранду и вошел оттуда в комнату соседок. Все четыре девушки не лежали на своих кроватях, а, сцепившись в человеческий ком, молча сидели на полу, в дальнем от веранды углу комнаты. Под одеялом. Вроде как прятались.

— Эй, девчонки, это я, Димыч. Вы почему так орали? От кого спрятались?

Никто мне не ответил. Попробовал стянуть с них одеяло. Не дали. Затем услышал глухой, срывающийся шепот Зурочки: Ал-хамду ли Ляхи...

Она молилась...

Сел на стул. Посидел несколько минут...

— Это я, Димыч, сижу в вашей комнате на стуле. Пришел, чтобы помочь. Если хотите, уйду. Что у вас тут стряслось?

Ответила мне Олечка.

— Уходи, нам ничего не нужно. Нам кошмар приснился. Ты уйдешь и мы будем дальше спать.

— Не хочу вас пугать, но вон... Сане-Масыне Кип привиделся. Будто бы душил его во сне.

Зря я это сказал. Девочки окаменели. Минут через пять Олечка прошептала: Уходи, пожалуйста, мы голые.

Ушел.

Лег на свою кровать. Заснуть не мог. Думал, думал, ворочался.

Заснул.

И снится мне сон. Вроде вчерашний день вернулся. И Кип опять бритвой по моему горлу елозит... И вот я на улице... но не иду искать Масыню, а к соседкам стучу... хочу их от Кипа защитить... и они пускают меня к себе.

В комнате у них все не так... никакой мебели нет, только ковер персидский на пол положен, на нем — блюда с фруктами... Девушки все голенькие, танцуют с пестрыми лентами в руках, бюстами и попочками трясут, хохочут. Я им рассказываю, что будет, а они мне не верят... смеются...

Я ищу, чем бы мне Кипа ударить, если войдет с бритвой... но ничего в комнате этой чудной нет подходящего... даже ножниц нет...

И вот слышу я тяжелые киповы шаги. Ближе и ближе. Слышу, как он глухо бранится...

Девушки режутся себе, как голубки, а у меня сердце в пятки падает.

И тут — откуда ни возьмись... в комнату входит начальник лагеря Семеныч с лассо в руках. Девушки ему приветливо улыбаются, он им мельком так кивает, а потом — ни с того, ни с сего — кидает лассо и ловит меня им за шею. И тут же затягивает петлю. Я пытаюсь ему объяснить, что не меня, а взбесившегося Кипа с бритвой надо ловить, но он меня не слушает... вставляет мне в рот кляп и связывает веревками.

И вот, стою я связанный и привязанный к столбу в лагерьной столовой. А вокруг меня — все лагерные обитатели. Смотрят на меня презрительно, надменно, без сострадания... так как доктора наук — на срезавшегося студента на экзамене по математическому анализу.

А Семеныч толкает краткую речь. И заканчивает ее почему-то так: Эпоха зверств черного аспиранта закончена. Главное здание МГУ может спать спокойно. Никто больше не потревожит студентов и аспирантов нашего славного университета! Черный аспирант пойман и будет сейчас публично казнен через ручную strangulation. Душить будет отличник

гражданской обороны СССР Борис Кипелов. Наше дело правое, мы победили! Да здравствует наш великий вождь Иосиф Виссарионович Чихайвповидло!

Вместо того, чтобы рассмеяться, публика бешено аплодирует оратору.

Все жадно смотрят на меня. Многие высунули языки, с которых капает слюна. Все ждут палача.

Палач в остроконечной красной шапке подходит ко мне, накладывает мне на горло руки и начинает душить...

Шепчет: Что, ублюдок, не захотел уговаривать своих суцек совершить человеколюбивый поступок... всего-то работы было на пять минут... а теперь сам попал в тиски... задушу тебя, а потом распорю тебе брюхо и вытяну кишки... брошу бродячим псам, пусть жрут.

Изо всех сил я стараюсь крикнуть: Это Кип, Кип! Он — черный аспирант, а я только закончил первый курс...

Но из-за кляпа я издаю только нелепое курлыкание.

...

Масяня разбудил меня ранним утром. Солнце только что вошло и освещало наш пляж волшебными зеленовато-розовыми лучами. Перед тем, как влезть в воду, мы выпили по стаканчику молодого красного вина.

За завтраком к нам неожиданно подошел Семеныч и сказал негромко: Надо поговорить, хлопцы. Через двадцать минут у меня.

Масяня предположил, что менты еще чего-нибудь придумали, и нам придется в Гудауту тащиться и еще раз показывать давать.

Я вспоминал свой сон и морщился, вся эта история мне порядком осточертела.

Пришли в его персональный коттедж, прячущийся в тени самшитов.

Семеныч пригласил нас сесть на стулья, сам он сидел в кресле...

Замялся... Потер несколько раз руки. Явно не знал, с чего начать. Таким мы хамоватого Семеныча никогда не видели.

Он был явно смущен, может быть даже испуган, и вовсе не хотел заставить нас что-то сделать или написать...

Голос его подрагивал, как хвостик у щенка.

— Мне сегодня утром, тово, из милиции позвонили. Начальник отделения, Горидзе, кажется. Кадр вроде надежный... мурло как у павиана... Так вот, Горидзе этот мне сказал, что дежурного в морге... где наш... того... сегодня увезли в психическую. Плакал и рассказывал, что ночью его мертвяки душили и резали... и порезы показывал, но ему конечно не поверили. А тела Кипелова... того... там больше нет. То ли украли, то ли сам ушел.

Масяня не выдержал: Сам ушел? Того... С пробитым ножницами сердцем? Как вы это себе представляете, Николай Семенович?

Семеныч взъярился: Не дерзи старшим, студент! Никак не представляю... А знаю, что в жизни много чего бывает. Бывает и такое, что в ваших университетах не проходят. Сам испытал. Короче... вы того... осторожнее... Мало ли чего... За соседками понаблюдайте, они девочки нежные... И — никому ни слова. Вольно, по домам...

После разговора с Семенычем мы пошли в магазин за спиртным.

...

А уже в Москве, на первой же лекции, мне рассказали, что в Главном здании МГУ по ночам стал показываться мертвец, которого студенты прозвали «черным аспирантом».

Черные свои дела он, якобы, начал творить еще в июле, когда в общежитиях абитуриенты жили. А затем начал кошмарить и потрошить и студентов.

Называли и фамилии его жертв, но я их не запомнил. Будто бы он приходил по ночам, огромный, худой и черный, двери в комнаты открывал без ключа, подходил к спящей жертве и кромсал ее опасной бритвой, так что от человека оставались одни «кровавые лохмотья». Которые он выбрасывал в окошко. Или пожирал. Тут мнения расходились.

А девушек он, якобы, перед тем как кромсать, заставлял...

Милиция расставила по общежитию своих людей, на каждом этаже...

И, вроде бы, одного из них черный аспирант уже прикончил. Или двух.

Милиция была в ярости...

Ректорат в растерянности... закрыть общежития Главного здания нельзя — куда девать людей? Учебный процесс нельзя срывать... А если не закрывать...

Ректора вроде бы уже несколько раз распекали у Гришина. Он к этому не привык, получил инфаркт.

...

Я, честно говоря, во все эти ужасы не поверил. По универу вечно какие-то слухи бродили... О «синей женщине» рассказывали, о подпольных борделях для членов Политбюро, о подземном городе под МГУ, в котором живут инопланетяне.

И уж никак не мог я себе представить, что мифический «черный аспирант» — это и есть воскресший или еще какой такой Кип. Несмотря на свой приснопамятный сон, несмотря на опасную бритву... Не верил я во всю эту мистическую чепуху.

Не верил до тех пор, пока сам его не увидел. ЕГО. Черного аспиранта.

А было это вот как. Как я уже писал, я подружился с Олечкой. Романчик наш, бурно начавшийся еще в «Ломоносове», на солнечном пляже... было не легко продолжать крутить в Москве. Не только из-за занятий, отнимавших время и силы, но и из-за родителей, действовавших на нервы, из-за безденежья... из-за огромной и жуткой Москвы, разлегшейся между Юго-Западной, где обитал я, и Лосинкой, где жила моя пассия, пятидесятикилометровым зловонным минным полем, по которому носились миллионы неопрятных совков и отвратительных автомобилей.

Встречаться нам было негде!

Мы вечно сидели на каких-то лестницах... ходили в кино и там целовались.

Посещали театры, часами бродили по Пушкинскому музею...

Провожать вечером, после кино, Олечку на Лосинку было не только не безопасно, но и физически трудно.

Единственное место, где мы — изредка — могли остаться наедине было, да, да, от судьбы не убежишь, общежитие рядом с Главным зданием МГУ. В Зоне А или Б, не помню. Комната, в которой жила умница Зурочка, когда та уезжала на каникулы в Дагестан, пустовала.

Хотя мне исполнилось восемнадцать, родители не позволяли мне ночевать вне дома. Послать их к черту я не мог, потому что жил за их счет... и любил их. И не хотел расстраивать. Но иногда...

Олечка тоже могла отсутствовать дома по ночам только в виде исключения...

После долгой и мучительной воспитательной работы с родителями, мы наконец встретились в комнате Зурочки.

Было это под Новый год.

Из окна открывался потрясающий вид на вечернюю предновогоднюю Москву, припорошенную свежим снегом.

Мы выпили легкого вина, пощebetали с полчаса, разделись и легли в кроватку.

Моя любимая заснула у меня в объятьях.

И начала легонько похрапывать...

Я встал... приоткрыл окошко... закурил сигарету.

Машинально посмотрел вниз. Мы были кажется на семнадцатом этаже...

Невольно подумал о том, что лететь вниз придется долго. Даже попытался рассчитать по школьной формуле сколько. Запутался. Плюнул на формулу.

Посмотрел еще раз вниз. И тут мне стало не до формул. Потому что я увидел то, что, надеюсь, больше никогда не увижу.

Знаю, что вы, господа, мне не поверите. Может быть даже скажете, а получше он ничего не мог придумать?

Где-то на уровне шестого этажа по вертикальной университетской стене шел человек. Фигура его была строго горизонтальна. Шел, наплевав на все законы механики, которые я, несмотря на лень и хроническое нежелание учиться, знал наизубок. Так идти человек не может, тут же упадет и разобьется.

Но ОН шел. Большой, худой, черный.

Черный аспирант.

Шагал себе так, как будто университет осторожно положили на бок.

Шел он — прямо ко мне. Лица его и глаз видно не было, но я точно знал, что он смотрит мне в глаза. В его правой руке что-то блестело. Опасная бритва! Та самая.

Я не мог оторвать от него глаз... а он все шагал и шагал...

Легко-легко. Размахивая длинными бедрами.

Когда он был метрах в десяти от меня, я узнал в этой темной фигуре Кипа и приготовился к смерти.

Но он прошел мимо меня!

Почему — не знаю.

Прежде чем окончательно скрыться на крыше, еще раз пристально посмотрел мне в глаза и погрозил пальцем. Указательным пальцем левой руки.

Я закрыл окошко и осторожно лег рядом с Олечкой.

...

О «черном аспиранте» рассказывали еще какое-то время всякие небылицы.

Когда я заканчивал мехмат, о нем уже никто не помнил. Забыли.

* * *

Прошло много-много лет. Я давно оставил родину. Потерял связь со всеми, кого когда-то знал или любил... Рассказ «Черный аспирант» опубликовал года полтора назад...

А около двух месяцев назад получил неожиданно электронное письмо от профессора К. из Санкт-Петербурга... да, да, от Сани-Масяни.

Он писал: Дорогой Димыч, сколько лет, сколько зим... я не стал бы тебя беспокоить по пустякам. Со мной произошло что-то жуткое. Хотел тебя предупредить... Не знал, как с тобой связаться, а потом случайно нашел твой электронный адрес в интернете, там, где ты рассказы публикуешь. Прочитал рассказ «Черный аспирант», вспомнил все...

Спасибо, что ты изменил мое имя и кафедру, а не то меня наверняка кто-нибудь бы вычислил, пошли бы слухи, мои

студенты смеяться бы начали... Я ведь еще преподаю, несмотря на возраст и болезни... В членкоры меня так и не выбрали, зато заслуженного дали...

Так вот, читал я лекцию в МГУ, на мехмате, как приглашенный профессор... на шестнадцатом этаже, помнишь, в большой аудитории. Материал был трудный... я на публику и не смотрел, все внимание сосредоточил на доске, боялся ошибку сделать в вычислениях. И только когда последнюю формулу написал, ради которой и мучился — взглянул в зал. Слушай сюда — аудитория была пуста! Только один человек сидел в последнем ряду!

Только один!

И это был ОН. Кип. Точь в точь такой, как тогда, в «Ломоносове». В шортах... Только почерневший весь, как мумия. В правой руке держал — опасную бритву.

Кип влез на стол... и по столам... по столам... неправдоподобно большими шагами... зашагал ко мне.

Мне стало плохо, я потерял сознание.

Потом мне рассказали, что я читал, читал лекцию, а когда вывел последнюю, искомую формулу, вдруг замолчал, уставился куда-то... а затем упал и начал хрипеть и биться. Вызвали скорую. В больнице диагностировали микроинсульт, только я им не верю, шарлатанам...

Вот что со мной произошло, друг. Никогда не верил в мистику... Прав был придуманный тобой Семеныч, не все, что в жизни происходит, изучают в университетах... В упомянутой тобой многолистной вселенной возможно все.

Не смейся надо мной, старым маразматиком, черкни, если будет что...

Такой-то и такой-то, профессор того-сего...

...

Я ему ответил, но переписка наша заглохла. Как суп прошлого паловником не перемешивай, а все равно прошлое настоящим становиться не хочет. Тянет назад... и ускользает в трясине времени.

А вчера получил я еще один имейл: Милый, милый Димыч, это я... та, которую ты назвал Олечкой. Как же забавно и

необычно тебе писать... Мы не виделись сорок лет или больше, зареклась считать. Случайно натолкнулась на твой рассказ в мировой сети. «Черный аспирант». Прочитала и все вспомнила. Ты конечно лукавил, некоторые вещи специально пропустил и кое-что придумал... Но ничего, главное, дух тогдашнего времени точно описал... А-то сейчас пишут про наш родной Союз какой-то бред... вообще, у всех крыша поехала. С портретами Сталина ходят... боготворят плешивую крысу. Тебе трудно из-за бугра понять, куда тут все приехало... как безнадежно все и жутко... да что я... ладно. Так вот я хотела тебе написать, что ту, которую ты назвал Зурочкой, убили лет десять назад в Москве. Я была на похоронах. Бандиты... при ограблении. Ее ударили два раза в сердце... видимо заточкой. Бедняжка. Вспомнила я об этих двух ударах после того, как твой рассказ прочитала. Ножницы...

И та, которую ты назвал Леночкой, погибла при загадочных обстоятельствах еще в середине девяностых. Такая страшная у нас жизнь. Трудно это писать, ей перерезали бритвой горло.

Не хочу острить, но напрашивается сравнение — по России бродят миллионы твоих «черных аспирантов», и на службе и нет, и они готовы нас, простых законопослушных граждан, как это у тебя написано, «кромсать», превратить в «кروавые лохмотья». Очень боюсь революции или чего-нибудь подобного. У меня взрослые дети и шесть внуков. Что с ними будет? Сын в Канаде... а все остальные здесь...

ПАЦИЕНТ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ

Слова отправляют нас в погоню за химерами
Витгенштейн

Шли мы... моя подруга Лили и я... по улице Кастаниенштрассе в Берлине. Вечером. В апреле.

В гости направлялись, к старинным друзьям, госпоже Рисс и ее сожителю, искусствоведу, написавшему когда-то статью о моей фотовыставке. Госпожа Рисс любила устраивать домашние «тематические вечера». Сегодня нас должны были осчастливить рассказом о России и «русским ужином». Замечательно!

Шли мы медленно, не хотели являться раньше назначенного времени. Молчали.

А вокруг болтали и носились как падающие звезды в августе — озабоченные какими-то важными делами молодые люди. Студенты. Наверное, искали кафе, где капучино подешевле... или девочки поразвязнее... где можно получше отвлечься, оторваться и закумарить...

Подчеркнутая их учтивость по отношению к нам, двум хромающим в их беспокойной толпе клячам, освещала высокую гранитную стену между нашими мирами даже лучше, чем это бы сделало откровенное хамство. Да-да, их путь лежал в «стекло и бетон», в университеты, банки и могущественные корпорации по обе стороны Атлантики и Тихого океана, а наша скорбная дорога вводила нас все дальше и дальше, как беззубого Лао, в безводную пустыню старости.

О существовании этой, дополнительной ко всем другим преградам, размежёвывающим наш бедный мир, стены между старыми и молодыми, я конечно знал. Но одно дело знать, совсем другое — увидеть ее воочию или ощутить ее присутствие телесно. Именно это произошло со мной, когда я, в пер-

вый и последний раз пришел в гости к моей младшей дочери, не позвонив заранее. Мне долго не открывали, из квартиры не доносилось ни звука (умный бы ушел, но я как всегда был так занят нахлынувшими непонятно откуда мыслями, что этого многозначительного молчания не понял). Потом дочь открыла мне, пропустила меня в прихожую, и заявила холодно: Папа, у меня гости!

Слова эти были как будто выпилены из гранита.

Я все еще ничего не понимал... приоткрыл дверь в ее гостиную и заглянул внутрь. Там стоял длинный накрытый стол, за которым сидели человек двенадцать гостей. Лица их были скрыты одинаковыми неприятными масками. Все они молча смотрели на меня через узкие прорезы на глазах сардонически улыбающихся паяцев.

Мне стало жутко, я закрыл дверь, кивнул дочери, погладил ее по плечу и ретировался. А когда вышел из ее дома... ощутил спиной холод оставшейся позади меня, и делающейся все выше и выше каменной стены... Стены, почти такой же высокой, как стена между богатыми и бедными.

...

Как раз перед поворотом на площадь Ционскирхплатц, я заметил стоящие у входа в дом с претензией на югендстиль — грязные сапоги на высоких сточенных каблуках. Трехцветные. Кожаные. С пряжкой и шпорами. Они стояли там так, как будто кто-то поставил их как... предупреждение... или напоминание.

Через пять минут подошли к дому наших знакомых... напротив церкви.

Позвонили... Нам ответили и открыли ворота. Прошли через арку во внутренний дворик. Когда звонили снизу в квартиру, я заметил, что перед подъездом на брусчатке стоят точно такие же сапоги, поблескивая пряжкой и шпорами, как там, на Кастаниенштрассе. И опять, как мягкий водяной удар в мозг, пришла мысль: Это знак... Напоминание. Напоминание о чем? Кто носил такие сапоги? Ты? Нет. Терпеть не могу сапог. С тех пор, как на картошке ноги ими стер до крови. Потому что не умел и не хотел портянки мотать. В носках ходил. И стер.

Размышлять и углубляться в воспоминания не стал... дело прошлое...

Ну стоят себе эти дурацкие сапоги и стоят...

Но почему же ты их помнишь?

Как пассаж из давно прочитанной и забытой книги. Вско- чит в голову и гвоздем не выбьешь.

Забавная aberrация памяти? Или предвестник подсту- пающего слабоумия?

Если на каждую мелочь время тратить...

...

Пришли мы вовремя, и как всегда — первыми. Неловко.

Потихоньку подошли и другие гости. Перечислю их в по- рядке появления, как запомнил.

Старый, отошедший от дел политик, владелец огромной коллекции солдатиков времен Третьего Рейха. Звали, его ка- жется Карл. Он то и дело кряхтел и багровел. Своей мимикой Карл как бы говорил: Все знаю лучше вас. Но молчу, потому что объяснять что-то идиотам бесполезно. Или не поймут, или извратят. Вот в мое время...

Модная стареющая писательница, коротковолосая, эмансипированная, чрезвычайно уверенная в себе, родом из Гамбурга, госпожа... Последний ее бестселлер назывался так: «Чернокожий друг одинокого северного мартилуca». Спра- шивать, что такое «мартилуca» я у нее не стал. Позже эта кни- га попала мне в руки. Полистал. И сразу понял, что речь в ней идет о драматическом романе пожилой миллионерши с юным беженцем из Сенегала, красавцем и разгильдяем. Ай да мартилуca!

Молодая (около пятидесяти) художница Эмили. Показы- вала мне свой каталог... а в нем какие-то слоники. Слоник красный и слоник синий. Большой и маленький. С бивнями и без. Говорила, что слоны для нее — «не только животные, но и божественные субстанции, иероглифы праязыка, на котором написан исконный, до сих пор не найденный археологами, текст Книги Тота, отрывки из которой непонятно как попали в руки этому негодю и шарлатану, Алистеру Кроули»...

Я жалею животных, но не люблю их. Что-то в них есть шизофреническое. Дьявольская пародия на людей. Слонов вблизи мне показывал в цирке на Ленинских горах знакомый сосед-ветеринар. Неприятные, грязные звери. Грязными они были потому, что этиловый спирт, который выдавали ветеринару на гигиенические процедуры, тот хладнокровно выпивал или обменивал на стройматериалы для дачи, которую строил лет пять. Но так и не построил. Потому что сел в дурдом за убийство жены. Куда ему кстати, несмотря на все запреты, приносили спирт друзья-циркачи.

— А помыть зверей можно и водопроводной водичкой, даже лучше, нечего на них спирт тратить, — повторял ветеринар, закусывая ветчиной, которую поменял все на тот же спирт у знакомого продавца на Ленинском.

Седой, но моложавый режиссер-документалист с звонкой двойной фамилией. Снял душераздирающий фильм о детях Чернобыля. Побывал и в Африке (его фильмы о гиенах и тамошних свалках электроники получили такие-то и такие-то премии). Недавно вернулся из России, в которой хотел сделать фильм о бездомных детях Санкт-Петербурга и Эрмитаже. Но не получил на это разрешения у городских властей. Собирался рассказать нам о своих похождениях в подземном мире Санкт-Петербурга и бюрократических коридорах путинской власти. В его честь госпожа Рисс и устроила «русский ужин».

Скульптор Альфред, зарабатывающий деньги изготовлением надгробных памятников, а в свободное время делающий малую эротическую пластику, медальки, фигурки. Несколько его работ стояли на старомодном комодике госпожи Рисс. Они были похожи на нэцкэ, но сделаны были гораздо топорнее. Рядом с ними несли вахту — маленький «Мыслитель» Родена и саксонский оловянный солдат с алебардой (подарки Карла). Альфред был ненавистником русских, потому что пережил в раннем детстве нечто ужасное... Ударом приклада пьяный советский солдат раздробил ему кости пальцев левой руки. А он мечтал якобы стать пианистом. Госпожа Рисс, впрочем, рассказала мне, что история эта вымышленная. Что никто ему кости в детстве не дробил, а вот во время обучения надгроб-

ному ремеслу руку ему действительно прищемил тяжелый памятник Советскому Солдату, каких много понаставили в Восточной Германии после войны. И Альфред долго страдал и не мог работать, и был так зол на памятник, что придумал историю с пьяным солдатом.

Вальтер, чиновник, работающий в правительстве Меркель. Кажется, голубой, но скрывающий это. Волосы бобриком. Усики. Неопределенного возраста. Импозантен, вальяжен, но подчеркнута скромность. Почти не говорил, но пельменей съел больше всех. Рассказал неприличный русский анекдот про черную икру, дробь и Бобика.

И, наконец, самый странный гость — гипнотизер, говорящий на неизвестном мне диалекте немецкого, господин Валентин. Непонятный человек, с непонятным взглядом, непонятным возрастом и непонятным гражданством. Он был так худ, что на него было страшно смотреть. Во время ужина он не проронил ни слова.

...

Если бы молодой и неопытный коллега-писатель попросил бы у меня совета... как писать лучше? Только ОДНОГО совета, дабы не усложнять дело...

Вряд ли такое случится, молодые, как впрочем и не очень молодые писатели, уважают только известность и успех... и ни в каких советах аутсайдеров не нуждаются...

Но если бы все-таки это случилось, я бы, похмыкивая и причмокивая, пробурчал: Избегайте, по возможности, перечислений. Ничто другое так не утомляет читателя и не дает ему меньше, чем перечисления. Перечисления еще хуже чем плеоназмы... с которыми тоже надо обращаться крайне деликатно.

Сам я, как видите, пренебрег выше этим мудрым правилом и перечислил гостей госпожи Рисс. Некоторых удостоил двенадцатью строчками, а на других и четырех не потратил. А по-хорошему о каждом из них стоило бы написать отдельную книгу. Проанализировать постоянно мутирующую и мимикрирующую психологическую конструкцию их «я», заострить внимание на удивительных превратностях их судеб... По сути

построить громоздкую структуру... из тех же перечислений, только закамуфлированных словесными джунглями, пресловутым «бутаном».

Но... все эти лианы и колючки, цветы и стволы, и ветки, и веточки, все эти словесные заросли, как ни старайся, — все равно остались бы фантазией.

Только глупый читатель думает, что писатель что-то знает о своих героях. Нет, увы, ничего он о них не знает. И чем многословнее книга, тем больше в ней бессовестных выдумок. Поэтому я, представляя читателю моих героев, ограничиваюсь обычно даже не верхушкой айсберга, а только абрисом этой верхушки... тем, что видел сам... или тем, что подсмотрел мой, снабженный специальными волшебными очками, фиктивный автор-рассказчик.

Хотя, конечно и я мог бы добавить кое-что — для оживляжа — и из нижней, невидимой части айсберга. Упомянуть например, что вышеописанный владелец коллекции солдатиков... Карл... еще в семидесятых... чуть не загремел в тюрьму... после скандального разоблачения так называемого «круга» европейских политиков, состоящего кажется из более чем тысячи трехсот человек, много лет обменивающихся фотографиями голых детишек, занимающихся с взрослыми дядями и тетями различными нежелательными для их психического и физического здоровья играми.

Или заметить вскользь, что стареющая писательница из Гамбурга не всегда была стареющей, модной и обеспеченной... в юные свои года бедствовала и должна была одна, без помощи родителей, эгоистов и алкоголиков, пробиваться и зарабатывать на жизнь... Пять лет! Пять своих юных, таких чувствительных и важных лет, она проработала уличной проституткой. И еще три года отпахала в борделе, где ее, уже больную и испорченную, и нашел один богатенький старичок, любитель поникших вишен, занимающийся «инвестиционными проектами» в бедных азиатских странах и в Африке. Неутомимый труженик и ненасытный любовник. Будущая писательница, которую он сделал своей содержанкой, даже подозревала, что тут не все чисто... что он исполь-

зует какие-то тайные китайские пилюли, изготавливаемые, как говорят, из рогов белых носорогов, проживающих в пещерах и делях Индостана. Невероятных трудов стоило ей убедить его в конце концов упомянуть ее в своем завещании. И что удивительно! Как только старичок-инвестор — официально и нотариально — изменил в ее пользу завещание, буквально через несколько дней... он скончался от алкогольного отравления. Перепил «Пикадора». Сердце не выдержало... и уже через год будущая наша писательница жила не в маленькой однокомнатной квартирке в сером блочном доме в Йенфельде, а в шикарном апартаментах в Бланкенезе. С видом на Эльбу, бассейном в подвале и небольшим розарием.

Да-с, и слоники художницы Эмили попали в ее каталог не случайно... и сдается мне вовсе не потому, что были «божественными субстанциями и иероглифами праязыка», а потому что... тут, впрочем, я замолкаю... оставим чудовищную тайну этой женщины не раскрытой... так будет лучше... для всех нас.

А вот о нашем скульпторе, ненавистнике русских, кое что написать просто необходимо. Несмотря на более чем солидный возраст, Альфред все еще регулярно посещал известный берлинский садо-мазохистский салон «У розового Прометея». И каждый раз просил его директоршу, знаменитую в шестидесятых годах домину Гильду, подобрать ему для флагеллантских забав «русскую девочку помоложе и без грудей», что та и делала. Благо подобного товара в Европе завались, а платил Альфред хорошо. После долгой и мучительной порки плетью Альфред обычно расчувствовался... на коленях просил у измученной девушки прощения, плакал и зализывал ей окровавленные следы своего неистовства языком. В этом и заключалось его главное наслаждение. Следует отметить, что Альфред был, пока его жена не умерла, добрым и верным мужем, а после ее смерти — щедрым и заботливым отцом и дедушкой.

Подводная часть жизни чиновника Вальтера не была посвящена исключительно гомосексуальным исканиям и почему-то всегда сопутствующим им драмам. Вальтер был одним

из создателей виртуальной криминальной империи. Невидимой для обывателя и коллег в Бундестаге организации хакеров, занимающейся заказными убийствами. Только не людей, а репутаций.

И о гипнотизере я бы с удовольствием что-то рассказал... но... нечего. Этот человек представляется мне черной дырой. Он как бы поглощал все, что оказывалось с ним рядом... даже свои собственные слова и поступки.

Да, совсем забыл... главное действующее лицо вечера, режиссер-документалист, был одним из поставщиков ювенальных фотографий и коротеньких фильмов тому самому «кругу» политиков. В его фильме о чернобыльских детях нет, конечно, ничего клубничного... Три года тюрьмы сделали его осторожным.

...

Рассказывал о своих злключениях в России документалист минут сорок. Часто пожимал плечами и вздыхал... Почему-то вопросительно и осуждающе смотрел на меня. Как будто я был виноват в том, что миллионы бездомных кочуют по России, и что ему не дали разрешения на съемки. Несмотря на то, что я почти 30 лет прожил в Германии, для аборигенов я все еще «русский», ответственный за все гнусности России, таким и помру.

Мне было трудно сдерживать зевоту. Ничего нового или хотя бы свежего я не услышал. Ленинградский подземный и чердачный мир бездомных и воров мне знаком не был, но с похожим на него, московским миром я сталкивался в моей прошлой жизни не раз. Неизбежные препятствия, которые встали на пути к фильму, которые избалованному успехом европейцу представлялись бессмысленным и абсурдным кошмаром, — для меня имели ясный и хорошо знакомый смысл. Во всех описываемых документалистом сценах я узнавал проявления родной советчины... разумеется с поправкой на новые реалии. Я понимал то, очевидное, что документалист не был в состоянии понять — отказы в разрешении на съемку со стороны российской бюрократии были мотивированы во все не заботой «о детях», «о картинах», «о безопасности», «о

зрителях, которым будут мешать киношники», отказы эти вообще не имели рациональной мотивации... Даже не были скрытым вымоганием взятки. Они были органичной частью идеи русского мира, империи, Третьего Рима...

Не разрешаем и все!

ВСЕ!

А-то каждый захочет снимать.

Мы тут хозяйева. Наши бездомные, наши картины!

Не разрешаем.

И бычьи взгляды потомственных дебилов.

Помню, в начале двухтысячных приехал в Москву и сейчас же отправился в любимый со студенческой поры Пушкинский музей, в гости к святому Себастьяну Больтраффио, Артаксерксу Рембрандта и гогеновской Жене короля... Прихватил с собой свой Никон и щелкал и щелкал в полупустых залах. Особенно долго возился у небольшой картинки «Несение креста» Михеля Зиттова, давно мечтал сравнить эту превосходную работу с очевидно родственными ей изображениями Босха. Из-за световых рефлексий фотографировать работу Зиттова было нелегко. Пришлось повозиться. Мои старания не остались без награды... Какая-то бабка, явно не музейного вида, оторвалась от своей экскурсионной группы, подошла ко мне, схватила меня когтистой лапой за рукав и попыталась оттащить от картины... при этом вполне державно шипела: Нечего тут наши картины фотографировать... понаехали из европ жиды и немцы... у себя фотографируйте...

...

После рассказа об ужасах питерских подземелий и бессердечных российских бюрократах все задавали документалисту вопросы.

Писательница-Мартилул спросила, свободна ли от цензуры литература эротического направления в современной России. Документалист еще не успел ответить, как плохо слышащий скульптор, тот, с раздробленными костями, не поняв толком, о чем идет речь, прорычал: Свободна-то она, может быть и свободна, но ни новых Толстых, ни Достоевских, ни Чеховых там почему-то нет.

Неприветливо глянул в мою сторону и спросил, полны ли российские магазины товарами.

— Товаров много, но денег у простых россиян нет.

— На ракеты у них деньги всегда есть. И на дворцы и яхты для «новых русских».

Искусствовед спросил: Что же эти бездомные дети, там, в подвалах и в канализации едят?

— Вороват что и где могут... Их ловят как бездомных собак и сажают в колонии. Они бегут оттуда. Потому что там еще хуже чем на чердаках и в подвалах. Старшие дети и воспитатели мучают и избивают младших.

Чиновник Меркель спросил, имели ли немецкие киношники рекомендательные письма от Бундестага или других солидных организаций. На что получил ответ — да, имели.

— Неужели и это не помогло?

— Нет.

— Что же у них там творится?

— Они называют это «беспределом», но перевести это слово на немецкий невозможно.

Художница Эмили спросила, не удалось ли документалисту встретиться с Путиным и попросить его лично о разрешении. Некоторые гости нетактично захихикали.

— Мы послали ему письмо, но он нам не ответил. Хотели на доходы от проката фильма начать кампанию помощи бездомным детям.

Госпожа Рисс спросила, красив ли Санкт-Петербург, и сама же рассказала о своем первом посещении города на Неве тридцать пять лет назад. О том, как сердечно ее принимали ленинградцы. О том, что у нее есть своя версия судьбы Янтарной комнаты, которая якобы хранится в Берлине, под Рейхстагом.

Моя Лили, покраснев и замявшись, спросила сколько стоит входной билет в Эрмитаж. И правда ли, что там сохранился нетронутым зал, в котором заседало Временное правительство в день большевистского переворота.

Политик Карл ничего не спросил, а проворчал: Вам надо было посмотреть парад на Красной площади... Лучше бы поехали, куда ездили. Вот во времена Аденауэра...

Госпожа Рисс пригласила гостей к столу... все были рады прекратить наконец неприятный разговор об этой «ужасной стране и ее несчастных детях» с таким «добрым народом», которой вечно живет «как бесправная скотина».

Похлебали красный борщ со сметаной, прожевали блины из гречневой крупы с тоненькими ломтиками соленой красной рыбы... съели пельмени... выпили по маленькой рюмочке водки...

На десерт подали крепкий «русский» чай (кипяток разливали из купленного во времена ГДР самовара) и крохотные медовые пряники.

После того, как покончили с пряниками, все разбились на группки по интересам, разошлись по углам огромной гостиной и горячо обсуждали что-то, жестикулируя и громко гогоча.

Я сделал глазами знак Лили, жадно расспрашивающей писательницу о ее будущей книге: Не пора ли нам домой?

Потому что давно потерял и энтузиазм и азарт спорщика и тяготился общими интеллигентскими разговорами. Не хотелось больше меряться фаллосами с мужчинами и блистать заемным остроумием перед женщинами...

Хотелось вздремнуть...

Лили бросила на меня рассерженный взгляд, что означало: И не надейся! В кои-то веки выбрались из дома...

Я смирился, сел в старинное кресло с подлокотниками, посмотрел на потолок, по которому бегала от своей тени большая муха и закрыл глаза.

...

Блаженство мое прервал господин Валентин, гипнотизер.

Он сказал: Я заметил, что вы морщились во время речи коллеги режиссера. Почему?

Пришлось внимательно посмотреть ему в лицо. Усталые умные глаза цвета капусты, римский нос, узкие немецкие губы, морщины, выдающие застарелого скептика и мизантропа. Породистый человек.

— Потому что...

Я чуть было не сорвался и не начал рассказывать о деятельности «коллеги режиссера» в далеких семидесятых...

— Потому что там, в путинском государстве все гораздо хуже и опаснее... и для населения России и для нас, тут. Надо не помогать злым безумцам, а вооружаться... Перестать наконец быть экономическим гигантом и политическим карликом... Создать свое атомное оружие сдерживания, починить танки, вернуть першинги... Немецкая беззащитность — приглашение для путинской орды. Но вдолбить это в голову тут никому невозможно. Немцы думают, что они все понимают лучше всех. Даже Россию понимают лучше, чем русские эмигранты, прожившие там десятилетия, и следящие за каждым пискom, доносящимся оттуда.

— Ха-ха-ха. Ну что же... я наверное не так самонадеян, как другие... не поленитесь, сформулируйте кратко... что вы думаете о вашей бывшей родине.

Орнамент морщин на лице гипнотизера отобразил максимальный градус приветливости. Но губы... губы выдавали его скепсис. Не было никакого интереса к России у этого всезнающего дьявола. И не могло быть.

— Охотно. Место бывшей партийной номенклатуры заняли путинские дружки и гэбисты, чиновники, олигархи... с несметными наворованными богатствами и неслыханной властью в руках. Народ, бывшие «совчелы», ныне называемый «ватой» — нисколько не изменился. Ну разве что — по сравнению с моим временем — наркоты и наркоманов стало в сотню раз больше, чем было при Брежневе, и больших спидом прибавилось на порядки. А так... все по-прежнему. Беззаконие, утеснение, воровство и агрессия сверху... а снизу — блаженная тишина, прерываемая только бульканьем водки, икотой и урчанием голодного брюха да уханьем и стонами драки. Потихоньку начались войны. Попробовали в Грузии, сошло с рук. Откусили у нее территории. Продолжили с Украиной. Империя не может существовать без войн, на которые можно все списать. Им всегда нужно кого-то убивать, понимаете?

Я спрашивал его, хотя знал, что его не интересует то, что я говорю. Говорил и думал: Что ему от меня надо?

— Убивать и грабить... Недалек тот день, когда Россия атакует балтийские страны, Польшу, Румынию... а потом они

попрутся и сюда. Если они так жестоки по отношению к своим бездомным, то какими они будут тут? Я все это часто пытался втолковать моим новым согражданам, но мне не верят... только смотрят на меня примерно также как вы сейчас на меня смотрите. Как на очернителя России и фальшивого пророка. Или на идиота...

— Это потому, что... если вы правы, то надо... радикально менять жизнь... и общественную и частную... заново создавать армию, шерстить тайные службы... и продавать акции, пока все не рухнуло. А акции — единственная сейчас возможность получать хоть какие-то деньги, не работая... Никто не хочет отказываться от дивидендов. Гораздо легче считать идиотом вас, чем себя.

— Понятно. Кстати, а вы действительно гипнотизер?

— Да, только я психотерапевт, а не фокусник. Иногда помогаю полиции.

— Это вы к чему?

— К тому, что люди, как узнают, что я гипнотизер, тут же просят показать фокус с «парящей в воздухе женщиной» или загипнотизировать всех так, чтобы начали раздеваться, трястись от холода или болтать вздор...

— А вы это можете?

— Хм...

— Ладно, ладно, не надо никого раздевать... Полиции помогаете? Помогите мне маленькую загадку решить.

Рассказал ему про сапоги с шпорами. Морщины показали понимание и сочувствие.

— С шпорами? Что-то я не помню сапог у входа в дом... Ну и что вы от меня хотите?

— Загипнотизируйте меня и помогите вспомнить, где я эти чертовы сапоги видел. Сможете? Это ведь легче, чем алкаша от водки отвадить или по фотографии определить, где убийца спрятался...

— Давайте попробуем. Только вы не должны внутренне мне противостоять... упираться... наоборот... расслабьтесь... позвольте себя усыпить... а там посмотрим.

Я шепнул несколько слов на ушко Лили (она посмотрела на меня, затем на господина Валентина своим особенным взглядом и скептически хмыкнула), затем взял под руку госпожу Рисс, отвел ее в сторону и попросил запереть меня и гипнотизера на полчаса в библиотеке. Объяснил, зачем. Она закивала.

— Только, чур, потом расскажете всем нам о результатах! Ужасно интересно.

— Конечно расскажу. Если будет что рассказывать.

— Если ничего не получится, то придумайте что-нибудь экстравагантное. Вы же писатель, это ваша работа. А-то у нас вечер какой-то кислый получился. Обещаете?

— Обещаю.

...

Дверь за нами закрылась. Замок щелкнул. Мы сели в кресла напротив друг друга. Гипнотизер попросил меня закрыть глаза и ровно и глубоко дышать. Взял своей правой рукой меня за запястье левой руки. Начал считать вслух.

— Один, два, три, четыре, пять...

Голос его звучал как-то странно. Он считал громко и очень медленно... слова произносил торжественно. Как военный диктор — обратный отсчет перед взрывом атомной бомбы...

На «девяти» меня потянуло в сон. А цифру «шестнадцать» я уже не слышал. То ли он действительно меня усыпил, то ли я сам заснул.

Проснулся я между тридцатью четырьмя и тридцатью пятью. Открыл глаза...

Господин Валентин все еще держал меня за запястье. Мы по-прежнему сидели напротив друг друга. Только не в креслах, а на казенных металлических стульях!

Между нами стоял длинный стол. Тоже металлический. С фигурными вмятинами и кожаными ремнями для фиксации лежащего на нем человека.

Это что?!

Представил себе, как лежу, связанный, на этом столе. Рядом — хирург в противогазе с маленькой хромированной циркулярной пилой в руках.

— Бу-бу-бу. Потерпите, больно будет не долго! Не дергайте ножками, пациент номер тридцать пять. А не то начнем пилить не поперек, а вдоль...

Мы находились в большой комнате без окон, с широким зеркалом вдоль одной из стен. С пыточным столом посередине.

В этой комнате не было двери!

— И долго я спал? Где это мы? Что это за столик тут? Из концлагеря?

— Спали вы только полминуты. А вот где мы, спросите лучше свое подсознание. В некотором смысле, мы — внутри вас. В комнате, которую создала ваша память. Вот вы и скажите, где мы и почему. Столик этот милый — ваша креатура. Спросите себя, кого вы хотели на нем помучить.

— Никого. Мой садизм — только темно-фиолетовая краска в тексте.

Я встал, потрогал стены.

Закрыв глаза, напрягся... да так сильно, что почувствовал, что что-то сломалось...

Проломил панцирь жука-оленя?

...

Открыл глаза. Господин Валентин пропал.

Я был один в этой жуткой комнате без окон и без дверей.

Если он прав, и все это построила моя память, то... то все тут должно казаться мне... виртуальным, что ли. А тут — такая пугающая, назойливая даже в синеватом резком свете предметность. Каждую пылинку видно на столе.

Кстати, а откуда свет? Нет ни ламп, ни люстр...

Подошел к зеркалу. Постучал по нему костяшкой указательного пальца.

А потом ударил его головой. Боднул, как теленок.

Зеркало издало такой звук, какой получается когда стучишь по большой двуручной пиле, и она начинает противно вибрировать.

Зачем я ударил зеркало? Заставь дурака богу молиться...

Если я во сне, то мне не должно быть больно. А если меня, пока я спал, приволокли сюда... уж не знаю, кто и как... то больно мне будет и еще как.

Мне было больно. Даже кожу содрал на лбу.

Но с другой стороны, прошептал мне какой-то гадкий голос, это может быть и не боль, а воспоминание о боли... так что ничего ты не определил, ТАК ничего определить нельзя.

— А как можно?

— Сам знаешь.

— Ничего я не знаю.

— Знаешь. Надо умереть. Убить себя. Если очнешься, значит ты был под гипнозом. А если того, пустота, тогда, извини, подвинься. Что, слабо?

Слабо, слабо.

На что же эта омерзительная комната с интересным столом походит?

Ну да, да, на комнату для допросов. Ты тут кувыркаешься, а на тебя полицейские смотрят с другой стороны зеркала, посмеиваются. Или греи.

Дознаватель говорит с потерпевшей.

— Тот? Внимательно смотрите, не торопитесь! Он насиловал вас. Разве такое чудовище можно с кем-нибудь перепутать? Татуировка на лбу. Машина, а не человек. Посмотрите на его руки, его рубашку, на брюки. Переодеться он бы не успел. Может быть, что-то узнаете.

— Не знаю. Там было темно. Может и он. А может и нет.

...

Тут я посмотрел на свои руки и... не узнал их. Крепче и моложе моих. Загорелые.

Подбежал еще раз к зеркалу и всмотрелся в отражение.

Так... спокойно... это не я. И не похож.

На лбу у меня вытатуировано число 35. Размером с отпечаток большого пальца.

Высокий, худющий парень, лет на сорок меня моложе. Похож на сына фермера с американского Запада.

Грубые парусиновые штаны, помочи... клетчатая рубашка без воротника. Жилетка. Сапоги с шпорами.

Кто же я такой?

Пациент тридцать пять?

Я вам сейчас покажу, кто я такой... схватил стул и начал изо всех сил бить им по зеркалу.

Первые два удара оно выдержало, только опять завибрировало гадко, а после третьего удара неожиданно раскололось... осколки усеяли линолеумный пол.

За ним, как я и ожидал, была другая комната. И эта комната была пуста.

Но в этой, второй комнате, была дверь. И дверь эта была полуоткрыта.

Легко, как испуганный олененок, перепрыгнул разделяющую комнаты перегородку. Подлетел к двери.

Открыл ее... и вышел...

Передо мной простиралась долина, на которой паслись тысячи коров...

Несколько десятков ковбоев пытались загнать их в загон.

Звенели цикады, лаяли собаки, бешено мычали коровы...

Солнце палило немилосердно, но мне не было жарко.

Я ловко вскочил на стоящую неподалеку лошадку и поскакал к стаду.

* * *

Как долго я был ковбоем — четыре года, четыре месяца или четыре минуты, сказать не могу. Эта жизнь вылетела у меня из головы. Смутно помню, как клеймили телят. Один ковбой сидел на голове у животного, другой держал его за ноги. Третий клеймил раскаленным до красна клеймом. Пахло палеными перьями.

В какой-то момент я опять очутился в той комнате со столом и зеркалом. Все в ней было так, как тогда, когда я там оказался в первый раз — стерильно... чисто...

Стол сиял, как будто его специально к моему приходу отполировали. Линолеум был вымыт. Зеркало не было разбито... два металлических стула стояли напротив друг друга по разные стороны от стола. На одном из них сидел о чем-то глубоко задумавшийся господин Валентин, ничуть за время моего отсутствия не изменившийся, на другом я.

И вот, морщины на лице гипнотизера вдруг ожили и изобразили иронию, и он спросил меня, смеиваясь: Ну как, покатались на мустангах? Видели страусов и броненосцев?

— В Техасе страусы и броненосцы не водятся.

— Ха-ха... Вы наблюдательны. Похвально. Ну что же, господин странник... Куда подадитесь на этот раз? В кого превратитесь? Вы, признаться, меня очень удивили... Я никак не предполагал, что в вашем подсознании есть место для коров и лошадей... Лассо... револьверы... это так скучно! Был, был у вас в душе какой-то крючок... может быть особый комплекс или детское воспоминание о Всаднике без головы... Вудли Пойндекстер и Кассий Колхаун... Не спроста вас занесло в Техас. Что-то потянуло вас туда, вниз, как героя «Сердца ангела» тянуло в Новый Орлеан... И конец этого вашего приключения был похож на конец этого частного детектива, хорошо, что вы его забыли. На да ладно... сапожки ваши мы нашли... и славно. Или, скорее, они, сапожки эти трехцветные, нашли вас. И возбудили в вас ложное воспоминание... породили фантомную жизнь, длящуюся четыре года или четыре мгновения... Да-с. Я не Фрейд и копать в вас не собираюсь. Мало ли что можно в человеке найти? Это ведь свалка! Если охота — занимайтесь этим сами... А теперь, дорогой господин, вынужден вас оставить... Если хотите вернуться в вашу обычную реальность... скажите громко: «Тридцать пятый». И морок кончится. Надеюсь... Только хочу вас предупредить... возвращение это вам не понравится. Вы кажется еще не поняли, что «русский вечер», госпожа Рисс и ее гости, да и вся Россия со всеми ее прелестями — ни в коем случае не более реальны, чем ваши друзья-ковбои и телята, которых вы клеймили...

Проговорив это, гипнотизер исчез.

Осознать сказанное им я был не в состоянии.

Мне даже стало казаться, что этого странного человека и не было тут, в комнате, и все его речи я проговорил себе сам. Проверить свое подозрение я не мог. Рассиживаться не собирался. Встал и решительно подошел к зеркалу. Не без смущения и страха посмотрел на свое отражение. Боже мой, что это за чудовище?!

Схватил стул и изо всех сил врезал им по зеркалу.

Как и было оговорено, через полчаса госпожа Рисс открыла библиотеку, но никого в ней не обнаружила. Обратилась к Лили: Вы знаете, дорогая, у меня что-то вроде дежавю сейчас произошло... какой-то голос мне прошептал, что я должна открыть запертую на ключ библиотеку... Я была уверена, что там находятся гости, попросившие их закрыть на короткое время... А там — никого! Только две мои канарейки спят в клетке.

— Ах, милая, такое бывает в нашем возрасте... Посмотрите, все гости тут... Я так увлеклась беседой с госпожой... о ее новой книге. Ой-ой-ой, уже поздно, мой Вольфганг меня наверное заждался. Пойду потихоньку домой. Спасибо вам за чудесный вечер!

ЛАБОРАТОРИЯ

Прихожу на работу, в институт, почему-то поздно, около одиннадцати утра. В большой светлой комнате — лаборатории — только три человека. Мой шеф и две сотрудницы. Остальные уже сделали ноги. Все трое — неестественно веселы. Как будто под шафе. Глазки масляные. Носы розовые. Губы подрагивают.

Шеф говорит мне: Хорошо, что пришел, ты и подежуришь перед праздником... а мы пойдем домой, нас дети ждут. Салат надо приготовить и селедочку под шубой. В шесть вечера сдай ключи на вахте.

И все трое, болтая и смеясь, покидают лабораторию. Я даже не успеваю крикнуть: Что я должен тут делать до шести?

Впрочем, кому до этого когда-либо было дело?

Обескураженный, я остаюсь... сажусь за стол и безуспешно пытаюсь вспомнить... чем же мы тут занимаемся... Не может такого быть, чтобы пятнадцать человек годами сидели бы тут по восемь часов в сутки и ничего не делали.

Смутно вспоминаются уравнения Лагранжа... Что у них там справа? Ах да, трение... Интегральные многообразия... бифуркационные точки... Экспериментальная установка, в которой вертелись подвешенные на проволоке странные предметы с полостями, наполненными цветными жидкостями. Чай она варить не умела. Но палец оторвать — запросто.

Да, да, и еще... уличные фонари в желтом тумане... вечная слякоть... тени от прохожих, более плотные, чем они сами... разбираловки по понедельникам... троллейбусы, едущие по ледяному насту, как по Дороге жизни... азиатское равнодушие... хамство... прямоугольное безумие вагонов метро и адский визг тормозов... духота... серые виски и отвислая кожа под глазами у машинистов... измученные лица пассажиров...

А сейчас... в лаборатории нет никаких установок... только одинаковые письменные столы, стулья... и ничего больше... Даже меловой доски нет. Видимо, все продали в девяностые.

Два портрета на стене... лица смыты...

Через четыре огромных окна... в помещение вливается как пенное молоко, солнечный свет... Режет глаза.

На улице — поезд едет, везет жратву, железо и стройматериалы в подземный город, в кротовую советскую нору.

Сижу... и глажу полированную поверхность стола рукой. Как ветер — Балтийское море. Кто же все-таки изображен на этих портретах?

Встаю и несколько раз обхожу лабораторию. Мне все еще кажется, что я что-то тут смогу найти. Ищу, ищу, как археолог в Долине царей. Открываю ящики письменных столов. В них нет отчетов с фотографиями, логарифмических линеек, таблиц, нет даже писчей бумаги, ручек или карандашей. Все ящики заполнены почетными грамотами.

Пытаюсь прочесть — кому и за что выданы грамоты. Фамилии стерлись, шрифт неразборчив, только красные знамена и лысый череп мертвеца...

Выхожу в коридор. Делаю несколько шагов.

И... все путается... становится неясным, чужим... Теряю ориентацию.

Откуда-то доносится странная музыка. Кото и сямисэн.

От такой музыки птицы машут крыльями, но взлететь не могут.

Мимо меня пробегают две японки в кимоно. Мелкими шажочками...

Как голубые попугайчики...

...

Коридор полон людей и кроликов.

Худые носатые мужчины, лет сорока пяти, с одинаковыми папками под мышками, быстро идут куда-то. На их лицах — подобострастие и предвкушение...

Это клерки из фильма «Бразилия» Гиллиама.

Кролики стоят на задних лапах вдоль стен и с ужасом смотрят в потолок.

В толпе есть и прекрасные дамы. Они ходят кругами. Курят сигареты и шепчутся. Делают страшные глаза.

— Ну я же говорила! Говорила! Говорила тысячу раз! А она! А он!

В свободное от сплетен время дамы считают кроликов.

— Один, три, девять, двадцать семь...

...

Где-то там, в глубине здания, в главном кабинете, сидит паук. Он посылает приказы и выговоры. И все пляшут под его дудку.

Скажет: Пляшите Камаринскую!

Они — руки в боки и давай плясать! Выкаблучивать!

Скажет: По домам!

Все бросят свои папки и умчатся домой. Салаты делать и бульон варить. Из кроличьего мяса.

Он может все! Даже жилплощадь может достать. Но только для себя. Эгоцентрик.

Заместитель паука — мой старый знакомый. Вместе кислые щи ели и пуговицы делали.

Надо бы к нему обратиться. Он-то знает, он подскажет... укажет...

Если мой шеф покинул Лабораторию ради селедки под шубой, то я должен получить задание от кого-то другого. Младшие всегда получают задание от начальства. Они не могут бездельничать. У бездельников вырастают огромные розовые уши.

Хватаю за рукав первого попавшегося ходока с папкой и спрашиваю: Где тут у вас начальство?

Тот отвечает с неприязненной гримасой: Отпустите меня, разве вы не видите, я занят, занят, занят...

— Вздор, вы все тут только бегаете на перегонки. Дергае-те несчастных кроликов за уши, вместо того, чтобы упорно работать над важными для народного хозяйства нашей великой страны проблемами в вашей лаборатории. Как вас зовут? Где ваша серебряная пуговица?

Лицо моего собеседника искажается яростью.

— Отстаньте от меня! Ничего я вам не скажу! Я кавалер бронзовой, слышите, бронзовой пуговицы! Спешу на семинар по искусственному интеллекту. У меня доклад. О том, какой походкой тараканы ходят. Они, знаете ли, вовсе не так глупы, как мы предполагаем. Хитрый народец, эти кукарачи.

...

Мне плохо тут, в коридоре. Японки давно исчезли, музыка замолкла, слышно только грубое шарканье ног о паркет. Клерки и дамы вызывают у меня отвращение. Жалобные взгляды обреченных кроликов терзают душу.

Я хочу возвратиться назад, в мою лабораторию...

Сяду за какой-нибудь стол... буду гладить его полированную поверхность... посмотрю еще раз на портреты, авось вспомню, кто на них изображен... убью время. А в шесть часов сдам ключи на вахту и побегу к метро. Там бесплатно пастилу раздают.

Но... как назло... не могу найти дверь в лабораторию. Все двери одинаковые. Без номеров и табличек.

Ищу, ищу... хожу, хожу...

Запыхался даже. Сердце защемило.

В отчаянии вхожу в первую попавшуюся дверь.

В огромной, похожей на вестибюль аэропорта, комнате стоят рядами маленькие кроватки для новорожденных. Между ними ходят медсестры. Где-то тут лежит и мой сынок. Младенцы ревут как морские львы на пирсе 39 в Сан-Франциско. Невоспитанные дети.

Медсестры бегут со всех сторон ко мне... они возмущены моим вторжением в их суверенные владения... Они вытягивают свои длинные руки, чтобы схватить меня... я вижу их кроваво-красные ногти... горящие ненавистью глаза...

Они кричат: В ступор! В ступор его! В ступор-ступор-ступор!

Где мой сын?

...

Захожу в другую комнату.

Час от часу не легче! Тут нет ни одного живого существа... только ванны...

Грязные, наполненные гадкой жидкостью... ванны.
Сотни, тысячи ванн.
Скоро их будут использовать вместо гробов. Доиграется
Европа.

Я опять в коридоре.

Еще одна дверь. Вхожу.

Что это? Церковь. Заброшенная. Готические своды кривятся. Какой-то святой стоит. Позолоченный. Безрукий. Мадонна без головы. Вместо Христа на Распятии — мертвая кошка.

На алтаре — жабы.

А позади алтаря — корабли, корабли... океанские лайнеры.

Их списали... вот они и столпились. Чтобы на прощание хором песенку спеть. Про то, как блондинка брюнетку обманула.

* * *

«Лаборатория» — это легкий, прозрачный текст. Почти что сон наяву.

Воспоминание трансформируется в нем в видение будущего. Домашняя, доступная каждому, прикладная мистика.

Написал я рассказ ночью, ровно за час, между двумя и тремя часами, так получилось случайно. Потом только поправил немного, не хотел менять канву, сюжет... потому что для меня — и уже давно — не интересен текст, который автор муржигит и переделывает месяцами или годами... Мне интересен результат эксперимента... плод спонтанной импровизации... что-то вроде дзен-буддистского озарения...

Потому что такой плод — свеж. Даже если текст написан на уже не раз пережеванном материале, как например этот. Все равно он — сюрприз для автора.

Сюрприз...

Что делает шпион, чтобы его не поймали? Приходит на вокзал — и садится в первый же попавшийся поезд. Выходит где-то, там, где никто не ожидает его появления. И садится на автобус. Какой-то автобус. Куда он едет, и сам не знает. Кроме того он — делает поступки, тоже спонтанные и потому трудно

предсказуемые. Ищейки сбиваются со следа. Потому что в его поведении, в его путешествиях — шпион не следует, как мы все, стандартным мотивациям.

Нечто подобное можно делать и при создании текста. Исключить, например, такие мотивации героя как деньги, себялюбие, суетность, глупость, похоть... или наоборот, сделать их гипертрофированными, невероятными... заставить его гадать, подкидывать монетку и метаться если не по земле, то хотя бы по метафизическим просторам, в делах и в мыслях... и творить черт знает что...

Цель пишущего должна быть — не просто удивить читателя или самого себя (что само по себе не плохо), а пробраться, сидя на шее у лирического героя, в такие миры, в которые рационально мыслящий человек никогда не попадет. Не может попасть. Добраться до «иррациональной сути жизни», не только существующей, но действующей... и не доступной рациональному познанию... Конечно, перебарщивать тут не надо... но в этом постоянном самоограничении — и есть смысл литературной работы...

ЧЕМОДАН

Без пятнадцати три ночи меня разбудил громкий стук в дверь.

Точно знаю, когда, потому что у меня прямо перед носом, на столике рядом с кроватью, — стоят электронные часы с крупными светящимися цифрами. Золотистыми. Но слегка отдающими в лиловое. Вообще-то это радиобудильник. Но я терпеть не могу музыку или новости слушать спронеся. Новости — гадость. Музыка — тоже. Особенно та, которую сейчас передают по радио. На двух оставшихся каналах. Я люблю просыпаться в тишине, поэтому радио я в будильнике отключил сразу и навсегда. И не жалею. Я, после того как проснусь, люблю сны вспоминать, даже записываю то, что не забыл, в специальную тетрадочку. Потому что мои сны — это единственная вещь на свете, которая меня еще удивляет и интересует. Все остальное — изо дня в день повторяющийся кошмар. Надоело пережёвывать одно и то же. Вставать, есть, тащить на себе день... бессмысленный день, не сулящий ничего хорошего.

А сны... они всегда новые... скурильные, забавные... как прежняя жизнь... как короткие существования предметов внутри сюрреалистических картин.

Как же жалко, что берлинские музеи разгромлены и разграблены воинствующими мусульманами и следующей за ними по пятам местной и восточноевропейской чернью! Мне не жалко второй уже раз сожженного здания Бундестага, черт с ним, с этим имперским монстром... мне жалко работы Клее и Эрнста, затоптанные ногами этих идиотов, мне жалко взорванного как когда-то Пальмира, Пергамского алтаря... объявленного салафитами вслед за Иоанном Богословом «престолом Сатаны».

Вставать не хотелось. В спальне было холодно, отопление не работало уже несколько лет. Хорошо еще электричество не выключают по ночам как раньше. И воду. Тело ломило, в вены кто-то впрыснул ртуть. А под язык положил свинцовую монету. Я приподнял голову, с трудом разлепил глаза и попытался определить, в какую дверь стучали. Квартирная, стальная дверь далеко от моей кровати, по ней, как громко ни колоти, я не проснусь. А дверь в спальню стеклянная, звучит по-другому.

Может быть, не в дверь стучали?

В окно что ли? На пятом этаже?

Черт возьми! Опять постучали. И как громко!

И еще... как будто кто-то глухо проорал что-то. Или пролаял.

Или прохрустел, как сухой песок, когда по нему солдаты идут в кирзовых сапогах.

Может быть, «ёжики» пришли... с обыском?

В конце октября в три часа ночи очень темно. Включить свет лежа я не мог, выключатель у торшера сломался, а я так и не собрался его починить.

Пришлось моргать, протирать глаза... массировать ступни и лодыжки... охать, ругаться.

...

Сел на кровати. Холодный пол обжег мне ноги.

Я увидел. И понял. Понял, в какую дверь стучали.

О, господи... Не во входную. И не в дверь спальни.

Стучали в жуткую, незнакомую мне дверь, которая, как иудейское надгробье возвышалась зловещим темным прямоугольником в трех метрах от меня. Дверь не в стене, а в дверной коробке, в раме. Посередине комнаты. На двери были отчетливо видны огненные буквы: Мене, мене, текел...

Откуда она тут взялась?

Фак!!!

Укусил себя за большой палец левой руки. Не помогло.

Закрыв глаза. Подождал с полминуты. Открыл. Дверь все еще тут. Надпись горит.

Прочитал короткую молитву, прокашлялся, выматерился на родном наречии.

И это не помогло.

Кто-то еще раз громко и властно постучал в эту дверь, не ведущую никуда.

...

Встал, подошел к двери.

Где тут были буквы? Пропали.

Тяжелая дверь. Обита позеленевшей медью. Похожа на дверь монастыря или старинного собора. Рама — из грубо обструганного дерева. Потрогал поверхность двери. Холодная и как будто гравированная.

И током бьет от нее.

Еще раз постучали. Дверь загремела как листовое железо, если по нему молотком шарахнуть. Глумливая надпись опять выступила на меди. Прямо перед моим носом.

Машинально спросил: Кто там?

В ответ услышал знакомый голос: Да открывай же скорее, тут так холодно! Шевелись, идиот, скотина, подонок! Я оторву тебе руки и откушу тебе голову, толстый ублюдок!

Голос был похож на голос моей многолетней сожительницы, Пьеры.

Только голос этот был глухой и страшный. Голос... как бы смешавшийся с треском ломающегося дерева... или ломающихся костей. Голос нашего впавшего в буйное помешательство времени.

А Пьера обычно говорила взвешенно, звонко и приветливо.

Дрожа от страха, заглянул за дверь. Никого.

Обе стороны двери были одинаковыми. Ни замков, ни ручек...

И тут... деревянная рама, в которой дверь висела на солидных бронзовых петлях, растаяла в воздухе, исчезла у меня на глазах... и я понял, что передо мной не дверь вовсе, а чемодан, поставленный на попа. Старомодный. С заклепками на углах. Большой, но не громадный. Обитый потрескавшейся кожей.

Сбоку у него была ручка и два латунных замка.

Голос Пьеры доносился изнутри чемодана.

Она хочет, чтобы я выпустил ее из западни. Понятно.

Ничего не понятно. Пьера умерла два года назад. Урну с ее прахом похоронили на кладбище, заросшем столетними елями. В Арнсфелде. Неделю назад я был на ее могиле. На велосипеде ездил. Ведь эс-бан давно не работает. Боялся, что по дороге подстрелят. Сейчас много всякой сволочи шатается по улицам с оружием. Людям нечего есть. Во всех больших городах участились случаи каннибализма. Европа непоправимо деградировала. Еще немного и конец.

Очистил могилу от пожелтевшей листвы и прикрыл еловыми ветками. Посидел несколько минут на пластиковом ведре, погрустил. И не слышал ни стука, ни голоса.

...

Включил верхний свет.

Легче от этого не стало. Чудовищный чемодан при электрическом свете выглядел еще чудовищнее. На его кожаных боках — были вытеснены жуткие сцены каких-то отвратительных ритуалов с человеческими жертвоприношениями. На крышке был изображен дьявол в пятиконечной звезде.

Крики, доносившиеся из его чрева не утихали, наоборот, казалось стали громче.

— Выпусти меня, выпусти, кретин! Тут холодно. Вороны выклевали мне глаза... я хочу посмотреть на тебя пустыми глазницами, любимый. Я хочу облизать тебе грудь, выгрызть тебе сердце и бросить его адским псам.

Брань эта обжигала мне душу как кипяток... заставляла вибрировать мои нервы.

Я боялся, что проснутся соседи, начнут звонить... вызовут полицию. Полицейские будут раздражены тем, что их потревожили из-за таких пустяков. Приедут, посмотрят на чемодан, послушают крики... и решат, что я — маньяк, запирающий женщин в чемоданах... Могут пристрелить на месте. С них станется.

Бред, бред, бред. Не может мертвая Пьера сидеть в чемодане и грозить выгрызть мне сердце. Живая Пьера со мной не ругалась и никогда не хотела причинить мне вред. Мы жили с ней душа в душу.

Может быть, вытащить этот чемодан на улицу и отнести его куда-нибудь, подальше от дома. Бросить в озеро? Например, в Малховерзее. Нет, не дотащу, далеко. И опасно.

Я ретировался в кухню, вскипятил воду. Съел бутерброд с маргарином и соленым турецким сыром, остатками былой роскоши. Выпил немного горячей воды. Посмотрел в окно. На нашей улице все было как обычно. Редкие бронированные машины проезжали под огромными тополями. Синие фонари не светили, а мерцали как глаза огромной кошки. Серые бетонные стены окрестных домов с ужасными следами от осколочных снарядов наводили тоску. На небе сияли четыре звезды. У мусорного ящика лежала бездомная цыганка. У нее в ногах, в зловонном тряпье копошились крысы. В полуразрушенном здании, в котором раньше помещался магазин КАЙЗЕР мелькали тени, там веселилась молодежь. Наверное кого-то избивали ногами.

Издали доносилась редкая стрельба.

...

Дверь, ставшая чемоданом...

Кто притащил эту дрянь ко мне в квартиру?

Кто сидит там, внутри, и стучит?

Неужели, действительно Пьера, тогда, двадцать пять лет назад, в год нашего знакомства, задолго до корейской войны, так похожая на Барбару Зукову? Моя милая Пьера, которую я так любил, с потерей которой до сих пор не смирился. С растрепанными волосами, маленькой грудью, синими глазами, пахнущей свежестью кожей и щемяще родной улыбкой. Вечная оптимистка и выдумщица. Душа любой компании. Моя радость и утешение.

Ожила до кремации? Ушла из морга. Потом вошла в чемодан, который сам собой оказался ночью в моей спальне?

А сожгли и похоронили вместо нее кого-то другого.

Абсурд.

Она умерла в Клинике Сана. В Лихтенберге. Я сам отвез ее туда.

Никогда не забуду ее последнего взгляда. Она уже не узнавала меня. Думала только о своей постаревшей полоумной

дочери, умудрившейся разбазарить за год доставшееся ей от отца наследство. Так и не вышла замуж. Курила марихуану и пропадала месяцами, бродила по стране с какими-то бродягами. Проституировала, воровала.

Пьера жалела дочь, чувствовала, что та долго не протянет.

Дочь пережила мать только на год. Случайно попала в уличную перестрелку. Ее тоже похоронили в Аренсфельде, в коллективной могиле.

Кто же стучит и кричит там, в чемодане, и просится наружу?

Открыть замки и выпустить?

А вдруг там не Пьера, а какой-нибудь, заблудившийся в других измерениях и материализовавшийся по ошибке у меня в спальне, космический упырь

...

Может быть все это наказание?

За что?

Как будто ты не знаешь, за что.

За то. За твою бесконечную ложь... за твои измены, обманы... за твою изворотливость... Пьера пыталась не замечать твои штучки... страдала. А ты делал вид, что все хорошо.

Двадцать пять лет ты пил кровь этой женщины, ты обобрал ее... любил, любил... на самом деле ты даже не хотел ее, а только использовал как куклу. Силиконовую секс-куклу. Говорящую, готовящую, стирающую, убирающуюся.

А когда она состарилась и превратилась в ворчливую, холодную и равнодушную к тебе старуху, ты даже желал ее смерти.

И вот она умерла, снова стала молодой и узнала от ангелов смерти правду. И из ее горечи и боли и соткался этот чертов чемодан. И демон в нем. Ты выпустишь его, а он тебе голову откусит.

Ладно, хватит юродствовать и фантазировать, надо что-то делать.

Взял себя в руки, стиснул зубы и направился в спальню.

Решительно подошел к чемодану, положил его на пол крышкой вверх и открыл замки.

Поднял крышку.

В чемодане лежали старые платья, юбки и блузки Пьеры. Новые забрала ее дочка после смерти матери.

Погладил пеструю материю... сердце сжалось от тоски... закрыл поскорее чемодан и отнес его в кладовку. Поставил на то место, где он стоял последние два года.

Лег спать без пяти четыре.

Долго не мог заснуть. Спрашивал себя: Зачем ты принес вчера в спальню чемодан со старым бельем и поставил его на попа?

Около пяти вспомнил.

Чемодан служил мне мишенью. Я нарисовал черным фломастером на его крышке смешную рожицу, карикатуру на давно почившую в бозе канцлершу, одну из главных виновниц катастрофы, и кидал в нее серебряные бусинки, оставшиеся от счастливых времен. Лежа в постели.

БАГРОВАЯ ПОЛОСА

Эту историю мне рассказал невзрачный, худенький, белобрысый старичок с смешной челкой... из русских немцев, с которым я познакомился в местном бассейне. Лет десять назад это было. Написал тогда, под впечатлением от его откровений, с полстранички текста... что-то вроде заготовки рассказа, «по мотивам», а потом листочек куда-то сунул. В книгу. У меня нет архива — ни бумажного, ни виртуального. Выбираю все, зачем копить мусор?

А сегодня... решил свою запись найти и, представьте, нашел... в «Разоблаченной Изиде» Блаватской. Зачем я эту старую запись искал? Вы будете смеяться. Вчера фильм посмотрел. Про ведьм. Напомнил мне фильм историю этого казахского немца. Захотелось кое-что проверить. Сравнить.

Изида... в Экибастузе. Бывают странные сближенья.

...

Не в хлорированной фиолетовой воде, и не в душе познакомился я с старичком, а в бассейновом кафе... после купания. Размялся слегка, поплавал... душа перестала болеть... захотелось пить и есть, решил съесть венскую сосиску и выпить безалкогольного пива.

Попросил разрешения сесть за его столик, остальные места были заняты наплававшимися до изнеможения пенсионерами-аборигенами. Он кивнул.

Почему я подсел к нему? Потому что узнал в нем выходца из бывшего СССР.

Мы, бывшие совки, сразу друг друга узнаем. Как? По выражению лица. И по фигуре. И по одежде. В лицах бывших граждан СССР, и в их фигурах, и даже в шмотках всегда есть какая-то потерянность... ущербность... тоска, вырождение или уродство, часто закамуфлированные наглостью, безвкусицей, тупым нахрапом.

Мой сосед по столику наглым не был. Одет был скромно. Хороший был видимо человек. От сохи. Трудяга. В СССР — безнадежный провинциал, в Германии — житель столицы. Но не дебилный, как многие другие... скорее занятный. И с сюрпризом. Впрочем, у кого нет сюрпризов в биографии? Только у того, кто их тщательно скрывает.

Не сговариваясь, чокнулись пивом в пластиковых стаканчиках... выпили. Тут он подмигнул мне заговорщицки и достал из кармана брюк маленькую бутылочку с синенькой этикеткой. Шнапс. Жестом предложил подлить в пиво. Объяснять мне ему ничего не хотелось. Я мигнул в ответ, взял у него бутылочку и капнул в свой стаканчик... капельку или две... показал на живот. Скорчил кислую мину. Больше, мол не могу. Он кивнул понимающе и вылил остаток себе в пиво. Заговорил со мной по-русски с ужасным казахским акцентом, воспроизвести который я не в состоянии.

Мы представились, звали моего нового знакомого — Витя... перешли на ты, немного позлословили, как это принято у стариков... Собеседник мой сходил еще за одним стаканчиком пива. Достал еще одну бутылочку. И еще одну. Запасливый.

Через полчаса пошли к остановке трамвая. Медленно. Я похрамывал, Витя слегка покачивался. Ехать нам нужно было в разные стороны. Вите — в Марцан, а мне — в Кёпеник, где я тогда жил со своей подругой.

Недалеко от остановки наткнулись на женщину. Старую, уродливую, то ли пьяную, то ли нанюхавшуюся чего-то. Она, неловко шатаясь, танцевала сама с собой на тротуаре. Пела и гадко гримасничала. Когда мы проходили мимо, женщина пристально на нас посмотрела, а потом несколько раз смачно плюнула в нашу сторону и пролаяла что-то. Наверное обругала «понаехавших отовсюду проклятых иностранцев». Немцы из бывшей ГДР тоже мгновенно узнают нашего брата, совчела... не даром прожили почти полвека под советским сапогом... они терпеть не могут «аусзидлеров», переселенцев из бывшего СССР, таких как мой новый знакомый, их агрессивных детей и их лузгающих семечки русских жен, а таких как я, «контингентных беженцев» и вовсе... загнали бы в газовую

камеру, будь на то их воля. Не любят они и западных немцев. Конечно не все бывшие гэдээровцы нас ненавидят. Может, только половина или треть... я статистики не знаю... но достаточно. На себе испытал.

Смехота! А западные немцы считают жителей «новых земель» людьми второго сорта. Говорят, с них нечего взять, кроме анализа.

Мерзко все это, но что поделаешь? Пожили и восточные и западные немцы восемьдесят лет без войны... разучились ценить мир и спокойствие... уважать других людей. А тут еще мусульмане понаехали... Началась плохо контролируемая властями эмиграция с Ближнего Востока. Германия потихоньку превращается в восточный базар. Вот коренные народы Европы и расплозились по национальным конюшням. Тянутся к корням... а они давно сгнили. Экстремисты сеют ненависть. Скоро урожай начнут собирать. Недаром сейчас столько фильмов про зомби показывают. Чувствуют будущее киношники.

Я сказал своему новому знакомому: Вот же ведьма! И по морде ее нельзя треснуть — срок могут дать.

Витя захихикал, поморгал, погладил челку... задумался... потом осмотрелся и предложил: Вон, там, где шиповник, лавочка в тени, пойдём, сядем, в ногах правды нет, и я расскажу тебе про настоящую ведьму. На помеле она летать не могла, но... Про тещу мою покойную. Ты, писатель, вставь ее, паскуду, в роман. Обморочила по полной.

Я согласился. Хотя терпеть не могу пьяных излишней бывших соотечественников. Рассказ о теще... что может быть банальнее? Я бы тоже мог много чего порассказать, да кому это нужно? Но домой не хотелось ехать... жара... на улице хоть дышалось легко, а дома — духота. Окна наши на солнечной стороне. В январе хорошо, светло, а летом — подохнуть можно. Привожу тут рассказ Вити как я его запомнил.

Ты смотрел на мир из окна своего московского кооператива, а я — из барака в рабочем поселке на окраине Экибастуза. Разницу чувствуешь? Родился я еще при жизни Усатого. В

спецпоселении. Школа, техникум, армия... В армии нас не трогали, уважали. Называли фашистами. После армии — работа. Солярка, машинное масло, железяки, резина... запарка вечная... нервотрепка... травмы.

В свое удовольствие пожить мне на родине так и не пришлось. Колючая там была жизнь, ядовитая... И злая. Зато тут раздолье... только сколько оно еще продлится, раздолье-то.

В семидесятых я на разрезе работал. Бульдозера чинил. Зарабатывал неплохо. Пил, конечно. Как все. Потом влюбился и пить перестал. В Натку. Учительницей работала. Русского языка и литературы. Умница. Скромная такая. И застенчивая. Но с характером. Сделал предложение. Женился. Жила Натка в рабочем общежитии — потому что с мамашей своей, Таисией Петровной, вдовой бывшего директора разреза, не ладила. Работала Таисия Петровна на полставки бухгалтером...

Ну, поженились мы, а жить-то негде. В рабочем общежитии — срач. В родительском бараке — один туалет на сорок человек. Алкаши, уркаганы и синюхи. Хотели комнату снимать. Но Таисия настояла на том, чтобы мы у нее поселились. После смерти мужа Таисию с дочкой из их трехкомнатной квартиры выперли. Дали двухкомнатную. С проходной комнатой, большой кухней и балконом.

Не могу без моей лебедушки... милые дети, я вас буду холить-лелеять, как у Христа за пазухой жить будете... Все бредуха, ведьмачка.

Натка согласилась, а я... Что я был такое? Пацан.

Таисия спала в большой проходной комнате, а мы ютились в крохотной спальне, в которой только кровать да небольшой шкафчик помещались. Но мы и тому были несказанно рады. Своя комната! Хоть и рядом с тещей.

Отношения мои с тещей были нормальными. Не сердечными, но так... вроде все путем. Я помогал в хозяйстве. Если что принести, починить... Отдавал зарплату жене. Не пил. Не курил. Зубы три раза в день чистил зубным порошком. Руки только не мог отмыть... Но ногти стриг регулярно. Старался быть приветливым. А теща мне глазки строила, по плечу похлопывала, хвалила меня, когда гости приходили. У меня зятек — лучше всех! Без пяти минут начальник участка. Тоже врал.

И готовила вкусно. Не старая была еще баба. Лет сорока пяти. Полненькая. В самом соку.

Жили бы и не тужили, если бы не одна, как теперь говорят, — загогулина. Трудно мне об этом рассказывать, но мы с тобой не дети... скоро в могилу, чего стесняться-то. Милая моя была невинная девушка, а я — неопытный молодой дурак. Короче, в постели... ничего у меня не получалось. Не мог я сделать жену женщиной. Позорище.

Начинаю член вводить, и все вроде не туда... ей больно... невтерпеж.

Я горячий был и нетерпеливый... думал, я муж плохой, не могу жену возбудить, чтобы она там мышцы не сжимала как десятитонный пресс.

Натка в крик. Теща в дверь стучится. Наташенька, что с тобой?

А жена — в слезы.

Раз двадцать так было, я отчаялся...

Консультировался в урологии, с главврачом беседовал. Описал ему все. Он меня осмотрел. Сказал, такое бывает и иногда влечет за собой трагические последствия. Если поторопиться, значит, и дырку силой пробить... женщина может от кровотечения умереть. Бывали случаи. Запугал меня. Я решил Наташку не трогать.

А как же жить? Зачем женился?

Расписались мы в июне. А в июле Наташку в командировку послали. В Целиноград. На курсы повышения квалификации. В понедельник уехала. На две недели. А я стало быть один на один с тещей остался.

Первые дни все было как всегда. Я приходил с работы, принимал душ, Таисия меня кормила. Я смотрел телевизор, и в спальню уходил.

А в четверг... пришел я с работы поздно, усталый, злой, голодный. Думал теща уже спит, ан нет... ждет меня. Какая-то возбужденная. Щеки красные... вся лоснится и сверкает как яблочко. Покормила меня голубцами... рюмку налила белой... включила телевизор. Что-то веселое показывали, КВН что ли... нет, не КВН. Запретили уже. Забыл, что. А сама

мыться ушла. Я сижу на диване, смотрю одним глазом телек, а другим сплю. Долго мылась теща. Вышла наконец из ванной комнаты. В халате, на босу ногу. Волосы кудрявые распустила. Груды — гора. Губы — как гранаты. Ресницы черные, а тени над глазами — синие. В общем, в полной боевой готовности баба. Сфинкс. Только на холеной полной шее — полоса багровая...

Села рядом со мной на диван. Улыбнулась... засмеялась... звонко так. Ресницами хлопнула. Посмотрела на меня как рысь.

А затем... халат расстегнула. Верхние пуговицы. И встряхнулась как молодая кобылица. Правая грудь ее вылезла из халата.

Я увидел розовый сосок правильной формы. Как-будто мастер выточил на токарном станке. А на конце соска — сверкнула капелька... молока или меда. И так меня к нему потянуло, что я... даром что стеснительный... положил голову теще на колени, схватил сосок жадными горячими губами и давай сосать. Она меня не оттолкнула. Набрался храбрости, вынул из халата и другую ее грудь и начал мять.

А через несколько минут я лежал на Таисии. В нашей с Наташкой супружеской постели.

Изъезженная была кобылка. Масляная. Муж-начальник постарался или кто ему помог, не знаю. Кончил я скоро. Но не остановился, а пошел по второму кругу. Безумствовал просто на бабе и ревел как носорог. Все сладкие радости, которые я с Наташкой не смог получить, все, все получил сполна. Заснули под утро. Таисия Петровна рядом со мной спала... тихо... как кошечка уютная.

В пятницу я на работу не пошел.

Три дня мы из постели не вылезали. В понедельник поехал на разрез. Возился с тормозами... а думал только о теще, о ее грудях, плечах и курчавых волосиках на лобке. О Наташке вообще забыл. Забыл о том, что женат.

Тело мое радовалось, сердце — как будто в солнечных лучах купалось. Обезумел вконец. Обворожила, ведьма. Вконец обворожила.

В следующую субботу Наташка из командировки приехала. Ждали ее вечером, а она утром заявила. Соскучилась, милая, вбежала в нашу спальню, хотела мужа обнять... а он на ее матери лежит. Голый на голой. Стонет и кончает.

Наташка — в обморок. Упала, повредила голову...

Умерла она через три дня в больнице. Внутреннее кровоизлияние произошло. Трепанацию сделали, да неудачно.

А я... даже не расстроился, когда узнал. Все плакали, я не плакал.

В ночь после похорон мы с Таисией совокуплялись как бешеные. Уморились. Заснули.

И снится мне сон. Будто сижу я в комнате Наташки в рабочем общежитии. На застеленной койке. А она со мной рядом сидит. И что-то смешное мне рассказывает. Анекдот какой-то. А потом головку потупила так и говорит печально: Ты должен знать. Папа мой умер пять лет назад, а мать, после того, как узнала, что нас из казенной квартиры выселяют, повесилась. В спальне. Привязала бельевую веревку к люстре. Так что, реши сам, возьмешь ли в жены дочь удушенной.

И вот... ты не поверишь конечно... я вдруг понимаю, что не сон это, а явь!

Что не было у меня ничего с Таисией. И быть не могло. Обворожила, мертвячка. С того света.

Ладно. Мне пора, пойду, старушка моя небось меня ждалась.

ПАНТЕРА В КРЕСЛЕ

Несколько лет назад я начал замечать, что со мной происходит что-то странное, необъяснимое. Нет, я еще не впал в маразм... хотя, кто знает.

Помню, один умный врач в популярной передаче о старческом слабоумии поучал публику так: У каждого человека рано или поздно портятся мозги, изменяется поведение. Люди начинают дурить... Из-за курения, алкоголя, неправильного питания, загрязнения окружающей среды, стресса... и просто от старости. Но проявляется это — поначалу — у всех по-разному. Природа бьет каждого человека в его слабое место... дурак становится еще глупее, злой может стать убийцей, умный становится раздражительным, педантичным, придирчивым, ипохондрик — делается еще беспокойнее, подозрительнее... а фантазер — так глубоко погружается в свои фантазии, что зачастую не может найти дорогу назад, в реальность.

Что-то подобное начало происходить и со мной, я сделался — неожиданно для самого себя — страшно суеверным, начал загадывать... видеть вещи, которые другие не видят, мои отношения к неодушевленным предметам стали... явно ненормальными.

...

Например...

У нас в кухне рядом с кухонным столом стоят два стула. Один у окна — на нем обычно сижу я. Другой — у тумбочки с хлебницей. На нем сидит моя жена. За завтраком или обедом. Ужинаем мы обычно в гостиной, смотрим телевизор... В кухне у нас — два кухонных полотенца. Одно простое, матерчатое, для посуды, другое толстое, махровое, для рук. Полотенца эти — мы вешаем на пластиковые спинки стульев, чтобы они там сохли. Так вот... жена моя вешает полотенца произвольно, без

системы. А я — вешаю простое полотенце на свой стул, а махровое — на стул жены. Для меня это очень важно! Часто захожу в кухню, чтобы проверить, правильно ли висят полотенца. Если неправильно — перевешиваю. Потому что, если полотенца висят «правильно», то «все будет еще долго-долго хорошо», а если «неправильно», то «очень плохо». Я заболел и умру. Или в наш дом ударит комета. Или начнется атомная война. И это безумие — с полотенцами — продолжается уже года три. Сколько раз я пытался уговорить самого себя перестать перевешивать полотенца — все без толку, это сильнее меня.

Еще один пример... когда я вынимаю из большой коробки пачку пипеток-баллончиков с искусственными слезами — то стараюсь брать ее из середины коробки, не отдавая никаким пачкам предпочтения, чтобы оставшиеся в коробке — не обиделись и не повлияли как-то негативно на мою жизнь. То же самое я проделываю и с карандашами и шариковыми ручками, вынимая карандаш или шариковую ручку из большой кучи карандашей и ручек, лежащей на книжной полке. И пипетки и карандаши и шариковые ручки нередко превращаются — прямо у меня в руках — в живые куколочки с забавными головками и кланяются мне как старому знакомому.

А чайные ложки... да... лучше и не упоминать, во что они превращаются...

Я беру чайную ложечку из ящичка — наугад... какая попадется, такую и беру. И тут же кладу ее назад и беру другую. Потому что — первую попавшуюся брать нельзя. Она испортит чай или кофе. Или укусит меня за палец. Ох уж эти первые...

Непростые отношения сложились у меня и с зимними куртками и ботинками. Я почему-то уверен, что большая зеленая куртка — у нее большая, круглая, похожая на подсолнух голова и длинные плоские ноги — меня не любит, и надеваю ее редко, только в сильный дождь... потому что не хочу причинять кислой дождевой водой вред моей любимой, синей куртке с капюшоном, улыбающейся мне так, как улыбается нам иногда проходящая мимо нас незнакомка, она заботится обо мне даже в летнее время, когда безнадежно одиноко висит в шкафу в моей второй квартире, в которую я заглядываю

не часто... потому что ее почти пустое пространство способно превратить меня в яблоко. Об этом мне рассказала шарообразная люстра из матового шведского стекла, висящая во второй квартире, мой старинный шпион и соглядатай. А я люстрам верю, хотя и не всем.

С ботинками — та же история. Некоторые мне жмут, другие, наоборот, разношены и могут соскользнуть с ноги — но это не важно. А важно то, что старые коричневые полуботинки, вечные ворчуны и сторонники теории заговора, десять лет назад добились — предполагаю, что доносами и наговорами, недаром они по ночам бьют чечётку — того, что берлинский Сенат так и не дал мне писательскую стипендию. Каждый раз, когда я вынимаю их из обувного шкафа, они смеются над мной. Недобро, презрительно. И заводят разговор о стипендии...

А мои черные ботинки с прямоугольными носами — честные работяги, доброжелательные и дружелюбные. Хотя и слегка туповатые. Как и их носы. По ночам они спят и похрапывают. И видят во сне прекрасную Лигурию. Я знаю, они терпеть не могут собак, и не позволяю собакам их обнюхивать. Если собака доберется до моих черных ботинок с прямоугольными носами, то сразу же испортит их характер. Один черт знает, чем это кончится. Черт этот заперт внутри моей второй шарообразной люстры, которая висит недалеко от первой. Поэтому в ней так часто перегорает лампочка. Когда я ношу ботинки с прямоугольными носами, очень удобные и теплые ботинки, — мне приходится внимательно смотреть по сторонам, чтобы вовремя перейти на другую сторону улицы, если завизжу собаку, ковыляющую мне навстречу.

...

Перечисление всех подобных... странностей... заняло бы по крайней мере сорок страниц текста... Не хочу утомлять читателя. Расскажу только одну поучительную историю.

Пару лет назад дочь кухни моей жены от первого брака подарила нам плюшевую игрушку... северного оленя. Азиатский дизайнер этого монструозного творения, видимо, не знал, как выглядят настоящие северные олени, и не удосу-

жился посмотреть в интернете. Поэтому Боб, как я окрестил оленя, получился похожим скорее на смесь совы и футляра для смартфона, чем на четвероногое животное, впряженное в сани Санта Клауса, развозящего подарки для детворы. Тело у Боба маленькое, зато голова — непропорционально большая и уродливая. Украшают ее плюшевые рога, похожие на кружевное печенье и огромные совиные оранжевые глаза. Очень выразительные и почти живые.

Не знаю, почему, но я сразу почувствовал, что плюшевый Боб, несмотря на его уродливость и незначительность — наш друг и спаситель, и сыграет в будущем какую-то важную роль в моей жизни и в жизни моей жены, по национальности пуэрториканки. Не даром пуэрториканцы очень уважают северных оленей.

Примерно в то же время в нашем районе участились семейные драмы и взломы квартир.

В богатых районах Берлина — в Митте, Далеме и Ванзее дома и квартиры грабят постоянно и часто. Потому что там есть, чем поживиться. У многих богачей дома — сейфы, набитые наличными, которые грабители научились выдирать из бетонных стен, фамильные драгоценности, дорогие шмотки, которые легко загнать, электроника, персидские ковры, антиквариат... Там «работают» хорошо организованные банды из Румынии, Болгарии, Чехии и других стран. А семейные драмы часто происходят из-за трудностей в разделе имущества.

К нам, в бедный, еще в гэдээровские времена построенный Марцан профессионалы заглядывали раньше редко — потому что взять у тутошнего населения нечего. И драм никаких не бывает. К тому же можно нарваться на яростное сопротивление. Но со временем ситуация изменилась. К худшему. В Берлин приехали десятки тысяч агрессивных бедняков из Оrientsа и Оксидентa, а также из стран, которых не знают даже собиратели марок... да и многие туземцы опустили в последние десятилетие по социальной лестнице... и не прочь поживиться чужим добром.

Так что грабители, как и высокие цены на жилье, добрались и до Марцана.

Домушники ломали входные двери или спускались по веревочной лестнице с крыш на балконы... запугивали и связывали жильцов, в их рты вставляли кляпы, а потом, не торопясь, собирали все, что представляло хоть какую-то ценность, набивали свои огромные сумки, тачки и чемоданы и уходили. Иногда — выбивали зубы упрямам, которые не хотели рассказывать, где хранят деньги, а иногда и зверствовали... просто так, для удовлетворения своих низменных инстинктов.

Жители Марцана укрепляли двери и окна, увлеченно занимались самопознанием, жаловались в ООН, европейскую комиссию по правам человека, в полицию и берлинский земельный парламент, пытались организовать что-то вроде добровольной народной дружины, но все это не помогло. Полиции и политикам было все равно, они были заняты рыбной ловлей, а в дружинники никто не хотел идти. Даже праворадикальные бульдоги из питомника.

Я тоже боялся, что к нам вломятся. Ни денег, ни драгоценностей у нас не было, а то, что было — семейное барахло и старенький компьютер — грабителей явно бы не заинтересовало... но я боялся физического насилия... защитить себя мы с женой не могли, оба были дряхлые и старые, оружия у нас нет.

Поэтому все надежды я возложил на Боба. На маленькую уродливую плюшевую игрушку. Каждый вечер, перед тем, как идти спать, я гладил Боба, пристально смотрел в его совиные глаза, три раза целовал в нос, один раз в брюшко и еще раз — в правую верхнюю лапу... и при этом произносил следующую мантру: Боб, мы тебя так любим, спаси нас от несчастья, защити, помоги! Кроме тебя, никто нам не поможет!

Я понимал, до какой степени это глупо. Но, какие бы глупости мы ни делали, в какое бы безумие ни впадали — повторение, периодичность, гармоничность колебаний сумасшествия... превращает абсурдный ритуал в некое подобие религии... Разговоры с Бобом — как церковная служба истово верующему — дарили мне утешение и уменьшали страх быть ограбленным и замученным мерзавцами.

Судьба щадила нас довольно долго.

Но... однажды ночью воры сломали нашу балконную дверь и вошли в квартиру.

Мы с женой уже спали. Жена слышит неважно и спит крепко, особенно, когда ей снятся ульи с пчелами, я сплю очень чутко и слышу хорошо. А пчел — кстати — терпеть не могу.

Меня разбудили несколько неприятных щелчков и характерный, как бы зубовой, скрежет из гостиной.

Встал, накинул халат, вышел на цыпочках в коридор, нашел там ошупью тяжелую деревянную дубину, похожую на бейсбольную биту, с отпиленным концом, в гэдээровские времена использовавшуюся для утрамбовывания капусты в процессе квашения... подождал немного, прислушался, убедился, что кто-то ходит в гостиной... собирает вещички... постарался набраться мужества и разозлиться... но так и не разозлился... глубоко вздохнул и вошел в гостиную, занеся над головой свое оружие. Готов был проломить ворами их гнусные черепа.

Но в гостиной никого не было. Так мне, по крайней мере, показалось... только два пластиковых слоника, пыхтя, бодали друг друга широкими лбами на комод.

Включил верхний свет... в гостиной все-таки был вор... один... мальчик лет шестнадцати. По виду — цыган. Кудрявый. Плохо одетый. Худой, грязный и жалкий.

Он лежал на полу, скрючившись и закрыв руками глаза, бормотал что-то на своем наречии и трясся. Рядом с ним валялась сумка для добычи. Из нее выглядывали зеленая богемская стеклянная вазочка и фигурка обнаженной негритянки из эбенового дерева. Негритянка вежливо поздоровалась и кокетливо потрясла тяжелым эбеновым бюстом.

Фигурку эту я купил с полгода назад за двадцать евро на блошином рынке. А ваза стоила и того меньше. Кто-то когда-то подарил ее жене. Цветы в нее мы не ставили, потому что она нас об этом попросила как-то после фуршета.

Недалеко от лежащего на паркете вора, на спинке кожаного итальянского кресла, купленного в Ирландии после прекращения террористической войны — восседал Боб и буравил вора своими жуткими оранжевыми глазами.

Я сфотографировал эту одиозную сцену мобильником и позвонил в полицию.

...

Через неделю мне позвонили из полиции и попросили прийти, чтобы подписать какие-то бумаги. Ужасно не хотелось туда тащиться... Но с немецкой полицией шутки плохи, к тому же меня терзало любопытство. Хотелось узнать, что же, черт возьми, случилось в нашей гостинной.

После выполнения всех формальностей, принятия торжественных обещаний и линейки я спросил об этом у неприветливого деревянного усача-полицейского, говорившего со мной таким тоном, как будто это я был вором-домушником, ограбившим чью-то квартиру.

Усач ядовито усмехнулся, покряхтел, как старый шкаф, и сказал сиплым голосом сифилитика: Вам повезло. Паренек имел с собой не только ломик для взлома, но и нож с лезвием в двадцать пять сантиметров длиной. На улице его наверняка ждали дружки. Постарше и посильнее его. В соседнем доме три недели назад ограбили двух пенсионеров... а перед тем, как уйти, вспороли им животы и отрезали гениталии... Сейчас идет проверка, не ваш ли кудрявый паренек с сумочкой это сделал... Личность его установить пока не удалось. Скорее всего, он член кочующей по Европе банды румынских или молдавских цыган... Представляете, кто-то выжег ему кислотой подушечки пальцев, чтобы отпечатки не оставлял. Вы спрашиваете, что его остановило? Не знаю. Чего-то он испугался. До смерти. На допросе отнекивался и плел чепуху...

Полицейский вздохнул, высморкался, брезгливо порылся в бумагах, открыл какую-то папку, достал из нее исписанный от руки листок и продолжил: Цитирую перевод... Неожиданно я увидел перед собой крупного хищного зверя, ягуара... нет, пантеру, сидящую в кресле. Я хорошо разглядел ее ощерен-

ную пасть с красными клыками и когти на лапах... Она смотрела на меня ужасными оранжевыми глазами, рычала и готова была броситься на меня и растерзать...

...

На обратном пути я зашел в магазин игрушек и купил Бобу подружку — плюшевую зайчиху китайского производства. С совиными глазами.

Когда кассирша протянула мне сдачу — мелочь и десятиевровую купюру — сердце мое ушло в пятки, потому что я увидел на ней женщину с страшным собачьим лицом, выглядывающую из романского церковного портала. Попросил кассиршу дать мне другую купюру. Кассирша недоуменно посмотрела на меня, а потом неохотно выдала мне две пятиевровые бумажки.

СИНИЕ ПЯТНА

Собирая в мировой паутине материал для рассказа и случайно наткнулся на статью неизвестного мне российского автора «Загадочное убийство отца Александра Меня. Четверть века спустя». Рядом с этим материалом помещались тексты того же автора о Лох-Несском чудовище, обезьяне де Луа и о Кровавом навете.

Ага, подумал, убийство священника за год до путча попало в путинской России в рубрику «Удивительное и невероятное».

Поискал, порылся.

Не так уже много сообщений на тему. В основном — пережевывание «сионистской» и «антисемитской» версий. Удивился — сколько же в Интернете страниц, на которых всячески поносят Меня. Патриоты отечества, хоругвеносцы, блюстители чистоты православия, фашиствующие.

Прочитал текст Сергея Бычкова «Хроника нераскрытого убийства», написанный сочувственно по отношению к Меню и его миссии и критически по отношению к следствию. И с многочисленными богословскими вставками. И тут же обнаружил ссылки на обвинения самого Бычкова... в стукачестве. Якобы он был послан в приход на Малой Деревне кураторами из конторы глубокого бурения. И Меню знал, что он сексот. И все бычковское «богословие» — только надерганные из проповедей и текстов Меня цитаты.

Куда ни плюнь в нашем советском прошлом — попадешь или в стукача, или в палача, или в вора, или в активиста-идиота, или в их жертву.

Вспомнил, как неожиданно тяжело стало на душе, когда узнал о расправе над отцом Александром.

Вначале разделались с человеком, затем замутили воду, сознательно увели следствие в тупик, много раз пытались свалить вину на невиновных, а в конце концов дело закрыли. И поставили его на одну полку рядом с обезьяной де Луа.

И еще вспомнил об одном разговоре.

...

Был у меня знакомый. Кандидат каких-то паршивых наук. Звали его Паша. Фамилию его я не помню. Москвич, родом из Хабаровска или Барнаула. Худющий и длинный как Останкинская башня. Немного уродливый, но добрый. С треугольной челюстью и с бородавками на впалых, небритых щеках. Бородавки эти видимо чесались, и Паша украдкой их почесывал. Когда он это делал, я отводил глаза.

Из своего института-университета Паша уволился как и многие другие в конце перестройки. Глупо было сидеть в душевной лаборатории или протирать штаны на засиженной мухами кафедре, когда мир вокруг стремительно менялся. Как и другие искал себе новое место под солнцем. В промежуточный период приторговывал «для пропитания туловища» спиртным сомнительного происхождения и качества в продуктовом киоске на Речном вокзале, принадлежащем соседу по лестничной клетке Чингизу, по происхождению азербайджанцу. Говорил про него так: Чингисхан жизнь знает, за копейку не убьет.

Я ему отвечал: А за рубль убьет?

— За рубль может. Сам руки пачкать не будет. Кореша у него крутые как Скалистые горы. Голову могут отвинтить, если что.

— А ты не боишься?

— А чего мне бояться. Я не ворую. Не пью. В карты не играю. Чингиз — мой друган с армейских времен. Я ему жизнь спас на полигоне в Жуковке, он для меня пойдет на все.

...

Жена Паши, Липа, нигде не работала. Только усиленно занималась своим духовным развитием. Читала взхлеб «Добротолюбие». Детей у них не было.

Был Паша действительно не пьющий. И не глупый. И не пассивный. Но странный...

Что-то было в нем не так. Сила и слабость, казалось, не смотря на возраст, не нашли в нем компромисса и все еще сражались за первенство в его душе.

А Липа, окончившая биофак МГУ и отпахавшая двенадцать лет в закрытой биохимической лаборатории на бывшем Острове Возрождения в Аральском море, — была еще страннее. Может, яду там какого надышалась или мутировавшую сибирскую язву на себе попробовала?

Да, что-то было и в Паше и в Липе особенное, но в то же время типичное, национальное, такое знакомое, родное, русское.

Юродство? Наверное.

Не такое, конечно, как во времена Ивана Грозного, с веригами и погремушками, а современное, с пирсингом на гениталиях (о чем мне, смущаясь, как-то рассказал Паша).

Принадлежали они вроде бы к интеллигенции. Паша — во втором поколении, Липа — в третьем, оба были разочарованы в науке, мироздании и в самих себе. Компенсировали они это разочарование с помощью православия. И интеллигентность их как-то незаметно для них скукожилась.

Липа ездила в Пушкино, в Сретенскую церковь, в ту самую, где тогда еще служил отец Александр.

А Паша пел по выходным и церковным праздникам в хоре Силушской Ново-Петровской церкви, где мы с ним и познакомились. Пел басом. Красиво и правильно. А научили его петь в детском хоре Дворца Пионеров на Ленинских горах. В шестидесятых годах.

...

Однажды шли мы с ним после службы к автобусной остановке.

Жарко было. И пыльно. Начало августа.

Асфальт за день накалился и заливал все вокруг волнами жара.

Паша, обычно скупой на слова, пожевал, гримасничая, своей жуткой треугольной челюстью травинку, почесал бородавки на щеках и вдруг заговорил. Как бы с надрывом.

— Понимаешь, у меня тут такое дело. В семье. Мелодрама. Липа, жена моя... влюбилась по уши. В этого всезнайку. Отца Александра. Только о нем дома и говорит. Краснеет, бледнеет, трясется, плачет. Последние сбережения на его книги потратили. Сидит весь день и читает. Говорит: После «Добротолубия» книги отца Александра — как освобождение из плена. Подчеркивает что-то, умиляется, как будто соловьев слушает весной. По лесу бродит, собирает ему ягоды и грибы. Носки ему связала. С крестиками. Приворожил ее этот еврей.

— Ты сам-то его видел?

— Видел, видел. Складно толкует толстогуб. И глазами и мыслями блистает. И кудрями ухоженными картинно потряхивает. Только не нужны мне ни кудри, ни глаза его масляные, ни такие же мысли.

— Потерпи, пройдет. Как влюбилась, так и разлюбит. Вокруг него, сам знаешь, этих гениев чистой красоты из Малаховки и с Юго-Западной — пруд пруди.

— Знаю. Полгода уже мается баба. Несколько раз уже он ее особой аудиенцией осчастлививал, в отдельной от церкви сараюхе, там у него вроде как кабинет. Что они там делали? Со мной Липа больше не спит, в другой комнате по ночам мечтает. Ты мне все равно не поверишь. Она ребенка задумала родить. От Меня. Да не простого, а самого Христа.

— Как так Христа? С катушек съехала?

— Вот так. Да, съехала. От любви одурела. Непостижимо! Моя жена хочет переспать с попом, зачать от него и родить Спасителя. И всячески себя к этому готовит. Старается жить чисто, не хулит никого, исповедуется истово, причащается часто, милостыню подает, мяса не ест, молока не пьет, телевизор не смотрит, горячей водой не пользуется, не красится, брюки не носит, молится Богу, просит его, чтобы у нее родился младенец Христос.

— Ну а ты... что? Волхвов уже проинформировал, чтобы подарки готовили?

— Не до шуток мне. Что я могу сделать? Со мной она нормально, как жена, больше не разговаривает, только умоляет, просит и цитатами сыплет. На колени встает, ноги мне целует.

Пашенька-Пашенька, роднюшенька, потерпи, прости, милый, я должна очиститься, чтобы зачать в себе божественного младенчика от святого человека. А потом мы будем его растить. Буду тебе верна, как Мария — Иосифу. Все навестаем. А мой сын изменит этот греховный мир. Ибо сказано: И придет Сын Человеческий во славе Отца своего с ангелами своими. И соберутся перед ним все народы. И поставит овец по правую сторону, а козлов — по левую. Овцы наследуют Царство, а козлы — огонь вечный. Я все знаю теперь. Чувствую предназначение. Знаю, как загладить вину перед людьми. За то, что делала там, на Бархане, в гнезде сатаны. Мне было видение.

— Ты про видение ее расспрашивал?

— Долго не хотела открывать. Потом смилостивилась. Оказывается, видение посетило ее под Новгородом, на Чистом озере, что у деревни Ванюши. Ездили мы туда на отдых прошлым летом. Купались. Я рыбачил, Липа по окрестностям моталась. Комнату снимали в избе у колхозницы. На озере этом святом... там такое творится! Бабки и молодухи с детьми туда со всей России приезжают. И голые в воду лезут. Ты это должен раз в жизни увидеть. Изуверы! Фанатики! Бабки сиськами отвислыми трясут... в транс впадают, голосят, молодухи кликушествуют. Дети голые и смурные мужики на все это смотрят. Русское порно. Излечиться хотят. От хворей. И еще бог знает от чего. А к Липе там с неба архангел Гавриил спустился. Прямо как на софринской иконке. С лилией в руке. Сладкий как торт. И объявил благую весть.

— Радуйся, благодатная, благословенна ты между женами?

— Именно так.

— Не оригинально! Ты ее к психиатру не водил? У меня есть знакомый врач, ушлый такой грузин, могу дать телефон.

— Не верю я советской психиатрии. Сам отлежал три месяца в дурке. Галлюцинации видел. Ежов ко мне по ночам приходил — меня терзать. Еле оклемался. Загубят бабу. А мне ее жалко. Я ее люблю и хочу с ней дальше жить. Вот я и подумал. Ты человек рассудительный, авторитетный, Меня знаешь лично. Может ты с ней поговоришь? Или с ним? Чтобы он мозги ей прочистил. Раз и навсегда.

— Меня я лично не знаю. Видел его, конечно, слышал. Даже один раз ему возразил. Но просить его... Тебе лучше самому к нему обратиться, честно все рассказать и попросить повлиять на Липу. А я тут — третий лишний. Точнее — четвертый. Но поговорить с твоей женой я конечно могу. Только вряд ли она меня послушает. Если ей сам архангел Гавриил являлся.

— Знаешь, меня иногда такое зло берет. Жили мы душа в душу. А теперь... Всю жизнь нам этот длинногривый отравил своим ядом. Так бы и пришиб красавца. Купил вот недавно топорик для рубки мяса. Хрястнул бы его им прямо в умный лоб. Чтобы мозги потекли по роже.

— Брось, Паша. Ты же верующий. Нельзя душу живую губить. Жалко. Посадят или расстреляют.

— А что мне терять? Он мне жизнь загубил, вражина. И не заметил даже. Порублю гада.

Паша сжал кулаки, заскрипел зубами, затрясся и зарыдал. Страшно, как пес. Весь почернел от горя, бедняга.

В автобусе мы молчали. У Речного вокзала разошлись. Паша в свой киоск пошел, а я домой поехал.

...

О гибели Меня я узнал от моего друга, Сержа. В воскресенье, вечером, в день убийства. Серж, по иронии судьбы, брал субботу у отца Александра интервью для испанской газеты. Говорил, что Меня был «как всегда умен и остер, но иногда задумывался и мрачнел».

Это было последнее интервью Меня. Сержа это физически возбуждало, он бойко и жадно перечислял возможные версии. Размышлял о том, кого контора позже назначит убийцей священника.

А другой мой друг, Алеша, заметил: Смею вас заверить, друзья, настоящего убийцу Меня не найдут никогда. Так, как не нашли убийцу Богатырева. Отца Александра убили, чтобы всех нас запугать. Убрать сильного, активного, талантливого еврея из русского мира. Чтобы правящие нами мрази и сановные попы не бесились, когда он по телевизору выступает. А с Лубянки

были убийцы или из Данилова монастыря, в погонах или в рясе — не важно, ведь КГБ и верхний этаж Московского Патриархата это только разные побеги от одного и того же корня.

Мы помянули покойного и занялись закуской.

Застолье закончилось около полуночи.

А заснул я только около двух часов. Ворочался, нервничал, переживал. Нет, не из-за Меня. Я тогда настраивал себя на отъезд из страны. Окончательный и бесповоротный. Давалось мне это не легко. В голове у меня постоянно звучали аккорды из последней, неоконченной, симфонии Малера. Адажио. Готовился торжественно пересечь границу миров. Пройти сквозь звездные ворота. И не смотреть назад.

Этот пункт программы мне выполнить не удалось. Поэтому половина моих рассказов состоит из соли гоморрского столба.

...

Через несколько дней после убийства отца Александра позвонил Паше. Хотел убедиться, что он в этом черном деле не участвовал.

Никто не подошел. Звонил ему еще раз двадцать. Пять дней. Безрезультатно. А через неделю поехал на Речной по своим делам. Надо было кое-кого посетить перед отъездом. Отдать старый долг. Решил заглянуть в киоск, где Паша водкой торговал, обнять его на прощание и передать привет Липе.

Искал киоск, искал, но так не нашел! Там, где раньше стоял киоск — ничего не было. Пустое место. Асфальт и синие пятна на нем. С неприятными разводами.

Долго уговаривал чернявого продавца-нацмена из соседнего книжного рассказать, что стало с торговой точкой Чингиза. Тот отнекивался. Предлагал мне купить книгу. А потом, когда понял, что я не отстану, поманил меня и взволнованно прошептал на ухо: Приехали какие-то пиджаки с бульдозером. Чингиза и Пашу вывели с мешками на голове и в черную волгу посадили. Больше их никто не видел. Киоск сломали. Обломки увезли. Даже продукцию поленились вынести. Водка из разбитых бутылок во все стороны разлилась. Осколки стекла мы сами убрали. Нам сказали, чтобы мы молчали. Иначе — изрубят на куски.

Дома полистал я записную книжку. Нашел телефон одной старой знакомой, верной и фанатичной последовательницы отца Александра, прихожанки Сретенской церкви. Позвонил ей. После извинений и представления себя (она забыла, кто я такой, хотя давным давно, в студенческое время мы...), перешел к делу.

— Слушай, у вас там есть такая женщина, Липа? Пашина жена.

— Есть.

— Можешь мне про нее что-нибудь сказать? Мужа ее вроде задержали, а дома у них никто не подходит к телефону.

— Липа отца Александра боготворила. Смотрела на него как на Христа.

— Это я знаю. Ты ее девятого видела в церкви?

— Страшный день. Когда нам сказали об убийстве, все окаменели. А потом начался крик и хаос. Вроде и Липа рыдала. Но точно не помню. Все плакали. Больше она в церковь нашу не приезжала. Многие разбежались.

...

Так я тогда и не узнал, что же на самом деле случилось с Пашей и Липой и был ли Паша замешан в убийстве Меня.

* * *

Правдивый этот рассказ я написал года два назад. Прочитал его несколько раз, попытался представить себе, как его воспримет современный читатель. И отложил текст в сторону. Не стал печатать и публиковать в интернете. Потому что решил, что в нем маловато драматического действия. Пара описаний, да диалог. И конец какой-то беспомощный.

Конечно, я мог бы что-нибудь придумать, какое-нибудь мистическое приключение, превращение... ввести в историю выдуманных персонажей, зловещих киллеров или демонов. Или хотя бы показать где-нибудь на стене ужасающую тень той самой гигантской обезьяны де Луа.

Но мне не хотелось.

И вот... как это иногда случается, жизнь сама дописала мою историю. Стала ли она от этого интереснее? Не знаю. Решать вам.

Две недели назад я был в Амстердаме. Проездом. Оставил тяжелую сумку в камере хранения и пошел прогуляться по городу. Шел без цели, куда глаза глядят. Прошел вдоль одного канала, или, как их тут называют, — грахта. Потом вдоль другого. Свернул в переулочек. Еще в один.

И тут... на тротуаре столкнулся лоб в лоб с высоким худым человеком с треугольной челюстью. Но уже без бородавок на щеках. Да, да, это был Паша. Постаревший, солидный, спокойный. Мы обнялись. Нашли какую-то кафешку, присели, заказали кофе.

Он оказывается живет тут с девяносто второго года. Владеет недвижимостью. Занимается непонятными мне сделками. Женат на голландке.

— А что стало с несчастной Липой?

— Смерть отца Александра отрезвила ее. Но не до конца. Кажется, она подвизается в одном из северных монастырей. Или умерла... мы в разводе и не общаемся.

— За что тебя тогда арестовали?

— Ты и это знаешь? К Меню это отношения не имеет. Пацаны делили рынок. Чингиза подставили. Нас осудили. Придрались к чему-то в отчетности. Чингиза на зоне убили. А меня через полгода выпустили. На киче я познакомился с влиятельными людьми. Они мне помогли перебраться в Европу. Дали деньги, которые я позже отдал.

— Только чтобы точку поставить над и... Меня ты не убивал?

— Нет. Я не убийца. Хотя и хотелось очень. Но кое-что все-таки тогда произошло. Расскажу тебе, потому что совесть свербит. Все эти годы в себе держал. Убили Меня в воскресенье, а вечером, в субботу, мы с Чингизом его подкараулили, там, в Семхозе. По дороге от электрички к его дому. Хотели пугануть. Хвост прищемить еврею. Лампочки на фонарях расколотили, чтобы темнее было. У Чингиза был с собой ножик, а

я кухонный топорик прихватил. Дураки. Выпили для храбрости. Короче, ждем мы священника в темном месте. Ждем, ждем, а его все нет. Другие какие-то люди туда-сюда ходят. От нас естественно шарахаются. Какие-то местные парни стали права качать, чуть драка не началась. Надо бы нам после этих подвигов сразу домой вернуться, но мы остались. И дождалась... виновника торжества. И, как заранее договорились, с двух сторон к нему подошли. Взяли в клещи. Чингиз достал нож, а я стоял, как мясник какой, с топором для разделки мяса в руке. Отец Александр нас не испугался. Спросил спокойно: Вам что надо, ребята?

Чингиз нож к горлу священника приставил и сказал: Давай деньги, отец!

А я с трудом выдавил из себя: И от жены моей отстань, жидюга.

Мень посмотрел на меня с сожалением. А мне до тошноты вдруг ясно стало, что никакого дела этому немолодому, занятому человеку нет ни до Липы, ни до меня.

Отец Александр достал кошелек, открыл его. Там было несколько рублей и десятка. Подал бумажки Чингизу, тот не взял, сказал: Нам рубли твои не нужны!

Я схватил Чингиза за рукав, потянул и прошептал: Пойдем отсюда, брат, оставь его.

И мы ушли. Чингиз даже обиделся на меня, говорил в электричке: Ты меня втянул, а сам расквасился.

Когда я на следующий день по радио услышал, что с Мемнем случилось — испугался до смерти. Вдруг менты решат, что это мы убили. Или просто повесят на нас это преступление. А мы не только не убили, но даже не испугали чертового попа, мы сами испугались. Лампочки, да, побили, а больше ничего не сделали. Да, забыл сказать. Видели мы там, на дороге к станции, каких-то непонятных людей. Явно не оттуда. Может, это убийцы и были. Или топтуны. Лица их мы не разглядели.

РУССКОЕ ПОРНО

Не раз зарекался — не вспоминать больше советскую жизнь. Достаточно уже навспоминался. В письменном виде. Штук шестьдесят рассказов настриг из этих воспоминаний. Хватит, обрыдло. Жестокая и абсурдная планета моей юности исчезла. Точнее, постепенно мутировала в «путинскую Россию». И процесс этот начался еще до моего отъезда из страны.

Добрые и умные мои современники давно разъехались по всему миру и сгнули, а не уехавшие — умерли или изменились вместе с страной. Говорить с ними стало невозможно.

Но память тянет и тянет обратно... в то время.

Потому что главную загадку прошлого — как оно вообще было возможно, такое — я так и не разгадал в моих шестидесяти рассказах.

Каждый раз, когда принимаюсь писать о жизни в СССР, мне кажется, что вот, расскажу еще одну историю, и наконец пойму, осознаю вместе с читателем — что же тогда на самом деле происходило со всеми нами...

И каждый раз, ставя последнюю точку, я вынужден признать, что и этот художественный эксперимент не помог мне понять суть того существования, объяснить его, ухватить за хвост главное. Что мне, в лучшем случае, удалось уловить... несколько маленьких рыбешек. А главная, большая-большая рыба уплыла, легко обойдя мои сети, и погрузилась в бессознательную, безумную глубину хтонического океана, где ее не сыскать никакими сонарами. Что метафизический пазл, который я составляю всю мою жизнь, так и не обрел образ и сюжет и остался стеной с ничего не значащими фрагментами навсегда исчезнувшей фрески.

...

Да, память — это хитрая машина (машина времени). И своенравная. Приказать ей что-либо невозможно. И попросить

ее нельзя. Начнешь приказывать или просить — все сделает наоборот. Затопит мозги воспоминаниями, как затопляет сейчас рейнская водичка подвалы в Кёльне и Дюссельдорфе.

И после этого потопа в голове, также как и в подвалах после наводнения настоящего, водяного, остается только грязь, сломанные отопительные приборы и вымокшая, ни на что не годная, мебель. Разруха.

Написал недавно рассказ «Синие пятна», главный герой которого, Паша, мечтает о том, что убьет отца Александра Меня. Потому что его жена, Липа, влюбилась в Меня и возмечтала родить от него Спасителя мира. В результате... Паша Меня не убил, его убили другие, гораздо более страшные, чем он, люди, Липа не стала Богородицей, а мир так никто и не спас.

Кстати, у священника Меня есть сын, который Иисусом Христом не стал, а наоборот — заделался министром путинского правительства. Но отец за сына не отвечает.

Когда писал «Синие пятна» — изо всех сил старался вспомнить Меня в Сретенской церкви в Малой Деревне. Потому что я там был, мед пиво пил. Году в восемьдесят восьмом.

Так и не смог вспомнить. Как отрезало. Даже интерьер этой церкви позабыл. Зато вспомнил то, что не хотел вспоминать. Одну дикую историю.

Нашел недавно в мировой паутине современную цветную фотографию внутреннего убранства церкви Сретенья. Как же там сейчас все пестро и русопято! Ладненько и сладенько. Китч. А сама церковь — желтенькая как цыпленок, в пору ее ощипывать и жарить. Неужели и при Мене так было?

Забыл.

Галич пел про этот храм — «тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо». Пел так про эти жиденькие купола? Про эту лакированную матрешку для суевверных бабок?

Память, память, что ты делаешь со мной!

Ни Меня в церкви, ни саму его церковь вспомнить не смог, а Пашу, Липу и еще одну его почитательницу, упомянутую в рассказе, помню прекрасно. Хорошо помню и еще одну женщину, Ритку, тоже влюбленную в Меня. Мать троих детей.

Измученную советским бытом даму без передних зубов. Помню ее мужа Цыпу, человека невероятного невезения. Помню и то, что с ними случилось.

Ну что же... Рассказал о Паше и Липе, теперь придется рассказывать о Ритке и Цыпе. Бабка за дедку, дедка за репку...

Вы уж извините, господа, речь в этом рассказе пойдет об очень неприличных вещах. О том, о чем мужчина чаще всего думает, но меньше всего говорит в «приличном обществе», а если и говорит, то врет безбожно.

...

Да, тридцативосьмилетняя Ритка тоже была влюблена в Меня, но не так, как Липа.

Рожать от него детей она не собиралась, даже не думала ни о чем подобном. Боюсь, она не стала бы с ним заниматься любовью, даже если бы — чем черт не шутит — вступила с ним в законный брак.

Ее любовь к отцу Александру была платонической. Полагаю, она строго отделяла тело священника от его слов, человека от логоса. Влюблена она была — в его слова. В их звучание, в глубокие мысли, открывающие тяжелые створки нестеряемого шкафа души, в котором хранятся полузабытые культурные архетипы человечества, в превосходный литературный стиль. Полагаю, что его телесность, его биологическое тело — смущало ее. Ритка была влюблена не в Александра Меня, а — еще до его смерти и канонизации — в его говорящую трехмерную икону, в его голограмму, в его образ, в его астральную проекцию. Формулируя современным языком — в Меня виртуального. Еще не запертого на красочном слое иконы и не встроенного в акафист.

...

Бедняжка Ритка была асексуальна не только «по отношению к Меню»...

Усталые и сопревшие за пятнадцать лет неудачной семейной жизни ее чресла, — не знаю отчего, от плохой ли наследственности, отец был шофером-алкоголиком, мать кассиршей в консерватории, ожиревшей и выжившей из ума сварливой теткой, или от недостаточного питания в детстве,

или от скверной экологической обстановки в районе, в котором они жили (вечно там невыносимо воняло чем-то химическим), или еще от чего, — не были, как ей казалось, способны ни на какую чувственность. Кожа ее была цвета яичной скорлупы. Глаза — давно потухли. Что-то было в них от мучениц на старой испанской живописи.

Единственное, чего ей страстно хотелось — чтобы все оставили ее в покое. И она могла бы почитать «Сына Человеческого». Или поехать в церковь без визжащих детей и спокойно помолиться, исповедаться и причаститься.

Но в покое ее не оставляли. Муж, дети, соседи, родственники, партия и правительство.

...

С огромным трудом терпела Ритка еженощные вспышки козлиной похоти, заставлявшие ее прихрамывающего с детства, сутулого, плюгавого, с гадкими клоками рыжей шерсти на ляжках и с лиловым лишаем на груди, мужа, бросаться на нее, проникать в нее скрюченным, как у свиньи, членом и трясти ее до наступления одностороннего, не приносящего настоящего мужского удовольствия, оргазма.

Во время половых сношений ей было стыдно, больно и неприятно. Сперма Цыпы, которую он после рождения их третьей девочки, начал выпрыскивать на втянутый, морщинистый, изуродованный родами живот жены (по другому предохраняться они не умели), вызывала у Ритки отвращение... может быть из-за ее фиолетового цвета, или из-за запаха — пахла она подгнившей капустой и кроликами.

Но она терпела.

Жена все-таки. Обвенчана по христианскому обряду. Венчал Мень. Стояла под венцом, а думала только о словах отца Александра. О разделении любви на духовную, глубокую, и после смерти существующую, как у старосветских помещиков, и физическую, преходящую, гормональную. И прекрасно осознавала уже тогда, что не испытывает к своему жениху ни того, ни другого. И никто ей не поможет, ни Святой дух, ни Сатана. А замуж выходит только потому, что «так делают все», что «надоело быть одной», что невозможно больше жить с

этой страшной женщиной (матерью), а у жениха — две комнаты в коммуналке, оставшиеся от родителей... и человек он вроде бы неплохой, церковный, и ее любит.

...

Цыпу же очевидная бесчувственность его жены не остужала, а наоборот, — вдохновляла на эротические подвиги. Даже помогала ему, как туман, заволакивающий реальность, не замечать гримасы боли и отвращения на некрасивом лице Ритки, дурного запаха от ее подолгу не мытого тела, не обращать внимания на ее отвислые груди, черные кудрявые волосики под мышками и некрасивые кривые ноги.

Почему Ритка редко мылась? Потому что у бедной женщины не было времени ни на ванну, ни на душ. Назойливые, приставучие дети не давали матери расслабиться, постоянно висли у нее на плечах, что-то требовали, плакали, даже царапали и били несчастную маленькими твердыми как грецкие орехи кулачками. Их нужно было постоянно кормить, мыть, чистить, успокаивать, куда-то вести, забирать...

Воспитывать детей ей никто не помогал. Зато все от нее постоянно что-то требовали.

...

Старший жены на восемь лет Цыпа принадлежал к редкой группе непьющих советских мужчин. Выдающихся талантов у него не было. Не было любимого дела. Образованием Цыпа похвастаться не мог — закончил восемь классов десятилетки в районе Шоссе Энтузиастов и ремесленное училище. С детьми Цыпа играл конечно, минут по десять в день, но больше не выдерживал, зверел... иногда бил их. Радости они ему не доставляли. В театр или музеи он не ходил. Жили они с Риткой в страшной бедности...

Работал Цыпа в одной из московских церквей на окраине — чтецом. Читал он по-старославянски хорошо, четко и рельефно, но пел неважно.

А я там одно время выполнял за небольшие гонорары кое какие работы. Очищал от вековой грязи иконы и оклады, заменял электропроводку в алтаре. Познакомился с Цыпой, который объяснял мне, что же на самом деле хотел от меня свя-

ценник, не способный на внятную ясную речь. Я был за это Цыпе благодарен и пытался отплатить ему добром за добро, покупал ему несколько раз, используя старые знакомства, гречку, сгущенку, копченую колбасу и конфеты для детей. Стараясь не ухмыляться, выслушивал его сбивчивые рассказы о интимной жизни.

...

Бедный Цыпа! Ему тоже, как и его жене, ничего не приносило радости.

Только секс. С Риткой и с самим собой. Потому что Ритки ему не хватало.

Эротические фантазии владели им безраздельно. С детства.

Некоторыми из них он со мною делился. Просил совета. Что я ему мог сказать? В этих делах — каждый за себя.

Ничего особенного. Толстые немолодые женщины. Обязанные веревками груди, порка, удушение. Умеренный садизм.

Удовлетворить свои желания с продажными женщинами Цыпа не мог. Денег не было. Не было в Совдепии и проститутток «его профиля».

Может быть поэтому Цыпе страстно хотелось наслаждаться хотя бы садистской порнографией. Но и порнография, да еще такая, особенная, была в СССР практически недоступна.

Порноснимков и порножурналов у Цыпы не было, зато был фотоаппарат Зенит-В с Гелиосом и старенький фотоувеличитель. И Цыпа решил изготовить порно сам. А в качестве моделей использовать для начала себя и свою жену. Цыпа был убежден, что слабохарактерная Ритка поартачится и согласится... купил для связывания и порки толстую бельевую веревку и несколько ремней...

После этого первого опыта, он планировал пригласить к себе домой дюжину своих знакомых разного пола, напоить всех до поросычьего визга и уговорить предаться свальному греху. Цыпа страстно хотел заснять массовое совокупление, порку и связывание женщин на пленку. Где-то впереди в его ошалелой голове маячили подобные сцены с участием детей... с кровосмешением и удушением.

Как он представлял себе все это осуществить на деле — для меня загадка.

И для него это тоже было загадкой, но сама бредовость всей этой затеи почему-то не отпугивала Цыпу, а породжала в его воспаленных мозгах новые, удивительные картины... порочные и заманчивые...

Смелость города берет.

...

Выполнение первой части своего плана Цыпа начал с того, что отвез детей на два дня к неохотно согласившейся на роль бебиситтера теще, а сам занялся уборкой двух их комнат в коммунальной квартире, в которой жили кроме него, Ритки и троих их девочек еще две семьи, с двумя черными пуделями, кошками, хомяками и совой, но бездетные.

Особенно долго и тщательно чистил спальню, стены и пол которой заросли какой-то серой жирной гадостью. Сменил белье на их двуспальной кровати. Приготовил полотенца, веревки, ремни. В углы спальни поставил взятые напрокат у знакомого маляра двухсотваттовые лампы на треногах. Установил их так, чтобы свет они бросали вверх, на потолок, не слепили. Вставил пленку в свой Zenit, привинтил его к штативу... и только после этого понял, что для съемки его совокупления с женой необходим кто-то, кто будет работать с экспонометром, устанавливать резкость, следить за тем, чтобы в кадр попали руки и ноги, и главное — нажимать на спуск. Фотограф. Или, по крайней мере, человек, знающий фотодело. И еще — не стукач и не болтун.

Где же достать такого?

Цыпа начал обзванивать друзей и знакомых.

В своей совковой наивности он не понимал, что о таких вещах нельзя говорить по телефону. Люди, с которыми он разговаривал, после окончания разговора трубку не вешали, а набирали другой номер. Лучшего друга. А потом — еще одного. Или подруги. Или... И жадно делились новостью. Хотя и клятвенно обещали Цыпе «никому не рассказывать».

Через два часа множество людей знало, что Цыпа решил изготовить порнографические фотографии. И какие.

Да еще и с собственной женой. И милиция знала, и КГБ и даже гугнивый поп в церкви знал и уже думал о том, кто заменит ему чтеца.

Помогать Цыпе никто не соглашался. От страха, иногда и из-за брезгливости, а чаще всего — просто от нежелания делать что-либо для других людей. Даже для хохмы.

Звонил Цыпа и мне и получил категорический отказ. В ответ на его предложение поснимать его секс со связанной Риткой — во мне вдруг зашевелился, а потом и показал свою дьявольскую мину демон сладострастья, похожий на человека-бабочку. Один из семидесяти семи. И я испугался не предложения Цыпы, а именно этого демона, и бросил трубку. Захлопнул крышку ящика Пандоры до того, как из него вылетело косматое и хвостатое воинство.

И тем не менее один знакомый Цыпы, не молодой уже человек, которого звали Валидолом, согласился поработать фотографом, но поставил одно условие...

Цыпа согласился, не задумываясь о последствиях.

...

Вечером следующего дня усталая Ритка вернулась домой после суточного дежурства из больницы, где подрабатывала нянечкой.

Дома ее ждал сюрприз. Дети были у ее матери. В спальне царил зловещий порядок... Недалеко от кровати стоял штатив с фотоаппаратом.

А во второй их комнате, выполнявшей роль детской и гостиной, на их семейном диване сидел, развалившись, с дымящейся сигаретой в одной руке и рюмкой водки в другой старик Валидол. В нечистой обуви. С наколками на пальцах и желтоватой лысиной. Увидев вошедшую Ритку, Валидол приподнялся с дивана и галантно поклонился. Как-то особенно, с претензией, дернул шеей и повел плечами, приподнял рюмку и провозгласил: За здоровье прекрасных дам!

Явился Цыпа с распространяющей вокруг себя зловоние сковородкой. В сковородке скворчала жареная колбаса по два двадцать, залитая тремя яйцами, желтки которых были открыты сморщившейся белой пленкой.

За ужином Цыпа и Валидол выпили бутылку водки и половину бутылки белого вина «Аг-Суфре», оставшуюся от предыдущей попойки. Ритка, чующая неладное, к спиртному не прикоснулась.

Цыпа вначале волновался, но за водкой, вином и колбасой успокоился, а в конце ужина наклюкался и плел всякую ерунду. Рассказывал что-то о парашютистах и собаках-поводырях.

Валидол же, хотя и выпил не меньше Цыпы, не опьянел. Разговор о поводырях он поддерживал только из вежливости, а сам все с большим интересом смотрел на ежащуюся под его колючими взглядами Ритку. Показал фокус — налил в рюмку вино как бы не из бутылки, а из собственного большого пальца. Цыпа фокус не оценил, потому что лыка не вязал, а обеспокоенная Ритка на пальцы Валидола и не смотрела.

Встали из-за стола. Покачивающийся Цыпа вдруг объявил сладким пьяным голосом: А теперь детки, попрошу вас в кроватьку!

Посмотрел на жену масляными глазами и потянул ее за собой в спальню. Валидол уже был там и хлопотал у камеры.

Ритка не выдержала, выпалила Цыпе в лицо: Ты что это задумал?

— Хочу сделать несколько фото... Не беспокойся, Риточка, ничего страшного... не волнуйся, раздевайся и ложись!

— Каких фотографий?

— Таких. Ты ляжешь в постельку... со мной, а Валидольчик нас сфоткает. Он свое дело знает! Он еще Днепрогэс фотографировал.

— Ты что ошалел? Какой Днепрогэс? Не буду я раздеваться при чужом мужчине!

— Ну, миленькая, Ррриточка... ну что ты расстроилась? Я ведь твой муж... законный и едино... утробный... мы не будем делать чего-нибудь того... я пакостей не уважаю! Просто полюбим друг друга... как завещал великий Ленин. Пусть всегда буудет солнце!

— А веревки зачем? И ремни?

— Ах, это мелочи, чепуха. Я свяжу тебя... и несколько раз ударю... не больно! Только, чтобы любовь была покрепче и соленькой.

— Соленькой?!

Ритка наконец поняла, что задумал ее муж, присела на стул и беспомощно заплакала. Без слез. Так наверное плачут мертвые.

Цыпа тем временем разделся и лег в кровать. Решил потренироваться — принял позу миссионера, потом лег на спину, повернулся на бок. Попробовал веревку на разрыв, несколько раз хлестнул ремешком матрац. А потом... зевнул... свернулся калачиком, укрылся верблюжьим одеялом и захрапел.

...

Валидол, убедившись, что Цыпа спит, подошел к Ритке, нежно погладил ее своей татуированной лапой по голове и проговорил вельветовым голосом: Обещаю вам на вас не смотреть, ни разочка на вас не взгляну... только композицию буду проверять и освещение... от вашего тела буду отводить глаза. Прошу вас, не стесняйтесь. Представьте себе, что меня нет. Я не человек, а привидение... смотрите, уже пропал.

Валидол спрятался в тень от книжного шкафа и действительно как будто исчез.

Потом появился... с загадочным выражением лица, как фокусник на сцене театра, и вдруг подал Ритке маленькую шоколадку. В форме солнышка с лучами.

И Ритка, загипнотизированная его вежливостью, развернула трясущимися, стертыми от постоянной стирки пальцами огненно-красную фольгу и машинально положила сладкое в рот. Медленно прожевала шоколад, глубоко вздохнула... и уронила голову на грудь. Уснула! Как пациент под наркозом.

Валидол предвидел, как подействует шоколадка с кустарно изготовленным лауданумом на женский организм. Он погасил ненужные лампы, быстро разделся, раздел и перенес Ритку на кровать. Осторожно вставил ей в рот кляп, раздвинул бедра и ловко связал ее руки и ноги бельевой веревкой. Перевязал и ее маленькие груди.

С дрожащими от страсти руками порол ее минут десять ремнем от груди и ниже. После этого совокупился с ней. Ритка очнулась во время порки, но кричать не могла из-за кляпа.

* * *

После второй порки и нового совокупления Валидолу неожиданно стало плохо с сердцем. Он умер прямо во время оргазма. А через несколько секунд после его смерти кончила Ритка. Первый раз в жизни. Сладкие судороги били ее долго...

Цыпа так и не проснулся.

В три часа ночи к ним пришла милиция с понятыми, делать обыск. Дверь в спальню не была заперта.

Милиция обнаружила на двуспальной кровати троих человек. Двоих мужчин и одну связанную женщину с кляпом во рту и в кровоподтеках.

Один мужчина был мертв, другой — пьян.

Женщина лежала неподвижно, смотрела в потолок счастливыми глазами и улыбалась.

КОЛОМБО

Эта скверная история произошла с моим коллегой, художником, господином Зюссом, незаметным и тихим человеком, знатоком и собирателем старой немецкой графики и любителем природы Рудных гор.

Внешне Зюсс был так похож на актера Питера Фалька, исполнителя роли Коломбо, что его все и за глаза и в лицо звали Коломбо. И он на это не обижался. Как известно, Питер Фальк потерял еще в юности правый глаз и носил протез, а наш Коломбо был от рождения слегка косоглазым, что еще больше усиливало сходство с прославленным разоблачителем богатых и влиятельных убийц. Только характер у Зюсса был не такой, как у Коломбо, помягче, да и шевелюра подвела. Он был слегка лысеват, но фигура, черты лица, крабья походка... Даже его дурацкий автомобиль неизвестной мне марки напоминал машину киношного Коломбо — кабриолет Пежо пятидесятых годов.

Познакомился я с Зюссом на одном из ежегодных собраний саксонского Союза художников, дежурно скучном мероприятии не только в проклятом прошлом, на родине, за железным занавесом, но и в свободном мире. Во время мучительно долго длящегося финансового отчета нашего председателя Коломбо листал знакомую мне книгу Хартмута Бёме, посвященную критике различных интерпретаций знаменитой гравюры Дюрера «Меланхолия». После окончания доклада я подошел к нему и спросил, что он обо всем этом думает. Он сказал: Тогда, в начале шестнадцатого века эта гравюра не вызывала вопросов даже у дураков, а сейчас умнейшие головы не могут понять, что же на ней изображено и что все это значит. Магический квадрат, полиэдр, ангелок, поддува-

ло... Главная загадка «Меланхолии» именно в этом непонимании. В нас, а не в ней самой. Никакого тайного смысла эта гравюра не имеет.

Ответ этот мне очень понравился... мы разговорились.

Коломбо пригласил меня к себе в мастерскую, посмотреть его работы и коллекцию старинной графики. Я согласился. Сходил к нему, полюбовался на его цветастые ландшафты... на мой иронический вопрос — где же он видел подобные виды, не на Занзибаре ли, Коломбо не ответил, только смущенно потупился. Пригласил его к себе.

Друзьями мы так и не стали, но время от времени встречались на различных выставках и изредка перезванивались.

И вот, некоторое время назад наши общие знакомые сообщили мне, что Зюсс задержан полицией. Идет расследование. Обвинялся он вроде бы в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней. А затем мне позвонил его адвокат, вальяжный циник, богач и известный в нашем кругу любитель современной графики, перед которым художники, внешне сохраняя маску недоступности и благородства, откровенно заискивали. Он попросил меня встретиться с ним и поговорить о задержанном, который «пребывает в крайне удрученном состоянии и нуждается в поддержке коллег».

Мы встретились в нашем артистическом кафе, украшенном африканской пластикой. Сидели за столиком под двумя огромными носорогами.

— Неужели он не может отбиться от такого абсурдного обвинения? Он скромный и порядочный человек!

— К сожалению его обвинение переквалифицировали на более тяжкое — изнасилование и убийство малолетней, — с непонятным мне удовлетворением объяснил адвокат, нежно поглаживая рукав пиджака своего дорогого английского костюма из голубоватой шерсти, и добавил всезнающе, — может быть, вам удастся уговорить его рассказать следствию правду и показать, где он спрятал тело потерпевшей. Это упростило бы процесс и настроило бы суд на

смягчение приговора. А если он и дальше будет запираяться, твердить, что он невиновен и болтать на допросах всякую чушь — получит пожизненное, и я ничего для него не смогу сделать. Даже на его психическую лабильность не смогу опереться в защите... Потому что экспертиза сочла его дееспособным и отвечающим за свои действия.

— Вы так уверены, что он виновен?

— Я ни в чем никогда не уверен. Я трезво оцениваю шансы на защиту. Господин Зюсс не идет на контакт. Он обиделся на весь мир и забаррикадировался. У него нет ни алиби, ни хоть каких-нибудь доказательств того, что он не совершал преступления.

— Я думал, это не его забота, что следствие должно доказать его вину... а не он сам — свою невиновность.

— Формально это так, на деле — никому неохота разбираться в этой темной истории. Марать руки в детском окровавленном белье, испачканном чьей-то спермой. У следователя есть на руках улики... убедительные улики. Есть мотив — педофилия. Они проверили — ваш скромный и порядочный Коломбо не раз наслаждался в интернете детской порнографией. Другие участницы кружка подтвердили, что Зюсс часто обнимал предполагаемую жертву руками и уносил ее из студии, где они рисовали. Девочка пропала между двумя и тремя часами. А ваш дружок объявился в галерее — около восьми. Где же он всю вторую половину дня торчал? Прокурору есть на чем построить обвинение. А у меня нет ничего, кроме его рассказы про то, что он потерял сознание в галерее, а очнулся на горе.

— А что если предполагаемая жертва жива?

— Это было бы чудесно. Ваш друг должен как-то помочь ее найти... хотя бы указать возможные направления поиска... дети болтают, когда рисуют... может быть, она рассказывала подружкам, что хочет сбежать из дома... из такого дома я бы тоже сбежал, отца нет, мать инвалид и алкоголичка живет с каким-то арабом, приторговывающим наркотой... уехать в Индию или пожить в подвале у дружка... хоть что-нибудь... а

так... полицейские ее по-настоящему и не искали. А в машине вашего скромняги нашли кровь... ее кровь. Куда он ее увез, где зарыл? Или в заброшенную шахту бросил? Он их всех наперечёт знает.

— Ужасы какие!

— Именно.

...

На следующий день я отправился в построенную еще до войны тюрьму города К., которую до сих пор видел только из окна Административного суда западной Саксонии. Там мне пришлось заверять документы для продажи моей ленинградской квартиры. Мрачное здание с маленькими зарешеченными окошками и небольшая, поросшая травкой, площадка для прогулок. Тюрьма была окружена тремя стенами, металлической, каменной и еще одной металлической... на них потенциальных беглецов ждали оголенные электропровода и густые заросли колючей проволоки.

В окошках маячили угрюмые лица заключенных. Некоторые странно гримасничали и как будто кричали, но никакие звуки не доносились из мертвого дома.

...

Адвокат провел меня в тюремную пристройку... угрюмое двухэтажное здание без окон. Мы прошли по полутемным коридорам, напомнившим мне подвалы психиатрических клиник из фильмов ужасов, неприветливые охранники закрыли за нами несколько стальных зарешеченных дверей... как же они скрежетали и лязгали!

Вошли в унылую комнату, стены которой были выкрашены бледно-зеленой краской. Окна не было, вместо него на стене висело треснувшее зеркало в безвкусной рамке. Старое, пожелтевшее местами и как будто кривое. В середине комнаты стоял простой стол с тремя стульями.

Сели. Молча ждали. Наконец ввели несчастного Коломбо. Выглядел он неважно... руки тряслись, глаза бегали как мыши. Руки — в наручниках. Адвокат попросил сопровождающего его охранника в зеленой униформе снять с него наручники. Тот отказался. Адвокат не расстроился, произнес нараспев не-

сколько общих успокоительных фраз, похлопал Зюсса по плечу, пожелал нам хорошего дня, оттряхнул пыль с рукавов пиджака, сверкнул глазами и энергично удалился.

Охранник сказал мне, что свидание не может длиться дольше часа, и ушел. Дверь за собой закрыл на ключ. Тяжелую железную дверь, тоже выкрашенную в бледно-зеленый цвет.

...

Мы сидели напротив друг друга. Коломбо обреченно смотрел в пол то выпучивая, то зажмуривая глаза, я заметил, что у него дрожат руки и губы.

Я был растерян, потому что не знал, как можно поддерживать коллегу, обвиняемого в изнасиловании и убийстве ребенка.

Проклятая комната наводила тоску. В зеркале мелькали чьи-то деформированные лица. Похожие на портреты Кокошки и Дикса. Неужели это я или Зюсс?

— Тебя что, тут пытаются?

— Нет, нет, что ты... Просто на меня все это действует удручающе... тюрьма, камера, одиночество. И обвинение. Я потихоньку теряю себя. Привычная реальность, мой живописный «занзибар», ускользнула. Я не могу мечтать. Если я закрываю глаза, вижу перед собой всю ту же камеру. Грязные стены, исписанные заключенными, зарешеченное окно, которое нельзя открыть, железную койку и унитаз. Это теперь мой мир. Это теперь я.

Голос у него был такой, как будто он его несколько часов назад сорвал в крике... Коломбо громко шептал, то и дело запинаясь, кашляя и судорожно всхлипывая.

— Я позвал тебя, потому что... мне никто не верит. Адвокат, следователи, прокурор... Скоро я и сам перестану верить себе. Даже друзья... все отвернулись... все осуждают... раз задержан — значит виноват. А ты — я чувствую... ты поверишь.

— Давай, друг. Говори. Я затем сюда и пришел, чтобы ты смог выговориться.

— Спасибо. Помнишь, я тебе с полгода назад рассказывал, что мне дали место в галерее Л.? Временный контракт. Там

выставки, а с часу до пяти в студии при галерее — детский художественный кружок. Дети приходят обычно полвторого. А уходят полпятого. Рисуют, клеят, лепят...

Директор галереи, Андреас, ты его знаешь, ужасный придир и педант, провел со мной инструктаж. Самое главное, говорил, соблюдай правило: Ни при каких обстоятельствах не дотрагиваться до ребенка. Это — табу. Даже если хочешь показать, как нарисовать цветок — не бери ребенка за руку. Не гладь по головке. Не хлопай по плечу. Упаси бог дотронуться до груди, лобка или попки. Помни, жильцы соседних домов и прохожие смотрят через окна на то, что у нас происходит, завидуют, злятся, сплетничают, фотографируют и постоянно пишут на нас доносы. Этим тупицам мерзко само наше существование. Тебя посадят, меня оштрафуют, а галерею закроют.

Я обещал Андреасу, что никогда не прикоснусь ни к одному ребенку.

Детей обычно приходило немного — от трех до десяти. Шумели они жутко... но что поделаешь... дети. Восьми, девяти и десятилетние девочки. Исключением была одна Линда, ей было то ли двенадцать, то ли тринадцать. Длинная как жердь, костлявая, сильная, властная и наглая. Из-за нее я тут.

— Она?

— Да... она. Поверь мне, я ее не насиловал и не убивал. Разве я на такое способен? Даже в мечтах такого никогда не делал. Эта Линда меня невзлюбила. С самого первого дня. Потому что я не позволял ей обижать других девочек и беситься. Линда рисовала спокойно только полчаса, иногда час или дольше. А потом — то ли у нее начинали нервы шалить, то ли черти в нее вселялись. Начинала обижать тех, кто послабее, кто не мог себя защитить. Отнимала краски и карандаши... портила рисунки... в волосы могла вцепиться или плюнуть в лицо. Однажды нарочно обварила горячим чаем руку крошке Люси, которой еще и восьми нет.

Бесилась как буйно помешанная. Плескала краску на стену. Лаяла, мяукала. Мастурбировала, не снимая брюк, стонала... приставала к другим девочкам. Дралась и кусалась... Насколько раз хватала меня за... И все это — нарочно, искусст-

венно, холодно, с расчетом, без капли настоящего клинического безумия. Сознательно причиняла боль другим девочкам и пакостила в студии. После нее приходилось долго убираться, мыть, чистить.

Как же мне хотелось снять ей штаны и отхлестать ее по тощей заднице ремешком! Дать ее пару пощечин. Но я ее не трогал. Только ругал... орал... просил, умолял... даже полицию грозил вызвать. Никакого эффекта это не оказывало. Линда хохотала и строила мне рожи. Раскрывала пасть с огромными передними зубами и оттягивала пальцами веки.

Два месяца я терпел этот кошмар. Потом решил изменить свое поведение. И изменил. Как только Линда переставала рисовать и начинала проявлять агрессию, я хватал ее двумя руками, поднимал, нес к входной двери и вышвыривал из галереи. Разумеется, по возможности, не причиняя ей вреда. Она лягалась, бешено орала, но назад не просилась. Не пинала ногами дверь, окна камнями не била. Уходила куда-то. Когда я ее нес, мне казалось, что я несу огромного извивающегося удава.

Надо отдать ей должное, рисовала она лучше остальных девочек. Не только потому, что была старше других... а просто... у нее был врожденный талант. Ее рисунки и лепные фигурки я показывал на вернисажах гостям галереи. Хотя, если присмотреться — и в них можно было заметить ее агрессию и холодное безумие. На рисунке и в пластике — это интересно... добавляет выразительности, экспрессии, а в жизни...

Три недели назад мы лепили «охотника с собачкой в лесу».

Я своего охотника, собачку и два дерева вылепил еще дома. Получилось неплохо. Охотник был правда немного страшноват, с огромными усами и бровями, а собаку можно было перепутать с ланью. Ничего. Детям легче лепить, если у них перед носом — образец, готовая композиция.

Девочки мои увлеклись работой. И Линда — поначалу — тоже. Я отошел от них и открыл книгу. Минут сорок в галерее царил мир. Дети молча трудились, я читал. Благодать!

Но тут... у Линды опять начался припадок злобы. Она сплющила охотника Сузи. Затем сломала фигурки Люси. Бро-

сила на пол мое творение и затоптала его ногами. Собачка отлетела в сторону и Люси ее подобрала. Линда отняла собачку у Люси и раздавила. Люси и Сузи заплакали. Я успокоил их, обещав восстановить их работы, и пошел по направлению к Линде, рыча, театрально вытянув вперед руки. Вроде как великан. Так я всегда делал, чтобы маленькие дети смеялись...

Линда однако мне не далась. Выбежала из студии. Я пошел за ней. А она... подбежала к первой же попавшейся картине Вилли, живопись которого мы тогда показывали в галерее, сорвала небольшой холст в подрамнике со стены и ловко бросила его в меня. Закрутила так, как закручивают летающую тарелку, фрисби. И попала мне в лоб.

Как будто тяжелым молотком ударила. Я потерял сознание. Произошло это примерно полтретьего.

А в себя я пришел — не в галерее, а на вершине Лисьей горы. В Чижиковом лесу. Около семи! Смеркалось уже. Я сидел на полуразвалившейся лавочке и смотрел на город. В двух шагах от нашего знаменитого обрыва. Там, где каменоломня. Если бы я туда свалился, меня бы и не нашли никогда.

Как я попал на Лисью гору, понятия не имею. Не знаю, где и как провел четыре с половиной часа. Время это как будто вырезано из моей жизни.

Спустился с горы, нашел автобусную остановку... В автобусе все смотрели на меня как на сумасшедшего. Грязный... кровь на лбу и шишка.

Одна старушка предложила помощь. После она меня опознала.

Вышел в Зонненберге, ты эту остановку знаешь. Между бывшим кинотеатром Метрополис и домом, где в сороковых годах людоед жил.

Машина моя все еще стояла на парковке у Лидла. Я заметил, что одно из боковых стекол разбито. Не совсем, а как будто кто-то выбил из него камнем небольшой треугольник.

Дверь в галерею была заперта. Кто ее запер? Когда?

Ключи от галереи я всегда ношу на шее. Другие ключи — только у Андреаса. Значит — или я сам закрыл галерею или он. Больше никому.

Вошел. Вымыл лицо и руки. Осмотрел галерею. Все вроде в порядке. Только одна картина, та самая, валялась на полу. Я ее повесил на место... Заметил на паркете несколько пятен крови. Затер их мокрой тряпкой.

В студии — обычный хаос. Прибрался... Пропылесосил пол. Сел в кресло и мучительно напряг память... попытался вспомнить... что же произошло после того, как я отключился. Ничего не вспомнил.

Тут в галерею позвонили. Полиция! Оказывается, они уже тут были, но не стали ломать дверь и ушли.

Полицейские небрежно обыскали помещение, ничего не нашли... кроме того места, где я кровь затер... Светили синим светом, о чем-то между собой шептались, фотографировали... На улице, в нашем мусорном баке обнаружили какие-то тряпки. Осмотрели их и радостно закивали. Кровь. Задержали меня и отвезли в участок. Взяли у меня кровь на анализ. Допрашивали часа два, убеждали сознаться и рассказать, где я спрятал тело. А я не понимал, в чем я должен сознаться, какое тело... голова страшно болела. Я просил дать мне обезболивающего, но они не дали. Зачитали мне уже ночью какое-то постановление, заставили что-то подписать и привезли сюда.

С тех пор я разговаривал только с двумя следователями, адвокатом и вот сейчас говорю с тобой. Да, еще мама приехала из Цвикау, привезла пирожные и теплое нижнее белье. На ночь меня приковывают к постели. Шнурки от ботинок забрали. Охранники обращаются со мной грубо, один сказал несколько дней назад: Мы тебя сегодня ночью удавим, детоубийца. А потом повесим на полотенце... все подумают, что ты сам удавился.

В моей машине обнаружили следы крови. Крови Линды. Теперь мне — конец. Мне все равно. Я готов подписать любое признание. Но сам рассказывать ложь, как я насиловал, убивал и тело прятал — не буду. Следователи возили меня три раза по окрестностям, водили по Чижикову лесу в наручниках... спрашивали — не могу ли вспомнить, где тело зарыл. Грозили подвергнуть лечению электрошоком. Орали. Невы-

носимо все это. Я, кажется, помешался. Вижу в сумерки в камере какую-то рогатую морду. А по ночам ко мне в камеру приходит Линда.

— Послушай, Коломбо, я ведь не прокурор, я на твоей стороне. Передо мной комедию разыгрывать не надо.

— А я не разыгрываю комедию. Мне, как видишь, не до шуток. Пожизненное светит. Приходит. Каждую ночь. Если не веришь — лучше уходи.

— Верю, верю. Как так «приходит»? Через дверь что ли?

— Нет, прямо из стены входит в камеру. Как привидение. Но она не привидение, она настоящая.

— Так... входит в камеру через стену. Настоящая. А почему ты охранника не позвал?

— Я пытался, но она в воздух дунула, и я застыл как статуя. Не мог ни рукой, ни ногой пошевелить, ни словечка произнести...

— И что же она в твоей камере делает?

— Иногда — в синицу превращается и начинает по камере летать... а иногда раздевается и...

В этот момент в комнату вошел охранник и объявил тоном, не допускающим возражений: Свидание закончено.

Меня препроводили к выходу.

...

Разумеется, я не поверил Коломбо.

Все то, что произошло с Коломбо до удара картиной по голове — скорее всего было правдой. Мне приходилось работать с детьми, и я знаю, что в любом детском коллективе есть своя Линда. И то, что Коломбо очнулся вечером на Лисьей горе, — маловероятно, но возможно, чего не бывает!

Но появление Линды в тюремной камере... синица... все это было похоже на бред отчаявшегося человека.

Что же все-таки произошло после того, как Коломбо потерял сознание?

Откуда в мусорном баке появились тряпки со следами крови?

Кровь в автомобиле?

Трудно себе представить, что Коломбо зарезал девочку, а потом снял с нее одежду и, вместо того, чтобы избавиться от нее, бросил в мусорный бак, прекрасно зная, что ее там тут же найдут. Мог бы где-нибудь сжечь одежду или зарыть.

Итак... пофантазируем... Коломбо сознание не потерял, а схватил Линду, изнасиловал и зарезал. Потом зачем-то сорвал с нее запачканную кровью и спермой одежду, отнес ее на улицу и бросил в мусорный бак, а голое тело увез на машине в Рудные горы и где-то коварно закопал. Для полного счастья, испачкав сидение машины кровью...

Все это ухитрился сделать так быстро, тихо и скрытно, что дети в студии и любопытные соседи ничего не заметили, ничего не услышали. Приехал назад в галерею, отпустил детей. Поставил машину на стоянку. Кровь на сидении вытирать не стал. Побежал в аффекте к Лисьей горе. Забрался на вершину, сел на лавочку, заснул и проснулся около семи. Из-за уколов совести вытеснил из памяти страшное событие. Но совесть не унималась! И мертвая Линда ожила и стала приходить к нему в камеру, летать по ней синицей, раздеваться и пугать его рогатой мордой. Очень правдоподобно!

...

На следующий день опять позвонил адвокат.

— У меня есть идея. А не сходить ли вам к матери Линды? Поговорить с ней?

— Может быть, лучше вдвоем ходим. Имеете вы на подобные беседы право?

— Да, но лучше будет, если вы пойдете один. Я ей позволю, представлю вас как моего помощника, договорюсь о времени встречи и перезвоню вам. Согласны?

— Согласен.

— Как вы нашли моего подзащитного?

— Он не виновен. Галлюцинирует и психует от тоски и одиночества.

— Он вам рассказал про синицу?

— Рассказал.

— А про рогатую ведьму?

Мы встретились с адвокатом у дома, где жила Линда.

Адвокат посмотрел на меня неожиданно колюче и сказал: Я читал протоколы бесед матери Линды со следователями. Что-то она скрывает. Дурочкой прикидывается. Мол — с меня какой спрос, я инвалид. Будьте осторожны, не злите ее. Постарайтесь как можно больше узнать о Линде. Может быть, она проговорится... и невольно подскажет нам, где искать девочку... или ее труп.

— Вы упоминали какого-то араба. Поговорить с ним?

— С ним будьте еще осторожнее. На него в полиции — досье. Почему-то его не арестовывают... жернова Фемиды медлят медленно. Не забывайте... в современной политической ситуации... следствию в десять раз легче обвинить в изнасиловании и убийстве малолетней и осудить немца, чем беженца из Сирии.

— Вы это серьезно?

— Очень серьезно.

— Понял.

...

Адвокат уехал на своем черном Мерсе. А я позвонил, нажал на ржавую кнопочку.

Мне открыли только после десятого звонка. Я поднялся пешком на пятый этаж по давно не мытым лестницам, украшенным окурками, использованными презервативами и пустыми пивными банками. По дороге слышал истеричный лай какой-то собачонки, непристойную ругань, стоны космического оргазма, музыку неонацистов и адские завывания циркулярной пилы.

Рядом с открытой дверью стояла, опираясь на костыль, полная женщина с ужасными, покрытыми язвами опухшими ногами. Пахла она потом и перегаром. Недоверчиво и зло смотрела на меня поросячьими глазками. Я представился. Показал для важности членский билет Союза художников. Женщина, назвав себя Хайди, помусолила билет в своих жирных руках и отдала его мне с такой гримасой... как будто это был не билет, а только что вырезанный из живота аппендикс.

Мы прошли в гостиную, я сел на нечистый диван с торчащей из него пружиной. Хозяйка дома уселась в кресле напротив. Из соседней комнаты доносилась арабская музыка и ритмичные женские стоны. Пахло сладким дурманом. Я вспомнил наставления адвоката и начал беседу издалека.

— Хорошая погода сегодня!

— Что?

— Хорошая, говорю, погода. Это подарок — такой теплый октябрь. Листики желтые и красные. Вы из дома-то выходите?

— Что?

— Может быть, мне сходить в магазин, купить вам чего-нибудь?

— Не надо. Уходите поскорее.

— Не могли бы вы что-нибудь рассказать о вашей пропавшей дочери? Что она любила есть? Какие книги читала? Были ли у нее друзья?

— Зачем вам?

— Чтобы понять, что она за человек.

— Какой такой человек. Она пацанка. Книги? Книг у нас нету. Нам не до книг.

— Есть у вас компьютер?

— Издеваетесь? Пора вам убираться.

— Может быть, вы мне хотя бы комнату ее покажете?

— Нет у нас детской комнаты. Только спальня, гостиная и кухня. Линда тут, на диване спит. Какое вам до всего этого дело? Разнюхивать пришли?

— Спит? Можно мне только краешком глаза заглянуть в спальню?

— Нельзя. Там мой друг. Он не любит посторонних. Катись, или он тебе козью морду сделает.

— А кто стонет?

— Телевизор.

Я понял, что разговор никакого результата не принесет. Встал, поклонился... сделал вид, что направляюсь к выходу, а сам быстро приоткрыл дверь в спальню и заглянул в нее. Хайди истошно завизжала и попыталась треснуть меня костылем по голове.

Я увернулся, а затем быстро покинул квартиру на пятом этаже. Побежал, рискуя жизнью, по поганой лестнице вниз. За мной следом несся визг Хайди. На втором этаже хозяйева выпустили собачку на лестницу, и гнусная эта тварь вцепилась зубами мне в икру. Я отодрал от себя собаку и изо всех сил швырнул ее в стену.

Вылетел из подъезда как жаворонок из клетки и побежал домой.

Рана оказалась неглубокой. Залил ее перекисью водорода.

После этого позвонил в полицию.

Когда полиция ворвалась в квартиру Хайди, мертвецки пьяная хозяйка дома все еще сидела в кресле. Рядом с ней лежала пустая бумажная упаковка крепленого красного вина. В спальне ее до невменяемости обкурившийся друг продолжал трахать раком «изнасилованную и убитую» Линду. Линда стонала как морской котик, а когда ее оторвали от любовника — злобно вцепилась в волосы полицейскому и плюнула ему в лицо.

...

Коломбо выпустили из тюрьмы только через неделю.

Следующие полгода он провел в психиатрическом стационаре. Из галереи уволился. Поклялся больше никогда не работать с детьми.

Посещение страниц с детской порнографией — оказалось фейком, позже признанным «непростительной ошибкой» несмотря на то, что уличивший Коломбо полицейский информатик упрямо утверждал, что никакой ошибки не было, и ссылаясь на данные провайдера.

Испачканное менструальной кровью Линды нижнее белье бросила в мусорный бак ее мать. Как она уверяла, «случайно, в состоянии алкогольного опьянения».

Что случилось после того, как Коломбо потерял сознание в галерее и до того, как он очнулся на Лисьей горе — так и осталось невыясненным.

Девочки из кружка показали, что Коломбо пошел за Линдой и больше в студию не заходил. Они услышали его глухой

стон, заглянули в зал, увидели лежащего на полу окровавленного Зюсса, испугались и убежали. Люси рассказала все дома матери, та позвонила в полицию.

Позже Коломбо говорил мне, что он в это потерянное время летал на шабаш ведьм и видел там дюреровскую Меланхолию, целующую в зад Большого Черного Козла.

А у меня появилась новая версия. Кто-то притащил бесчувственного Коломбо на гору и хотел сбросить с обрыва, но в последний момент не решился совершить убийство. Уверен, что это был араб. Но идея наверняка принадлежала Линде. Так же как и идея впрыснуть в салон автомобиля Зюсса через дырку на боковом стекле несколько капель ее крови.

Дружка матери Линды не осудили. За что? Девочке уже исполнилось тринадцать и она смогла убедить судью в том, что отдалась арабу добровольно. И с согласия матери.

...

Когда все улеглось и даже начало забываться, мне снова позвонил вальяжный адвокат. Я-то думал, что его заинтересовала моя новая графическая серия, которую как раз тогда показывала переехавшая в новое помещение галерея Л.. Но действительность, как всегда, обманула. После короткого обмена любезностями адвокат промурлыкал: Боюсь, ваш Коломбо вас надул. На самом деле все было вовсе не так, как вы вероятно думаете. Разглашать подробности я не имею права. Но для вас, так и быть, сделаю исключение...

НА ДАЧЕ

Заходил сосед с шестого этажа. Как его... Херр Ренк. Или Пенк. Глаза сверкают, толстые лиловые губы трясутся, сияет как помидор. В лотерею что ли десять миллионов выиграл?

Пригласил меня к себе. Пострелять из пневматического пистолета. Только что купил в магазине «Франкония». Что на Фридрихштрассе. Семьдесят лет дядьке, самое время палить из пневматики.

— Пойдем, постреляем. Пистолет — чудо. Мультикомпрессионное оружие. Без отдачи. Американская классика! Пиво есть и вискарь.

Я пошел.

В большой своей гостиной сосед устроил тир. Повесил на стену квадратный щит из оргалита, чтобы обои не портить. К оргалиту прикрепил специальное приспособление, чтобы мишени вешать и пульки собирать. Ловушку.

На другой стороне комнаты, у балконного окна, положил на ковер метровую линейку. Барьер вроде. От линейки до мишени — ровно пять метров. Немцы любят точность и порядок.

Минут двадцать пять мы шмаляли... я три раза попал в десятку, а хозяин пистолета так больше восьмерки ни разу и не выбил.

Виски и пиво я не пил, а сосед... запивал виски холодным пивом. Говорил, так лучше для печени. Наверное, врал.

Похвалил пистолет, поблагодарил соседа за удовольствие, и домой. Хватит, отстрелялся.

А сосед, полагаю, весь вечер гвоздил.

А за стеной, той самой, на которой мишень висела, жила сварливая кривобокая тетка. Толстая как картошка. Восточ-

ная женщина. Может, какой сириец тещу или маму выписал из Сирии. Или афганец. Представляю, как она злилась. Клок-клок-клок в стену.

Перед тем, как уйти, сказал соседу: Слушай, Фритци, у соседки твоей небось настоящая пушка есть. Сынки с собой привезли, или тут у поляков купили. Они оружие любят. Ты разозлишь ее, она тебя кокнет. Или детки маме помогут — видел их рожи?

— Видел. Как у динозавров. Пусть позлится, швабра старая, а если только пикнет, я на нее в полицию донесу. Сколько ящиков краденого барахла к ней третьего дня притащили какие-то бедуины! Полный грузовик разгрузили. Пока она меня не трогает, я ни гу-гу. А если нажалуется, падла, или права качать начнет — тут же донесу. Пусть свой поганый рот застегнет на молнию. Моя квартира, что хочу, то и делаю. До десяти вечера. А на ее сынков — натравлю наших парней. Из соседней качалки. Пусть свое место знают, поганцы. Превратили Берлин в Дамаск. Всюду их бороды, бабы в платках и гугнивые дети... Ты чего так рано уходить намылился? Оставайся, еще постреляем. Если хочешь, займемся другой стрельбой. Я уже соскучился...

Когда сосед произносил последние слова... я заметил на его грубом тевтонском лице нечто вроде робкой улыбки.

— Спасибо. В другой раз. Я сегодня не в настроении. Дергает что-то в кишках. Да, кстати, ты в ловушку поролон вставь. Толстый, плотный. В Баухаузе продается. Чтобы пулька по жести не стучала. Тогда почти ничего слышно не будет. Пали, не хочу. Хоть всю ночь.

...

Пришел домой, лег в ванну. Размяк как сухарь в чае. В голове звучали — выстрелы.

Ччок-ччок-ччок!

А внизу живота им — как эхо — отвечали приятные легкие спазмы. И все существо мое как будто качалось... Знакомое состояние. Когда-то я его уже испытал. Где? Когда?

Против воли начал вспоминать.

Не могу больше думать о прошедшей жизни! Тошно! Но ганглиям ведь не прикажешь... вот и приходится еще и еще раз переживать одно и то же... жевать и жевать собственную судьбу.

Потому что новой жизни у меня нету. Какая жизнь у старившегося эмигранта? Одни ополоски да болячки.

А все этот пистолет пневматический. Забросил меня как свинцовую пульку — на полвека назад. Выстрелил мной в прошлое. Потому что однажды я уже стрелял из такого пистолета. И качался как влюбленный маятник. В юные, сладостные годы.

Было это на подмосковной даче одного советского сатрапа. За Жуковкой где-то. Забыл. По Рублевке ехали с моим дядей на казенной черной Волге.

Дача эта походила на замок из сказки. Трехэтажная, с эркерами, верандами и башенками. И земляца при ней немалая, гектаров пять участок. Огород, яблоневоый сад, теплица, сосновый лесок с ручейком, все было... И стрельбище. И отдельное здание — с саунами и бассейном. За четырехметровым забором. Чтобы обычные совчелы не глазели. У ворот дачи — две крысы в штатском. Гэбэшники. Документы проверяли у гостей, некоторых обыскивали. Только колючей проволоки не хватало. И вышек с пулеметами.

Одного меня, тогда еще студента-первокурсника, туда бы ни за что не пустили. Кому я нужен? Но я сопровождал моего высокопоставленного дядю, опору и гордость всей нашей семьи. Топтуны отдали дяде честь, а на меня поглядели косо.

Взял меня дядя с собой конечно не для того, чтобы показать, как живет и развлекается номенклатура, а для того, чтобы тетка не подумала, что он поехал к девкам. Я был чем-то вроде алиби. Мол, и племяш тоже был со мной, и другие дети были...

На самом деле, никаких детей там не было, кроме меня и Мананы, худенькой сексапильной грузиночки, дочери одного из сатрапов, взявшего ее с собой, как я предполагал, для маскировки.

Обычно дядя разговаривал со мной просто, часто пренебрежительно, иногда даже сурово, а когда приглашал меня на дачу, вдруг сделался каким-то сладким... сдобным... неискренним. Я подумал: Ага, врешь, врешь все, старый пёс... а зачем? Я тебя прекрасно понимаю... и не осуждаю. Каждый живет как может.

...

На первом этаже дачи располагались кухня и столовая. Человек на пятьдесят. На стенах столовой висели батальные картины маслом времен наполеоновского нашествия. Денис Давыдов с кошачьими усами. Багратионовы флешы. Пушки. Дым. Раненые уланы.

В подвале дачи помещался бар с помостом для стриптиза. А на втором и третьем этажах — спальни. Мебель везде стояла заграничная, с претензией. Дорогая, но безвкусная. С завитушками и шишечками. Спальни украшали картинки в золоченых рамочках. Французские гравюры из собрания Пушкинского музея, пояснил мне дядя. Элегантные кавалеры гонялись за жеманными дамами в неопикуемых платьях и париках. С бесстыдно обнаженными грудями. Я был приятно поражен... никогда до тех пор не видел подобных изображений.

На полках пылились необыкновенно искусно сделанные пестрые фигурки, поразившие меня еще больше, чем гравюры. Пастушки, фавны, китайцы... Это был Мейсенский фарфор из собрания Эрмитажа.

Когда мы с дядей приехали на дачу, все общество было уже в сборе. Начальники толпились вокруг нового Мерседеса мананиного папы... смотрели на мотор, трогали фары и зеркала. Они смутно напомнили мне персонажей Гоголя из «Немой сцены» Ревизора. Каждый имел в фигуре что-то ущербное, уродливое, отвратительное.

Толстые морды с несмываемой печатью вырождения, невыразительные глазки, отсутствующие шеи, отвисшие животы, длинные крепкие руки, бородавки, маленькие черные зубы хищников.

Но самое неприятное в этих людях было... высокомерие дорвавшихся до неслыханной власти слесарей и матросов,

глушащее в них остатки человечности. Меня эти «номенклатурные хряки» не заметили, а дядю запанибратски обняли и увели куда-то пить коньяк.

...

Ко мне подошла Манана и заявила, искусственно позеывая, что ее, вопреки ее желанию, обязали составить мне компанию и проследить, чтобы я «вел себя паинькой и не совал нос, куда не надо».

— Как это скучно, быть нянькой для сопливого первокурсника! — надменно произнесла Манана и посмотрела на меня как на описавшегося щенка. Я вытащил из кармана брюк чистый белый платок, который заставила меня взять с собой моя заботливая бабуля, мать дяди и моего рано умершего отца, вытер нос и потупился.

Манана сразу мне приглянулась... рядом с ней я сразу почувствовал себя так, как будто выпил три бокала полусладкого шампанского. Обычно такие серые корпускулы существования вдруг налились переливающимися светами.

У нее была миниатюрная, почти кукольная фигура... смуглая кожа... узкие ступни... и печальные черные глаза, как у ослика с картины Пиросмани. Портила ее только гримаса пресыщенности, то и дело искажавшая ее породистые ноздри и тонкие губы.

Мне хотелось произвести на нее впечатление. Я решил сказать ей что-то умное. И сказал. Свободно процитировал одну из мыслей Свана об Одетте.

Девушка посмотрела на меня, насупилась и произнесла: Ты это серьезно? Слушай, мальчик, я в этом году заканчиваю филологический факультет Московского Университета. Пруста, в отличие от тебя, читала в оригинале. За пять лет учебы меня пытались впечатлить и ошарашить умными и заумными фразами многочисленные поклонники. Не только студенты, но и профессора, не только наши, но и европейцы и американцы. Были среди них и таланты и редкие тупицы. Но никто из них не делал это так глупо и беспомощно, как ты. Что ты хочешь? Чтобы я с тобой переспала на этой даче? Этого не будет. Держу пари, что ты еще не был с женщиной в постели и не знаешь, как это делается.

— Не знаю, но догадываюсь.

— Ладно, умник. Пошли по направлению к кухне. Мне велели тебя накормить. Я и сама умираю от голода. Ты знаешь, что мы будем сегодня кушать? Сациви. Знаешь, что такое сациви? Холодная курица под густым ореховым соусом. С хмели-сунели, корицей и шафраном. Пальчики оближешь. Только, пожалуйста, не чавкай!

Прошли в кухню, там, в уголке для нас был накрыт маленький столик. Сели. Сердце ныло, мне так хотелось остаться с Мананой наедине! Но мимо нас то и дело пробежали охранники, повара и официанты, обслуживающие гостей в столовой. До нас доносились крики и возгласы начальников.

— Водки, водки налейте нашему Михалычу!

— А пусть он станцует и споет! Как тогда, в Новороссийске.

— Коньяку для министра! Быстро! Поворачивайся, пингвин, или в Антарктиду отправлю!

— Курчавому Юське еще сациви положи. И винца плесни в рюмочку! Беленького.

— Я в Тбилиси, в гостях у Сраного Швили и не такое сациви едал!

— Витенька, дырявая ты жопа, ножичком и вилочкой ешь, пожалуйста... Ты ведь не на приеме у английской королевы.

— Муха, ты мне Лукича напоминаешь, когда кепку надеваешь.

— А ты напоминаешь мне помойное ведро.

...

Я, как и неизвестный мне Витенька, не знал как едят сациви. Нервничал.

Уронил кусок мяса в соус.

Манана долго оттирала мою белую рубашку и голубой галстук с золотыми драконами влажной салфеткой, потом покачала головой и сказала: Какой ты неловкий! Посмотри, это мое единственное бальное платье, а ты его закапал.

— На черном не видно!

— Видно... все видно!

— Тогда сними его. И пойдем в номера.

— А больше ты ничего не хочешь?

В конце нашей трапезы к нам подошел отец Мананы, Сергей Георгиевич, породистый грузин, строго посмотрел на дочь и сказал ей что-то по-грузински. Манана вперила в него яростный взгляд. Как будто кинжалом пырнула. Задышавшись от показного гнева, ответила ему, тоже по-грузински. Сжала смуглые кулачки и ударила ими себе по худеньким бедрам.

Затем, неожиданно для меня, — зарыдала.

Рыдала Манана только несколько секунд.

А потом — боги, боги — слезы как бы сами высохли на ее глазах, она мягко улыбнулась и произнесла: Папа, я тебя люблю. Ради тебя сделаю все! Посмотри, он мне платье соусом залил, вандал...

— Ничего, ничего, — проговорил Сергей Георгиевич с сильным грузинским акцентом, — я куплю тебе другое... мужчину делает женщина, не забывай эту мудрость, завещанную нам предками, доченька.

Погладил Манану по красивой голове, украшенной черными кудряшками с вплетенной в них жемчужной ниткой, и обратился ко мне.

— Ты когда первый курс заканчиваешь, джигит?

— Через четыре месяца.

— А что после МГУ собираешься делать?

— В аспирантуру пойду.

— А дальше?

— Защищу кандидатскую, а потом и докторскую.

— Хороший мальчик! Правильно мыслишь. Хотя... боги смеются, когда мы о наших планах говорим. Но на то они и боги. А у тебя все будет хорошо... Милые дети, приглашаю вас на двор, на стрельбище. После еды надо размять кости.

...

Там, на стрельбище, я впервые в жизни взял в руки пневматический пистолет. С вороненым дулом и черной пластмассой. Тяжелый. Американский!

Сам догадался, как надо накачивать в цилиндр воздух. Зарядил... прицелился... и вlepил пульку в молоко. Манана захихикала.

Кроме нас стреляли еще несколько человек. Начальники. Отец Мананы не стрелял, стоял в стороне, курил сигареты Кент. Задумался о чем-то.

Мы с Мананой стреляли по мишеням, а начальники — по воронам, сидящим на проводах. Глупые птицы и не подозревали, что по ним ведут огонь. Каркали и не улетали.

Мазали-мазали.

Наконец, один начальник все-таки попал. Я видел, как птичья головка беспомощным комочком плоти упала на землю, а из пернатого тела, как из черного бокала прыснула алая кровь.

Начальники заревели от удовольствия. Сергей Георгиевич нахмурился. Бросил сигарету и раздавил ее остроносым лакированным ботинком. У Мананы по лицу пробежала гримаса брезгливого отвращения.

Сергей Георгиевич был высок, худ, элегантен. Остальные начальники — были похожи на Бобчинского или Добчинского. От них невыносимо несло коньяком и чесноком.

Один из них, тот самый, который убил ворону... товарищи называли его почему-то Курчавым Юсей, хотя он был лыс как бильярдный шар, решил показать Манане, как правильно целиться. Она не возражала.

Он обнял ее и облапал маленькую грудь девушки потными ладонями с короткими толстыми пальцами. Когда черепаший ноготь Юси нажал ей на сосок, Манана дернулась, как испуганный олененок.

Я вскочил и грубо отпихнул его от Мананы. Сил во мне тогда еще было как в молодом Геракле.

Сергей Георгиевич тактично отвернулся. Остальные начальники состроили скабрзные мины. Курчавый Юся встал, отряхнулся, мстительно посмотрел на меня... Пробормотал: Полегче, полегче, петушок, а то крылышки подрежем.

Тут в ворота дачи ввалилась щебечущая толпа девушек. Сергей Георгиевич поприветствовал их и провел в здание с саунами и бассейном.

Начальники переглянулись, обменялись похабными комментариями и ушли, а мы с Мананой остались на дворе.

Похоронили обезглавленную ворону.

Манана соорудила над ее могилой что-то похожее на крест.

Отнесли пистолеты, неиспользованные мишени и коробки с пулями в дом. Поднялись на третий этаж, в выделенную нам комнату. Без двуспальной кровати, но с диваном, креслами, книжным шкафом, роскошным проигрывателем и большим набором пластинок. Сели в кресла и немного помолчали.

...

Нашел пластинку группы Прокл Харум. Поставил песню, которую несколько раз слышал по радио. «A whiter shade of pale». Слова ее я не понимал тогда, не понимаю и сейчас, хотя читал и перевод и интерпретации. Но мелодию этой песни, похожую на баховский хорал, я полюбил сразу и на всю жизнь. И то особенное настроение молодого человека, которое она отражает. Когда и любовь уже не спасает, а топит. И в душе развивается психоделическая некрофилия, «более белая, чем сама бледность». Но не всамделишная, а как бы наигранная, и потому не страшная, а влекущая.

Пригласил Манану потанцевать. Она согласилась. Мы обнялись. По выражению ее лица понял, что эта песня будит в ней печальные воспоминания. По ее щеке вдруг побежала слеза. Я поймал ее губами и слизнул.

Манана положила голову мне на плечо. А когда мы опять сели в свои кресла, прошептала на ухо: Я до сих пор — невинная девушка. И сделает меня женщиной только мой законный муж после свадьбы.

— А как же пять лет МГУ? Студенты и профессора, американские и европейские... умничали, умничали... и остались с носом?

— Именно с ним. В прямом и в переносном смысле.

— Понял, понял.

— А ты понятливый!

— Ты меня всего на четыре года старше. Но ты решила, что я ребенок, и к тому же полный идиот. А меня жутко к тебе тянет. Не только сексуально... этнически... может, потому, что грузины и евреи — двоюродные братья?

— Опять умничаешь? Не хочу с тобой темнить. Мой папа вздумал отдать меня за тебя замуж. Сговорился с твоим дядей. И твоя тетя знает. И бабушка. И все мои. А меня сама эта мысль — что он хочет какие-то выгоды получить от моего замужества, вроде как монарх, приводит в бешенство. Я не принцесса, ты не принц, а он не король.

— Интересные дела. У меня есть идея. Давай их надумем. Пусть себе свои планы строят. Как твой папа сказал, боги только смеются... Вот мы и станем этими богами. Будем хохотать. А им скажем, что все, мол, в ажуре, так мол и будет, как они задумали. А сами будем жить как живется. И будь, что будет.

— Ты еще не все знаешь. Если мы поженимся, то через год-два твой дядя отправит нас в капстрану. Будем дальше учиться в Лондоне или Сан-Франциско. Это в его власти. А мой папа добудет деньги. Откуда, я не знаю, он меня в свои тайны не посвящает. Он говорит, что в Совке скоро жить будет невозможно. Старые придурки начнут войну на юге, дряхлая экономика СССР не потянет холодную и горячую войны одновременно, начнется развал. Народ валом отсюда повалит, не как сейчас, а миллионами. А эти самые начальники, которых ты сегодня видел — они из директоров заводов превратятся в их собственников, захватят комбинаты, целые отрасли, нефте— и газодобычу... станут миллиардерами. Они уже сегодня тайно делят страну. Так говорит мой папа, и поверь мне, он знает, что говорит. Не даром он в Госплане второй человек.

— Погоди, хрен с ним, с Госпланом, до меня только сейчас дошло, ты что же, по плану наших родных должна меня сегодня вечером соблазнить? То-то бабушка настаивала на том, чтобы я свежие носки и трусы надел. Понимаю. Сан-Франциско.

— Ну да.

— Дела! В начале — в койку. Потом — в ЗАГС. Затем в Лондон. Навсегда, надо полагать. Да еще и с полными карманами валюты. Есть о чем призадуматься. Хотя... чего уж тут думать... Валяй!

— И не подумаю. Сам же сказал — будем жить как живется.
— А как же план дяди и папы?
— А к черту все.
— Ладно, к черту, но поцеловать-то себя ты позволишь, номенклатурная принцесса?
— А если нет?
— Тогда я сейчас же позову сюда милейшего Юсю Курчавого!
— Ах ты негодяй!
— Скажу ему, дядя Юся, идите скорее к нам, Мананочка хочет вам что-то показать! Под бальным платьем.
— Только позови, я ему хобот отрежу.
— У него его никогда не было.

...

Неожиданно к нам постучали.
В комнату вошел Сергей Георгиевич и мой дядя. Оба явно были чем-то серьезно обеспокоены.

Они сообщили нам, что один из гостей, член ЦК КПСС и кандидат в члены... скорострительно скончался в сауне, и мы должны покинуть дачу до того, как сюда приедут представители правительственной комиссии.

Девушек и персонал уже отправили по домам...

Дядина Волга укатила еще несколько часов назад, поэтому Сергей Георгиевич отвез нас домой на своем Мерсе. Высадил Манану у номенклатурного домов недалеко от Университетского проспекта, в одном из них она жила в роскошной двухкомнатной квартире. Когда Манана выходила из машины, я успел взглянуть ей в глаза... В ее холодные, равнодушные глаза пресыщенной барыни. Наконец-то освободившейся от навязанной ей роли.

* * *

Через несколько лет я узнал от дяди, что Манана вышла замуж за австралийского профессора-историка, и живет с ним в Сиднее. Профессор этот долго стажировался в СССР, наверное шпионил, познакомился в какой-то компании с Сергеем Георгиевичем, тот сосватал за него дочь. Был

он лет на двадцать пять лет старше Мананы, обладал прекрасным баритоном и пел по воскресеньям в пресвитерианской церкви.

В аспирантуру я после мехмата не пошел, диссертацию не защитил, карьеру не сделал. Наука опротивела мне еще в студенческие годы. Но деваться мне было некуда, и я проработал десять лет после МГУ младшим научным сотрудником.

Дядя мой не дожид до перестройки. Смерть его превратила нас, его родных, в обыкновенных смертных. Терять привилегии не легко, но мы все как-то справились.

Я эмигрировал в Германию за год до развала СССР. Позже побывал и в Лондоне и в Сан-Франциско. Походил по улицам этих городов, посмотрел, и перестал жалеть, что не попал сюда в юности.

Сергея Георгиевича убили в начале девяностых. Манана на его похороны не приехала.

Никто из пировавших тогда на даче начальников не дожил до сегодняшнего дня.

ПЕРЕПРЫГНУЛ

В январе я перепрыгнул через 60. Лет. С моим весом это нелегко.

60 — голубое число, было для советских тружеников мужского пола одним из сакральных чисел, гораздо более важным, чем фундаментальные математические константы π и e . Потому что в шестьдесят лет мужчины выходили на заслуженную пенсию. Чаще всего — в первый же день после дня рождения. За неделю до которого происходили торжественные проводы. Со слезами, награждениями, водкой и мордобоем. А если пенсионеры работали дальше, то для всех других они становились стариками, ветеранами, отработанным материалом.

Если статистика не врет, до пенсии доживали в СССР (и доживают сейчас, в путинской России) только семь мужчин из десяти, к шестидесяти пяти их оставалось четыре с половиной, а до семидесяти доживали только полтора человека. Могикане!

80 — число огненное. Обозначенная Всевышним граница жизни. Восемидесятилетние мужчины встречались в СССР редко, они считались долгожителями. Это были динозавры. Пережитки прошлого. Рамолики и отжившие свой век развалины... вечно больные, ворчливые, придиричивые... полуслепые, тугоухие, пованивающие... корчащиеся в больницах и домах для престарелых или сидящие на шеях постаревших детей, дожидаящихся их смерти. И отравляющие все вокруг себя гноем старости. Были конечно и исключения. Например, мой родственник Алексей Борисович Певзнер, знаток конструктивизма, доцент по специальности «металловедение» и ярый антисоветчик, вышел на пенсию в шестьдесят лет и сказал: «Ну теперь поплатят мне большевички. Я буду жить долго!»

И действительно, прожил еще 27 лет, и умер, здоровый как огурчик, во сне, гостя у шестидесятилетней дочери в Будапеште. В Будапеште дядя Лёля (так звали его дома) случайно гостил и в 1956 году и видел... все видел... И часто говаривал: «Я-то знаю, что надо сделать со всеми брежневими-сусловыми и их опричниками с Лубянки — на фонарных столбах повесить кверху жопами. Я это видел у венгров! Только разве от русских советчиков дожدهшься чего хорошего? Крысы и нелюди».

90 — число ледяное. Тут и комментарий бесполезен. Не только люди и их дела, но и память о них, и сами слова замерзают, не выдержав оцепенения небытия.

А 100 — это уже не число, а нечто юбилейно-статистическое.

В будущем году будет столетие ВОСР. Помните еще, что это такое? Столетие кромешного ужаса и торжествующей подлости. В которое давно пора воткнуть осиновый кол, а вместо этого запутинцы-крымнаши кормят проклятую гадину своей и чужой кровью... пытаются оживить смердящий труп СССР.

...

Шестидесятилетие притягивало и пугало. Многие наделись на то, что, вот, мол, выйду на пенсию, и тогда отдохну, порыбачу, займусь наконец садом... лечением... воспитанием внуков... почитаю вволю... поиграю на трубе... посмотрю мир... напишу роман... выучу японский... посету семью умершего брата в Ленинграде... разведусь...

Но почти ни у кого из этих «пенсионных мечтателей» не получалось ничего. Хорошо еще, если они не умирали в сорок или пятьдесят, а через пять лет после выхода на пенсию не ходили под себя.

А сколько было страхов! Океан ужаса. Уволят и стаж, стаж, понимаете, стаж прервется! Да что вы, не дай бог!!! Характеристику испортят — понизят зарплату, пенсия будет пятьдесят рублей. Не дадут персональную пенсию, а я всю жизнь на них ишачил!

Сколько из-за будущей пенсии, маячившей сладкой розовой полосой на свинцовом небосводе трудящегося совка, про-

исходило инфарктов, инсультов и опоясывающих лишаев... Какой черной завистью пылали люди к тем, кто получит пенсию большую, чем они. Вычисляли бесконечно проценты... Жили не сегодняшним днем, а будущим, которое никогда не наступало... Как портили себе и другим нервы... каждый день, каждый день. Какие интриги устраивали... подсиживания, коллективную травлю, увольнение по сокращению штатов, проверки, персональные дела.

А после выхода на пенсию вдруг понимали, что вся чехарда, весь цирк не только не стоил свеч, но и растоптал их свободу, сожрал их молодость, их жизнь и здоровье. Что все их диссертации, выступления, открытия... еще при их жизни разворованы или втоптаны в грязь, а сами они забыты или вычеркнуты из истории. Что ВСЕ, все их амбиции, бесконечные труды и хлопоты, надежды и свершения, подлости и самопожертвования... все было, с самого начала, как сказано в Книге Книг, только «суетой сует».

Старики умирают и приходят новые поколения белок и хомяков, которые влезают в те же колеса, и крутят, крутят их и бегут, бегут, задыхаясь, из последних сил перебирая лапками... бегут всю жизнь к пенсии... бегут, бегут, часто до самой смерти, теряя все дорогое и важное, не щадя никого... и приобретая только хвори.

Вот и я пробежал свои шестьдесят.

Нет, прошел пешком, с любопытством поглядывая по сторонам, останавливаясь и подолгу созерцая картинки и ландшафты, слушая музыку сфер и обходя многолюдные толпы и коллективные кормушки, пропуская орды бегунов вперед.

Бегите, бегите... достигайте, добивайтесь, хапайте, жрите. А я... потихоньку пойду. Куда спешить? На лужок, да под дубок.

...

Мне часто снятся «сны прогульщика».

Может быть потому, что часто прогуливал школу, и в университет наведывался редко, и с работы уходил в час. А чего там торчать? В мертвом доме. И в Германии, вместо того, чтобы зарабатывать на пенсию, на акции, на мерседес, на до-

мок с садиком и радикулитом, на мебель, ковры, путешествия, электронику и молодых сочных сучек, бил до остервенения баклуши...

«Сон прогульщика» начинается обычно с того, что я куда-то иду, или еду на поезде или автобусе, или даже лечу на самолете. Поезд, автобус, самолет конечно не похожи на реальные транспортные средства. Это что-то большое, деревянное, неуклюжее, трясущееся, угрожающее, люди там сидят на полу или на потолке, поют хором какую-нибудь заунывную песню и вяжут из пестрой шерсти свитера... или бумажки рвут.

Люди? Нет, в моих снах никаких людей нет, есть заполненные чем-то человекоподобные фигуры, что-то вроде манекенов, только не из пластика или из дерева, а из темноты, капелек пота, скорлупок чувств, глины воспоминаний.

Мы проезжаем или пролетаем «морья», «долины», «горы»...

Все это разумеется тоже не настоящее во сне. А как будто халатно слепленное из папье-маше полоумным орнитологом-любителем. И в субстанцию ландшафтов щедро вкраплены мои ощущения, представления, ошибки и страхи, которые постоянно меняют формы этих «морей», «долин» и «гор».

Подсвечивают и подлаживают.

Тянут и разрывают.

Надстраивают и сносят.

Приехали, прилетели, вышли из автобуса, поезда, самолета, и я тороплюсь, тороплюсь в «школу».

Школа во сне — тоже не имеет ничего общего с школами, в которых я когда-то учился. Это не здание, а сложная многоэтажная конструкция, слепленная из опавших листьев, внешне вида вовсе не имеющая, а изнутри напоминающая архитектурные фантазии Пиранези, из цикла «Темницы». Особенно ту гравюру, в которой видны готические арки. Единственное, что отличает мою «школу» от темницы с готическими арками Пиранези — это наличие в школе длинных полутемных «залов» или пустот, таящих всевозможные неожиданности и ловушки. С потолков там свисают веревки. Канаты, лески с крючками, шнуры, петли.

Я, заключенный этого мрачного пространства, стою в одном из таких залов... жду...

Наконец откуда-то приходят другие школьники... «одноклассники». Это не дети, а крупные, больше меня, составленные из больших темно-серых кубиков, фигуры. На гранях кубиков — возникающие и исчезающие записи, рожицы и тещины языки. «Одноклассники» — в группе. Они сговорились. А я один. Они прилежно учились в «школе». Посещали занятия. Они — знают материал. А я не знаю ничего. Даже то, как зовут учительницу. Меня не было. Я прогулял. Отсутствовал. Я не знаю, как расколоть эти головоломки. Не знаю, как правильно собрать кубик-рубик. Не умею брать интегралы по частям. Забыл чему равняется синус трех икс. И как построить трапецию с помощью жопы и пальца.

Сейчас будет контрольная. Я провалюсь. Меня выгонят из школы. Не дадут аттестата. Я не смогу поступить в университет. Меня заберут в армию. Покалечат. Я не получу пенсию. Проживу жизнь больным и бездомным, роясь в отбросах.

Ужас! Ужас!

Приходит учительница. Она — манекен, составленный из пирамид лжи и притворства. И еще — она лисица. Стережет лисят. Теревит их за ушки. В руках у нее книги — это задания контрольной. Она их раздает ученикам... пританцовывает и напевает песенку про отличников. Дает и мне. Я открываю эту страшную книгу. Из нее сыпятся на темный шербатый пол формулы, слова, числа, фразы, абзацы — как крупные перфорированные чешуйки черной рыбы...

Учительница повернула свое лицо-пирамиду ко мне... уставилась, лисья морда!

Все смотрят на меня. Злорадствуют... Ждут, что я закричу как павиан.

Я слышу смешки и насмешливые реплики.

Боже, как же я выкручусь? Что же мне делать?

Погибать, погибать...

...

И тут, когда я уже ломаю пальцы от отчаяния, ко мне как маленький светящийся шарик летит через весь этот

ужас — мысль. Мысль и уверенность. И начинается метаморфоза. Преображение. Я теряю страх и гордо встаю в позу атланта. Я держу небеса и звеню, как колокол. И говорю — гордо, громко, без запинки, ведь силы и память уже возвратились ко мне — я закончил вашу задрипанную школу и получил ваш аттестат, поступил в МГУ и закончил его. Я работал на вас десять лет, а потом уехал от вас. Навсегда. Мне не надо писать вашу контрольную. Я сдал все экзамены. Мне шестьдесят лет.

Фигуры моих одноклассников и учительницы съезживаются, падают, исчезают... исчезает и ужасная школа и сквозь полузакрытые веки я начинаю различать окна и жалюзи нашей берлинской спальни. Пора варить кофе...

Сон этот повторяется часто. Только вместо школы появляется университет или институт, а вместо одноклассников — кафедра и коллеги.

...

Эмиграция моя была, увы, не триумфальным шествием атланта или молодого Зигфрида, а отступлением, побегом. В Германии я не попал в капиталистический рай, а был насильно помещен на территорию бывшей ГДР и проведен там сквозь строй всяческих унижений.

Первый год эмиграции я был бездомным, жил в лагере-общежитии в городке Глаухау, потом в другом лагере, в Мееране, затем в чужой квартире в Дрездене и только в августе следующего года снял квартиру в городе К., грязную, холодную конуру с печным отоплением. Но возвращаться в Москву, в мою теплую кооперативную квартиру, полную любимых книг и картин, я не хотел. Ни за какие коврижки. Уехал, значит уехал. Баста.

Возможно, эта моя временная немецкая «бездомность», наглость и злоба немецких чиновников, с которыми пришлось иметь дело, и потеря московской квартиры и породили второй сон, который приходит ко мне регулярно, раз в две-три недели.

Это «сон бездомного эмигранта».

Начинается он хорошо. Я еду себе в берлинском с-бане.

Разумеется, и Берлин и с-бан в моем сне не похожи на реальный город и на городскую электричку. Вагон с-бана смахивает на вагон московского метро времен моего детства, а Берлин похож на все большие города, в которых мне довелось побывать — Нью-Йорк, Париж, Рим...

Въезжаем мы в какой-то туннель и долго-долго по нему тащимся. Внезапно отваливается крыша вагона, и вагон едет без крыши... беззвучно отваливаются... пропадают... и стены... и вот, я еду уже не в вагоне, а на платформе с сидениями... никого кроме меня, на платформе нет... и платформа с страшным скрежетом падает в колодец с вертикальными рельсами. Скользит вниз.

Выныриваю на улице какого-то города. Знаю, это — Москва. Хотя город этот на Москву и не похож. Скорее, это город К., почти все дома в нем — трехэтажные, такие, какие строили в Германии в двадцатых годах. Кирпичные, с маленькими окнами и покатыми крышами... с легким привкусом Баухауза и с элементами неизжитого еще Югендстиля...

И тут, тоже стены и крыши домов, асфальт, фонари, автомобили, трамваи — не предметы, а испарения, миражи... морок. Отвердевшее, но постоянно ускользающее, не поддающееся анализу подсознание... недоносок разума. Или надсознание... предчувствие... предвидение... нечто из будущего. Может, и не моего.

...

Ты идешь по улице этой «Москвы», а она тебя не держит... и ты проваливаешься сквозь картонный асфальт в ад...

Тыходишь в магазин, а там вместо людей — безглазые манекены, отражения, куклы, пародии.

И в этом безумном городе, в этом вывернутом наизнанку мире, ты, повинувшись ур-инстинкту, начинаешь искать твой дом. Твой потерянный дом.

Ищешь метро, чтобы проехать в нем в «Ясенево» или к «Метро Университет». Опускаешься вместе с толпой зомби в шахту и замечаешь, что поезда этого метро, похожие на составленные вместе вагончики американских гор, ездят только вниз и вверх... делают под землей мертвую петлю.

А если ты находишь свой старый дом с башенками, то видишь — рядом с домом течет река, широкая, полноводная... только вместо воды в ней — миллиарды скомканных, грязных бумажек... это документы... заявления... запросы... паспорта... визы... а настоящая река, из воды, течет теперь через твою квартиру... и ты знаешь, что она уже унесла в небытие твои книги, твою жизнь.

И вот... нет ни прошлого, ни будущего, нет родных и друзей, есть только этот страшный город, эта потусторонняя «Москва», а ты — никому не нужный бездомный...

И ты бежишь и бежишь, и ищешь свой дом, которого больше нет. А если ты случайно находишь его... и падаешь в изнеможении на пол... и раскрываешь любимые книги и обнимаешь любимую... Не проходит и пяти минут, как какие-то неизвестные люди входят в квартиру... их стертые лица трясутся от злобы, их руки хватают все, что попадетсЯ, и бросают на пол, который превращается в зияющую пропасть, их страшные пасти раскрыты и они орут, как мартовские коты, высунув длинные раздвоенные языки.

Один раз во сне я решил покинуть «Москву»... и долго-долго бегал по ее пустым гулким улицам... переплывал реки и каналы... перепрыгивал пропасти, влезал по фасадам на редкие высокие здания (входы в них были замурованы), чтобы увидеть, где же начинается окраина, где окружная дорога. Но у потусторонней «Москвы» нет окраин, нет окружной дороги, нет границы... однажды попав в нее, будешь метаться по ней все оставшееся тебе на Земле время.

ПРИВИВКА

Уколи шоколадного зайца шариковой ручкой

Сегодня первый раз привился.

Увы, вакциной АстроЗенека, которая уже несколько дней как сменила имя и называется нынче как-то совсем непривычно.

Прививался в прививочном центре, находящемся в бывшем берлинском аэропорту Тегель, в недоброй памяти терминале С. Не раз торчал там часами в ожидании самолета. Проклинаю все на свете.

Да, да, все говорили, такси долетит до Тегеля, не заметишь, сегодня же Пасха, все сидят по домам, пьют и объедаются.

И тем не менее в центре Берлина были пробки, и меня качало как ребенка.

Шофер рассказывал мне в пути про пророка Мухаммада. Утверждал, что он добрый и милосердный. Еще заявлял, что и Путин и Эрдоган, и даже Иран пляшут в Сирии под дудку американцев. Я не спорил, мне было нехорошо. В конце поездки шофер сообщил: Все берлинские турки прививаются только китайской вакциной. И предложил купить у него две баночки... всего за двести евро.

И еще мне говорили — ты только не пугайся, там будет длинная очередь перед входом в центр, но она очень быстро идет... Потерпи.

Похожая на громадную змею очередь перед входом в терминал С была, я не шучу, километра два с половиной длинной. Расходилась огромными петлями.

Два часа топтался на ледяном ветру.

Вокруг — старые люди в масках. И сотни ворон на тополях. Каркают, подлые.

Корректные надсмотрщики-арабы в желто-зеленых комбинезонах управляли движением очереди. Что-то по-своему кричали в рации. Мерзли.

Какой-то энтузиаст разносил воду. Воду никто не пил. Холодно. И непонятно, где потом...

Немцы не роптали, я кипел. Раса господ! Не могут элементарные вещи по-человечески организовать.

Ладно, отстоял свое. Судьбу не обманешь. Вошел в терминал С. А там народу...

Сотни, тысячи людей. Как в Индии. На сравнительно небольшом пространстве. Все конечно в масках, но все равно тошно...

Непонятно зачем нас гоняли с места на место еще час. Вытерпел. А что делать?

Укололи наконец. Миловидная такая врачиха. Молодая, но въедливая. Вы, говорит, никогда после прививки в обморок не падали? Назойливые суицидные мысли в голову не лезли? Температура не поднималась?

Наверное психиатра прислали из Шарите. На практику. Уколы делать старикам и старухам.

Обратно ехал — опять больше часа. Чуть автомобиль шоферу-турку не заблевал. Мерседес. Так укачало. Светофоры каждые 100 метров. И машин тысячи.

Куда их всех дьявол гонит? Ведь закрыто все, и бары, и рестораны, и бордели. А с девяти и вообще — комендантский час.

Да, забыл, на выходе из центра мне вручили большого шоколадного зайца в фиолетовой фольге. Взял, я не гордый. Подарю кому-нибудь. Немка моя шоколад не ест. Слишком сладкий. Или нарушу диету и съем зайца сам. Сделаю такую подлость. И еще — ручку шариковую синенькую после заполнения анкеты положил себе в карман. На память. Люблю трофеи.

Дома — с удовольствием рассказал своей немке о прививке в Тегеле. Немножко приврал, как же иначе. Она все охала, гладила меня по голове... предложила отведать вареной курятины с тexasским рисом. Потом достала из недр холодильника баночку черной икры и два холодных пасхальных яичка. И заварила зеленый чай. А ночью мне приснился сон.

Будто бы я все еще стою в этой проклятой очереди, похожей на змею. А рядом со мной томится семейная пара... оба за семьдесят, седые, симпатичные, моложавые.

Говорю им: Как думаете, сколько еще нам тут торчать? Осточертело... на холодрыге.

Она только вежливо улыбнулась, а он ответил: А кто его знает? Может, у них вакцина закончилась или врачи забастовали. Или...

— Или что?

— Я кое-что заметил...

— Что заметили?

— Мы ползем в этой очереди уже час. Так вот... я все время смотрел... из терминала никто за это время не вышел. Входили — да, человек по десять в минуту или чуть больше. Я считал. Но никто не вышел. Ни один человек. Смотрите, смотрите, такси уезжают пустые, без пассажиров.

До терминала было отсюда метров триста. Я прищурился так, что по щекам потекли слезы. Кажется, мой собеседник был прав. Но что бы это значило? Сколько лоб ни морщил — ничего не придумал.

— У вас есть объяснение?

— Есть, но...

— Что, но?

— Но доказать я ничего не могу.

Тут вмешалась его жена.

— Не тяни, Вернер! Ты всегда тянешь резину. Выкладывай.

Вернер немножко помолчал, потом прочистил горло, похрипел, посвистел, и выдал из себя: Извините. Но там, в терминале, никто никого не прививает. Все ложь. Потемкинская деревня. Камуфляж. В терминале С не прививочный

центр, а место для забоя скота. Бойня. Кровавая баня. Назовите, как хотите. Там убивают старых людей. И все, кроме нас, об этом знают.

— Боже мой!

— Да, Мадлен.

— Погоди, дорогой... но если все в очереди знают, то... почему не бегут отсюда, почему не вызывают полицию, не кричат?

— Потому что мы не люди, а овцы.

Тут Вернер тихонько заблеял... для правдоподобия.

Я должен был вмешаться в разговор.

— Идея! Давайте не будем овцами. Уйдем отсюда потихоньку, не привлекая внимания этих — я показал рукой на собакоголовых надсмотрщиков в желто-зеленых комбинезонах. А если ничего ужасного не произойдет, вернемся и мирно дождемся своей очереди на прививку.

Супруги в ответ на мое предложение согласно кивнули и пошли налево. Под руку. А я — направо.

И тут же собакоголовые как-то неестественно быстро подскочили к нам и ужасными ударами резиновых дубинок по голове и по спине загнали нас назад в очередь. При этом бешено лаяли и хрипели. Один из них еще и укусил меня за ухо, негодяй. Из раны сочилась кровь. Ухо свербело. Я перевязал его носовым платком. Стал похож на Ван-Гога с известной картины.

Вернер играл желваками и каменно молчал. Grimаса на его лице означала: Вот видите, я предупреждал, не надо было дразнить гусей. Теперь нам конец. А Мадлен начала почему-то нервно хохотать. Это был шок. Вернер обнял жену за узкие плечи, поцеловал, успокоил.

Люди, стоявшие в очереди недалеко от нас, демонстративно отвели глаза. Огромные, на выкате. Некоторые примирительно заблеяли.

Мы молчали минут пять, потом заговорила Мадлен. На незнакомом мне гортанном языке. Я попросил ее перейти на немецкий, а она показала мне язык. Толстый, нечеловеческий. И захрюкала. Затем медленно, словно бы нехотя, превратилась в мою немку.

Та трясла меня и говорила: Проснись, проснись, Гарри, это только кошмар. Ты такой горячий, наверное у тебя жар. Ты слишком чувствительный. Смотри, руки дрожат. И плечо распухло. Погоди, погоди, а откуда у тебя этот мех на груди... и на руках... и на спине. Прямо как у барана. Я раньше не замечала. И что это с твоим ухом?

Ровно через двадцать четыре часа после прививки у меня действительно поднялась температура. Закружилась голова, занули суставы. Меня тошнило, я почти не мог ходить. Организм мой протестовал против впрыснутой в него, биологически активной жидкости. Еще через два часа начался бред. С галлюцинациями.

Я не видел больше ни длиннющей очереди, ни собакоголовых, ни Вернера, ни Мадлен, ни зловещего терминала. Передо мной прыгал и скакал шоколадный заяц в фиолетовой фольге. Величиной со слона. Омерзительно улыбался, ухал и что-то бормотал. В руках у меня была неестественно большая синяя шариковая ручка. И я все пытался и пытался уколоть ею зайца в покатое плечо.

На следующее утро все неприятные симптомы исчезли. Вторая прививка назначена на конец июня.

Кентавры

Ждать второй прививки мне пришлось три месяца. Вечность.

Многие непривитые успели за это время два раза благополучно привиться. И не сомнительной оксфордской Астрой, а солидным германским Байонтехом. Задирали нос и не без злорадства спрашивали меня, моргая довольными водянистыми глазками: Когда же ты привьешься, друже? Скоро начнут прививать от новых мутаций, а ты все еще от старого варианта не привился. Сходи к врачу, что ли. Ты становишься опасным гостем. Не удивляйся, если мы больше не будем приглашать тебя.

Как-будто от меня что-то зависело. Мне объяснили, почему конец июня — оптимальное для второй прививки время.

Назначили дату. Я поверил. Не оспаривал мнение специалистов. Я ничего не понимаю в вирусологии.

Потратил эти три месяца на изучение графического наследия давно любимого художника — Альфреда Кубина. Занялся им всерьез. Купил полтора десятка книг, альбомов и прозы, в том числе папку из сорока рисунков пером — «Сансара» (факсимиле оригинала, вышедшего в 1911 году). Листал, читал, размышлял, сравнивал, фантазировал. Это немного скрасило мою печальную жизнь. Обогастило впечатлениями, которые в нашем карантинном бытии отсутствовали.

Как всегда, мне казалось, что художник нарисовал свои рисунки — специально для меня, для развлечения и утешения в черную годину. Показал мне, что все, что мы испытали во время этих кошмарных пандемических лет — существовало и раньше, что отчаяние и ужас были всегдашними спутниками человека, только иногда люди это забывали и жили, как будто в теплой сверкающей пене, но реальность рано или поздно ставила все на свои места. Опять и опять подводила человечество к краю обрыва. И безжалостно сталкивала многих в пропасть.

Кубин помог, отвлек, развлек, но не спас от депрессии и горечи. К тому же я по опыту знал, что за это «погружение» в чужой мир придется платить. И боялся, что мое разгулявшееся воображение построит для меня по чертежам Кубина индивидуальный ад. Будущее показало, что боялся я не зря.

24-о июня я поел геркулесовой каши с черникой, выпил кипятку и поехал в прививочный центр Темпельхоф. Раньше там был городской аэропорт, который построили еще при Гитлере. Колоссальное здание. Ныне — полузаброшенное. Во время блокады Западного Берлина, которую организовал человеколюбивый кремлевский дядюшка Джо, там приземлялись «изюмные бомбардировщики» союзников, спасшие берлинцев от голода и холода.

Поехал не на такси, а обычным городским транспортом, не хотел, чтобы опять до смерти укачало. На электро-автобусе до эс-бана, затем до станции Ост-Кройц. Всего пять остановок. А потом — еще четверть часа по кольцевой линии, до Темпельхофа.

Докатил без приключений.

Отметил про себя, как много народу было на кольцевой линии. Темные люди. Какая уж тут «дистанция»... и, хотя все носили медицинские маски, было ясно — если бы в нашем вагоне ехал хотя бы один больной коронавирусом пассажир, то заразил бы всех.

Некоторые пассажиры кашляли. Другие коварно сдвинули маску вниз и дышали носом. А один молодой длинноволосый хиппарь, убедившись, что в вагоне нет полиции, демонстративно и брезгливо, как в свое время Трамп, снял маску и положил в карман. Гордо, как орел, осмотрелся, мол, мне ваша корона нипочем, а всех вас, трусов, я...

От станции эс-бана до прививочного центра — еще полтора километра. Вначале надо идти вдоль улицы Темпельхофер Дам, потом свернуть направо и войти на территорию бывшего аэропорта через десятые ворота. А дальше — топтать к Ангару номер четыре по широченной бетонной полосе, по которой раньше ползали рокочущие самолеты.

Дошел наконец. Искал глазами очередь в Ангар... очереди как три месяца назад в Тегеле не было. Почему? Энтузиазм испарился? Или страх пропал?

Вошел в здание Ангара и сразу попал в заботливые руки указателей пути. Указатели указывали, показывали, говорили: Битте...

Это были арабы и чернокожие, видимо еще не зашедшие на пути изучения немецкого языка дальше слова «битте». Они были милы и любезны, особенно арабки. Или это были турчанки? Не знаю. Все они носили специальную униформу, а на кокетливых головках — пестрые платки.

Меня тут же подогнали к маленькому окошечку в фанерной стене и заставили еще раз заполнить анкету, которую я уже заполнял три месяца назад, потом я подписал освобождение от ответственности для эскулапов. Затем усталый врач уколол меня в плечо, улыбнулся застенчиво и покачал головой, выражая этим удовлетворение от проделанной работы.

Не стал дожидаться оформления электронного паспорта, вышел на улицу. Душно было в этом Ангаре номер четыре. Пахло людьми.

Побрел по полосе в сторону станции эс-бана.

И тут мне стало плохо. Остановился...

Тупо смотрел вперед, искал глазами десятые ворота, пытался взять себя в руки. Но не мог.

Понимаете, я слишком долго ждал этой проклятой второй прививки. Боялся заразиться, как и другие. Необходимые дела откладывал на потом. Скопилось их целая куча. И куча эта шевелилась, дымилась как вулкан и была готова взорваться.

Ждал, ждал, ждал. Мучился, терзал себя. Так уж вышло, что на вторую прививку навернулись, как на вилку макароны, — все мои ожидания, упования, надежды. И вот меня привили. Но ничего хорошего не произошло. Страх не перестал меня мучить. Я не стал свободнее и здоровее. Мир не изменился к лучшему.

И вот, я стою на полосе бывшего аэродрома. И не могу двинуться с места как испорченный самолет. Сзади меня — раскинула бетонные руки гигантская гитлеровская постройка, похожая на грандиозные ворота в преисподнюю с графического листа Кубина. Впереди — не видно ничего. Потому что на землю опустился клокастый туман. А из темных, низко висящих облаков, закапал теплый дождь.

Сел на землю и попробовал успокоить бешено бьющееся сердце. Начал себя уговаривать.

Что это ты так распахивался? Расквасился, как старая глупая тетка. Все хорошо. Тебя привили. Радуйся. Вставай и иди. Потихоньку все наладится. Дома тебя немка ждет. Может быть опять курицу приготовит с техасским рисом. Или рыбу. Вставай, вставай, это еще не конец комедии. А как же туман? Дороги не видно. Будущего нет. Наплевать на туман. Иди так, чтобы это ужасное здание было у тебя за спиной. Авось и придешь, куда надо. А будущее... его сейчас нет ни у кого.

Кое как поднялся и пошел. И тут впервые услышал шум. Шум и топот бегущей толпы. Не поверил своим ушам. Откуда тут взяться толпе?

Шум становился громче, толпа явно приближалась.

Вскоре я увидел ее. Она... они бежали... они гнались за мной! Их было много. Кто это?

Расслышал их истошные крики. Лошадинами своими глотками они орала одно и то же: Он не привился! Не привился! Он источник заразы. Убьем его! Убьем! Убьем!

Тут я не выдержал и побежал.

Задыхаясь и спотыкаясь, побежал от бешено орущих людей. Людей? Бегущие эти существа были похожи на черных лошадей. Кентавры.

В руках их мелькали темные палки. Я боялся, что они догонят и забьют меня до смерти.

Они долго преследовали меня.

Я бежал по полосе, а потом, не знаю как, оказался на незнакомой берлинской улице. Свернул на другую. На третью. Как же все они похожи!

Помощи ждать неоткуда. Может быть укрыться в церкви? Подбежал к церковной двери, постучал, толкнул, дернул. Заперто.

Черная толпа не отставала от меня. Прохожие на улицах присоединялись к бегущим. И превращались в кентавров.

Их дикое ржание резало мне уши.

Топот их копыт сотрясал землю.

Их смрадное дыхание отравляло небеса.

На берегу пересохшей реки они настигли меня, я упал в песок и закрыл голову руками.

Морок развеялся так же неожиданно, как и начался.

Я сидел на сиденье в вагоне берлинского эс-бана. Вагон уютно покачивался. Напротив меня молодой японец играл с крохотной дочкой, лежавшей в детской коляске. Подал ей погремушку в форме сверкающего колечка. Она засмеялась, схватила погремушку маленькой перламутровой ручкой и стала грызть ее беззубым ртом.

АЛЫЙ ГАЛСТУК

Удивительно теплая и дождливая весна нынче в Берлине. В конце февраля уже порхали бабочки, жужжали мухи и лопались первые почки. Сирень отцвела в марте. В апреле прилетели журавли.

Теплая, но не жаркая, и дождик идет часто. В районе, где я живу, деревьев не много, зато травы, кустарники и цветы растут тут как в Эдемском саду. В этом году — мелкая зелень до того ароматна, пышна и мясиста, что хочется превратиться в мальчика с пальчика и отправиться в эти джунгли на поиски синих стрекоз с изумрудными глазами. Делать это впрочем не советую, у нас тут много крыс, праздно рыскающих собак, любопытных сорок и прожорливых ворон.

В мае, недалеко от огороженной высокой решёткой спортивной площадки, на склоне насыпи, выросли маки. Сочные, красные. Размером с блюдце.

...

И вот, сидел я однажды на лавочке.

Там, где все засыпано излужганными семечками и до самого фильтра искуренными окурками (в нашем районе живет много выходцев из бывшего СССР), смотрел на эти жгучие алые цветы с темными крестами вокруг пестика и вдруг...

Чудесный их цвет зашвырнул меня на родину... лет на пятьдесят пять назад. Ничего не поделаешь, старею.

Перенес прямо в нашу крохотную кухоньку в университетском доме на улице Панферова.

На следующий день меня должны были принять в пионеры, и мама гладила мой новый пионерский галстук, красный как берлинские маки, который, как было написано на плакате, висящем на стене школьной пионерской комнаты,

«пламенно горит и тремя концами словно говорит... с комсомолом, с партией дружба велика, связь трех поколений как гранит крепка».

Как же тут все знакомо... убого...

Вот и моя комнатка, узкая лежанка, старый письменный стол, скрипка, тетрадки, конструктор, книжный шкаф, фарфоровая лошадка на полке, любимые книжки... остров сокровищ... дети капитана гранта... копи царя соломона. Кактус.

На подоконнике — два небольших лимонных деревца.

Они погибли через несколько лет от холода. Уехали отдыхать в Дом отдыха и забыли закрыть форточку в морозы.

Покрытая старой маминой ковбойкой клетка с щеглом Сёмой.

Через год или через два, кажется, я выпустил его, в августе...

Сколько дней или лет ты прожил на воле, Сёма? У нас тебе было неплохо, газету в клетке и воду я менял каждый день... корм покупал в Зоомагазине на Ленинском. Ты даже пел в неволе и смешно разговаривал сам с собой на своем языке, но в твоём пении слышалась тоска... по лесу, по полю, по свежему ветерку, по другим щеглам и щеглихам. И я отпустил тебя... открыл настежь двустворчатое окошко и приподнял решеточку-гильтину. Ты вылетел не сразу... посидел рядом с выходом, почистил клюв, осмотрелся, выпорхнул и был таков.

Я смотрел, как ты летишь, воспаряешь в небо. Через несколько секунд ты исчез в московском мареве. Навсегда... Я был так рад за тебя. На маминых ресницах я заметил слезы.

Плакала она и в тот вечер, гладила на кухонном столе мой первый галстук и плакала. От покрывавшей галстук влажной марли валил пар. Мама трогала утюг мокрым пальцем, утюг грозно шипел, и вспоминала, как ее саму принимали в пионеры в нетопленном военном классе их подмосковной школы. Галстук ей бабушка вырезала из своей старой блузки. Из-за горизонта доносилось грозное буханье пушек. Немцы рвались к Москве. Бабушка тихонько шептала дочке: Не бойся, глупенькая, хуже не будет.

Вечером перед приемом я не находил себе места от волнения. Меня, советского третьеклассника, особенно волновал переход как бы на новый этаж жизни. Кажется, я не верил в сомнительные лозунги коммунистической пропаганды (утверждавшей, что пионер... с компасом в кармане и глобусом в руках, с линейкою подмышкой и змеем в облаках... он честен и бесстрашен на суше и в воде, товарища и друга не бросит он в беде... в трамвай войдет калека, старик войдет в вагон — и старцу и калеке уступит место он), но и иммунитет от ее ядов я еще в себе не выработал, внутренний бунт еще не поднял. Это произошло позже, во время вступления в комсомол, как реакция на попытку агрессивного промывания мозгов.

Но и бесследно для меня, эта, вторая после «октябратской», государственная идеологическая атака не прошла.

Особенно меня почему-то волновал этот алый галстук, который я отныне должен буду носить на шее, знак принадлежности к пионерской дружине имени малолетнего героя Полесской крепости Петра Коростяного, который отказался покинуть крепость, а потом что-то там героически переплыл. Уже во времена перестройки мне случайно попал в руки его некролог. Оказалось, пионер-герой попал-таки к немцам в плен и несколько лет батрачествовал в Эльзасе, после окончания войны был возвращен на родину, где связался с нехорошими парнями и загремел в лагерь за бандитизм, получив сталинский четвертак, но вышел через семь лет и мирно дожил свою жизнь на свободе.

Цвет галстука меня завораживал, я млел и таял, глядя на него, погружался в непонятный мне самому экстаз. Его огненность и нежная шелковистость заставляли меня дрожать и грезить наяву.

Я ужасно хотел стать космонавтом. И бродить в пионерской форме и галстук «по пыльным тропинкам далеких планет». Искать там свою судьбу.

И девочку... с зелеными глазами и таким же галстуком на шее.

Принимали нас в пионеры — во Дворце пионеров на Ленинских горах. Как и полагается, в торжественной обстановке.

Построили в вестибюле. Школьная пионервожатая, кособокая и косноязычная тетка лет сорока витийствовала минут двадцать. Призывала нас «мыть руки, всегда быть бдительными и непримиримыми с врагами нашего социалистического государства, беречь народное добро и собирать металлолом» и в итоге «продолжить и завершить дело мирового коммунизма». Жестикулировала и жутко выпучивала глаза. Тетку эту дети боялись.

Затем мы давали клятву, повторяли хором: Перед лицом моих товарищей... жить, учиться и бороться... как завещал великий Ленин...

Потом нам прицепили пионерские значки и повязали галстуки. Зазвучала песня «Взвейтесь кострами синие ночи»...

Будьте готовы, нахраписто повторяла пионервожатая.

Всегда готовы, ответили мы нестройным хором. На что мы были готовы, я не понимал. Руки я и так часто мыл. И металлолом собирал.

Затем нас повели в концертный зал.

...

По дороге домой я недоумевал: Вот, на мне алый галстук. Но ничего не изменилось, ни во вселенной, ни во мне из-за этой тряпки на шее.

Только по-маленькому хотелось жутко. Процедура затянулась на несколько часов, а отпроситься и сходить в туалет я постеснялся.

Момент икс наступил когда я выходил из лифта, на нашей лестничной площадке. По телу пробежала волна острой боли... терпеть дольше резь в паху не было сил.

Я присел... и описался.

Полегчало.

И тут же сверкнула мысль: А если кто увидит? Соседи. Дети нашего двора.

В подъездах тогда не было замков, и мы часто носились по чужим лестницам. А если сюда случайно поднимется та, зеленоглазая?

В ужасе сорвал с себя галстук и попытался затереть им лужу. Не вышло.

Заплакал от бессилия и стыда.

Впал в прострацию. Сидел на холодном полу у нашей входной двери и дрожал.

Там и нашла меня бабушка, приехавшая к нам в гости. Заохала, ввела меня в квартиру.

Матери пришлось срочно стирать галстук, трусы, носки и школьные брюки. Мыть и сушить сандалии.

Пол на лестничной площадке вымыла бабушка.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

1

У каждого свои пороки и придури. Некоторые уехавшие еще из СССР эмигранты жадно смотрят российское телевидение. И впадают в детство.

Другие пишут эпохальные шестисотстраничные романы с многочисленными интригами, географическими и временными ответвлениями от основного сюжета и детальными описаниями оргазмов главного героя непонятной сексуальной ориентации.

Увлекаются футболом, уфологией, кулинарией или монархизмом.

Участвуют в оккультных ритуалах. Разговаривают с духами. После чего витийствуют на актуальные политические темы. Предвещают близящиеся перемены. Постоянно отодвигая сроки драматической развязки.

Ну а я смотрю хоррор-фильмы, единственные в своем роде творения человеческого гения категории Б, еще способные вызвать у меня смех.

Предпочитаю сладкие ужасы мистики: фильмы по мотивам Лавкрафта с его экзальтированными, ищущими себя ходоками-студентами и спящим на дне моря вонючим моллюском Ктулху.

И вот однажды, посмотрев в полглаза треш-фильм про заброшенное кладбище на Аляске (ходячие мертвецы, зловещие дети, сосульки-убийцы, хмурые пришельцы, хеппи-энд), я вдруг вспомнил то, что сам пережил на старом деревенском погосте... ночью... лет пятьдесят назад... в дремучую эпоху застоя.

Скромное это происшествие нельзя конечно сравнивать с коммерческими ужастиками, но...

Случилось это недалеко от уже не раз описанного мной университетского Дома отдыха, в котором я и мои друзья отдыхали с мамами или с бабушками. В августе.

Задумал я однажды... не один, а с двумя моими друзьями-подростками, высоким блондином, Володей-Чайником и маленьким жгучим брюнетом, умным и рассудительным Боренькой и с еще одной нашей общей подружкой, красоточкой Юлей-Юлечкой по прозвищу Цапля, которая хоть и была нас на два года старше — ей недавно исполнилось шестнадцать — но бегала и возилась с нами, «с сопливой малышкой», для того, якобы, чтобы мы «не наделали делов»... наведаться ночью на старое лесное кладбище.

Пройтись по кладбищу мы, натурально, хотели в простынях, а под простынями — фонарики должны были светить. Снизу, чтобы морды страшные вместо лиц представлялись. Кому представлялись? Тем, кто по ночам по лесу таскается. Проходим. Каким проходим? Нет там никого. Тем лучше. Знатно повеселимся в теплой компании!

Все сделали, как задумали. Выпросили — с отдачей — простыни у бабы Зины в бельевой. Одолжили у кого-то фонарики. Даже получили на нашу ночную экскурсию официальное разрешение у мам и бабушек (пусть дети порезвятся).

С условием — в два часа ночи лежать в наших койках в Доме отдыха и дрыхнуть.

Притащились около двенадцати на кладбище. В простынях, с фонариками.

Чайник зачем-то ракетку теннисную с собой взял. Боренька — самодельный трезубец, как у Нептуна. А Цапля захватила с собой шарик из цветного папье-маше на резинке. Допотопный советский вариант йо-йо. Не вращающийся. Но отлетающий и возвращающийся. В руках опытного игрока — прекрасная забава и дразнилка.

По дороге на кладбище обсуждали фильм «Бей первым, Фреди» (его навязчивый саундтрек до сих пор звучит в моей голове). Мне фильм очень понравился. Легкий и смешной. Чайнику — тоже. Серьезный и продвинутый Боренька (недавно самостоятельно освоивший начала квантовой механики) называл его — развлечением для идиотов. А Цапля фильм принципиально не смотрела. Это, мол, пиф-паф с ракетами и голубями, картина для подростков или инфантильных мужчин. А мне интересны Бергман и Феллини.

Несмотря на разногласия раздавили для храбрости под огромным дубом бутылочку белого вина, нелегально купленного в сельпо. Рислинг. Пили залихватски, из горлышка, улюлюкали и дурачились, Цапля впрочем не пила. Потому что «нельзя пить эту советскую отраву». Цапля была права. У меня сразу засвербело в животе. А Бореньку вырвало. Прямо на дуб. Но он сумел это от Цапли скрыть. А мне показал язык. Сделал вид, что стреляет в меня из пистолета. Это за Фреди. Чайник от «отравы» не пострадал. Он у нас — не чувствительный.

И вот идем мы между заброшенных могил, фонариками себя подсвечиваем и подвываем: А-а-а-а... у-у-у-у...

Чайник ракеткой воздух крестит, Боренька потрясает трезубцем, Цапля беззвучно шарик вверх-вниз бросает, а я зубами клацаю. Тогда еще мог.

Все здорово, но не весело почему-то. Немножко страшно. Рислинг в животе за кишки тянет.

Ночь, кладбище. Звуки странные из леса доносятся. Треск, жужжанье, бульканье, хрюканье. И еще — стоны... будто зовет нас кто-то. Плачет, всхлипывает, просит о помощи. Лешие?

Остановились, прислушались — тишина. Пошли дальше.

Место, которое мы выбрали для нашего ночного представления — было на самом деле жутким. Почти не тронутый человеком лес. Болота вокруг. До дороги — километров пять, до нашего Дома отдыха — три с половиной километра. По лесной тропинке. Днем по ней идешь — все ясно. А ночью — все не так. Тени.

Высоченные липы на кладбище — как египетские колонны, ветки, смыкающиеся над нашими головами — как мускулистые руки великанов, корни, тут и там вылезшие из земли — как борода Вяя.

Ограды и кресты покосились... могилы такие, что из них вот-вот мертвецы полезут. Сиреневые огоньки в чаще. Кикиморы мерещатся.

На кладбище этом давно никого не хоронили. Потому что две или три деревни, поставляющие сюда раньше своих покойников, не существовали больше, на их месте плескались зеленоватые воды водохранилища.

Темно. Фонарики наши тьму не разгоняли, только нас самих и слепили.

Луна светила как-то сбоку. Деревья отбрасывали длинные тени, которые явно жили своей жизнью.

В бледно-лимонном, обманчивом лунном свете — кресты, ограды, кусты и деревья казались темно-синими... и исполненными особенного, магического, судьбоносного значения. Не почувствовать это было невозможно. Я заметил, что лица моих спутников посерьезнели. Даже как бы постарели.

Наша дурацкая затея превращалась постепенно и неотвратно — и против нашей воли — в непонятный нам самим ритуал поклонения. Чему, кому?

Чему-то непостижимому, древнему, всесильному, вдруг открывшемуся нам на этом лесном погосте.

Мы чувствовали себя адептами старого-престарого культа. Культа, бессознательными адептами которого являются все живые существа. Более глубокого, чем любая теософия.

Боренька не выдержал первый. Положил свой дурацкий трезубец на землю. Сложил как умел простыню и положил ее рядом с трезубцем. И сел на нее.

Остальные, не сговариваясь, сделали то же самое. Сели в кружок и взялись за руки.

Рядом с огромной елью.

Несколько минут мы пели неизвестный гимн на непонятном языке. Что-то внутри нас диктовало нам слова...

Допели. Чайник тихо предложил разжечь костер. Никто не стал возражать. Костер, конечно костер.

Все ждали чего-то. То ли от самих себя, то ли от других. Или — от того, необъяснимого, от того, что всецело завладело нами этой ночью, от того, чему мы уже были готовы принести свои жизни в жертву.

Притащили сухие ветки, построили из них пирамиду, у Чайника нашлась зажигалка, вскоре запыхало и загудело пламя.

Смотрели в огонь. Молчали. Чувствовали, что сейчас что-то произойдет. Не знали что. Но не боялись. Ждали.

Неожиданно Цапля встала, быстро разделась и разулась. Никто из нас не смутился. Никто не остановил ее.

Не похожий на себя, напоминающий былинного ратника Володя-Чайник подошел к ней и взял ее на руки. Она позволила ему поднять себя.

Он положил ее на старый, заросший мхом могильный камень, шагах в двадцати от нас. Положил как подготовленное к жертвоприношению животное.

Боренька и я встали с одной стороны камня, Чайник — с другой. Между нами лежала Юлечка-Цапля. Глаза ее были закрыты. Руки вытянуты. Маленький белый живот судорожно поднимался и опускался.

Не помню, о чем я в тот момент думал. Наверное, ни о чем. Я ждал. Ждал, что Чайник достанет свой охотничий нож.

И он достал его. Раскрыл. Потрогал за длинное лезвие.

Взял нож правой рукой. А левую руку положил на Юлечкин рот.

Медленно размахнулся и...

Следующее мгновение тянулось необъяснимо долго. Как при замедленной съемке. Нож в руке Володи медленно-медленно приближался к груди Юлечки.

Вот, он слегка коснулся ее нежной кожи. У кончика острия показалась маленькая капля крови...

Я уже набрал в легкие воздух, и был готов истошно закричать. Но не закричал.

Потому что нож застыл, так и не проникнув в тело жертвы.

Время остановилось.

Я испытал незнакомое мне блаженство. Все существо мое собралось в белую сверкающую точку и взорвалось.

* * *

На следующий день мы, все четверо, встретились, как и договорились, на пляже и вместе купались. Играли в волейбол. Ели арбуз. Боренька плевался косточками. Чайник грозил утопить его в водохранилище.

На маленькой груди Юлечки, лишь слегка прикрытой бикини — я не нашел глазами ни свежего пореза, ни шрама, ни даже пятнышка.

Вечером того же дня мы устроили на пляже «попойку».

Разожгли костер. Жарили хлеб на веточках. Играли в жмурки.

Выпили привезенную втайне из Москвы бутылку заграничного портвейна.

Разделись и танцевали вокруг костра «дикий гопак».

Цапля обнимала меня и прижималась ко мне животом. Целовалась с Чайником и Боренькой.

То и дело превращалась в птицу. Пыталась взлететь. Но не могла.

Вокруг нас плясали пьяные огни. Синие, зеленые, розовые...

Огни радовали, обжигали, сводили с ума.

А потом... на пляже вдруг показался рояль. За ним сидел пианист, похожий на паука. Он играл Моцарта так чисто, ясно и звонко, что звуки на наших глазах превращались в кристаллы и падали сверкающим водопадом на песок.

Затем пианист исчез вместе с роялем. А мы вместо музыки услышали пеструю какофонию сошедшего с ума небесного оркестра.

После того, как какофония стихла, заиграла виолончель и мое сердце сжалось от печали. Я вспомнил лежащее на могольном камне белое тело и подрагивающий живот.

Мы все еще шли той августовской ночью по заброшенному лесному кладбищу. В простынях и с фонариками, подсвечивающими лица. Володя-Чайник с теннисной ракеткой, Боренька с трезубцем, Юлечка-Цапля с советским йо-йо и я.

Лес трещал, скулил и плакал. Могилы пугали.

Прошли все кладбище насквозь. Повернули, пошли по тропинке, непонятно куда ведущей. И тут, на этой тропинке, неожиданно встретили маленького мужичка-пьянчужку, скверно одетого, в дурацкой шапке и с грязной женской сумкой на плече. Синей.

Лица его мы не разглядели.

Он медленно брел нам навстречу, что-то бормотал. Увидел нас, задергался, задрожал и вдруг стал на колени.

Ближе всех к нему в этот момент находился идущий первым Чайник. Полагаю, он, как и остальные, был удивлен и ошарашен. Поднял свою ракетку. Как меч. Но не ударил... Позже он говорил мне, что ракетку поднял инстинктивно, мол, кто его знает, что у пьяного на уме.

Мужичишко взмолился: Братцы, не убивайте! Вот, сумку возьмите, шапку, деньги еще есть в кошельке, вчера получил зарплату в совхозе, все, все возьмите, последнюю рубашку вам отдам, все отдам, только не бейте и не убивайте! Христом-богом прошу. Не жалеете меня, пожалейте жену-страдалицу, инвалида с детства, тридцать лет алкоголика терпит, сама ни-ни...

Он снял с себя рубашку, брюки, ботинки и положил все это перед собой, и туда же положил свою сумку и шапку.

Мы конечно не собирались его бить или убивать. Мы были испуганы и не знали, что делать. Топтались на месте.

Тут умный Боренька подал пример. Запрокинул голову — как волк — и завыл по-волчьи. Цапля и я тоже завыли. Получилось не очень. Какие-то всхлипы вместо воя. А Володя-Чайник неожиданно для нас, довольно громко и похоже заревел по-медвежьи.

Странно. Откуда-то из глубины леса мы услышали то ли эхо, то ли ответ на наше вытьё и рёв настоящих волков и медведей.

Голый мужчина, стоящий на коленях, заткнул уши руками, плакал, плевался, раскачивался из стороны в сторону и повторял: Не убивайте, братцы, не убивайте, рубашку возьмите, брюки, кошелек... жены-страдалицы ради...

Мы не знали, что делать, продолжать комедию было глупо и жестоко.

И тут Боренька не растерялся. Перестал выть, посмотрел на свои наручные часы с будильником, и сказал будничным тоном: Двадцать минут второго. Ребята, пошли назад, с него хватит. Видите же, психованный... А мне мать весь отдых испортит, если я после двух приду.

Мы не возражали, наоборот, были благодарны, развернулись и уже были готовы ретироваться, но тут неожиданно услышали тихий смех и хихиканье.

Смеялся голый человек, стоящий на коленях на лесной тропинке перед кучей трепья. Глумливо хихикал. Ничего он не боялся. И психованным не был. И мольбы его были мерзким притворством.

Мы как зачарованные смотрели на него. А он, насмеявшись вдоволь, встал, растопырил ноги, ничуть не стесняясь, поднял и распростер свои костлявые руки. Стал похож на букву «х». И начал медленно расти. И рос, рос...

Тут мы впервые увидели его лицо в зеленоватом лунном свете. Оно не было человеческим. Оборотень? И его тело — было не человеческим телом, а только его имитацией, под пятнистой кожей как будто ползали змеи...

Существо это стонало и корчилося как надуваемая снизу сильным вентилятором фигура из полиэтилена.

...

Мне было очень страшно, а Бореньке и Володе-Чайнику видимо нет. Или в них проснулся охотничий инстинкт? Не знаю. Не сговариваясь, они решили атаковать оборотня.

Чайник ударил его теннисной ракеткой. А Боренька метнул в него свой трезубец. Хотел его продырявить.

В тот момент, когда ракетка и трезубец коснулись кожи оборотня, все вокруг нас изменилось.

Кто-то в один миг сменил декорации. И включил свет.

Пропало кладбище, пропал лес. Могилы, деревья, тени...

Володя, Боренька, Цапля и я сидели по-турецки на пластиковом полу чистой и хорошо освещенной комнаты. Комнаты без мебели, без дверей и без окон. И без видимого источника света.

— Где это мы? — спросила дрожащим шёпотом Цапля.

— Где, где, в нигде, — ответил всезнающий Боренька. — В пространстве зеро.

— Это что еще за дребедень?

Боренька ударился в объяснения. Использовал понятия, взятые из учебников по термодинамике и квантовой механике. Я ничего не понял, кроме того, что в нашей жизни что-то пошло наперекосяк.

Боренька предполагал, что из этого «пространства зеро» можно при желании попасть в любую точку мира.

— Понимаете, то, что мы увидели на кладбище — это не чудовище, а инопланетянин. А эта «комната», где мы сейчас сидим, — это его транспортное средство. Не ракета, а пространство зеро. Технология будущего.

— Инопланетянин? Какой мерзкий. Боюсь, никуда это дурацкое пространство нас не переместит. Пупок развяжется. И вообще, никакое это не пространство. И не комната.

— А где, по-твоему мы находимся?

— А черт знает где. Похоже мы все под гипнозом и нам все это кажется. И комната эта и оборотень на кладбище. А на самом деле — мы валяемся в лопухах. Пьяные или дурные.

— Кто же нас загипнотизировал?

— Леший его знает. Может быть этот дядька с сумкой. Никто не знает, что в другом человеке кроется. Может он Мессинг?

— Зачем спорить о том, что легко проверить? — сказал Чайник и произнес громко и отчетливо, явно обращаясь не к нам: Прошу перенести нас в Нью-Йорк, в Музей Метрополитен.

Губа не дура. В Нью-Йорк!

Будь моя воля, я попросил бы перенести меня в нашу комнату в Доме отдыха. Боялся, что бабушка не спит и беспокоится обо мне. У нее мог начаться приступ астмы. Но сказанного не воротишь. Кто-то явно услышал и понял слова Володи. Нашу комнату и нас вместе с ней несколько раз встряхнуло. Потом завертело. А затем... нас с огромной скоростью потащила куда-то неведомая сила. На Луну или в преисподнюю.

Я зажмурил глаза.

А когда я их открыл...

Я и мои друзья находились в большом зале с средневековыми христианскими скульптурами и картинами на стенах.

Неужели мы действительно в Нью-Йорке, в музее? Трудно было понять. Жалюзи на окнах были опущены.

Что-то было однако не так. Мы не сразу поняли, что...

Тут, в этом зале, полном предметов искусства, мы не были людьми. Наши души и сознание были вложены (как ручки и карандаши — в школьные пеналы) в деревянные скульптуры. Мы видели все вокруг деревянными глазами, мы могли телепатически общаться друг с другом, но не могли пошевелить и пальцем или хотя бы моргнуть.

Занесло нас в скульптурную группу «Поклонение волхвов».

Володя-Чайник оказался в молодом золотистоволосом Каспаре в красной персидской шапке. Бореньку-умного забросило в коленопреклоненного лысого старика Мельхиора с золотой чашей в руках. Я был заключен в деревянном теле чернокожего короля Эфиопии Бальтасара. Несчастливая Цапля томилась в теле Богородицы.

По залу бродили посетители музея, подолгу задерживаясь у скульптур и картин. Нашу группу они тоже рассматривали долго и внимательно. Норовили потрогать. Но как только рука приближалась к деревянной плоти слишком близко — редела сирена.

Судя по одежде и обуви, посетители музея не были советскими людьми. Говорили они между собой тихо и на разных языках, в том числе и на английском. Я понял только несколько восклицаний, вроде «какая красота» или «восхитительно».

Спустя какое-то время молчащая прежде Юлечка послала нам телепатический сигнал: Ребята, у меня сердце в пятках, посмотрите на младенца.

— У тебя нет сердца, сестричка, как у Железного Дровосека. — проворчал Чайник.

Я не сразу понял, зачем надо было смотреть на младенца.

Ужас продолжался. Пухленький мальчик с красивой головой и умным печальным личиком на наших глазах превращался в знакомое нам чудовище. Из его глаз, ноздрей и ушей вылезали твари, похожие на угрей. Они щерили свои зубастые пасти и щетинили черную шерсть...

На картинах вместо ангелов, апостолов и Святого Семейства — показались когтистые косматые дьяволы. У некоторых из них были крылья.

Скульптуры превращались в демонов-рептилий с пятнистой кожей.

Посетители, истошно крича, покидали зал.

Мы слышали клекот, шип, визг, топот мечущихся в панике людей.

Внезапно погас свет. Звуки исчезли. Несколько мгновений мы провели в темноте и тишине.

...

Обнаженная Юлечка все еще лежала на заросшем мхом могильном камне. С одной его стороны стояли Боренька и я. С другой — с охотничьим ножом в руке — Володя-Чайник. Суровое его лицо походило на лицо рыцаря со знаменитой гравюры Дюрера. Боренька тоже преобразился. Его добрая еврейская мордочка превратилась в злобную карикатуру, нос вырос и упал, на нем появилась бородавка, красные клыки вылезли изо рта, глаза увеличились и напоминали глаза больной базедовой болезнью гиены.

Со мной тоже что-то случилось... хорошо, что я не видел себя со стороны.

Я ужасно хотел, чтобы Чайник наконец ударил Юлечку ножом в сердце. Жаждал увидеть, как брызнет во все стороны кровь девушки, как задрожат в предсмертных конвульсиях ее нежные бледные пальчики. Мечтал изнасиловать ее труп.

В последнее мгновение волна зла отпрянула, пришло раскаянье и просветление, и я успел закрыть своим телом несчастную Цаплю. Нож Володи вошел мне между лопаток и вышел острием на груди.

...

На следующий день мы опять встретились на пляже. Играли в волейбол и ели арбуз. А вечером танцевали дикий гопак.

Юлечка подарила мне свой цветной шарик на резинке. Будет чем заняться в свободное время!

Авторский комментарий

Этот текст — пародия на детскую страшилку, с откровенными преувеличениями и избитыми метафорами. Зачем же я ее написал и прочитал перед микрофоном? Все просто — то экзотическое ощущение абсурда бытия, которое в этом рассказе доминирует — иначе не воссоздать. По крайней мере, я не умею иначе.

КОМА

Узколицый, породистый, еще совсем молодой врач нахмурился и демонстративно медленно просмотрел мое электронное досье.

— Что ж, ваши соматические заболевания мы худо-бедно диагностировали. Попробуем вас подлечить. А что у вас с психикой? Каким вам видится окружающий мир, как вы себя в нем чувствуете?

— Мир? Мир от меня ускользает. Как песок в песочных часах. Жизнь уходит. Время течет в пять раз быстрее, чем в детстве. Я постарел и деградировал. Ничего не делаю. Лень. Ни с кем не общаюсь. Идеи больше в голову не приходят. А раньше сыпались с неба как метеориты в августе. Смотрю на алфавит на клавиатуре моего компьютера и думаю о смерти. А тут еще боли. Симфония.

— Да вы поэт... Не надо упиваться отчаянием. Сейчас всем не легко, не только пожилым и больным. Корона. Война. Инфляция. То ли еще будет... Кстати, у меня тут один пациент из комы вышел. Почти три недели пролежал после аварии на железной дороге. Помните, поезд сошел с рельсов под Нюрнбергом? Машинист заснул, вроде бы. Автоматическая блокировка не сработала. Черепно-мозговая травма... поврежден позвоночник... Тоже из России. Реабилитация ему трудно дается. Для гипнотерапии он еще слабоват. Чувствую, ему надо выговориться. Но я по-русски не говорю, а его немецкий...хм... еще хуже его английского. Может быть вы с ним поговорите по душам? На родном наречии... Расскажите мне потом... Лежит он в отдельной палате. Номер 207. Можете прямо сейчас и пойти. Лифты там, за поворотом. Не забудьте смартфон захватить. Вы телефон нашего отделения помните? Звоните, если что.

...

Решил навестить этого человека. Исключительно из уважения к моему любезному и внимательному доктору. Интерес к судьбам других людей я давно потерял. Исповедальные излияния терпеть не могу.

Нашел его палату. Постучал.

Он лежал на больничной кровати и глядел в потолок. Голова забинтована, на шее бандаж. Капельница. Взгляд отсутствующий.

Кажется, мой ровесник.

Представился. Сообщил, что меня прислал доктор такой-то.

— Для того, чтобы вы могли поговорить со мной на родном языке. И поведать мне все ваши сокровенные тайны.

Глаза его ожили.

— Тайны? Какая забота! Страховка оплатит? Шутка, садитесь, прошу вас.

— Расскажите о себе.

— Охотно. Давненько я не брал в руки шашек... Никому не интересно... как в том анекдоте о похоронах Рабиновича.

Я узнал, что идейные родители назвали его в честь какого-то большевика. Что он родился и вырос в Москве, недалеко от МГУ на Ленинских горах. Там же учился и работал. Приехал в Германию с любимой женой в начале девяностых.

— Когда все уезжали.

Ходил на языковые курсы, но не пошло. Пытался устроиться научным сотрудником. Не вышло. Затем инженером на строительную фирму. Но его и рабочим не взяли. Пил, затем бросил. Жена ему изменила с молодым и представительным менеджером фирмы, в которой работала системной программисткой, он случайно об этом узнал.

— Как она могла лечь в постель с этим наглым прохвостом? Все менеджеры — наглецы. А гонора у них...

Развелся. Опять начал пить. Жил то тут, то там, у разных женщин. Мучил их и бросал. Они платили ему тем же. Нюхал кокаин. Искал постоянную работу, но так и не нашел.

— Эти высокомерные сволочи не хотели меня брать!

Пробовал — в компании других энтузиастов — начать новую жизнь... в Патагонии! Пасти овец. Сорвалось. Деньги группы украл организатор.

— И смылся, подонок. Если когда-нибудь его встречу...

Пришлось ему полгода батрачить у местного пейзажа.

— Тогда и познакомился близко с аргентинскими овцами. Знаете, они умнее, чем я думал...

Вернулся в Германию и неожиданно нашел работу в саду у какого-то нувориша. Жил в садовом домике. Жена нувориша...

— Была ко мне благосклонна. Несмотря на мой возраст и характер. Нувориш догадался, чуть не застрелил...

Кое-как дотянул до пенсии.

Спросил его об аварии.

— Я, как вы уже поняли, неудачник. На родине мотался... между небом и землей. Университет еле закончил. Работал спустя рукава. Всем, кому мог, испортил жизнь. И прежде всего — самому себе. Рисовал, лепил, пытался писать прозу... все фуфло. Воображал о себе. Хуже Манилова. Строил грандиозные планы. Генералы на мосту. Обыкновенная история. В Германии тоже ничего не добился. В Патагонии... об этом и упоминать стыдно. Да, а тут еще... этот дурацкий поезд. Железнодорожная катастрофа! Вот уж действительно — апофеоз жизни идиота. С нормальными людьми такое не происходит. Вагон этот паршивый. Помню, в нем нестерпимо пахло писсуарами. И чистящими средствами. Ненавижу химию. Пассажиры... Ехали мы ехали, а потом вдруг... заскрежетало как в аду, хлопнуло... вагон запрыгал как игрушечный кролик... Ударило что-то тяжелое в крышу. Как будто строительный кран на нас свалился. Это мы на большой скорости сошли с рельсов и опрокинулись. Я как будто потерял вес, затем и зрение, и слух... левитировал... В последний момент мысль проскочила: Ну вот и все. Приехали тачанки... курым-бурым... А затем...

— Очнулись в этой палате?

— Если бы так...

— А что же еще было, кроме тачанок?

— Вам что, на самом деле интересно?

— Да. Вы ведь пытались нашему доктору что-то рассказывать. А он ни черта не понял и послал к вам меня. Так что я весь внимание. Не стесняйтесь, прошу вас. Я ваш рассказ записываю на смартфон. Если вы не возражаете. Попытаюсь потом перевести доктору. А затем сотру запись. Честное слово!

— Валяйте, валяйте. Только предупреждаю... это личное. Ничего особенного.

— Мне все равно. Я для доктора стараюсь...

— В поезде была еще боль, кровь, борьба. Я изо всех сил пытался вылезти из-под трупов других пассажиров, их чемоданов и сумок. Помню у меня по лицу ворона ходила, черная как смерть. Откуда она взялась? Помню лицо пожарника, спасшего меня. Оно светилось... походило на лицо ангела. Его слова поразили меня.

— Смотрите, кровавая каша. Этот кажется еще живой. Счастливчик.

Я — живой! Живой. Значит, еще не все кончено. Значит мутная канитель моего немецкого существования продлится еще несколько лет. Радоваться или печалиться?

По дороге в больницу я чувствовал телом каждую неровность дороги, каждый камешек под колесами — любая встряска вызывала у меня невыносимую, пульсирующую боль в шее, на которую надели жесткий корсет, и в голове. Боялся, что не дотяну... В больнице врачи сделали мне компьютерную томографию, прооперировали наскоро, посоветовались и ввели в искусственную кому. Реальность упорхнула от меня как птичка. Решил, что умер.

Поначалу я висел, не чувствуя ни рук, ни ног в... скажем, в белом влажном тумане. Продолжалось это довольно долго, как долго точно я не могу сказать, потому что не с чем было сравнивать. Время и пространство исчезли. Исчезли люди, здания, деревья. Я попытался расслабиться, старался ни о чем не думать. Несколько раз засыпал и просыпался. Все в том же влажном тумане. Но это состояние не было сном и бодрствованием. Забытье. Отрешенность от всего. Ничто.

Но вот, я снова очнулся, но уже не в тумане, а в бабушкиной спальне, в ее и дедушкиной квартире в университетском доме, построенном в стиле «сталинского ампира», на кровати из карельской березы. У меня был жар, першило в горле, я почти не мог глотать.

Понял, что галлюцинирую, что меня забросило в год 1972-ой, когда я, шестнадцатилетний школьник, несколько раз тяжело болел ангиной.

Бабушка сидела рядом со мной, меняла мне холодный компресс на лбу. Компресс мне не помогал, только мешал. Я пытался спихнуть его со лба. Но бабушка терпеливо клала его обратно.

Мерила мне температуру. Потом, глядя на ртутный термометр, тихо сокрушалась: Опять сорок и пять. Уже три дня не спадает. Ах, гулик, гулик...

Я узнал каждую морщинку на ее добром лице, опухшем из-за долговременного приема преднизолона, единственного тогда средства от бронхиальной астмы. Узнал звуки ее свистящего дыхания, ее кашля. Узнал ее седые, поредевшие от старости, великолепные когда-то, курчавые волосы. Узнал ее голос и запах.

Узнал трельяж, нефритовые и фарфоровые фигурки на нем, которые мой покойный отец привез из Китая, узнал шкаф из той же карельской березы, узоры которого напоминали мне в детстве сплетающиеся обнаженные женские тела, узнал вишневое пианино Петроф, заменившее старенький Бехштейн, на котором бабушка несколько лет безуспешно пыталась научить меня играть на фортепьяно.

Узнал фотографии на стенах и вид из окна. Узнал книгу в пестрой обложке на тумбочке. Это была «Лолита» по-французски.

Узнал даже старые бабушкины тапочки.

Казалось бы, галлюцинация не может быть таким буквальной, детализованной.

Или это была не галлюцинация, а что-то другое?

Душа моя болела. Я был переполнен жалостью и любовью к этому давно исчезнувшему миру, к давно умершей бабушке.

Неотвязная мысль жалила сердце как оса. Как ты мог тогда бросить и бабушку, и дедушку, и маму? И немногих своих близких друзей. О чем ты думал? Что превратило тебя в эгоистичную скотину? На что ты надеялся? На карьеру на Западе? Ты даже пастухом в Патагонии не смог стать, ничтожество. Самовлюбленный кретин. Отомстил родным и близким за собственную слабость. Бросил умирать в Совдепии все, что тебе было дорого. Ради чего?

В судорогах раскаяния и невыносимой душевной муке схватил бабушкину руку, поднес ее к губам. Целовал ее ладонь, целовал и рыдал.

Бабушка крикнула деду: Миша, он плачет. Что же нам делать? Позвони Марии Абрамовне, прошу тебя.

Затем мое подсознание смилостивилось надо мной...

Меня опять унесло в белый туман. В пену несуществования. А когда я проснулся...

Декорации остались прежними, но времена изменились. Бабушка превратилась почему-то в мою подружку Олечку, разделась и села на меня верхом.

Я все еще лежал на кровати из карельской березы.

Но мне было уже восемнадцать. Ангины больше меня не терзали, потому что несколько месяцев назад мне вырезали гланды в одной из Градских больниц на Ленинском проспекте. Опытная врачиха возилась минут сорок. Я запомнил только то, что кровь, эта красная лава, лилась из меня как вода из крана. Только медленно.

На дворе жаркий московский июль. Бабушка и дедушка отдыхают в санатории в Переделкино, я живу один в их двухкомнатной квартире на Ломоносовском... наслаждаюсь свободой... и изо всех сил пытаюсь затащить в постель свою застенчивую подружку Олечку, студентку экономического факультета.

тета, стройную, нежную, преданную, с которой часами целуемся в университетском парке каждый вечер. Мы целуемся, обнимаемся и влюбленно воркуем. Но этого мало, мало.

И вот... наконец... Мы, молодые, красивые, голые — в бабушкиной кровати.

Рай на земле?

Как бы не так.

Длинные льняные волосы Олечки падают на маленькую, прекрасной формы грудь, пахнущую розами. Аккуратненький животик украшен снизу рыжей опушкой. Очаровательная талия. Узкие бедра.

Ее руки — в моих руках. Ее близорукие карие глазки моргают от волнения.

Я уже пять минут изо всех сил пытаюсь воткнуть мой вставший член туда, куда полагается. В созданные для него природой в женском теле ножны. Но Олечка этого явно не хочет, ёрзает задом... она боится забеременеть, боится стать взрослой женщиной, боится ответственности.

Ничего у нас не выходит...

В отчаянии я кричу Олечке — и всей вселенной — что-то грубое, оскорбительное. Глаза моей любимой вспыхивают, лицо искажается гневом, маленькие крепкие ручки ложки сжимаются в кулаки. Она отталкивает меня, вспархивает с постели как испуганная бабочка с цветка, мгновенно одевается и убегает. Бешено хлопает входной дверью, страшно пугая этим рыхлую и трусливую соседку с варикозными венами на ногах, как раз выходящую из лифта. Возвращающуюся из булочной и молочного. С двумя полными сумками, из которых вылезают зеленые крышечки бутылок кефира и уголок упаковки вафельного торта, нашего советского деликатеса.

А я остаюсь один на один со своим разочарованием, со своим возбуждением. С тоской по женщине. Со своим острым кинжалом. Тупить который мне уже который раз приходится самому.

И опять меня гложут мысли как волки ягненка.

Как легко ты тогда оскорбил эту девушку! Оскорбил и безжалостно выкинул из своей жизни. И теперь каждый раз,

когда тебе одиноко и грустно ты вспоминаешь не тех милых женщин, с которыми ты годами кувырчался в постели и наслаждался всеми возможными видами плотской любви, а эту близорукую лыжницу с льяными волосами. Она была так нежна с тобой. В университетском парке. Мы так сладко целовались. Как сложилась ее жизнь? Жива ли она? Или от нее осталось только твое воспоминание? Твоя тоска.

Я вижу, вы приуныли. Ожидали ужастик, а получили — мелодраму и нытье. Я вас предупреждал. Впрочем, будет вам и ужастик. Продолжать?

— Естественно. Я привык к вашему стилю...

— Ну что же, если вы еще не сыты по горло... Следующее мое пробуждение не было похожим на первые два. В этом новом мирке царил беспросветный ужас.

Очнулся я... в пещере. Я лежал — в очень неудобной позе — на ее холодном и неровном каменном полу. Затекшие мои руки и ноги были крепко связаны грубой толстой веревкой. Так, наверное, связывают в деревне свиней, перед тем как перерезать им горло.

Я был одет... не сразу это осознал... в форму советского солдата. Грязную и рваную. На ногах — кирзовые сапоги.

Рядом со мной валялись еще несколько солдат. Многие были ранены, они стонали, матерились, просили воды.

Сцену освещали две керосиновые лампы, стоящие в топорно вырубленных в глиняных стенах нишах. Лампы коптели, воняли. Мне казалось, что по пещере летают летучие мыши. Издалека доносились крики и взвизги.

— Там у них пыточная, — негромко сказал здоровенный блондинистый солдат, лежащий рядом со мной. Показал головой направление.

Я спросил его: Где мы?

— А кто знает. Меня так избили после боя, что я чуть ни целые сутки провалялся без сознания. Везли куда-то нас духи долго. В тыл, полагаю, через перевал, подальше от наших. Теперь будут кишки тянуть...

— В какой мы стране?
— Ну ты даешь, чувак. По голове тебя не били? В Афгане мы.
— Год какой сейчас?
— Слышь, пацаны, он и год не знает. Оторвался по полной. Тебе ничего не вкалывали? Говорят, у духов лекарство есть специальное, американское, человека в зомбака превращает. Зомбаки эти у душманов вроде рабов. Восемьдесят второй год.

Что за вздор? Я никогда в Афганистане не был. Войну эту не поддерживал. Осуждал даже.

Внутренний голос прошептал мстительно: Не был, не поддерживал, осуждал, но никогда, никогда и нигде ничего не сделал, чтобы остановить эту бойню. Даже вслух ничего не сказал. Все десять лет молчал. Трясся.

— Молчал как все молчали.

— Все нас не касаются, но ты, ты... никогда и ничего. Даже шёпотом не протестовал, не то, что там... на Красной площади. Даже дома об этом говорить боялся.

— Да, нас так запугали.

— Запугали... Запугали, потому что вы разрешили себя запугать. И от молчания вашего вы даже особый кайф славили. Радость от собственной гнусности получали. Вроде как купались в чужой крови.

К нам подошли несколько моджахедов с большими черными бородами. В темных халатах и характерных шапочках. В их глазах я прочитал смертный приговор всем нам, неверным собакам. Сердце у меня ушло в пятки. И не зря.

Ни слова не говоря, они распорили животы одному за другим всем связанным советским солдатам своими кривыми ножами, а затем отрезали головы.

Когда мне резали живот, я кричал что было сил. Мой блондинистый сосед не издал ни звука.

Когда мне отрезали голову — кричать я уже не мог.

Тут я прервал моего собеседника. Не было сил дальше слушать. Поблагодарил и ушел.

Доктору переводить его рассказ не стал. Не хотел его мучить карельской березой, льняными волосами и кривыми ножами. Сказал только: Похоже, вашего пациента попросту замучила совесть. Редкое явление в наше время.

Молодой врач поднял и опустил свои узкие брови, укоризненно покачал головой и пожал плечами. Ему тоже было все равно.

Пациента из палаты 207 выписали недели на две позже чем меня.

ПОЗОЛОЧЕННАЯ РЫБА

Нас было трое. Трое?

Да, Лео, Кролик и я.

Странно. Я забыл, как они выглядели. Мои спутники. Лео и Кролик.

Хотя... может быть у них и вовсе не было внешности, как у большинства моих друзей в социальных сетях до катастрофы?

Кем для меня были Лео и Кролик? Не знаю.

Их настоящие имена давно стерлись в памяти.

Помню только, что... мы, все трое, были скептиками... с налетом гедонизма. И это нас объединяло. Скептиками и эскапистами.

Ну да, у Лео были большие печальные глаза. Как у лошади.

А у Кролика... Большие уши? Нет.

Кажется, он был белый, как молоко. Или бежевый.

Память моя — островки. Островки, заросшие полынью.

Не могу вспомнить, как звучали их голоса.

И характеры их я позабыл.

Характеры... Что это такое, вообще, характер? Сохранились ли у людей, выживших в катастрофе, характеры? Свойства? Склонности? Есть ли у них воля к жизни? Планы? Фантазии? Страстные желания?

У моих спутников, наверное, сохранились, а у меня нет. Все размылось. И характер, и воля, и желания. Нет ни планов, ни фантазий. Остались только страхи.

Лео, тот прежде любил кофе. Когда он пил кофе, глаза его умиротворенно мерцали. И он тихонько ржал и томно потягивался.

А Кролик... что любил старина Кролик?

В былые времена он любил лакомиться муссом из маракуйи. И рассуждать о политике. Делал безумные прогнозы. Надо отдать ему должное, он предсказал катастрофу лет за пятнадцать до того, как она произошла. Мы все чувствовали ее зловещее приближение. Людей стало слишком много. Все повторялось. Угроза уже висела в воздухе. Угрозой этой были мы сами. Но мы прятали голову в песок, а Кролик не прятал. Наоборот... бил во все колокола. Над ним смеялись, издевались, называли его тирольской Кассандрой (он говорил, что родился в Тироле).

И чем сильнее обвинителей Кролика терзало чувство обреченности, тем с большим удовольствием они травили его. А ему было наплевать.

Или он любил мусс из тамарилло? Забыл. А ведь мы часто обедали вместе.

На столах лежали чистые скатерти с вышивками и кружевами по полям. Свет от многочисленных светильников преломлялся в хрустальных бокалах и неспешно скользил по серебряным приборам. Свет отражался от позолоченных фарфоровых тарелок и слепил нам глаза. Шампанское лилось.

Официанты старались исполнить любую нашу прихоть.

Однажды нам подали позолоченную рыбу. Ее зеленые глаза были сделаны из малахита, а ее вырезанные из яшмы розовые плавники нервно подрагивали. Рыба эта то и дело открывала свой безгубый рот и восклицала: Оккама... Оккама...

Кролик на это реагировал так: Даже глупая рыба понимает, что не стоит множить сущности.

И подмигивал мне. Много лет назад я имел глупость объявить, что собираюсь написать роман в стиле Анны Радклиф. Кролик постоянно иронизировал по этому поводу. Называл меня «великим компилятором», причитал, издевательски растягивая слова: Деревья отбрасывали меланхолические тени, а полная Луна была похожа на лицо прокаженной старухи. Эмилия, о, нимфа, тебя ждут при дворе Генриха Наваррского...

В другой раз к нашему столику подошел одетый в парадную форму адмирал. Бородач с эполетами, аксельбантами и с кортиком на боку. Вежливо нас поприветствовал и... начал раздеваться. Оказалось, это профессиональный стриптизёр из клуба «Могул» неподалеку. Его номер оплатил Лео. Адмирал должен был стать сюрпризом для Кролика, отмечающего в тот день мнимые именины.

В конце того вечера Кролик и адмирал устроили голую пляску на столиках. До смерти испугали жующих и пьющих пиво бургеров. Вызвали полицию. Дежурный офицер, разобравшись в чем дело, посмеялся в кулак, успокоил и выпроводил публику, команду свою отправил назад в участок, выпил бутылку виски из горлышка, предложенную ему Кроликом «для разогрева», разделся и сам полез на столик — танцевать. Тут выяснилось, что он — женщина-кенгуру из Эдемского сада в Новой Гвинее. Радости Кролика не было границ.

Лео как обычно зевал и привередничал.

А я уединился в интимном уголке с одним сексапильным созданием, капризом природы. Мы играли с ним в «бегемота и мышонка», периодически меняясь ролями.

Да, все прошло. Где теперь валяются эти скатерти, ложечки с гравировкой, вилки и ножи с вензелями? Где мейсенские тарелки? Где экзотические фрукты, ароматные супы, свежее мясо?

Где позолоченная рыба?

Где теперь раздевается адмирал?

Сейчас я был бы рад найти на помойке хоть корочку белого хлеба. Заплесневелую и пахнущую гнилью. Все-таки — напоминание о прежней жизни. Но за полтора месяца наших блужданий мы и корочки белого хлеба не нашли.

По всей Земле царила мерзость запустения.

Если бы не искусственное, пахнущее бензином, но съедобное «мыло» греев и не маленькие фляжки с невкусной жидкостью с металлическим привкусом, контейнеры с которыми они сбрасывали со своих монструозных летательных

аппаратов, все уцелевшие в катастрофе жители Земли давно умерли бы с голоду или от жажды. Не знаю, распространялась ли благотворительность греев на животных. Я давно не видел ни одной собаки или птицы. Вероятно, все они погибли.

Я называю это событие катастрофой, потому что не нахожу более подходящего слова. Что это было на самом деле, я не знаю. Преображение... метаморфоза нашего земного мира.

Мы не слышали и не видели никаких взрывов, не было ни землетрясений, ни смерчей, ни цунами, ни бурь, ни наводнений. Супервулканы не извергались. Ни в Йеллоустонской кальдере, ни в Флегрейских полях в Неаполе.

Что же произошло?

Мы трое сидели в гостиной на вилле Лео, стены которой были оббиты голубоватым с золотыми звездами шёлком. Собирались попробовать свежие персики. И вот... как раз когда я откусил приличный кусок душистой плоти и успел насладиться приснувшим во рту соком, Лео зевнул, а Кролик пригубил бокал Бордо и глотнул — свет в торшерах померк, а мы потеряли сознание. Я успел заметить, что Лео смешно задергался, а Кролик опрокинул бокал на себя, и вино окрасило кровью его элегантный светлый пуловер. Персик вырвался из моих рук, упал на ковер и покатился... В этот момент все окончательно померкло.

А когда мы очнулись... сразу стало ясно, что произошла катастрофа. Мы лежали на покрытом фиолетовой пылью поле... непонятно где.

У нас болели головы, мышцы, кости. Мне показалось, что мое тело отказывается вести себя так, как ведет себя тело человека. Что все его клетки, ткани, внутренние органы испытали шок.

Одеты мы были в темные пижамы. Поверх пижам — старомодные пальто, на рукавах которых были выжжены номера. На ногах у нас были тяжелые ботинки, вроде туристических, топорно сделанные. На головах — грязные вязаные шапочки. Тоже с номерами.

Никаких следов виллы Лео — руин или хотя бы фундамента мы не обнаружили.

Пропала не только его вилла, но и все предместье, и наш город... не только постройки человека, но и холмы, река, деревья, кусты, цветы — все исчезло.

Землю покрывала фиолетовая пыль.

Только одинокая башня торчала на горизонте.

Солнце, наше веселое солнышко, скрылось с небосвода. Наступили вечные сумерки.

Кролик огляделся, щелкнул языком и проговорил: Вау...

А Лео спросил, нет ли у кого-нибудь случайно аспирина.

Когда-то мы все делили по-братски. Лео открыл для нас свой счет в банке «Амбассадор».

После катастрофы все как-то скукожилось. И мир и мы сами. Теперь мы — каждый за себя. И нам приходится ждать подвоха не только от окружающего мира, но и друг от друга.

Недели две назад Кролик ткнул Лео в зад острым металлическим трезубцем с длинным древком. Где он его взял?

Лео громко завизжал, схватился за болезненное место, изогнулся как питон и попытался зализать ранки, а наглец Кролик рассыпался в извинениях и демонстративно кинул трезубец в грязевую речку. Как копьё. Позже он заверил меня, что не хотел причинять Лео зла и уколол его трезубцем «автоматически». Я поверил ему.

А Лео укусил меня за ухо. Прокусил мочку и ушную раковину.

Мы устроились на ночлег на вонючих мешках в полуразвалившемся сарае, пригрелись, я только-только заснул.

Укусил, а потом склонил голову и так грустно посмотрел на меня своими огромными глазами, что я тут же простил его. И даже не отомстил. Тогда. Но позже припомнил. Когда мы шли по краю нефтяного болота, отливавшего всеми цветами радуги, я слегка толкнул его, и Лео потерял равновесие и шлепнулся в зловонную трясиину. Нет, она не засосала его... он так потешно кричал и неловко хватался

своими большими руками, похожими на собачьи лапы, за тяжелую, раздвоенную на конце палку, которую мы ему протянули.

Я сделал вид, что мне жалко друга. И мне, как это часто бывает, и в самом деле стало его жалко. Я даже обнял его потом, утешил и помог ему оттереть речным песком пальто от грязи.

Вы спросите, почему же мы все еще шли втроем? Почему не разделились?

По привычке. Ведь мы были знакомы еще с университетских времен.

Иногда мне кажется, что и Лео и Кролик — не существуют. Что они — только проекции. Мои проекции. Проекции, ставшие зачем-то самостоятельными личностями.

До катастрофы мы регулярно отдыхали втроем на средиземноморских курортах. Купались, загорали, играли в карты. А по возвращении в город ходили вместе в кино, в театры и на концерты. Вечера проводили на вилле у Лео. Выпивали, беседовали, имитировали известных политиков, злословили, хохотали. Плавали в подземном бассейне. Уединялись в спальнях с оплаченными Лео гетерами и кинедами.

Мы уже давно не работали. Кролик и я не были богаты, но не хотели гнуть спину как обычные люди — вечные рабы прибыли, спонсоров и начальников. Получивший в наследство огромное состояние Лео щедро помогал нам. Никто из нас и не думал обременять себя семьей. Зачем? Жизнь и так коротка и абсурдна. И жестока. И кончается известно чем.

Кролик жил в бывшей конюшне виллы Лео, которую он сам отремонтировал и перестроил на свой вкус. Лео оплатил только работу электриков, сантехников и краски. А я ютился в небольшой квартирке на окраине города, которую купил когда-то на первые гонорары. В гости к Лео и Кролику ездил на велосипеде «Диамант». На вилле у Лео у меня была собственная спальня. Там я ночевал когда напивался.

Все пропало. Мой велосипед пропал.

Пропал многоквартирный дом, в котором на третьем этаже находилась моя квартира.

Пропала вилла. Пропала и ее бывшая конюшня, и моя спальня.

Мы больше не хохочем. Чаще всего мы молчим.

О чем нам говорить? О будущем?

Его у нас нет.

Да, нас было трое.

Мы бродили по бывшим окрестностям города... Встречали разных людей. Все они были одеты также как мы. И мужчины и женщины. У всех были номера на рукавах пальто и на шапочках. Детей мы не видели. Почему — поняли позже.

Иногда встречали старых знакомых. Встретили Часовщика. До катастрофы его фирма производила известную всем в Европе марку механических наручных часов. С синим циферблатом, серебряными стрелками и сапфировым стеклом. И, не смотря на заоблачную цену своей продукции, процветала.

Мы не раз бывали в его мастерской, расположенной на склоне покрытого виноградниками холма недалеко от Женевы, и дивились работе его подчиненных. Лео покупал там часы и дарил их нам или официантам, продажным женщинам, таксистам, жокеям...

Часовщик принимал нас по-королевски, угощал собственными винами, как-то особо приготовленным его поваром бламанже и трюфелями.

Грустно было смотреть на него, небритого, поседевшего, с грязными обкусанными ногтями и подбитым глазом, в оборванном пальто.

Сначала он не узнал нас, а когда узнал, захныкал и забормotal: Тью-тью-тью... Господи, что стало со всеми нами? Куда все пропало, может быть вы знаете, барон? Тью-тью... Что, черт возьми, происходит? Где моя мастерская? Где виноградники? Кому помешали мои хронометры? Тью... Где Женевское озеро? На его месте — непроходимое болото. В нем даже лягушек нет. И, черт возьми, куда делись Альпы?

Лео обнял его и попытался утешить. Но Часовщик не успокоился... продолжал терзать нас вопросами. Затем он замолчал, вытер нос рукавом пальто, плюнул себе под ноги, и, истошно воя, на всех четырех умчался от нас. Как испуганная обезьяна.

— Вау, — провозгласил Кролик, — Бедняга кажется спятил.

— И он, и мы все, — добавил Лео.

— Часовщик прав, где, черт возьми, Альпы. Озеро могло и обмелеть, превратиться в болото, но Альпы...

— Тью-тью-тью, — промурлыкал Кролик.

Мы пошли дальше.

Неожиданно мы наткнулись на Астронома. Он стоял и внимательно рассматривал какой-то камень в руке. Увидел нас и кивнул, так буднично, естественно, обыкновенно... как будто мы встретились не на покрытой фиолетовой пылью Земле после катастрофы, а в студенческой столовой в перерыве между лекциями.

Кивнул и тут же заговорил.

— Когда это случилось, я не работал, а показывал в саду сыну Сатурн в наш домашний Кессегрен. И представляете... навожу я на резкость... и вдруг... Сатурн превращается в какую-то мерзкую рожу. И эта рожа показывает мне язык. И тут меня как будто ветром сдуло. И несло и несло... очнулся я тут. Где мои — не знаю. Даже следов моего дома не нашел. И еще... не знаю, что вы думаете обо всем этом, мне кажется, что я сплю, что все это... сон. Кошмар и больше ничего. Я не силен в геологии, но... верьте мне, мы не на Земле. Да, не на Земле. Вы не задумывались о том, где Солнце. Куда оно делось. Почему нет ни дня, ни ночи? Это театр какой-то...

Мы не успели ему ответить. Потому что Астроном ушел, не попрощавшись. Зашагал как робот прочь. И быстро пропал.

— Еще один псих. — констатировал Лео.

— Может быть, мы на Сатурне? Только вот, где кольца? — нелепо сострил Кролик, посмотрел на свои длинные пальцы и рассмеялся.

Я промолчал. Вспомнил посещение обсерватории. Астроном был спокоен, горд за свое хозяйство, поглаживал бока своих огромных телескопов и пытался объяснить нам, где находится Великий Аттрактор и что такое темная материя и темная энергия.

Похоже, тут, на этих бескрайних полях, покрытых фиолетовой пылью, я это наконец понял.

Загадку номеров на рукавах и шапочках помог разгадать другой встреченный нами старый знакомый, бывший сосед Лео, старик Барбарис. Так его звали, потому что весь свой участок он засадил кустами барбариса, из плодов которого изготовлял превосходный мармелад, нежно пахнущий лимоном и грушами. Барбарис владел клубом «Флорида», заведением с плохой репутацией, в которое мы тем не менее иногда заглядывали. Когда хотели развлечений погрязнее. Там я познакомился с цирковой группой, состоящей из румынских лилипуток. Девушки эти были не только мастерицами пограничного сладостолбия, но и гимнастками, жонглёрами и фокусницами. Одна из них смогла прямо на глазах у зрителей превратить католического монаха в крысу.

Барбарис разгуливал не один, а с тремя миловидными дамами. У меня создалось впечатление, что он жалеет не о потерянной «Флориде», не о городе, не об Альпах, а только о своем барбарисовом саде.

Всеведающий Барбарис поведал нам, что номера на рукавах пальто и на шапочках — это места в очереди на посадку в космические корабли греев, совершающие челночные рейсы между Землей и планетой X.

Посадка эта будто бы осуществляется на крыше башни, бывшей гостиницы, единственного уцелевшего здания в нашем регионе, над которой все время парят антигравитационные аппараты греев.

— Вы конечно близко к башне не подходили? А следовало бы. Там очередь... спиралью... толщиной человек в шесть и длиной километров в тридцать. Все хотят улететь отсюда. На планету X.

Планета эта вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Эту планету греи якобы нашли и оборудовали специально для людей. Сутки там составляют — 24 земных часа. Год длится 400 дней. Мягкий климат. Луна отсутствует. Планету X, так же как и Землю до катастрофы, омывают океаны, но приливы и отливы на побережье там почти незаметны.

Барбарис с жаром рассказывал нам о том, что законы природы на этой планете не похожи на земные, что пространство, время и сама материя подчиняются там воле живущих на ней существ... Говоря проще — каждый из новых переселенцев с Земли сможет жить там в мире, который пожелает. Достаточно его представить и захотеть, чтобы он возник. Впрочем, горько заметил Барбарис, на этот счет есть различные мнения.

Не растерявшие свои религиозные убеждения земляне будто бы верят, что греи — на самом деле — ангелы Господни, что на планете X праведников ждет рай, а грешников — ад.

Другие, утверждал Барбарис, верят в то, что планета X — не что иное как колоссальная лаборатория, в которой греи проводят над людьми свои зловещие и болезненные эксперименты.

А неисправимые скептики якобы убеждены в том, что никакой планеты X не существует. И что греи собирают землян для упорядоченной утилизации и переработки на галеты. Им будто бы надоело есть искусственную пищу...

А висящие над башней аппараты — на самом деле гигантские мясорубки.

Сказав это, Барбарис неприятно захихикал, а его дамы потупились.

Расставшись с Барбарисом, мы стали прикидывать, когда подойдет наша очередь на отлет. Получилось, что самое раннее — через четыре месяца.

Кому верить, что делать все это время — мы не знали. Идти было некуда, везде было одно и то же. Поэтому мы просто шатались вокруг да около, стараясь не слишком далеко отдаляться от башни.

Во что верили мы?

Я не верил ни во что. Навсегда остаться на разрушенной до основания Земле — мне тем не менее не хотелось. Никто не знал, сколько времени греи будут нас кормить и поить. Надо было улетать. Авань попаду в мир, в котором есть хотя бы душ, туалеты и туалетная бумага.

Кролик — в прошлом большой любитель научно-фантастических романов — верил в планету-лабораторию. Но надеялся на добросердечие греев. Он рассуждал так: Не могут столь высоко технически развитые существа просто так устроить остров доктора Моро на чужой планете. Духовное их развитие наверняка не отстало от материального. Это ведь они нас кормят и поят, а не мы их. Греи возможно нуждаются в нашем генетическом материале, ну так дадим его им, а они нам взамен подарят новую планету.

Немногословный обычно Лео отвечал Кролику так: Будь я на месте греев, я бы десять раз подумал, прежде чем тащить нас в новые миры. Землю мы уже испоганили, испоганим и планету X. Да и греям, если когда-нибудь наша возьмет, не одобровать. Мы их самих на галеты переработаем. Надеюсь, они это понимают.

Неожиданно меня осенило. В голову пришла мысль, заставившая меня содрогнуться.

— Мы за деревьями не увидели леса. Все гораздо проще. Проще и страшнее. Мы уже не на Земле. Прав Астроном. Мы на этой треклятой планете X. Греи как-то ухитрились всех нас сюда перетащить. Разумеется, тут нет Альп. Нет мастерской и виноградников Часовщика, нет барбарисового сада. И не может быть. Тут ничего нет, кроме остатков какой-то прежней цивилизации. Мы в аду, поздравляю вас.

Спутники мои удивительно спокойноотреагировали на мое откровение.

Кролик заметил стоически: Поздравление принято. В аду, так в аду. Обойдемся и без Альп и без барбарисов.

А Лео добавил: В этом мире почти все уже уничтожено. Деревья не растут, зверей нет, даже насекомые исчезли, одни руины и фиолетовая пыль... Убивать некого... Значит мы будем убивать друг друга. Это не ад, это огромная арена, а мы тут — гладиаторы. А греи, наверное, готовят многочастную телетрансляцию на всю галактику. Кролик, там, где ты нашел трезубец, было и другое оружие?

— Да, там валялись мечи и копья.

— Вот видите. Погодите, скоро наши хозяева завезут сюда экзотических животных. Саблезубых тигров, мамонтов, гиппопотамов... может и динозавров воскресят. А для придачи шоу особой пикантности притащат сюда высшие духовные достижения человечества — куклу Чаки, Лепрекона, Фредди Крюгера, Чужого и Майкла Майерса...

Последующие события подтвердили его правоту.

Через несколько часов после этого разговора мы услышали приближающийся топот... мимо нас промчался, пыхтя, исполинский носорог. Носорог нас явно не заметил или заметил, но решил не прекращать свой бег из-за таких незначительных существ как мы.

Через полминуты примерно мы поняли, что носорог спасся бегством. Его преследовало уродливое чудовище, по размеру — раза в три большее носорога. С зубастой пастью, как у лангольеров в известном фильме, и телом, напоминающим полосатую подводную лодку. Но на шести волосатых лапах. За чудовищем неслись уже какие-то и вовсе невообразимые создания.

— Вау! — дежурно отреагировал Кролик, когда все стихло.

— Я же говорил, — пронудил Лео и горько посмотрел на меня своими огромными глазами.

Еще через день мы натолкнулись на следы побоища.

Какая-то зверюга растерзала группу, похожую на нашу. От людей остались одни ботинки и окровавленные ступни с торчащими из них костями. Все остальное, по-видимому, сожрал зверь. Вместе с одеждой. Все вокруг было забрызгано кровью. Душераздирающая картина.

В нескольких сотнях метров от побоища мы обнаружили большой открытый ящик, в котором лежали прямые и изогнутые мечи, копыя, шлемы с плюмажами и щиты. Все это явно предназначалось для нас.

Лео и Кролик в шлемах, с мечами и щитами в руках. Мурмиллон и фракиец. Гротеск.

Стало ясно, что следующими жертвами будем мы. Если конечно не произойдет что-то экстраординарное. Странно, приближающийся конец нас не испугал. Почему?

Одна мыслишка не давала мне покоя.

А что, если не все то, что поведал нам старик Барбарис было ложью. Что если он рассказал нам кусочек правды? Разжевал и в рот положил, а мы этого не заметили.

Что если то, что он говорил про миры на планете X, — не было враньем?

Проверить это можно было чрезвычайно легко. Представить себе, например, виллу Лео и нас в ней до катастрофы, пожелать все это восстановить и посмотреть, что из этого выйдет.

Поделился идеей с моими спутниками. Спросил их прямо, хотят ли они, чтобы я попробовал воссоздать наш старый мир. С виллой, голубым шёлком на стенах и персиками.

Кролик согласился, но почему-то без особого энтузиазма: Валяй, что мы теряем.

А Лео добавил: Может быть придумаешь что-нибудь поинтереснее, чем моя вилла? Тут конечно жизнь собачья... и закончиться она может быстро и не безболезненно. Но наша прежняя жизнь была не хороша... и тянулась бесконечно. Имитация счастья... Подумай.

Поначалу я удивился, а потом вдруг заподозрил, что эта планета, покрытая фиолетовой пылью, вместе с проклятой башней и носорогом — это мир-антипод, который пожелал и создал Лео. Может быть и бессознательно. Потому что пресытился прошлой жизнью. А Кролик... это понял, но перечить Лео не стал. Не стал перебивать его фантазию своей.

Пора было показать, кто в доме хозяин.

Я решительно втянул в себя мои проекции. Лео и Кролик послушно заняли свои обычные места в моей голове.

Вернулся к ящику с холодным оружием. Сбросил пальто и шапочку, напялил шлем с плюмажем, взял в левую руку щит с мордой льва, а в правую короткий меч-гладиус.

И — внутренне — вызвал всех чудовищ этого мира на поединок.

Через несколько секунд я услышал вокруг себя злобное рычание.

С одной стороны ко мне подошел человек в маске хоккейного вратаря. В руке его был нож. С другой приблизился черный как дьявол Чужой и высунул изо рта свою стальную челюсть.

ПРОГУЛКА

Предупреждаю, в этом печальном повествовании нет ни инопланетян, ни зомби, ни серийных убийц. Вообще никаких убийц нет. Нет и отрезанных голов или ног.

Или есть? Посмотрим.

Единственный персонаж — я, автор, рассказчик. Лишний человек. Состарившийся, нездоровый, скучный и нудный тип. С претензиями. И толстяк. В общем — ноль без палочки.

Время — около девяти утра, август. Место — Хоэншёнхаузен, спальный район в бывшем Восточном Берлине. Северо-западное продолжение небезызвестного Марцана.

Если бы я был романтиком, то назвал бы этот район, эту конструкцию из аккуратненько, ровно поставленных панельных зданий эпохи немецкого социализма — вторым и главным персонажем моего очерка, но я не романтик, а реалист, поэтому остаюсь в гордом одиночестве. Хотя в моих текстах можно, при желании, заметить умеренный антропоморфизм.

На улице еще не жарко. На небе — жиденькие облачка. Белесые и сизые. И в полосочку. Похожие на стиральные доски моего московского детства.

У моей няни были вечно стерты в кровь пальцы. От стирки. Она их сосала и дула на них, но боль не проходила. У няни было несчастное лицо. Ей было шестнадцать лет. Она тосковала по оставленным в Удмуртии родным. Спала на раскладушке в кухне. Когда других взрослых не было рядом, я дразнил ее дурой. В лицо. Смеялся над тем, как она говорит по-русски. «Этот корова ест трава».

Теперь я и сам попал в ее положение. Как ни стараюсь, а правильно употребить немецкий артикль не могу. Да и с окончаниями часто путаюсь. Ни одной немецкой фразы не могу сказать без ошибки, а то и двух или трех...

Чувствую себя невежественным пугалом. Дурнем. Болезненно реагирую на замечания со стороны моей подруги. Хотя сам же и напорился.

— Поправляй меня, я хочу улучшить свой немецкий.

Мой немецкий не улучшился, но моя подруга своими придирками меня замучила. Добросовестная немка. Делает то, что ее попросили.

Облачка эти — слабая защита от палящего Солнца. А мне нужна защита, чувствительный стал как мимоза, могу и в обморок упасть на солнцепеке.

Да, да... нынче многие русские слова изгажены. Например, «Солнцепёк» — это советская машина-установка, запускающая термобарические ракеты, сжигающие все живое и неживое в радиусе четырех километров. Применялись эти установки и в Афганистане, и в Чечне, и в Сирии. Сколько жизней погубили! А теперь путинские орки палят «Солнцепёком» по Украине. Какой стыд! Какая гнусность!

Мысленно прокладываю маршрут прогулки. И шагаю потом в тени одиннадцати — и пятиэтажных домов.

Когда я жил недалеко от Моабитской тюрьмы, часто гулял вдоль главной берлинской реки Шпрее. Проходил мимо здания Технического Университета, шел к улице Курфюрстендамм. Заходил там в многоэтажный книжный магазин, напротив Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, где подолгу сидел и листал книги об искусстве. Эрнст, Ман Рей, Пикабия... Магазин этот давно закрыт. Интернет потихоньку сжирает книги. И художественную литературу. И искусство. Хныкать бесполезно. Дарвинизм.

Когда я жил у моей подруги в районе Кёпеник, мы ездили на автобусе к озеру Мюгельзее. Переходили по подземному туннелю от пивоварни в Фридрихсхагене на другую сторону Шпрее (я семенял... с закрытыми глазами, пытался не дать клаустрофобии завладеть мной безраздельно, моя подруга держала меня за руку), шли вдоль берега Мюгельзее до

Рюбецаля, там пили кофе из бумажных стаканчиков, ели пирожные «Биненштих» (укус пчелы), катались на лодке или на водном велосипеде, затем маршировали до водно-спасательной станции, переплывали озеро в узком месте на пароме. Выходили на Фюрстенвалде Аллее, заходили там в кафе-кондитерскую «Герх», ели ванильное мороженое с малиной или клубничное пирожное сердечком и возвращались в Кёпеник — на трамвае. Полдня на воздухе. Сладкая курортная жизнь.

Эта же жизнь показала мне неожиданно свои дьявольские когти. Там, в райских куцах Мюгельзее. Один раз мы с моей подругой пришли к причалу парома и обнаружили, что опоздали на целых пять минут и следующий кораблик приплывет туда только через два часа. Позади нас был семикилометровый путь по жаре, дальше идти мы физически не могли. Такси вызывать не хотелось. Нарушение стиля. Решили зайти в ресторан неподалеку и там подкрепиться. В меню я увидел суп — Русскую Солянку. И загорелся. Заказал, идиот, большую тарелку. Умная моя подруга попросила принести что-то легкое, какое-то рыбное блюдо с экзотическим картофелем и съела его с большим аппетитом. Мне принесли огромную фарфоровую миску с огненно-красной жидкостью. И ложку, больше похожую на половник.

На поверхности солянки плавали три дольки лимона с густым шматком немецкой сметаны (шмандом). А в сокровенной ее глубине прятались копченые колбаски, сосиски различных сортов, грибы, соленые (в немецком варианте — маринованные) огурцы и еще много чего, что я идентифицировать не смог. Жидкость эта была острой как турецкий ятаган.

Мокнул в нее белый хлеб и принялся за дело.

Уже на половине дистанции почувствовал, что дело швах. Но не остановился, гордость не позволила.

А когда доел — был уже в нескольких сантиметрах от безвременной кончины.

Живот болел нестерпимо.

Если бы я сразу после солянки выпил литра два-три кипяченой воды и выблевал бы содержание моего желудка, я, может быть, и спасся бы от хронического гастрита, который с тех самых пор мучает меня месяцами. Но я этого не сделал.

Да, теперь мы живем в Хоэншёнхаузене, до Шпрее и Мюгельзее — далековато, поэтому мы гуляем среди бетонных коробок. Забреедем и в недалеко от нас расположенную местную достопримечательность, «Сад мира», огороженную высоким забором территорию, на которой есть холм со смотровой площадкой на вершине (оттуда виден весь Берлин) и долина, выставки цветов по сезону, японский павильон, китайский, корейский, еврейский, английский и ренессансный сады, канатная дорога, дендрарий, инсектарий и лабиринт. За вход в «Сад мира» надо платить. Поэтому часто мы туда не заходим, бог с ним, с лабиринтом. Мы пенсионеры, в деньгах не купаемся. А тут еще и инфляция.

Другой достопримечательностью в нашей округе считается бывшая тюрьма Штази, в который теперь музей. До войны там была фабрика по производству мясорубок, после войны — советский лагерь для интернированных и советская следственная тюрьма. Знаменитая своими пытками. Штази комплекс был передан в 1951 году. В нем содержались в основном граждане ГДР, которые не хотели жить в Восточном Берлине, Дрездене или Лейпциге, а хотели переехать в Берлин Западный или в Западную Германию.

Туда мы не заходим. Зачем? Музей этот хуже русской солянки.

Вчера моя подруга уехала в Саксонию — навестить старшего брата, впавшего в депрессию. Бедняге исполнилось недавно 85 лет. Хворает часто, да еще жена его запилила. Не разрешает одному выходить из дома. Всем говорит, что ее муж — в маразме.

В ГДР он был известным детским писателем, играл на тромбоне.

Поэтому сегодня я гуляю один.

Пошел вначале вдоль длинного дома. В глубокой тени.

Дом этот, если посмотреть сверху, похож на русскую букву «п», одна из ножек которой короче другой на половину. Если этот дом вытянуть в одну линию — получится одиннадцатизэтажная стена с полкилометра длиной. Я шел вдоль длинной ножки буквы «п».

Пахло бетоном, выхлопами, окурками. Благо они везде здесь валяются.

Травы и цветов на газонах почти не было. Все выгорело. Засуха. С апреля — ни капельки не упало с неба.

Каждый раз, идя тут, я побаиваюсь, как бы кто-нибудь сверху не бросил мне на голову что-нибудь тяжелое. Рядом со мной уже падали окурки, помидоры, однажды упала вырезанная ножом сердцевина ананаса, в другой раз — нечистые женские трусики. Падали использованные презервативы и неизвестные мне предметы, а лет семь назад — с бешеным свистом пронеслась пустая бутылка из-под пива и взорвалась метрах в десяти от меня. Пустая.

Кроме того, тутошние дети не раз поливали меня водой с восьмого и девятого этажа. Я орал на них снизу. Грозил обратиться в полицию. Руками размахивал. Безрезультатно. Этим людям, и детям, и взрослым, наплевать и на меня, и на полицию. Ничего они не боятся. За воду — не посадят. А штраф платить им нечем.

В этой части дома живет пестрая публика. Иностранцы, «простые немцы» и асоциальные аборигены. Иностранцы — в основном бывшие советские, русские, украинцы, молдаване, чеченцы. Ну и арабы, афганцы, румыны, вьетнамцы, чернокожие...

Вьетнамцев — особенно много. Они мне нравятся, эти муравьи... Их женщины всегда одеты чисто и не без шика. Детки — как куколочки. И те, и другие — радуют глаз.

В нашем подъезде долго жили две шведки. Кажется, студентки. Ходили под руку. С каменными лицами. И молча. Может быть на них так Берлин действовал? Я спросил у них, почему они такие хмурые. Они не ответили, даже не улыбнулись. Хмыкнули и дальше пошли. Загадочные люди эти скан-

динавы. Помню, давным-давно, еще в СССР, меня познакомили с одной финкой... улыбчивой хохотушкой. С веснушками на курносом носике. Так вот эта девушка, каждый раз после того, как мы... но об этом поговорим в другой раз.

Не думаю, что иностранцы бросают что-либо с балконов. Побаиваются. Разве что случайно.

Аборигены у нас — обычно многодетные и с собаками. Собачьи экскременты они за своими собаками не собирают. Женщины, почти все, — толстые, некрасивые, смурные... курят плохие сигареты, орут на детей и на мужей... мужчины, наоборот, часто болезненно худые. Многие пьют, нюхают кокаин или колются. Так, по крайней мере, они выглядят.

Встречаются и откровенные бандиты или грабители...

Рэкетеры с золотыми цепочками на бычьих шеях.

Шоферы мафии (несколько шикарных лимузинов паркуются у нас во дворе).

Живут тут и члены преступных арабских «кланов». Мелкие сошки.

— Слава богу, — сказал мне один сосед по подъезду, — они тут только живут, а преступления свои совершают в других районах.

Вы вероятно решили, что я смотрю на мир через черные очки. Что я законченный мизантроп и брюзжала. Вы не правы. Конечно есть тут и порядочные, и нормальные, и красивые люди... возможно их даже большинство... но в памяти остаются чаще всего неприятные лица и фигуры. Фигуры, говорящие своими формами, татуировками, жестикуляцией и походкой: Не подходи, не смотри на меня, держись от меня подальше.

До сих пор у меня не было проблем с жителями нашего района. Но кто знает, что будет завтра. Из-за пандемии, инфляции и последствий украинской войны, — в людях копится раздражение, ненависть, злоба. Бешеная злоба. Я замечаю ее в игре желваков на скулах мужчин в очереди в кассу в супермаркете, в их сжатых сухих кулаках с бледными костяшками, в косых ненавидящих взглядах бесцветных глаз, слышу в рез-

ких гортанных криках женщин... в зловещем, истерическом смехе сидящих на лавочке в соседнем парке алкоголиков... Они пьют полдня, а затем, уже отравленные дешёвым алкоголем, носятся по округе как взбесившиеся звери. Их немного, но они мне особенно отвратительны. Потому что это мои бывшие соотечественники. Говорят они между собой на матерном русском. К сожалению, я их понимаю.

Скоро эта ненависть может прорвать последние заслоны (людям еще есть, что терять) и вырваться на свободу. Случится может все, что угодно. Восстания, погромы, массовые убийства, поджоги...

Трусливые и беспомощные немецкие политики давно говорят об этом по радио и телевидению. Видимо для того, чтобы позже сказать «а я предупреждал».

Толку от их «предупреждений» — никакого. Все медленно, но верно, катится вниз. Вот и война в Европе началась. Настоящая.

Прохожу мимо знакомого балкона на первом этаже. Ни цветов, ни солнцезащитного тента, как на многих других балконах там нет.

Зато там всегда сидит старик, недобро смотрит на прохожих и курит сигарету. Затягивается жадно. Выпускает дым из ноздрей, как дракон. Потом, не потушив окурочок, бросает его на газон перед собой и закуривает еще одну сигарету. Курильщик этот похож на бывшего моряка. На крепких загорелых руках — татуировки. Что именно изображено — разобрать трудно. Стараюсь с ним не встречаться глазами. Один раз я попенял ему — этими окурочками на газоне. Старик изрыгнул из своей заросшей волосами глотки несколько проклятий и начал мне грозить. С тех пор я делаю вид, что его не замечаю. Нет, я его не боюсь, но он, как и многие тут — явно не в себе. С такими надо соблюдать осторожность. Мали ли что он может выкинуть. Пырнет в бок...

Один раз я видел, как он покупал что-то в супермаркете. Подошел поближе. В его тележке лежали два ящика пива и три красных блока Мальборо. Ничего лишнего. Настоящий мужчина. Не то, что некоторые.

Иду дальше. Натыкаюсь на теплую компанию. Две непрерывно говорящие на берлинском диалекте (этот диалект напоминает лай) и отчаянно жестикулирующие толстые мамыши. В розовых и синих кофтах. И коротких модных брюках в обтяжку на массивных бедрах. Волосы слипшиеся и растрёпанные. Выпученные яростные глаза.

Штук пять неопрятных детей. Тоже не тихих. И четыре собаки. Как и все другие собаки на свете — гадкие и злые.

Хотел мирно пройти мимо, пролепетал: Гутен таг!

Кивнул. Мне не ответили. Замолчали. И мамыши, и дети. А собаки, я заметил, не смотря на меня, злобно принохивались. А затем, как по команде — окружили меня и начали хрипло лаять.

Я боюсь собак. Не скрываю этого. Боюсь, когда они лают. Боюсь, что укусят. Заразят бешенством.

Замер. Старался не смотреть этим гнусным тварям в глаза. Думал, пронесло. Но одна из собак вцепилась-таки мне в ахиллово сухожилие.

Тут мой страх превратился в силу. Отскочил, отбросил кусающую меня псину, затем налетел на стаю как Тарас Бульба на поляков и страшными ударами расшвырял их ногами в разные стороны.

Надо сказать, собаки эти были очень маленькие. Собачки. А сандалии мои — на литых резиновых подошвах. Довольно тяжелые. Короче собакам досталось на орехи. Обе мамыши заорали и бросились на меня, выпустив вперед как таран необъятные свои груди и толстые пальцы с разноцветными ногтями.

Столкновения удалось избежать.

Достал свой мобильник, пригрозил, что вызову полицию. Это мамышам не понравилось. Собаки были пойманы и посажены на поводки.

Уходя, я заметил с какой злобой смотрят на меня дети. Теперь я всегда буду их врагом. В следующий раз пойду гулять с тяжелой тростью. С медным набалдашником в форме львиной головы. Осталась от последнего мужа моей подруги. Семейная реликвия. По преданию — эта трость спасла преж-

него владельца от зубов огромной собаки. Для меня — как раз подойдет. Я знаю по опыту, что собаки не нападают на прохожих с тяжелой палкой в руках. Не хотят получить по хребтине или по зубам.

Дома я исследовал рану. Проклятая собачонка только ущипнула меня, кожу не прокусила. Можно было обойтись и без насилия.

Перешел улицу и направился в Сберкассу.

Точнее — к помещению с банкоматами. Настоящего банка у нас тут уже давно нет. Менеджеры Сберкассы сэкономили на персонале.

Сюрприз! На стеклянной двери красовалась надпись черным фломастером: Закрыто на неопределенное время в связи с взломом.

Посмотрел в окно. Несколько денежных автоматов были как-то неправильно раскрыты. Как будто кто-то распорол им животы. Неприятное зрелище. Наличные деньги однако на полу не валялись. Кто-то аккуратно все прибрал. Грабители или техники.

Тут ко мне подошла местная тетка. Страшная, седая и с бородавкой над глазом.

И тут же заговорила, не глядя мне в лицо.

— Я живу в этом доме, на пятом этаже. Вон там. Так вот сегодня ночью я проснулась от взрыва. Думала, весь дом на воздух взлетит. Так громко рвануло. Стены затряслись, шкафы закрипели, картинка с гвоздя сорвалась. Кёльнский собор. Гравюра. Купили на блошином рынке. Муж хотел на улицу выйти, но я не пустила. Мало ли чего. А утром мне соседка рассказала, что грабители банкомат взорвали. Сжатым воздухом или еще чем, не знаю. Говорят, румыны поработали. Что это за нация такая! Одно ворье. Сколько их сюда понаехало. Тьма. Что они там думают? Губят страну. Полиция приезжала. Как всегда, слишком поздно. И пожарные. Теперь за деньгами придется далеко ходить. В Коммерческий.

Бородавка ее, когда она говорила, поднималась и опускалась.

Зашел в русский магазин. Недалеко, за поворотом.
Хотел сырок глазурованный купить. Хотя и вкус не тот,
но о детстве напоминает.

Поздоровался с знакомой продавщицей. Нашел сырки.
Шесть видов. Брусничный, малиновый, клубничный...

— Не знаете, какой сырок похож на прежний, советский?

— Не знаю я. Когда я родилась, никаких сырков в Омске уже не было. За молоком всю ночь стояли. Вот, возьмите этот, он хотя бы без ягод.

— Ванильный? Тут написано — со сгущенкой. Спасибо. Две штуки возьму. А что гречки так и нет?

— Нет и не будет. Из-за проклятой этой войны.

— Скажите, а что говорят у вас про войну?

— Скажу, но вам не понравится.

— Да ладно, мне не в первой.

— Говорят, что в войне НАТО виновато. Что хохлы хотели атомную бомбу бросить на Путина. Вот и пришлось бедной Рассеюшке войска вводить.

— Понятно, это путинская пропаганда внушает. А ваши клиенты российское телевидение смотрят. Бараны. А вы сами, что думаете?

— А я ничего не думаю. Только теперь у нас товаров из России и Украины нету. Все, что вы тут видите, или в Германии сделано или в Латвии. Пропади она пропадом, эта война.

— И сырки?

— Сырки в Гамбурге делают.

— Там же, где Луну? И делает их хромой бочар?

— Что это вы такое говорите?

Вышел на улицу Пикассо.

Если бы Пикассо увидел эту улицу, он бы рисовать перестал...

Ведь он был убежденным левым. И вот, пожалуйста — идеальная улица социализма названа его именем. Одинаковые многоэтажные дома. Одинаковые квартиры. Более или

менее одинаковая мебель. Одинаковые люди. Детсад, школа, но ни одного магазина. А он так стремился к многообразию. К свободе.

Во всех этих блочных колоссах кроется что-то злое — и в московских, и в берлинских, и в пражских. Бесчеловечное. В них зашифрован приказ Москвы. Живите так как мы, народы. В своих бетонных клетках. И не рыпайтесь. А будете рыпаться — приедем мы с нашими «Градами», «Ураганами» и «Солнцепёками» и укажем вам на ваше место.

Единственное новое здание на этой улице — общежитие для беженцев. Пятиэтажка. Аборигены называют ее — Хижиной дяди Тома. За сорок лет ничего другого тут не построили. Беженцы — единственная новость. Беженцы и пандемия, которую бюргеры изо всех сил пытаются выкинуть из сознания, игнорировать. Но которая и не думает кончаться.

Везде, где можно, в Берлине понатыканы контейнерные дома-общежития. Живут в них в основном сирийцы и чернокожие. Многие берлинцы скрежещут зубами от злости. От бессилия. Полуфашистская партия Альтернатива для Германии вербует новых членов и ждет своего часа.

А я не знаю, что и думать. Новые эти жители Германии из Азии и Африки никогда не будут ценить и беречь в Европе то, что я ценю. То, чем я живу. Кранаха, Дюрера, Грюневальда...

Но я ведь и сам — бывший беженец. Кидать камни в пришельцев совесть не позволяет.

Повернул налево.

Шел вдоль длинного пятиэтажного дома. На некоторых балконах восседали хозяйева-пенсионеры. Курили. Ласкали кошек. Поливали цветы. Герани и петунии.

Вспомнил «Степного волка». Несмотря на обилие цветов на балконах, Гарри Галлеру тут бы не понравилось. Не знаю, смог бы он прожить в нашем районе хотя бы неделю, в этом бетонном раю для бедных.

Там, где остановилось время. А пространство разделено архитекторами на одинаковые части. Так, чтобы получилась трехмерная решётка.

А я привык. Живу здесь уже больше десяти лет.

И мне даже перестало казаться, что на перекрестках стоят пулеметные вышки. А вдоль улиц установлены заграждения из колючей проволоки.

На другой стороне улицы панельных домов не было, там были участки для дрессировки собак.

Оттуда непрерывно доносился лай.

Еще раз повернул налево.

Отсюда уже виден мой подъезд.

ПАЛЕВЫЙ ГОЛУБЬ

Вел машину Витя, Виктор Шнирельман, бородатый, добрый, с небольшой лысиной... дважды разведенный близорукий еврей, смахивающий на Бабеля, в бабелевских же очках, живущий в квартире родителей в старом доме на улице Горького вместе с незамужней сестрой, прихожанкой Сретенской церкви в Новой Деревне и страстной поклонницей отца Александра Меня. Родители их уехали в Израиль в 1987-м году, как только из СССР начали свободно выпускать не только долголетних отказников, но и «кого попало». И неплохо там устроились. А Витя с сестрой остались в Москве «возрождать православное отечество».

Витин папа нашел работу по специальности в Тель-Авиве (в СССР он был заведующим отделением урологии в больнице на проспекте Вернадского), а его мать, работавшая в Москве терапевтом в элитной поликлинике на Бронной, стала «после тридцати лет мучений в советском здравоохранении» домашней хозяйкой. Похудела, похорошела, каждый день занималась лечебной гимнастикой на пляже, плавала в бассейне и в море, посещала платные курсы макраме и даже, по словам Вити, «начала шалить».

— В ее-то возрасте, — добавлял Витя печально. Витиной маме было тогда только слегка за пятьдесят.

За рулем Витя был неразговорчив... я сидел рядом с ним, пересказывал ему последние московские байки. Время тогда было интересное... гласность... на всех нас обрушился водопад информации. Переварить ее было не легко. Инстинктивно мы старались как раньше — хохмить и похихатывать. Это был привычный метод нейтрализации советского яда, которым была пропитана наша жизнь. Но полу-

чалось это у нас не всегда. Трудно хохотать над «Колымскими рассказами» или «Воспоминаниями» Надежды Мандельштам. Но превращать нашу жизнь в вечные поминки мы тоже не хотели.

Витя просил: Ради бога, Гоша, не смей меня, иначе я в столб врежусь или в зад кому-нибудь въеду. Да и мой Москвич не любит, когда в салоне смеются. Может обидеться и мертво встать. Уже не раз бывало. И тогда... придется нам пешком идти. Ибо починить его может только дядя Спиридон в мастерской на Земляном валу. Больше он никому не доверяет, подлец.

Знакомые Вити столько раз слышали от него эту шутку, что даже не улыбались.

Витя и впрямь верил, что его автомобиль может обидеться на хохочущих пассажиров. Мы все тогда были суеверны. Хотя виду и не подавали. Софья Власьевна приучила. Все одушевляли и всего боялись.

На заднем сидении сидели Саша и Валя. Как и мы с Витей — добровольные помощники батюшки в новооткрытой Георгиевской церкви, недалеко от Видного.

Саша, Александр Преображенский, высокий, красивый парень лет двадцати пяти (мне и Вите было за тридцать), гордый, холеный, высокомерный... читал в церкви Псалтырь. Невольно подражая дикторам советского телевидения. Чеканил слова.

Он утверждал, что происходит из поповской семьи, но я ему, сам не зная почему, не верил. Чужал в нем избалованного отпрыска номенклатуры. Скорее всего — военной. Своего.

Саша закончил технический ВУЗ в Москве, работал в НИИ и серьезно подумывал о поступлении в семинарию, а потом и в академию. Вроде бы страстно хотел стать священником. Или даже иеромонахом.

Со мной, Валею и Витей аккуратно держал дистанцию. Но в конфликтной ситуации не спорил, сдерживал себя, за-

молкал, отходил в сторону. С батюшкой старался держаться на равных. Я над ним потихоньку посмеивался. Узнавал в нем себя и других, похожих на нас людей.

Валя, Валентин Зябликов, был самым старшим в нашей компании. Ему было уже за сорок. В его тощей, сутулой, долговязой фигуре было что-то от юродивого. Он даже внешне походил на Козловского в роли юродивого в фильме «Борис Годунов» 1948-о года.

В церкви, на богослужении он вел себя странно — всхлипывал, мычал, стонал, бил себя в грудь длинными руками. Вставал на колени, ложился на пол, кликушествовал. Умолял бога простить его.

Валя был пассивным гомиком... был не способен скрывать свои желания, видимо очень сильные, приставал к мужчинам. Приставал и ко мне. Смотрел жалобно и проникновенно наполненными слезами глазами. Моргал. Дергался. Осторожно прикасался к руке или плечу. Тяжело дышал. Отогнать его, впрочем, не стоило труда. Достаточно было строго цыкнуть. Я прямо сказал ему, что я не гей, и попросил на меня так не смотреть и не касаться. Он обещал.

Валю обычно презирали и игнорировали. Многие брезговали есть с ним за одним столом. Не подавали ему руки. Христианская любовь к ближнему на Руси испаряется, как только дело касается голубых.

Он сам себя ужасно стеснялся. И при первой возможности прятал свое неуклюжее тело в раковину. Как рак-отшельник. Но неудовлетворенное желание постоянно выгоняло его оттуда и гнало к людям. К мужчинам. Оно и привело его в церковь. Наш батюшка однажды по секрету рассказал мне, что бедный Валя долгое время служил «Машенькой» в доме одного известного московского архиерея.

Миновали Малоярославец. Проехали Медынь, Юхнов.

Витя остановился на обочине дороги, прочитал — уже в который раз — записочку с указаниями, которую дал ему наш священник, сверился с картой.

Свернул на проселочную дорогу. Наш Москвич начал подпрыгивать на ухабах, а затем вдруг заглох и остановился. Витя, ругаясь, вышел из машины, открыл капот...

Я сел на теплую июньскую землю, снял сандалии и вытнул ноги. Выпил немного воды из пластиковой фляжки. Положил в рот ириску.

Наслаждался покоем.

О том, что мы искали, не думал.

А что мы искали?

Стыдно говорить об этом... Вспоминать о том, как же мы были глупы и наивны.

Мы искали давно заброшенную церковь, якобы полную икон. Хотели забрать иконы и привезти их в Георгиевский храм.

День назад к нам в церковь приезжал на своем грузовичке шофер Коля, хороший знакомый или даже дальний родственник нашей попадьи.

Привез несколько поддонов кирпича из Лобни.

Кирпич пришлось разгружать вручную. Адская работа! Но мы справились.

Пока мы потели и кряхтели, Коля беседовал с батюшкой, курил и плевал себе под ноги. Когда его пятитонка опустела, тут же уехал.

А батюшка рассказал нам, что он ему поведал.

Будто бы вчера Коля ездил «в Угру», отвозил кому-то гравий и плитку. В крохотной деревеньке из трех изб, купленных москвичами под дачи, ему поднесли самогона, он не смог отказаться... а собеседники его, узнав, что он знакомый или родственник попадьи, провели его... будто бы... в брошенную деревенскую церковь... и показали сотни икон, сваленных когда-то на пол. Рассказали, что... иконы эти свезли туда во времена Хрущева из окрестных церквей («даже из Смоленска и Можайска привозили»), чтобы публично сжечь, как тогда часто делали. Но что-то помешало этому варварству, иконы заперли в церкви и забыли о них. А деревенька вымерла.

— Что будем делать, ребята? — спросил нас батюшка. Нельзя пропадать добру. Надо ехать. Завтра же.

Батюшка знал, что у Вити есть Москвич, доставшийся ему от отца, знал он и то, что и я и Саша страстно любим иконы и согласимся на поездку. А Валю он попросил, потому что тот был безотказной скотинкой. К тому же был очень силен физически и умел работать кулаками, что могло пригодиться в этом сомнительном деле.

— Я бы сам с вами поехал, но у меня тут дел полно. Любопытно страшно, что там за иконы валяются. Может быть, и старинные. Коля конечно болтун, но такое он бы сам не придумал.

И вот мы тут.

Наш Москвич стоит, и мы не знаем, что делать.

Я сижу на солнышке, на краю ромашкового поля, глаза мои наслаждаются небесной голубизной и сахарными перистыми облаками. Нос, как у Гоголя — ведрами вдыхает свежий июньский воздух. Тут вам не Москва. Шевелю пальцами рук и ног, гоняю назойливую муху, которая непременно хочет промаршировать у меня на губе. И мне наплевать и на иконы, и на попа, и на Георгиевскую церковь, и на все остальное. И хочется мне только одного — чтобы никто не мешал мне сидеть на теплой земле, смотреть на небо и нюхать сладкий дурманящий воздух.

Тут, как назло, Витя издал радостное восклицание, упрямый Москвич наконец завелся и изрыгнул из себя выхлопные газы, Саша и Валя полезли в машину. Пришлось вставать и надевать сандалии.

Протащились по лесной дороге еще километров двадцать пять. Наученный горьким опытом Витя ехал очень медленно и осторожно, объезжал колдобины.

Неожиданно мы уткнулись в высокие металлические ворота.

Ворота перегораживали дорогу. И явно были закрыты.

Влево и вправо от ворот уходили в лес решетчатые металлические стены. Метра три с половиной высотой. Сверху на стенах были установлены грубо сделанные керамические изоляторы, от изолятора к изолятору тянулся оголенный алюминиевый провод.

На воротах висела поржавевшая табличка: Запретная зона. Прохода и проезда нет.

А под изоляторами другая: Высокое напряжение! Не влезай, убьёт!

С черепом и костями.

Выглядело все это довольно зловеще.

Витя еще раз, на всякий случай, просмотрел записку с указаниями, и провозгласил: Ни о каких воротах... и слова нет. По словам Коли, тут должна была находиться эта деревушка. Гадюкино, что ли. Или Змеиная нора.

Тут подал голос Валя.

— Ребята, посмотрите...

И показал рукой на висящий на стене шагах в десяти от ворот скелет с прилипшими к нему обрывками шкуры.

— Это олень или косуля... веско сказал Саша. — Наверное пытался перепрыгнуть стену, но не дотянул, напоролся на провод и погиб. Бедняга.

— А где же рога? — нервно спросил Валя.

— Кто знает, может это самка была, без рогов. Или детеныш.

— Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах... её обугленная тушка...

Я не мог не сострить, привычка. За что был немедленно награжден укоризненным взглядом будущего православного священника или иеромонаха.

Витя спросил: Что будем делать?

Все молчали.

Я откликнулся: У меня есть идея, но, боюсь, она вам не понравится.

Валя прошептал хрипло: Давай, выкладывай, что придумал.

— Вон там, смотрите, бревно. Давайте его на плечи положим, как татаро-монголы, разбежимся и по этим воротам врежем. Держу пари, они откроются. Полагаю, если тут и была раньше «запретная зона», то теперь ее больше нет. И уже очень давно... Тут все прогнило, посмотрите. Как в нашем социалистическом отечестве.

Подобрал с земли брошенную кем-то палку и врезал ей по воротам. Вроде как копьём ударил. Пробил отверстие. И током меня не убило. «Не влезай». Всё туфта.

В дырку мы все, по очереди, осторожно заглянули. И увидели не совсем то, что ожидали...

Оказалось, мы находились на вершине невысокого и очень пологого лесистого холма. Проселочная дорога уходила куда-то вниз, к петляющей в долине речке. За речкой поднимался огромной подковой еще один пологий холм. На его склоне высилась большая церковь, построенная, вероятно, в конце девятнадцатого века. Стандартный «корабль» с массивной колокольней. Окна ее были забиты фанерой. Крест покосился. Явно заброшенная.

Она и была очевидно нашей целью.

Валя и Витя поддержали мой план, Саша пытался протестовать, но видя нашу решимость, нехотя согласился нарушить закон. Пробормотал: Во благо, на пользу, прости, прости, господи!

Бревно мы не без труда подняли, разбежались и хрястнули им по воротам. После третьего удара ворота упали как стены Иерихона. Точнее — упала правая их створка. С табличкой. Левая покосилась, но осталась висеть. Алюминиевый провод порвался.

Итак, путь был свободен!
Решили оставить Москвич у стены и идти к церкви пешком.

Отошли шагов на триста.

Тут перед нами на дороге возникли два солдата. Без оружия, в грязной, не знакомой нам зимней форме. Вроде пьяные.

Они шли навстречу нам, взявшись за руки, как детсадовцы.

Мне в голову пришла шальная мысль: Может быть тут все-таки есть «запретная зона»... воинская часть или резервный аэродром, или хотя бы радар... и солдаты оттуда? Напились и бродят теперь... Или где-то маневры. Как бы нас не замели.

Саша обратился к солдатам по-былинному: Здорово, служивые. Куда путь держите?

Один из них, чернявый, не вязал лыка. Только икал. Другой, блондинистый, как Шурик, выдавил из себя: Какого хера, куда. Тебя не спросили. Идем и идем. А вот вы чего тут делаете? Из какого вы года вообще?

Ответил ему Витя: Как из какого года? Из восемьдесят девятого. У вас что, белая горячка? Мы приехали церковь посмотреть.

— Аааа... Церковь? А что ее смотреть? Слышь, Серый, они церковь приехали смотреть. Делать им нечего... Восемьдесят девятого... я тогда еще не родился. Что будем делать, Серый? Вот бы сейчас картошечки рассыпчатой со сметанкой и лучком поесть и огурчика солёенького. Мне эти сухие пайки — как чирьи на жопе.

Мы разминулись. Похожий на Шурика обернулся и крикнул: Уходите отсюда. Скорее. Иначе сдохнете. Кто знает, куда вас занесет. Может и в Бахмут, в мясорубку. Передавайте привет повару.

Тут только мы заметили, что оба солдата не только пьяны, но и ранены. На асфальте после них остались кровавые следы.

Мы хотели было предложить им помощь, но солдаты исчезли. Как будто их и не было.

Пошли дальше.

Дорога внезапно кончилась.

Была, была и нету ее. Земля, трава, кустики есть... а асфальта нет. И грунтовки... Нет даже тропинки.

Странно и непонятно. Мы надеялись, что дорога приведет нас прямо к церкви. Ведь ее когда-то строили. Камень, кирпич, дерево, краска, инструменты... все это надо было подвозить. Как без дороги?

Подшли к речке. Милая речушка. Вода прозрачная. Только... как будто остекленевшая.

Дно видно. А рыбок — нет. На дне — непонятно откуда там взявшиеся корни. Голые, длинные, переплетенные. Похожие на руки и ноги. Жутко.

Решили, где наша ни пропадала, перейти речку вброд.

Первым в воду вошел я. Босой, в одних трусах. Брюки, рубашку и сандалии нес в руках.

В середине речки вода была — чуть выше пояса.

Вода показалось мне похожей на глицерин.

Я чувствовал подошвами, что наступаю на корни. Готов был поклясться, что они хватают меня за щиколотки, тянут...

За мной потянулись остальные. И их тоже кто-то хватал за ноги. Водяные?

Еще одна странность.

Вокруг церкви вся растительность была бледная, бесцветная. Трава, цветы, деревья, кусты, ветки, листья — все. И еще — все растения не были живыми, гнущимися, трепещущими... а как будто сделанными из ветхих костей мертвецов. Или из умерших кораллов.

И сама церковь была, как оказалось, тоже как-то неестественно бледной. Костяной.

Мы слышали сухой треск... стены шелушились, ветки и веточки ломались как плохо сделанные гипсовые слепки... листья и чешуйки падали и рассыпались в прах.

Кроме того, ветерок доносил до нас неприятный запах. Пахло горелым бурым углем и еще чем-то. Чем-то ужасным...

На фиолетовом небе то и дело показывались чьи-то страшные лица.

Казалось, тут не действовали фундаментальные законы бытия.

Решили немного посидеть.

Голос Вали дрожал: Ребята, тут не чисто. Вонь какая! Мы попали в царство мертвых. Посмотрите на небо. Я там умершего отчима видел. Он меня истязал и... Мы в аду. Может, повернуть оглобли? Пока целы. А то еще Цербер прискачет.

Саша посмотрел на него с презрением и провозгласил: Ну ты загнул, Зябликов. В аду... отчим... Цербер... Сам ты Цербер. Пять часов потратили, чтобы сюда добраться. Церковь — вот она. Ну да, все бледное. И воняет. Все равно. На бога надейся. Мы делаем благое дело. Может быть, все тут и должно быть таким, кто знает. Обработали чем-то с воздуха. Распылили краску или ядохимикаты. Перестарались, как обычно. Солдат траванули, они и сошли с катушек. А у нас галлюцинации. Откроем церковь. Посмотрим, есть ли там иконы. А потом будем решать.

Витя высказался решительно: Жутко тут. Не до икон. Солдаты эти... откуда они взялись? Как будто из другого времени. Кто-то знает, что такое Бахмут? На Бафомета похоже. Мясорубка... Привет повару... Я свою первую тещу видел на небе, ведьму ту еще. Лыбилась мне. У меня скверное предчувствие... Я за то, чтобы повернуть назад... прямо сейчас.

Тут все посмотрели на меня. Витя и Валя — дружески, Саша — как и следовало ожидать — почти дерзко.

Я понял, что принимать решение придется мне.

— Ад, не ад. Теща, отчим — они у вас в головах. Надо зайти в церковь, коли уж мы тут. Если в ней ничего нет — тогда домой. Надеюсь, мы там не превратимся в скелеты...

Встали, пошли.

Дошли до бледной травы, кустов и деревьев. Потрогали. Все ломкое. Сухое. Папье-маше?

Голова почему-то закружилась. У всех. Валя оступился и упал. Поцарапал руку. Витя дрожал. Саша шел маленькими шажками, задрал нос. После небольшого кровотечения.

Запах усилился.

Из церкви донесся звук... гул... как будто от большого, быстро вращающегося ротора. Или турбины.

Неожиданно перед нами появилось странное существо. Бледное, как и все тут, небольшое. С собаку. На собаку оно однако похоже не было. Морда вроде как у кролика с большими белыми незрячими глазами, на спине горб с рогом, лапы звериные, сзади — что-то вроде шлейфа.

Валя прошептал: Видели? Это же демон из преисподней.

Саша и тут вывернулся: Скорее, мутант какой-то. Бледная нежить.

Витя ничего не сказал, только перекрестился. Протер очки платком.

Существо раздвоилось... заклекотало... затем исчезло.

Поглядел на моих спутников. И они сами и их одежда, и обувь тоже стали бледными, потеряли цвет. И я тоже. И моя ковбойка и брюки и даже сандалии. Посмотрел на руку — будто не моя.

А по небу уже летали ангелы смерти и воздушные змеи. Отвел глаза.

Вот и церковь. Да, и она — как будто отлита из гипса.

Огромные двери. Бледные! Не заперты.

Вошли. И застыли. Словно превратились в восковые фигуры.

Да... не зря мы слышали гул от вращающегося ротора или турбины.

В центре пустого, почти темного храмового пространства висел в воздухе огромный колокол. Колокол этот очень быстро вращался. Иногда он становился почти прозрачным. От него исходило слабое синеватое сияние.

Я не понимал, что держит его в воздухе, почему он не падает. Не мог оторвать от него взгляд. Смотрел и смотрел как замороженный. Мне казалось, что во мне загорается голубая звезда. Которая вот-вот испепелит меня изнутри. И все-все-все исчезнет. И я не знал, хорошо ли это или плохо.

Не знаю, сколько времени прошло.

Затем... что-то вокруг меня изменилось.

Я понял, что сижу голый на полу церкви... да, той самой. Вращающийся колокол исчез.

Никаких икон тут не было. Ехать сюда — было с самого начала безумной затеей.

Поискал глазами моих друзей. Никого. Церковь была пуста. Куда они делись?

Были ли они в этом путешествии рядом со мной или только приснились мне, как приснилась мне моя прежняя жизнь?

Куда делась моя одежда, сандалии, сумка с фляжкой и ирисками?

Но что-то изменилось. Что? Ага... кто-то убрал фанеру с окон.

Церковь заливал солнечный свет. И от этого ее пустое пространство выглядело еще более зловеще, чем в мистической полутьме.

На всякий случай обошел храм. Ничего. Только...

Только в алтаре на резном старинном престоле из бледного камня стоял неизвестный мне — тёмно-зелёный идол. Крылатый, безликий. Жуткий. Чем-то напоминающий экстатически кривляющуюся жабу.

Но это же невозможно. Это против правил. На престоле должны лежать Евангелие, дарохранительница, кресты...

Попробовал его поднять. Не смог, тяжелый. Теплый и скользкий.

Кто его сюда притащил? Зачем? Какое он имеет отношение ко мне? К нам?

Почему он сохранил свой цвет, тогда как все остальное в церкви и вокруг нее — бледное, восковое, гипсовое? Может, только он тут — настоящий? А все остальное — лишь иллюзия?

Вышел из церкви. Оглянулся. Никакой церкви позади меня не было. Я вышел из пещеры у подножья поднимающейся уступами каменной горы, покрытой растрескавшимися розоватыми камнями.

Вокруг меня был новый мир. Мир, не имеющий ничего общего с среднерусским ландшафтом.

Я стоял на пляже. Три солнца светили золотым, голубоватым и розоватым светом. На сиреновом небе не было облаков.

Далекие горы отражались на поверхности небольшого моря, разделявшего нас.

Я стоял на светлом мелком песке, горячем, но не раскаленном, опаловые волны разбивались о разноцветную гальку и превращались в пену.

Из пены поднялась прекрасная женщина с длинными льняными волосам, сделала несколько шагов, вздохнула, протянула ко мне руки и... исчезла.

Не смог удержаться, побежал... и прыгнул в воду. Вода этого моря была настолько тяжелой, что я не погрузился в нее, а заскользил, вращаясь, по ее поверхности.

Тут я услышал крики. Кто-то звал меня. Ласково манил к себе.

Стоя на поверхности воды.

Три фигуры. Поначалу я подумал, что это мои спутники.

Но нет, это были не они.

Это были седовласый старик в шелковой ночной рубашке, цветущий юноша в тоге и огромный палевый голубь с белым пятном на лбу.

В ПАНСИОНАТЕ

Пинг-понг

Мне двадцать лет. Я только что закончил гимназию. Учился плохо. Спасибо, не выгнали.

Планов никаких. Охоты грызть гранит науки в университете — нет.

Даже хобби у меня не было. Компьютерные игры я терпеть не мог. В кино и театр не ходил, скучно и дорого. Дискотеки меня пугали. После того, как меня избил в дискотеке один тип в ковбойской шляпе и кожаной куртке. И с золотой цепочкой на шее.

Книги — фантастику, детективы и приключения — я перестал читать лет в 18. Выдумки и романтическая трепотня.

Родные меня раздражали. Друзей не было. Чужие люди — приводили в ярость.

Город, в котором мы жили — осточертел. Переезжать в другой город, бороться за жизнь и комфорт, работать, зарабатывать деньги — мне не хотелось.

Катись всё к дьяволу!

Машина была мне не нужна. Ведь экзамен на права я так и не смог сдать. Три раза пытался припарковаться на подземной стоянке. И каждый раз проваливался. А в пятикилометровом альпийском туннеле запаниковал и выехал на встречную полосу.

По улицам нашего города я ездил на велосипеде.

Деньги на шмотки мне давали родители.

Ел то, что готовила мама.

Меня, как и многих других, сводил с ума сексуальный голод.

Но искать девушку — в кино, в кафе или в интернете — я боялся. А вдруг откажет? Они всегда мне отказывали. Хотя внешне я был ничего, носил шевелюру с пробором. Узкие брюки. И серебряное кольцо на мизинце. Нашел его на тротуаре. Подобрал и почистил. На внутренней стороне кольца были выгравированы цифры 233. И крестик. Что это означает, я понятия не имел.

Посещать бордель я брезговал. Три раза в день занимался онанизмом. И никакой нечистой совести у меня не было. Никаких угрызений...

Онанизм был для меня не только удовольствием и единственным возможным способом самоуспокоения, но и инструментом познания жизни. Какими только видами любви, какими изощренными извращениями я ни наслаждался! Но счастлив я не был. Я был бы рад познакомиться с милой сверстницей или женщиной старше меня. И разделить с ней радость обычного совокупления.

Год назад я начал нюхать кокаин.

Вы спросите, откуда я брал на него деньги? Продавал потихоньку книги из дедовской библиотеки.

В один прекрасный день отец захотел полистать первое издание «Цветов зла» Бодлера. Искал-искал, не нашел. Потому что я его две недели назад продал.

Отец почуял недоброе, осмотрел все наши книжные шкафы и обнаружил пропажу сотни полторы книг. Устроил страшный скандал, не удержался и дал мне пощечину, когда узнал, на что я потратил деньги.

Ходил в антикварный магазин, говорил с владельцем, унижался, выкупил половину книг у антиквара и новых владельцев. Но вторая половина исчезла навсегда.

Отец твердо решил наказать меня за мои проделки. Над тем, как это лучше сделать, он долго ломал голову. Даже с психологами консультировался. Кто-то посоветовал ему от-

править меня в пансионат «для трудных молодых людей из зажиточного среднего класса», на перевоспитание «здоровой жизнью».

Если я не соглашусь — отец обещал упрятать меня в частную психиатрическую клинику на год.

Я согласился.

На входе в пансионат я подписал обязательство добросовестно выполнять правила проживания и соблюдать распорядок дня. Получил ключ от моей комнаты. Удивился, когда узнал, что номер этой комнаты — 233.

Я не верю в загадочные предзнаменования, дежавю, предчувствия, пророчества и прочие мнимые свидетельства нелинейности времени, но тут... Вот оно, колечко, на мизинце... а вот ключ. Номера-то одинаковые! Решил не придавать значения.

Бегло осмотрел помещения первого этажа.

В зале для игры в волейбол проходил какой-то важный матч. Трибуны были полны народу. И меня конечно тут же угораздило получить мячом по голове. Какой-то атлетический тип подал подачу в прыжке. Мяч попал мне в нос. Тут же из него закапала кровь. Я запрокинул голову.

Публика смеялась, а мне было не до смеха. Во-первых, было больно, мяч этот проклятый довольно тяжёлый. И летел так быстро, как пушечное ядро. Во-вторых, — я опасался, что теперь меня будут тут звать — тот балбес, кому заехали мячом по носу через четверть часа после приезда.

Мое опасение подтвердилось. Ничего, судьба и раньше выставляла меня шутком гороховым. Привык.

Гулял по пансионату. Сколько тут оказывается милых девушек!

Но что-то было не так.

Ко мне постепенно пришла уверенность, что пансионат этот — не место для здоровой жизни молодежи, а что-то другое. Совсем, совсем другое.

Что?

Я явственно ощущал грозящую мне хорошо замаскированную опасность.

Почему на стенах то и дело появлялись тени каких-то чудовищ?

А под потолком летали зловещие темные птицы?

Откуда то и дело доносились стоны и крики о помощи?

Я видел и слышал все это, но не верил самому себе. Решил, что делаю из мухи слона.

А зря.

Вошел в свою комнату.

Крохотное помещение. Койка, тумбочка, стенной шкаф.

За окном — бескрайний еловый лес. И заснеженные горы на горизонте. Канада?

На душе стало нехорошо. Захотелось тут же сбежать отсюда.

Но в родном городе меня ждал озлобленный моими книжными подвигами отец и психиатрическая клиника, в которой я уже имел в прошлом удовольствие пролежать целый месяц. Туда отправил меня наш домашний врач, когда я заявил ему — мне было шестнадцать лет — что хочу перерезать себе горло, потому что жизнь невыносима и тошнотворна.

Меня привязали к больничной койке, давали мне лекарства, от которых, казалось, изнутри горело тело, а в суставы и кости кто-то постоянно втыкал раскаленные иглы. Несколько раз меня бил резиновым шлангом садист-санитар. В общем душе меня деловито трогал за задницу другой санитар. Всовывал мне в анус свой заскорузлый указательный палец и дико хохотал при этом. Угрожал изнасиловать «по настоящему». А главная врачиха грозила мне — если я и дальше буду утверждать, что жизнь невыносима и тошнотворна — перевести меня в подвальное отделение для буй-

ных и безнадежных. Подвергнуть лечению электрошоком. И оставить в клинике навсегда.

Я смог убедить врачей, что раскаялся в сказанном и больше и думать не хочу о самоубийстве. А хочу только поскорее вернуться в нашу славную гимназию. Мне поверили.

Представляю, какую радостную рожу скорчила бы главврачиха, если бы узнала, что я нюхаю кокаин и не хочу учиться и работать. Залечила бы меня до смерти.

Принял душ. Разобрал вещи. В стенном шкафу нашел большой подковообразный магнит, сломанную секс-куклу с натуралистически воссозданными половыми органами женщины, несколько разноцветных стеклянных треугольников и детскую погремушку в виде пениса. Постарался об этой находке не думать.

Рассыпал на тумбочке, а затем втянул в себя носом белый порошок из последнего пакетика, который искусно зашил три дня назад в подкладку пиджака.

Полегчало.

Перед глазами побежали лимонные деревья на берегу Тирренского моря, белые, красные и желтые розы из розария Святого Франциска в Ассизи, пальмы на набережной Пасео-Маритимо и целый табун андалузских лошадей с роскошными гривами. Бросился их догонять и бежал, бежал...

Расстегнул штаны... хотел получить свое удовольствие, вроде как пометить территорию. Но тут зазвонил мой комнатный телефон.

Говорил со мной не живой человек, а робот.

— Дорогой Антонио, от имени дирекции приветствую вас! Только что вы грубо нарушили правила проживания в нашем пансионате. Теперь вы обязаны совершить ритуальную прогулку по нашему подземному лабиринту. Ваша задача — проследовать от Золотых Ворот до выхода из лабиринта. По дороге — найти и символически убить Минотавра.

Предупреждаю вас, отказ от прогулки повлечет за собой немедленную отставку вас по месту жительства. Счастливого отдыха в нашем оздоровительном пансионате!

Хотел сказать что-то в свое оправдание, но трубка после прочитанной мне нотации мгновенно опустела.

Домой возвращаться я не хотел. Отправился на поиски Золотых Ворот.

Спустился на первый этаж. Спросил о том, где они, у проходившей мимо девушки, черноволосой милашки. Она показала мне направление очаровательным смуглым пальчиком, на котором было тоненькое колечко с синим камнем. Затем она тем же пальчиком показала на свой носик, озорно улыбнулась, открыв маленький ротик, в котором сияли перламутровые зубки. Ну вот, и она туда же.

Хотел было ей представиться, но она упорхнула. Вечно я опаздываю.

Ворота оказались обыкновенной дверью. А лабиринт — всего лишь длинным изломанным коридором.

Рядом с входом заметил валяющийся на глиняном полу деревянный меч. Поднял его и взял в правую руку.

И решительно зашагал. Как римский легионер.

Где-то тут, за поворотом, меня ждало античное чудовище, которое мне предстоит символически прикончить деревянным мечом. И я шагал и шагал по полутемному коридору, пахнущему не драконами, а мышами.

Что это означает — символически прикончить? Коснуться его волосатой груди мечом? Или проткнуть его мускулистую шею?

Я не знал. Но опасался, что сам стану жертвой. И не символической.

Минотавра я представлял себе по рисункам Пикассо, любимого художника моей матушки. Его офортами из «Сюиты Воллара» была завешена наша гостиная.

Мать говорила, что Минотавр у Пикассо исполняет роль альтер эго мастера. Он и насильник, и любовник, патриций и

плебей, человек и чудовище, убийца и жертва, Зевс и Рембрандт, атлант и беспомощный слепец, возбужденный сатир и разъяренный бык...

Один раз Пикассо изобразил Минотавра в виде крылатого страшилища с обнаженной женской грудью.

Коридор привел меня в зал.

В одном из его углов стояла мраморная статуя. Из-за скудного освещения я не сразу узнал в ней Минотавра. Похожего на монстра с одного офорта из «Сюиты Воллара». Бородатого и гривастого, стоящего с поднятыми в экстазе победы руками на арене для боя быков. Рядом с синей, истекающей кровью лошадьёю, которую он только что продырявил.

Пошел к статуе. Хотел ткнуть ее своим деревянным мечом.

Но тут Минотавр ожил и двинулся мне навстречу. Раздувая широкие ноздри и сопя.

Я неловко выставил вперед мое оружие и зажмурил от страха глаза. Ожидал, что этот силач убьет меня одним ударом своей мраморной лапы.

Но этого не произошло.

Вместо боли от удара я почувствовал, что кто-то бесцеремонно трогает меня за член. Открыв глаза, я увидел перед собой того самого санитаря из клиники. На Минотавра он похож не был. Лысый, тупой, с ужасной обвисшей и сальной кожей. И омерзительным лицом негодяя. Он нагло лапал меня и хохотал. Также как тогда, в общем душе клиники.

Странно, перед каменной статуей Минотавра я испытывал страх, а перед этим вырожденком — нет.

Напрягся и ткнул его мечом в грудь. Так сильно, как мог.

В тот момент, когда кончик меча коснулся его кожи, я заметил, что передо мной не санитар, а мой отец. Он молча стоял и укоризненно смотрел на меня.

Потом произнес: Ты мой единственный сын. Мое дитя. Ты хочешь убить меня. Как ты мог так поступить со мной?

Ты же знаешь, что библиотека моего отца — это единственное мое и мамино сокровище. Я мечтал передать его по наследству тебе. Как ты мог обменять Рабле и Сервантеса, Малларме и Верлена, Цвейга и Верхарна — на презренный дурманящий порошок для высокомерных слюнтяев и людей-пустышек.

Упрек его задел меня, и я закричал ему в ответ: Ты не понимаешь, я и есть человек-пустышка. Слюнтяй и пустышка. Ни на что не годная пустышка. Высокомерный слюнтяй. Я твое и мамино порождение. Ваше среднее арифметическое. Но вы люди, а я пустышка и слюнтяй. И свою пустоту я не хочу заполнять той дрянью, которой наполнено все вокруг нас! Я задыхаюсь от смрада!

Вдруг я почувствовал, что теряю сознание.

Пришел в себя я в морге, на металлическом столе. На широком подносе лежали инструменты для вскрытия трупов. Некоторые из них были в крови.

Рядом со мной стоял отец.

Врач в наводящем на меня ужас резиновом фартуке опрашивал мою маму.

— Вы уверены, что это ваш сын? Труп пролежал в зимнем лесу целую неделю. Возможно, его грызли животные. Отдельные части тела полиция так и не нашла.

— Да, это он, наш мальчик. Мы думали, что его никогда не найдут.

Отец подтвердил: Да, это наш Антонио. Подумать только, он перерезал себе горло в лесу моей опасной бритвой. Понятия не имею, что заставило его совершить это. Мы были с ним добры и заботливы. Собирались послать его в дорогой пансионат.

Я хочу подать голос, хотя бы пошевелиться. Но у меня ничего не выходит.

Вижу странную темную фигуру... мои родители и врач явно не видят ее. Фигура приближается ко мне. Это католи-

ческий священник в сутане с белым воротничком. В золотых круглых очках. На его ногах вместо обуви — почему-то роликовые коньки. Его руки — в белых перчатках. Пытаюсь ему сказать, что я не умер... и что я хочу, чтобы он ушел.

Священник покрывает мне лицо своим темным одеянием, и я проваливаюсь в огненное жерло ада.

В шахте с раскаленными стенами. В пасти Сатаны...

Приготовился к худшему. Сжал кулаки и пальцы на ногах, сгруппировался, превратил тело в пружину.

Боялся, что сгорю заживо или разобьюсь при падении на дно ада.

Ад я всегда представлял себе как освещенное лишь сполохами костров и пожарищ жуткое пространство на правой створке триптиха Босха «Сад наслаждений». Отец часто водил меня в Прадо и каждый раз подводил к этой картине.

— Вот, сынок, — говорил он, — полюбуйся на то, что ждет грешников после смерти. Мучения без конца. Картежникам и игрокам в кости адские демоны продырявливают их нечистые руки острыми кинжалами. Видишь этого огромного кролика с багром? Он колет грешников его острием, цепляет их его крючьями и тащит в пекло. Или в ледяную реку. Видишь эту страшную реку, покрытую темным льдом? Посмотри на этого безрукого демона в правом нижнем углу картины. Вместе с свиньей-монашенкой он мучает душу недобросовестного адвоката, обманывавшего и обворовывавшего клиентов. Зеленый демон обнимает своими гадкими лапами душу распутницы, а души распутников демоны вешают на этой огромной виселице, души наследников, промотавших состояние родителей, пожирает эта адская синяя птичка, после чего они падают в колодец с нечистотами. Видишь рыцаря, которого терзают псы? Пожирают его внутренности? Он не верил в евхаристию и издевался над церковью. А души умерших, потративших свое бесценное время на Земле на бесплодное и бездарное музи-

цирование, бесы мучают гигантскими музыкальными инструментами и нестерпимо громкой какофонией. Посмотри сюда, видишь, струны этой арфы проходят сквозь тело грешника, а тут бывший музыкант посажен в барабан, по которому барабанит бес. Демон в розовой одежде поет. Из его пасти вытягиваются ноты... и сами собой гравированы на ягодицах грешника.

— Ты говоришь души-души, а это люди.

— Ангелы дают умершим новые тела перед Страшным судом.

— Значит когда-нибудь у каждого из нас начнется вторая жизнь?

— Да. И эта вторая жизнь, жизнь в вечности, зависит от того, как человек себя вел в первой, обычной жизни.

— Но ведь это несправедливо. Вечное наказание за короткую жизнь.

— Вечное наказание или вечное блаженство! Ах, сынок. Босх нарисовал ад таким, каким его представили в своих проповедях попы в его родном городе Хертогенбосе. Детали и конструкции добавил от себя. Мастер. А как все на самом деле устроено, не знает никто.

— А что думаешь ты?

— Я думаю, что человек умирает, и все кончается. А то, что люди придумали про загробное наказание или вознаграждение — это только мечта, фантазия, фикция, попытка превратить наш мир — в что-то логичное, правильное, восстановить справедливость, которой на самом деле нет. Может быть, когда-нибудь в будущем люди смогут все это технически осуществить, тогда они сами построят и ад, и рай, и чистилище. А картины Босха — используют как описание проекта. Или как чертежи. Посмотри, рай тут тоже есть. На средней части триптиха. Но это не поповский рай, где все весь день поют и славят Господа, а народный, животный, ягодный, волшебный. Возможно, когда Босх писал эту картину, он втайне надеялся, что кто-то когда-то воплотит его мечту в жизнь...

Падая в адскую пропасть, я вспоминал об этом разговоре с отцом. И страстно желал, чтобы судьи, прежде чем окончательно загнать меня в царство ужаса, хотя бы выслушали мои показания...

Мелькнула мысль: А что, если этот пансионат — и есть одна из попыток самим построить что-то вроде Чистилища. Убежище для людей середины. Не слишком виновных. Но и не безгрешных. Обычных. Для таких, как я.

А затем...

Падение мое как-то само собой остановилось.

Какое-то время еще я парил, пытаюсь нащупать опору для ног.

Испытание воздухом продолжалось не долго, а испытание огнем так и не началось.

Я нашел ногами опору, но не мог понять, где я, перед глазами клубился подозрительный туман... Присел.

Не сразу сообразил, что сижу по-турецки в зале с мраморной статуей и зачем-то кусаю себе пальцы. И лижу кровь.

Встал. Поискал выход из зала. Нашел.

И вот... я снова шагаю по полутемному коридору... и скоро, совсем скоро поднимаюсь по лестнице на первый этаж. Ищу туалетную комнату. Привожу себя в порядок. Сажусь в кресло. И блаженно закрываю глаза.

Силы постепенно возвратились ко мне, а несносный санитар, врач в резиновом фартуке и ужасный священник на роликовых коньках постепенно выветрились из памяти. Как дым из помещения, в котором наконец потушили огонь и открыли окна.

И я решил поиграть в настольный теннис.

В зале, где располагались шесть столов для пинг-понга народу было не много. Подошел к одному из них. На нем играли две девушки-блондинки, похожие на идеальных красоток, предназначенных для создания новой человеческой ра-

сы, из кинофильма «Лунный странник». Вели себя красотки, впрочем, не высокомерно, «Оставь надежду навсегда» на их милых лобиках написано не было.

Одеты они были в коротенькие шорты с манящими треугольными складочками посередине и легкие маечки, не скрывающие абрис их маленьких грудей и сморщенные розовые сосочки.

— Можно мне тут тоже поиграть? С одной из вас.

— Конечно. Подождите пока игра закончится. Играть будете с победительницей.

— Прекрасно. Хотите, буду у вас судьей?

— Не обязательно.

Мы познакомились. Оказалось, девушки — подружки. Бывшие одноклассницы. Ту, которая была чуточку полнее и улыбчивее, звали Лаура, а другую, слегка застенчивую и томную — Эстела.

Девушки были старожилами пансионата, жили тут уже больше трех месяцев.

— Ну и как, нравится вам тут?

Ответила мне Лаура, а Эстела только слегка покраснела. Видимо я, не желая того, своим банальным вопросом задел ее за живое. Она обвила прекрасными руками свои породистые узкие голени, как бы пряча как можно дальше и глубже от меня свое причинное место... молчала и то и дело грациозно поправляла короткие золотые кудри.

— Тут прекрасно. Но, чтобы понять это, надо тут пожить. Просто пожить. Без планов, без претензий, без эйфорических ожиданий. Поиграть в пинг-понг, поплавать в бассейне, потанцевать, посмотреть на Сатурн в телескоп на крыше...

— Сатурн — это здорово. Меня сегодня, прямо после приезда туда отправили. В лабиринт. На свидание с Минотавром.

— Обычное дело. Многие тащат сюда с собой снежок или гашиш. Так их отучают.

— Меня тоже как бы отучили. Заставили пережить... даже в морге продержали недолго. У меня был с собой только один пакетик. Больше все равно нет. Придется отвыкать...

— Ну и хорошо. А радостей тут предостаточно и без кокаина. Посмотрите на нас. Неужели не хотите приударить за мной или Эстелой? Мы слаще этого глупого порошка, уверяю вас.

После этих слов Лауры Эстела покраснела еще сильнее. И осуждающе посмотрела на подругу. А Лаура, решив видимо пошалить, на секунду задрала свою маечку. Тряхнула грудками и кокетливо посмотрела мне в глаза.

В синеве ее глаз было что-то от кристаллического льда. Видел с корабля глетчер на Аляске.

Я смутился, но виду не подал. Никто мне никогда так откровенно себя не предлагал. Позже я догадался, что слова милой Лауры вовсе не были предложением. И предназначались не мне.

— А вы... обе... тоже побывали в лабиринте?

— Ну да. Только это личное. Расскажу про себя, если станем друзьями. А Эстела, сами видите, у нас молчунья. Вышла оттуда вся мокрая от слез, но мне так до сих пор ничего не рассказала.

Лаура метнула в сторону подруги ревнивый взгляд. Но тут же отвела глаза. Эстела пожала плечами.

— Кстати, а как ваш нос, прошел? Это все наш Матео. Подает сильно, но часто — в публику. Некоторые думают, он это специально делает. На него уже жаловались.

— Придется мне его застрелить. Нос теперь чешется.

— Ладно уж, пощадите нашего капитана. Он еще пригодится.

— Если вы настаиваете... От кого вы слышали? Про нос...

— Не важно. Тут у нас новостей немного. Поделиться нечем. Нет ни радио, ни телевидения. Интернет запрещен. Потому что дирекция считает, что всемирная сеть стала се-

тью, в которую негативные силы поймали человечество. И сделали его от нее зависимым. Что-то в этом конечно есть. Нам с Эстелой поначалу было трудно без смартфонов. Отвыкли жить самостоятельно. Думать. Фантазировать. Мечтать. Но сейчас все это потихоньку возвращается.

— Может быть расскажете мне поподробнее?

— Боже мой, про что?

— Про пансионат.

— А что бы вы хотели узнать?

— Вообще-то все. Я ведь чайник, да еще и с разбитым носом.

— Вы кокетничаете. Это тут приветствуется. Расскажу, только хаотично, я иначе не умею.

— Восхитительно! Начинайте.

Вот, что Лаура мне рассказала.

Девиз пансионата — Терпимость и Доброжелательство.

Отдыхают тут молодые люди от 18 до 22 лет. Около трехсот человек.

Отдыхающие — после заполнения анкет и подписи обязательств, регистрации и обыска на входе — практически не видят взрослых. Так все устроено. Молодые среди молодых.

Обратиться в дирекцию с просьбой или жалобой можно только письменно. Для этого рядом с входом в концертный зал висит особый ящик. Бумагу и карандаш можно взять в библиотеке.

Едят обитатели пансионата — в столовой самообслуживания. Тушёные овощи, рыбные блюда, крабы, креветки, хлеб, рис, супы, сыры, масло, творог, йогурт и фрукты. Мяса и сладостей нет. Каждый берет, что хочет и сколько хочет. Напитки — соки, минеральные воды, чай и какао.

Живут все — в отдельных комнатах с туалетом и душем, спят на узких деревянных кроватях. Раз в неделю находят в стенных шкафах выстиранное и отглаженное постельное белье.

Ходить в гости друг к другу не запрещается.

Алкоголь, сигареты, наркотики, а также все, без исключения индивидуальные электронные приборы строго запрещены.

Служба безопасности внимательно наблюдает за происходящим в пансионате. Пресекает любые формы травли или насилия.

Согрешивших — предупреждают по внутренней связи и предлагают пройтись по подземному лабиринту. После третьего нарушения — нарушителя из пансионата выдворяют. Без грубости или злорадства. Скорее, с сожалением.

Пансионат располагается в длинном и широком двухэтажном здании.

Второй этаж занимают спальни и столовая.

На первом этаже — спортзалы. Бассейн. Сауна. Библиотека. Концертный зал. Два кинотеатра. Медкабинет. Дискотека.

Кроме того, на первом этаже имеются специальные комнаты, в которых можно уютно устроиться и побеседовать с друзьями или заняться любовью.

Самое важное — из пансионата нельзя уйти. Покинуть пансионат могут только те, у кого кончился срок, указанный в путевке, или те, кого дирекция решила выгнать.

Окна в пансионате не открываются. Стекла — пуленепробиваемые.

Вид из окон каждый день меняется. Например, позавчера можно было наблюдать толпы пестрого народа на нью-йоркской Пятой авеню, вчера — дюны в Сахаре, бедуинов и верблюдов, а завтра возможно за окнами будет — безжизненный марсианский пейзаж с медленно ползущим по нему марсоходом.

Никто из отдыхающих не знает, где пансионат находится.

Покидающего пансионат усыпляют безвредным сонным газом, а будят уже дома.

Для любителей утренних пробежек на первом этаже пансионата есть беговая дорожка длиной в километр.

Надежная вентиляционная система снабжает обитателей пансионата свежим воздухом. Она же позволяет, по желанию дирекции, всех усыпить. По слухам — для проведения каких-то зловещих экспериментов, в которых будто бы принимают участие инопланетяне. Проговорив это, Лаура не выдержала и прыснула. Подчеркнула, что все подобные слухи относятся к категории «городских легенд».

— На первый раз достаточно.

— А что, есть еще что-нибудь? Жуткое или пикантное?

— Жуткое и пикантное? Ээээ... вы что, Антонио, поклонник порно-хоррора?

— А что это такое? Нет, что вы. Я обыкновенный человек. Скучный до отчаяния. Хотя рядом с вами...

— Рядом с нами у вас вырастают крылья, и вы чувствуете себя Джеймсом Бондом. Не раз уже слышала.

— Я же говорю, обыкновенный...

— А кто вас научил так хорошо в пинг-понг играть?

— Спасибо, что тему сменили. Как это ни невероятно, мой учитель математики в гимназии, Мануэль К, единственный нормальный среди наших учителей. Мы играли с ним на переменах. Он говорил, что у меня есть талант. Научил делать подрезку. И закручивать топ-спин. Но талант мой как-то сам собой рассосался. Последний раз брал ракетку в руки года три назад.

— Что так?

— Мануэля убили в уличной драке в Мадриде. Прямо на площади Солнца. У конной статуи. Что они не поделили... Отличный был учитель. И игрок превосходный.

— Сочувствую. В наши времена подобная смерть — не редкость. У меня был кузен Бенито... астенический тип, не хороший, не плохой. Писал стихи, малевал, играл в студенческом театре в университете Саламанки. Так вот... представьте себе, он утонул на побережье во время Большой Фиесты. А когда тело вытащили, судебный врач обнаружил, что его

убили, а потом бросили в воду. Его зарезали навахой. Средневековые какое-то. Вроде бы соперник...

Мы болтали еще час. Эстела почти не участвовала в разговоре. Иногда вставляла два-три слова. Потом мы разошлись. Договорились встретиться в десять вечера в комнате «для дружеского общения».

* * *

Девушки пришли почти одновременно со мной. Вместо шорт и маек на них были воздушные короткие платьица едва прикрывающие трусики. На Эстеле — голубое, на Лауре — розовое.

Эстела сразу заявила, что устала, просит ее извинить и оставить в покое. Забралась с ногами на роскошный кожаный диван, завернулась в плед и заснула.

Лаура и я сидели на двух рядом стоящих креслах.

Грандиозный электрокамин и классические натюрморты на стенах создавали иллюзию уюта и защищенности.

Иногда Лаура гладила меня по голове и по плечам. Она явно наслаждалась возможностью легкого, не отягченного ревностью, необходимостью решать совместные проблемы и прочими обычными препятствиями, разговора. Видимо она любила поболтать... и пофлиртовать. Но глаза ее оставались холодными как лед.

Разумеется, она мне нравилась. Меня тянуло к ней. Но у меня не было и в мыслях куртуазно признаваться ей в своей склонности или кидаться на нее со страстью тигра. Я тоже наслаждался редкой — для такого нелюдима и бобыля как я — возможностью поговорить наедине с милой доброжелательной сверстницей. Не имеющей, как мне тогда казалось — никакого особого интереса к моей особе.

Лаура рассказала мне о счастливом детстве в симпатичном курортном городке недалеко от Барселоны. Не скрыла, что лесбиянка, «но не совсем и не навсегда». Рассказала о том, как долго терпеть не могла Эстелу, эту «за-

нудную, фригидную зубрилу и молчунью», а потом вдруг втюрилась, «растаяла и прозрела». И обрела в ней верного интимного друга. Повела мне о том, как потеряла из-за Эстелы любовь и уважение родителей, о том, как ее «чуть не убил» в приступе ярости влюбленный в нее одноклассник. Одноклассник этот позже хотел покончить жизнь самоубийством, но не покончил... и провел полгода в нашем пансионате.

— Он, слава Богу, уехал домой до нашего приезда, и вероятно уже учится в Технической школе на юге Германии. Он всегда мечтал об этом. Учиться и играть в футбол в университетской сборной.

— О чем он еще мечтал?

— Стать известным архитектором. Работать по четырнадцать часов в сутки. Разбогатеть. А дома, чтобы его ждала жена с двумя очаровательными детьми. В идеально убранной вилле на берегу Боденского или Женевского озер. А в саду обязательно должны расти роскошные чайные розы. Между мраморных статуй и коринфских колонн. И дорожки должны быть посыпаны розовым песком. И чтобы дети и жена давали в субботние вечера домашние концерты. Играли бы струнные трио Боккерини...

— Не так уж плохо. Будем надеяться на то, что он найдет в Мюнхене или Штутгарте привлекательную музыкальную немочку, подходящую для этой роли.

— Я для всего этого явно не подхожу. Слишком строптивая. И медведь на ухо наступил.

— Из-за чего вас сюда послали?

— Никто меня сюда не посылал. Я сама себя сюда послала. Мои родители уверены, что я работаю на экологической станции в Патагонии.

— А ваши родители знают, что Эстела с вами?

— Какой вы недогадливый. Конечно нет. Они надеются на то, что я встречу на жизненном пути и влюблюсь в симпатичного спортивного самца из обеспеченной семьи, будущего менеджера интернационального концерна или министра.

Кстати, Эстела из очень состоятельной семьи, издавна владеющей медными рудниками в Аргентине. Живет в поместье километрах в тридцати от моего городка. Кажется, ее покойный дедушка — родственник Каудильо. Чуть ли не кузен. Ее карманных денег хватило на то, чтобы оплатить путевки для нас обеих в пансионат на год. Каждые две недели я посылаю родителям открытки с непонятым почтовым штемпелем и без обратного адреса. Дирекция пансионата понимает проблему и всячески содействует. И будет это и дальше делать, если я буду вести себя хорошо.

— Чудеса!

— Иногда случаются.

— Вы упомянули о «городских легендах». А что тут говорят о лабиринте? Таинственной места я в своей жизни не видел. Волшебство какое-то. Черная магия.

— Скорее белая. О лабиринте тут говорить не принято. Вроде как о веревке в доме повешенного.

— Может все-таки что-то расскажете? Клянусь, я ничего никогда никому не скажу.

— Ну вот, он уже клянется. Меня мама учила, клятвам мужчин не верить.

— А меня мама учила не верить женским отказам.

— Ээээ... А ты не такой болван, каким мне сначала показался.

— А ты еще обаятельнее и красивее, чем показалась мне за пинг-понговым столом.

— Лестью можно многого добиться, Антонио.

— Особенно, если это и не лесть вовсе.

Лаура поблагодарила меня неожиданно теплым взглядом. Обвила рукой мою голову и одарила сухим, но нежным поцелуем в губы. Я обнял ее, но она мягко отстранилась.

— Ладно, ладно, уговорил. Так что ты на самом деле хочешь узнать про лабиринт? Про свой опыт я рассказывать не буду.

— Ты общительная и сексапильная. Эти самые спортивные самцы наверняка рассказывали тебе о лабиринте. До то-

го, как поняли своими бычьими головами, что вы с Эстелой — парочка. Готов спорить на пятьсот головок швейцарского сыра.

— Тут ты попал в десятку. Месяца два назад здесь еще отдыхал некий Диего. Красивый парень из Каракаса. Огненный брюнет с страстными черными глазами. И походкой барса. Похож немного на Бандерас. Я немного с ним покетничала, за что Эстела укусила меня в левую грудь и чуть не выцарапала мне глаза. Шрам виден до сих пор. Показать?

— Покажи.

Лаура, не жеманничая, показала. Да, следы зубов Эстелы невозможно было не заметить. Я тихонько тронул их губами и кончиком носа, и Лаура тут же запахла свое воздушное платье. Так, как будто боялась, что ее подружка проснется и укусит ей и другую грудь.

Спящая Эстела неожиданно открыла глаза и пробормотала: Я все видела. Прощаю и тебя и Антонио. Антонио, не поддавайся на ее чары, она превратит тебя в раба и будет ездить на тебе верхом по лабиринту.

Это была кажется самая длинная фраза, которую я слышал из уст прекрасной Эстелы.

— Может быть я только об этом и мечтаю.

Никто на мои слова не отреагировал.

Лаура продолжила.

— Да, его отец... забыла... он был в окружении покойного Уго Чавеса. Наверное, левый коррупционер. Или мафиози. Парень связался с очень плохой компанией, семья решила удалить его на время из Каракаса. И послала в пансионат. Так вот этот самый Диего Бандерас рассказал мне заплетающимся от волнения языком о том, что он испытал в лабиринте. Могу тебе пересказать. Хотя и не исключаю, что половина — вранье. Диего собирался стать писателем. То есть — патологическим вруном. И да, я конечно кое-что уже забыла.

— Ты тоже хочешь стать писателем?

— Это не важно, важно, захочет ли какой-нибудь писатель стать мной. Пусть и захудалый.

— Разве мы не договаривались, не слишком умничать?

— Ты меня с кем-то перепутал, тронко.

— Я весь внимание, дорогая сеньорита Лаура.

— Ты притащил в оздоровительный пансионат белый порошок. А Диего умудрился так спрятать свой мобильный телефон, что его не нашли при обыске. Куда он его засунул? Партизан! Че Гевара. А в своей комнате он тут же разлегся на кровати и начал названивать своей оставшейся в Каракасе подружке. Сигнал не прошел. Но его попытку засекала наша служба безопасности. Ему позвонили — но не на мобильник, и попросили спуститься в подвал и пройти в лабиринт через Золотые ворота. И он спустился. И прошел. Нашел меч и, как мы все, зашагал по полутемному коридору. Не боясь встретить ни Минотавра, ни самого дьявола. Типичный мачо! Шел, шел и вдруг почувствовал, что в коридоре стало холодно. Он не успел удивиться... услышал, что кто-то тихим голосом зовет его по имени. Диего! Диего! Оглянулся и увидел позади себя... свою покойную, горячо любимую мать. Она скользила по воздуху и протягивала в нему свои тонкие полупрозрачные руки. Диего раскрыл объятия... но призрак... исчез так же внезапно, как и появился. Вместо него в коридоре изумленный Диего заметил детскую кроватку. В ней лежал... весь в крови... четырехмесячный эмбрион, выкидыш, сын... он трясся от холода и протягивал к Диего крохотные алебастровые ручки. Пораженный Диего хотел взять его на руки, согреть своим телом, но выкидыш на его глазах превратился в маленький скрюченный скелетик... А затем исчез вместе с кроваткой. Диего кое-как доплелся до зала. А там... там не было статуи Минотавра. Зато там стоял огромный открытый железный ящик. Ящик плохо пах. Из него доносились стоны и проклятья. Диего подошел к стенке ящика, встал на цыпочки и осторожно заглянул внутрь. То, что он там увидел, будет преследовать его до конца жизни. В ящике валялись, ползали и

лазили друг через друга голые люди с отрубленными руками и ногами. Текла кровь. Раненые кричали, некоторые умоляли о помощи, другие проклинали или кусали соседей. Откусывали куски живой плоти. Это были солдаты с последней войны...

— Уу, как жутко.

— Продолжать, или достаточно?

— Продолжай. Я люблю слушать страшные сказки на ночь.

— Даже такие?

— У сказок обычно хороший конец.

— Ну что же, мучачо, ты сам захотел. Продолжу дозволенные речи.

Неожиданно спящая Эстела опять подала голос.

— Не верь ей, она все сама придумывает. Ловко комбинирует увиденные в хоррор-фильмах сцены.

— Хочешь сама продолжить?

— Нет, я буду дальше спать и видеть сон с участием Грейс Келли.

— Кэри Грант... Лазурный берег... Хичкок?

— Тьфу на тебя, не мешай спать.

— Главное, не садись за руль! Осторожнее на поворотах!

— Полегче! Закрой глаза, тебя Келли ждет!

— Ты будешь продолжать?

— Я должна собраться с мыслями. Поцелуй меня.

— А как же Эстела и ее острые зубки?

— Перетерпит.

— И это услышала. Поцеловать Лауру разрешаю. Но затем поцелуй и меня.

Расцеловал обеих. Сухо, по-братски. Но Эстела неожиданно проявила инициативу и всунула мне в рот свой влажный подвижный язычок. Откинула в сторону плед, притянула меня к себе и обхватила ногами. Штаны с меня стянула Лаура. Когда я в исступлении молотил Эстелу, она умело ласкала меня сзади и помогла не кончить сразу. А затем отдалась мне сама.

Я ничего не понимал, и понимать не хотел. Никогда в жизни не был так счастлив. Несмотря на то, что Лаура и Эстела принялись после прелюдии со мной страстно ласкать друг друга.

Темные птицы под потолком продолжали летать.

Но криков о помощи я больше не слышал.

На следующий день, после завтрака мы играли в пинг-понг. Девушки играли вдвоем против меня. Я старался им подыгрывать.

Затем мы плавали в бассейне.

Обедали.

После обеда разошлись, чтобы спокойно поспать.

А после ужина опять встретились в комнате для общения.

На сей раз время даром терять не стали.

История Исабель

— Трудно себе это представить, господин следователь, но в лабиринте я провела несколько лет. Ну... или мне показалось, что я провела там несколько лет. Ведь когда я вышла из лабиринта и посмотрела на часы, а потом сверилась с календарем, оказалось, что пробыла там только один час.

Что это — наваждение, галлюцинация, гипноз... или вся наша жизнь не больше чем чья-то галлюцинация, намотанная как длинная нитка на стрелу времени? На все эти вопросы у меня ответов нет.

— Продолжайте, прошу вас.

— Я, как и все другие провинившиеся отдыхающие, вышла через Золотые ворота. Для многих других это была простая дверь, а для меня — откуда что берется — это были настоящие ворота из золота. Или из позолоченной меди. Размером с ворота Кармен. Но выглядели они фантастически. Сияли и манили удивительными формами и рельефами. И очутилась я не в душном подземном коридоре, а на свежем

воздухе, в небогатом, крайне запущенном поместье, располагавшемся в долине между горными хребтами. На берегу озера. С заросшим колючками полем для выгона лошадей, фруктовыми садами с одичавшими деревьями, заброшенным огородом, маленьким цветником без цветов, с теплицами, в которых ничего не росло. И замком, построенном еще в тринадцатом веке тамплиерами. В период их наивысшего успеха. Задолго до ужасного конца. Замок этот с укрывшимися в нем рыцарями взяли тогда штурмом войска арагонского короля. Его разрушали и снова строили много веков. В результате от него остались только руины крепостных стен, несколько круглых башен, конюшня, лачуги для челяди, бесформенное двухэтажное здание с двенадцатью комнатами для хозяев и пристроенная к нему капелла. Все это отчаянно нуждалось в ремонте.

От ворот к замку вела роскошная платановая аллея.

На ветках платанов сидели большие черные птицы и молча смотрели на меня.

Все в этом мире представлялось мне поначалу нереальным, призрачным. Я шла по алле, щипала себя за руку, держала за ухо, протирала глаза... ничего не помогало. Наваждение не проходило. Наоборот, эта новая, невозможная реальность становилась все гуще, все тяжелее, пахучее и красочнее. Принимала меня в себя, как принимает в себя купальщика океан. Равнодушный к тому, жив человек или уже умер. Меряющий время не минутами и часами, а геологическими эпохами.

У входа в замок меня встретили три незнакомые мне женщины в старомодных цветастых одеждах. Они сердечно поприветствовали меня, называя новой госпожой, и тут же отвели в мою будущую спальню. С огромными, изъезвленными ржавчиной зеркалами в барочных рамах, ветхими комодами и ужасной скрипучей кроватью с балдахином, пахнущей клопами. Дали мне время спокойно осмотреться. Затем они провели меня в просторную ванную. Раздели и посадили в горячую ванну с фиалковой водой, вымыли,

растерли душистым маслом, сделали мне маникюр и педикюр, причесали и облачили в подвенечное платье. Ноги обули в шелковые туфельки. Украсили голову короной с отшлифованными синими и зелеными стеклышками вместо сапфиров и изумрудов. И привели меня в капеллу, в которой нас уже ждали. Гости, священник и жених. Жених, понимаете!

Некоторые витражи в окнах капеллы отсутствовали, под готическими сводами свободно летали голуби, главное распятие покосилось...

Гости были похожи на уродливых персонажей с гравюр Хогарта.

А священник — походил на состарившегося Франкенштейна.

Нас обвенчали.

Во время этой процедуры ожесточенно щипала себя, даже молилась, в надежде на то, что морок развеется. Нет, не развеялся.

В суете и суматохе даже не разглядела моего новоиспеченного мужа.

И вот... мы сидим за свадебным столом в большом зале замка. На стенах — дымят факелы. В помутневших от времени хрустальных бокалах шипит игристо-красное вино. Гости, сосредоточенно чавкая, едят салаты, телячьи отбивные и запеканку из гусяной печени с луком и чесноком.

Представьте себе, господин следователь, я тоже все это ела! Хотя и твердо знала, что и гости, и запеканка, и сам замок — на самом деле не существуют.

И жила потом в этом замке, вокруг которого бродили гуси и куры, два или три года! Жила полноценной жизнью. Доила коз. Слушала крик петуха на рассвете и уханье филина по ночам. Простужалась, выздоравливала. Заводила напольные часы с деревянной мадонной за стеклом. Спала с мужем. Бранилась с нерадивыми служанками.

Забыла и о пансионате, и о лабиринте. Забыла свое прошлое. Забыла его.

— Его? Многозначительно. Прежде чем вы расскажете о вашем муже и о жизни в замке, сделайте одолжение, расскажите о вашем прошлом, о том, почему вы приехали в пансионат. Ведь сюда просто так вроде бы не приезжали. Сюда или ссылали родители, или барышни и юноши сами в пансионате от кого-то скрывались.

— Только, ради бога, не ждите каких-нибудь сенсаций. Я не внебрачная дочь Роберта Редфорда, не принадлежу к королевской семье, никого не убила и не соблазнила, я не проститутка и не наркоманка, отец и братья меня не насильовали в детстве, я не принадлежу к секте сатанистов, не целую черного козла в задницу и не пью кровь невинных младенцев.

— А жаль, это упростило бы задачу. Так как же вы оказались в пансионате? Провалили выпускные экзамены?

— Нет, нет, экзамены я сдала неплохо. И год отучилась на факультете философии и литературы в Сарагосе.

— Вы меня заинтриговали. Вы идеальная будущая жена для обеспеченного мужа. Если конечно не начнете с голой грудью митинговать за равноправие женщин на улицах Мадрида.

— Не хочу темнить. Я по уши влюбилась в профессора нашего факультета. Он преподает историю литературы. Специалист по Джойсу. А он на тридцать восемь лет меня старше. Женат. Имеет взрослых детей от двух браков и пятерых внуков. Сдуру все рассказала матери. Мать не стала меня ни ругать, ни успокаивать... Взяла у состоятельных родных в долг деньги и отправила меня сюда на девять месяцев. В надежде на то, что мое чувство пройдет и все само собой успокоится. Ослушаться матери я не смогла. Потому что люблю ее. Она воспитала меня с двумя братьями одна...

— Таак. Это уже кое-что. Несчастливая любовь. И все такое...

— В том-то и дело, наша любовь не была такой уж несчастной. Как только он увидел, как я на него смотрю, тотчас все понял. Снял крохотную квартирку недалеко от кампуса. С двупальной кроватью, большой ванной и кухонькой. Мы

встречались там почти каждый день. Он здоровый, худой, спортивный человек. Несмотря на возраст. Любил меня до потери сознания. Мы оба были счастливы. То есть он был счастлив, а я бешено ревновала его к жене, детям, другим студенткам, даже к Джойсу. Ему это вначале льстило, потом надоело. Я вела себя как дура. Он охладел ко мне. Но не совсем. Использовал меня как живую куклу для регулярных половых сношений. Жена его часто болела. Я боролась за него, плакала, но изменить ничего не смогла. Отчаялась. И все рассказала матери. Так я оказалась в пансионате.

— За что же вас в лабиринт-то послали?

— Могли бы сами догадаться. Один особо одаренный студент-информатик, отправленный сюда родителями-консерваторами за гомосексуальные связи, так переделал мобильный телефон, нелегально провезенный в пансионат другим одаренным студентом, что его звонки не замечала всемогущая служба безопасности. Оба гения решили сделать на этом небольшой гешефт. Я случайно узнала — и за пятьдесят евро позвонила своему любимому человеку. У меня были только две минуты. А он и говорить со мной не стал, сказал, что занят и позже перезвонит. Через несколько дней выяснилось, что служба безопасности все-таки засекла мой звонок. И меня вежливо послали в лабиринт.

— Понятно. Ну что же, давайте продолжим. Вы кончили на гусиной печенке и отбивных.

— Да-да. От этой чертовой запеканки у меня самой печень разболелась. В первую брачную ночь.

— А когда вы по-настоящему рассмотрели своего мужа?

— За пиршественным столом мы сидели рядом, и я могла рассмотреть только его руки. Мускулистые волосатые руки сильного мужчины. Могла слышать его голос — низкий, тяжелый, скрипучий. Иногда он целовал меня в голое плечо и колелся бородой. Значит — бородатый.

— А лицо?

— Лицо его я разглядела позже. Страшное лицо. Римский нос. Яростные глаза. Взлохмаченные черные волосы. И

борода от ушей до пупка. Черная с проседью, отливающей в синеву. И невероятных размеров усы. Тоже синеватые.

— Приехали. Синяя борода!

— Именно. Я тоже так подумала. И опять себя ущипнула.

— Как-то неловко расспрашивать вас о первой брачной ночи.

— Если неловко, то не расспрашивайте.

— Ладно. Расскажите то, что считаете нужным. То, что может пролить хоть какой-то свет на ваше приключение в лабиринте и на то, что происходило эти годы в этом, так называемом, пансионате. Я уверен, что перед тем, как отправится в лабиринт, вы были — разумеется без вашего ведома — наркотизированы каким-то психотропным веществом. Галлюциногеном. Возможно вам незаметно подмешали что-то в минеральную воду, или в еду. Для профессионалов это не трудно. Зачем они это с вами сделали, мы выясним. Прошу вас, продолжайте и не стесняйтесь. То, что вам будет неприятно, мы с вами вместе из ваших показаний удалим. Или заменим общими фразами. Но я должен узнать правду. Какой бы она ни была ужасной или стыдной. В интересах следствия. Тысячи людей были обмануты и убиты! Никто не вернулся из пансионата живым. Тела кремировались, а родственникам говорили, что их отпрыск поехал в археологическую экспедицию в Бенин. Так что каждое ваше слово может оказаться решающим в разгадке тайны.

— Прежде чем я расскажу о первой брачной ночи, я должна упомянуть одно важное обстоятельство.

— Я весь внимание.

— Еще до венчания и праздничной трапезы — я догадалась поговору служанок, по их одежде... что я попала в другую эпоху. В начало девятнадцатого века. Они говорили на старом языке. Многие мои слова они не понимали. Не имели понятия о автомобилях, электричестве, радио, телевидении. Как я позже выяснила, и представить себе не могли телефон, компьютер, поезд, спутник, обычную лампочку... Были убеждены, что Солнце, звезды и планеты вращаются вокруг Земли.

— Может быть, это было хорошо подготовленной инсценировкой, обдуманном обманом? Для того, чтобы поразить ваше воображение, сбить с толку... чтобы было легче вами управлять?

— Возможно. Но звучало все и выглядело — естественно. К тому же дальнейшая моя жизнь в замке — подтвердила мою догадку. В библиотеке на полках стояли только книги восемнадцатого века. И несколько книг самого начала века девятнадцатого. На стенах висели старинные почерневшие портреты. Мужчины в жабо. Никакого импрессионизма. Кухня без газа и электричества, разумеется без холодильника, микроволновки, миксера. Дровяные печи. Гигиена, мораль, разговоры — все допотопное. Белье служанки стирали вручную в крохотной речушке, впадающей в озеро. Мыло варили сами.

По озеру плавали несколько маленьких парусных лодок. Это были рыбаки. Они приносили в замок свежую рыбу и по долгу торговались и переругивались с служанками. Я не понимала их речь.

— Киношники, если у них достаточно средств, тоже способны создать подобную мнимую реальность.

— Верно, верно, но эта реальность была не мнимой, а подлинной. Обитатели замка имели только смутное понятие о Французской Революции. Считали, что Наполеон — Антихрист. Об этом им рассказал старый священник, раз в два месяца заезжающий в поместье, чтобы поскорее отслужить укороченную мессу в капелле, получить свою серебряную монетку и десяток яиц и ускакать на своей тощей лошаденке. Боялись ведьм и колдунов. Боялись инквизицию. О грядущей войне с Францией и не догадывались.

— Я все это не оспариваю, но моя работа вынуждает меня скептически относиться к чудесам, и во всем стараться разглядеть человеческую волю, поступки реальных людей и их последствия. Простите, не обращайтесь на меня внимание.

— Идиоткой мне тоже не хочется выглядеть.

— Продолжайте, сеньорита Исабель. Идиоткой я вас не считаю. И все, что вы мне говорите — для меня крайне важно.

— Итак... первая брачная ночь. Вынуждена вас разочаровать. Это конечно было нечто, но не то, что вы вероятно себе представили. Те же служанки надели на меня длинную полотняную белую рубашку. С прорезью... сами понимаете, где... И оставили меня в моей спальне. Ждала я, наверное, час или дольше. Вдруг в комнату, освещенную только лунным светом, вошел мой муж. Он был похож на ошалевшее привидение. На нем тоже была длинная, до пят, рубашка из белого полотна. И тоже с прорезью. А голова его, вся, как мне показалось, состояла из одной бороды, разросшейся во все стороны. И вверх тоже. Я видела только его сияющие глаза.

Он взял меня за руку... Мы легли. Муж энергично раздвинул мне бедра и лег на меня. И, не сказав ни слова, проник, туда, куда хотел. Начал делать фрикции. Мне стало больно. Я пыталась оттолкнуть его. Безуспешно. Муж качал своей страшной головой и бормотал что-то, мне непонятное. Как будто творил заклинания. Через десять минут муж зарычал как дикий зверь и кончил. После этого, так и не сказав мне ни одного ласкового слова, даже не поцеловав, слез с меня, как наездник с лошади, и ушел к себе в спальню, все еще что-то бормоча. Неожиданно громко и саркастически рассмеялся. И хлопнул дверью так, что с зеркала посыпалась пыль.

А я подмылась теплой водой из фаянсового кувшина. Служанка принесла цинковый тазик.

Во время совокупления мне — и тогда и после — казалось, что за нами наблюдают. И не один и не два человека, а сотни, тысячи людей. Наблюдают, громко дышат и хихикают. Я даже слышала их громкое дыхание, их гнусное хихикание. Подумала, служанки за нами подглядывают. Но это были не они. Слышала и еще кое-что, о чем стесняюсь и упомянуть. Догадайтесь сами.

Потекли дни, похожие один на другой, как это пишут школьники в сочинениях, как две капли воды. В какой-то момент я потеряла счет неделям и месяцам.

Иногда воспоминания, как летающие острова, проплыли мимо меня. И я видела лица матери и братьев. Они звали меня. И мне остро хотелось домой.

— А вы не пробовали сбежать?

— Эта мысль приходила мне в голову. Но в конце платановой аллеи — я много раз проверяла — не было никаких Золотых ворот, а были полуразвалившиеся чугунные ворота. Они были не заперты. Но уйти мне было некуда. Вокруг — только горы. И озеро. И денег у меня не было. Муж хранил деньги и ценные вещи в огромном сундуке, а ключ от него всегда носил на груди.

Целый день я возилась в цветнике, каталась на лошади, гладела на горы и читала старые книги. Классику. Сервантеса, Кальдерона, Лопе де Вега...

А мой муж... обычно охотился в окрестных горах. В любую погоду. Один, с единственной собакой. В остальное время — сидел в библиотеке и читал одну и ту же книгу — Библию на латыни. Водил пальцем по строчкам. И бормотал. Щипал свою бороду. Со мной он не разговаривал. А если я пыталась завести с ним беседу — рычал и замахивался на меня тем, что под руку попадалось...

Разумеется, я смутно помнила сказку Шарля Пьеро. И подсознательно ждала отъезда мужа. Чувствовала... что-то произойдет.

И это действительно произошло. Он уехал. А перед тем, как уехать, отдал мне ключи. Их было четырнадцать. Один от входной двери в замок, двенадцать — от двенадцати известных мне комнат.

Я спросила его, от какого помещения четырнадцатый ключ. Тут он повел себя странно. Наклонился ко мне и тихо прошептал на ухо: Слушай внимательно. Играй комедию дальше, иначе и тебе и мне несдобровать. У них нет эмпатии.

А потом добавил своим обычным низким скрипучим голосом: А четырнадцатый ключ — от особой комнаты. Туда нельзя заходить ни тебе, ни служанкам. Если ослушаешься, я сам — ууу-ууу — казню тебя лютой казню.

И ускакал на своем Буцефале.

А я вдруг очнулась от летаргии. Все-все вспомнила и осознала. И чуть в обморок не брякнулась от ужаса.

Потому что галлюцинация продолжалась. Наяву. Я все еще была пленницей непонятно кого или чего, находилась неизвестно где, непонятно в какой эпохе. Я была марионеткой в кукольном театре. Не знала, кто дергает меня за ниточки. И зачем.

— Какой интересный поворот!

— Ну да, поворот интересный. Но что, скажите, я должна была делать? Послать, как в сказке, одну из служанок за помощью к братьям? Куда? В Сарагосу двадцать первого столетия?

— Ну и что же вы сделали?

— Думала, думала, а потом пошла искать тринадцатую комнату в замке.

Не нашла. Стала отодвигать шкафы, заглядывать за ковры и гобелены. Подняла облака пыли, распугала несчастных мышей. Служанки мои, кстати, когда поняли, что я ищу, убежали из замка и заперлись в своих каморках. Так испугались.

Дверь в тринадцатую комнату я нашла в библиотеке. Как раз за теми напольными часами. С мадонной. Только теперь там, за стеклом, вместо мадонны стоял безносый демон с хвостиком и показывал лапой средний палец. С трудом отодвинула часы.

Вставила ключ в замочную скважину. И тут — рука моя с ключом как будто одеревенела. Хочу повернуть ключ, но не могу, хоть убей. Взяла ключ левой рукой — та же история. Не могу повернуть. Что делать?

Вы не поверите, повернула ключ ртом. Зубами. Получилось.

Потянула дверь на себя. Открыла.

За дверью сгустилась какая-то неестественно черная темнота. Как будто там не воздух, а жидкая тушь.

Колени мои тряслись, все тело болело и меня не слушалось. Откуда-то сверху доносилось пение адского хора. Он явно приветствовал меня. На свой лад.

В глубине комнаты неожиданно появились силуэты шести повешенных женщин. Седьмая веревка с петлей предназначалась мне. Видение появлялось и пропадало.

Вытянула вперед руку с горящей свечой. Никакого эффекта. Свет от свечи не разлетался в разные стороны, как ему было положено, а круглился сферой.

— Как такое возможно?

— Спросите у Эйнштейна или у Нильса Бора. Откуда мне знать?

Мной двигало (опять фраза из сочинения) мужество отчаяния. Я решила во что бы то ни стало доиграть свою роль в этой пьесе до конца. Попыталась шагнуть в эту страшную комнату. Не вышло. Не поднялась нога. Ни правая, ни левая.

Я пришла в ярость. Пошла в кухню, выгребла из печи на медный поднос кучу тлеющих углей... И, не входя в чертову комнату, швырнула в нее угли.

Что тут началось, вы и представить не можете, господин следователь! Трудно это описать. Угли залетали по этой черной комнате, как бабочки и стрекозы в жарком летнем саду. А падать и не собирались.

А хор между тем запел что-то еще более тоскливое. Опять появились повешенные женщины. Я разглядела их вывалившиеся языки. Пустая петля манила.

Пришлось прибегнуть к последнему средству. Не торопясь, я расставила в стороны стулья в библиотеке. С огромным трудом сдвинула в сторону стол — так, чтобы освободилось пространство для разбега. Затем, ни секунды не колеблясь, разбежалась и прыгнула в черную комнату.

На сей раз получилось!

И вот теперь... я находилась внутри незнакомого мне помещения. Почему-то не темного, а... тускло освещенного скрытыми от меня источниками света.

Никаких повешенных тут не было.

Все помещение — назвать его комнатой я не могу, потому что его пространство не было прямоугольным, даже не круглым... а пузырчатым — было заполнено неизвестными мне предметами, напоминающими декорации к научно-фантастическим фильмам. Выпуклые и вогнутые стены этого помещения и его круглящийся потолок были явно сделаны из стеклопластика. Они мерцали как глаза кошки в темноте.

До меня потихоньку дошло, что я очевидно покинула замок. Но куда я попала? Назад в лабиринт? Или — в неизвестную мне часть пансионата? На эти вопросы я не могу ответить даже сейчас.

— И не надо, просто доведите свой рассказ до конца, а я приобщу его к материалам дела.

— Хорошо. Я не стала мучить себя размышлениями над предназначением разбросанных вокруг меня загадочных предметов. Заметила только, что они были скорее машинами, чем стульями, шкафами и столами. Некоторые из них неприятно вибрировали. Другие — тошнотворно медленно — меняли свою форму. Иногда предметы сами собой разделялись на части, иногда, наоборот, сливались в новый предмет. Или они были неизвестными науке формами жизни? С другой скоростью времени? На мое присутствие они никак не реагировали. Может, это были игрушки богов?

Сама не знаю, как нашла выход из этого помещения.

Окончательно пришла в себя на свежем воздухе. Вау...

Вокруг меня возвышались те же горы, которые были видны из замка. На месте озера — густой дубовый лес. А на месте поместья и замка — стоял пансионат. Длинное, широкое, двухэтажное здание без окон. На крыше — металлические кубы и много изогнутых толстых труб. Я сразу его узна-

ла, хотя никогда не видела его снаружи. Невдалеке от пансионата располагались несколько ангаров, похожих на разрезанные пополам шары. Из высоких цилиндрических построек доносился гул.

Ко мне подошел сотрудник службы безопасности и вежливо попросил меня закрыть глаза. После чего он положил мне на плечи свои холодные руки.

Через мгновение я оказалась в своей комнате в пансионате. Там все было по-прежнему.

А через два месяца случилась катастрофа, подробности которой вам известны лучше, чем мне. Я чудом осталась в живых. Вот и вся история.

— Видели ли вы когда-либо еще вашего мужа, Синюю Бороду?

— Нет. К тому же уверена, что он всегда носил в замке маску с накладной бородой. Как он на самом деле выглядел, я не знаю. Возможно, он был отдыхающим в пансионате. Как и я. Попал в лабиринт, а затем, через Золотые ворота, в замок. И играл, как умел, свою роль. Кто-то принудил его к этому. И погиб во время катастрофы.

— Все может быть. А что вы думаете о пансионате? Что он такое на самом деле?

— Тут без инопланетян не обойтись. Или без будущего человечества... которое для нас, возможно, еще более чужое и непонятное, чем греи. Не знаю, кто, но кто-то очень технологически развитый, давно освоивший путешествия по времени и прочие штучки, решил развлечься. И построил пансионат для молодых людей начала двадцать первого века. Создал лабиринт для изощренного издевательства над «отдыхающими». Соорудил и то, что вышло из-под контроля и спровоцировало катастрофу. То, страшное место... лабиринт в лабиринте... в котором высшие существа проводили физическую и духовную вивисекцию и садистски убивали людей нашей эпохи. Они долго забавлялись в своем «пансионате». Но, в конце концов, что-то пошло не так.

Мигуэль

Удивительное дело — о пансионате никогда ничего не писали в прессе. Не упоминали пансионат ни на радио, ни на телевидении. Видимо, существовало какое-то неписанное табу на подобную информацию. Или откуда-то была спущена соответствующая директива. На все медиа? Скопом?

Даже уважающие себя блогеры-инфлюенсеры, день и ночь пишущие в мировой паутине о немыслимой чепухе, не упоминали пансионат ни словом, ни полусловом. А от обсуждения этой темы вежливо уходили.

Кто-то высказал предположение, что все они просто боялись. Кого?

И, как водится, чем дольше молчала пресса, тем жарче эту тему обсуждала почтенная публика.

О пансионате постоянно ходили нелепые слухи.

Потому, что никто толком не знал, что это за пансионат такой, и что в нем происходит. Отдохнувших в пансионате и вернувшихся — никто никогда не видел. Не видели, но рассказывали, что... знакомый знакомых, сценарист или продюсер — он, да, точно встречал... на вилле Ди Каприо... своего отдыхавшего в пансионате двоюродного племянника, и тот ему такое порассказал...

Что именно... порассказал?

Знатоки утверждали, что пансионат построили совместно западные и китайские фирмы специально по заказу пятисот богатейших семей планеты для отдыха и оздоровления их отпрысков.

Что он находится где-то в джунглях Индостана, или в труднодоступном районе Новой Гвинеи, или на обратной стороне Луны.

Что отдыхающих туда доставляет специально для этого сконструированный самолет или шатл.

Говорили также, что там регулярно происходят чудеса. Преимущественно негативного характера. У мужчин вырос-

тают бивни и рога. Или миролюбивый, добросердечный человек всего за несколько часов осваивает профессию палача.

Что там за огромные деньги омолаживают стариков и старух. Омоложение происходит якобы после купания в крови невинных младенцев и в женском молоке верных католичек.

Лечат безнадежных больных, выращивая в их организмах пиллюлю бессмертия с помощью современных лазеров и шаманских ритуалов. Жертвуют богам подземного мира сердце черной собаки.

Вызывают духов умерших и вступают с ними в непозволительные связи. Производят на свет гомункулов. И разглагольствуют с ними о смысле жизни.

Превращают идиотов в гениев, пересаживая им мозги нобелевских лауреатов. Трупы лауреатов сжигают в передвижных крематориях.

Что отдыхающие — в туристических и образовательных целях — путешествуют по времени. Активно участвуют в вакханалиях архаической Греции, посещают гладиаторские бои на аренах Древнего Рима и массовые казни еретиков в Испании шестнадцатого века.

Особо заинтересованные индивидуумы утверждали... что обитатели пансионата наслаждаются всеми возможными сексуальными практиками, в том числе и строго запрещенными, и даже невообразимыми. И что руководят ими в этом постыдном деле какие-то гуру, с незапамятных времен живущие в священном городе, расположенном внутри знаменитой горы Кайлас в Тибете. Гуру эти якобы приносят в жертву Шиве молодых мальчиков, за что он посвящает их в неведомые обычным людям тайны сладострастья.

Словом, бог знает, что только ни рассказывали.

Мой дядя, получивший в наследство, как и мой отец, от моего американского деда немалое состояние, называвший себя шутливо «романтиком и эклектиком» уговаривал меня поехать туда на год, «пообщаться с подрастающей элитой

мира и, не спеша, поразмышлять о своем месте во вселенной». Обещал оплатить путевку и убедить «эту старую плаксу, твою мамашу» отпустить меня и благословить на поездку.

— Твой покойный отец, если бы не умер, обязательно послал бы тебя в это элитарное учреждение. После окончания школы тебе необходима пауза. Говорят, там есть загадочный лабиринт, в котором идущему по нему человеку открываются тайны мира... Кроме того, там можно завести нужные знакомства.

На самом деле, как я узнал позже, дяде нужно было тогда во что бы то ни стало выпроводить меня куда-нибудь подальше, чтобы я не мешал ему совершать сделки с акциями отца, которыми он распоряжался до достижения мной двадцати одного года. Надо отдать дяде должное — хотя он и рисковал моим наследством, но после нескольких «досадных промахов», сорвал-таки куш и не только не пустил меня с матерью по миру, но и удвоил наше состояние, купил нам недвижимость с виноградниками в Тоскане и целую флотилию ржавых мексиканских рыболовных траулеров. Траулеры дядя получил вместо денег от какого-то дутого греческого миллиардера. Их правда пришлось вскоре продать по дешёвке — они стали нерентабельными после введенных Комиссией по рыболовству ограничений на ловлю трески и тунца в нашей акватории Тихого океана.

Два хорошо одетых сотрудника службы безопасности пансионата усыпили меня специальным газом прямо в доме матери. После завтрака. В ее присутствии. Я сидел в кресле и допивал свой кофе.

Багровая волна подхватила меня и потащила к голубому пляжу. Мягко опустила на сверкающую гальку и отпрянула. На ее место пришла другая и ласково умыла меня зеленоватой теплой водой. После этого я долго сидел на берегу и считал набегающие волны. Наблюдал за загорающими на пляже девушками в бикини.

Проснулся я уже в пансионате, в комнате номер 399. Те же сотрудники службы безопасности поприветствовали меня, похлопали по плечу, посветили маленьким фонариком в зрачки, предложили выпить холодного чая, обыскали, нашли у меня в заднем кармане и изъяли мой смартфон, дали подписать какие-то бумаги и исчезли.

Я остался в комнате один. Тело ломило, в ушах звенело, ничего не хотелось делать.

Распахнул шторы. На тебе!

Альпийские луга. Озеро синее. Горы в снегу. А в середине хребта — торчит сломанный зуб Маттерхорна. Узнал, потому что с детства бредил горами и альпинизмом, но так и не решился подняться даже на Сан Горгонио.

Решил, что пансионат — в Альпах. Обрадовался. По крутому склону побрели альпинисты с рюкзаками и ледорубами, крюки надежно впились в треснувшую плоть скалы, зашуршали веревки, засверкали темные очки.

Да, я тогда еще не знал, что виды из окна — являются продуктом неумейной фантазии ответственного за специальные эффекты члена совета директоров. А за оконными стеклами установлены большие плазменные экраны. Как на океанских лайнерах, во внутренних каютах.

* * *

Марта бросила на пол свое круглое зеркальце, с которым никогда не расставалась, и убежала, как только услышала крики, донесшиеся до нас из соседнего спортзала, куда через вентиляционную систему засасывало дым. Пако и Рафаэль продолжали корчить из себя конкистадоров. Демонстративно молчали, презрительно посматривая по сторонам. Во что бы то ни стало хотели выиграть пари. Они не двигались с места, пока восковые куклы индейцев не запылали, и огонь не обжог им пятки. А затем удивительно быстро сбросили с себя рыцарские доспехи и ускакали как кенгуру. А я,

как всегда, влип. Попался. Запутался в ремнях, поддерживающих наколенники, упал и чуть не сгорел заживо. В последний момент меня спасли пансионатские пожарники, brave ребята в синих касках. Пожар потушили, испорченные куклы и мебель вынесли из зала. Рабочие тут же начали косметический ремонт.

А меня отвели в мою комнату, посоветовали принять холодный душ и ждать звонка из дирекции. По дороге я расслышал, как один из сотрудников службы безопасности, молодой, тщедушный и белобрысый, прошептал другому, толстому, с лысиной и в летах: Таких идиотов, как эти трое, у нас, кажется, еще не было.

Лысина ответила: С тех самых пор, как проклятый Ко-нимар попытался в нашей столовой отпилить при всех этой красотке Трифине голову самодельной пилой.

Белобрысый откликнулся: Да, помню, кровящи натекло... А нашу прекрасную троицу надо не в лабиринт посылать, а прямо в давилку. Иначе мы тут все сгорим.

Через четверть часа я спустился в подвал. Золотые ворота представились мне порталом готического собора, с Мудрыми и Неразумными девами, Страстями Христовыми, историей Адама и Евы и пожирающей грешников пастью дьявола.

И вот, иду я по лабиринту. Стены его — из подстриженного тиса. Метров пять высотой. Над моей головой — синее сверкающее небо.

Иду без цели, плыву, как «пьяный корабль».

Дохожу до тупика и обнаруживаю в нем... узенький проход. Для кролика?

Не понимая, для чего и почему, встаю на четвереньки и пытаюсь пролезть через проход... куда? Не знаю.

И натыкаюсь носом на квадратную дверь. На двери надпись мелом: Не открывай меня! Пожалеешь.

Пьяный корабль не может думать и понимать, поэтому... бодаю дверь тупой башкой... она открывается, я протаски-

ваюсь вперед, встаю и... оказываюсь в ванной комнате нашей старой квартиры. Квартиры в Гаване, в которой моя семья жила до эмиграции.

Я хорошо знаю, что сейчас произойдет. Но у меня нет сил на сопротивление...

Смотрю на себя в большое запотевшее зеркало. Я стою голый, кудрявый, с мочалкой в руке. Мне никак не больше восьми лет.

В нашей объемной ванне нежится в душистой пене мой давно умерший дедушка, отец моей матери, и громко поет. По профессии он композитор. Длинная его клиновидная борода дергается в ритме песни.

Дед умудряется петь и одновременно курить сигару.

— Ты хорошо намылil мочалку, Мигеле?

— Да, дедушка.

— Тогда приступай!

Дед встает. Неровные куски пены виснут на его теле и противно колеблются.

А я забираюсь на табуретку, иначе не достану, и начинаю тереть мочалкой его волосатую спину. Начинаю с шеи и постепенно спускаюсь.

Дед просит тереть сильнее и стонет от удовольствия.

У деда, несмотря на его семьдесят лет, талия, стройные юношеские бедра и крепкая розовая задница. Большие яйца болтаются в обвисшей мошонке. Раздвоенная головка члена красная как помидор.

— Намыль мочалку еще раз и мой ниже.

Повинуюсь и тру деду зад и бедра.

— Теперь положи мочалку вот сюда, намыль руки и мой руками тут.

Дед показывает рукой на свою заросшую седыми волосами промежность.

Мне не приходит в голову ничего постыдного, я намываю руки и мою ему пах, анус, мошонку, член... деду это явно приятно, и он повторяет: Еще, еще, еще...

Я замечаю, что его член стал толще и длиннее. Не понимаю, почему. Но чувствую, что через мои ладони из него в меня как будто вливается странное возбуждение. Это приносит мне удовольствие. Мой маленький детский пенис крепнет и встает. Дед замечает это, смеется и опять ложится в пену...

— Хочешь погреться?

— Да.

— Садись на меня.

И я сажусь на него. Прямо на его вставший член. Его член чиркает по моему заднепроходному отверстию и яичкам и остается у меня между бедрами. Дед забрасывает меня пеной. С головой. И начинает потихоньку совершать возвратно-поступательные движения. Его член трется о мои бедра. Я вижу в его глазах страсть, его руки крепко держат меня за плечи, его сигара отчаянно дымит.

Мое возбуждение усиливается.

Дед глухо стонет и оргазмирует. Сперму не видно из-за обильной пены.

Я перестаю чувствовать бедрами крепость его члена.

Дед намыливает мочалку, быстро моет меня, мы выходим из ванны.

И вот... я опять иду по тисовому лабиринту.

Да, все произошло так, как происходило почти два года каждое воскресное утро. Смею вас заверить, мой дедушка не был ни педофилом, ни гомосексуалистом. Любил бабушку. Имел несколько очаровательных любовниц. Ко мне относился заботливо. Никогда не повышал голос. Терпеливо учил меня импровизировать на пианино.

В наших банных забавах дед никогда не переходил красную черту. Не брал мой член в руки, не целовал меня, не ласкал. И не просил ласкать его.

Когда мне исполнилось десять, мы уехали в Штаты, а дед остался на Кубе. Он умер, когда мне было пятнадцать лет.

Я шел и думал о том, что же лабиринт еще для меня приготовил. Как вдруг увидел стоящего у меня на пути быка. Бык ронял из пасти пену и рыл землю копытом.

Подумал: Ага, это тот самый Минотавр. Что же мне делать?

На боку у меня висела шпага в ножнах. Залихватски выхватил шпагу. Посмотрел на быка, готовящегося к атаке. И отбросил шпагу в сторону. Бык увидел это, с сожалением посмотрел на меня, и исчез.

А на его месте появился механический мамонт. С крысиной головой. И пастью саблезубого тигра. Оранжевые его глаза горели ненавистью. Такого шпагой не прикончишь. Тут нужно что-то вроде базуки.

И вот, в руках у меня заряженный противотанковый гранатомет. Осталось только навести и нажать на курок.

Но я не сделал этого. Положил базуку на землю. Поднял руки.

Мамонт посмотрел на меня печально и начал уменьшаться в размерах.

Через несколько секунд превратился в мальчишку в шортах и ковбойке. Блондина с голубыми глазами, скошенной челкой и оттопыренными ушами. Мальчик этот дерзко смотрел мне в глаза.

Признаться, я растерялся. Демонический подросток испугал меня больше быка и механического мамонта. Что-то в нем было не от мира сего...

Я не мог оторвать взгляд от его голубых глаз. Пялился, пялился...

Лицо мальчика начало изменяться. Нос вытянулся. Глаза потемнели. Волосы стали черными. Тело выросло.

Передо мной стоял... Адольф Гитлер.

Вообще-то я ожидал от лабиринта чего-то подобного. Но подготовлен к таким чудесам не был.

Гитлер подошел ко мне, поздоровался, взял под руку и повел куда-то.

Лабиринт превратился в немецкий город военного времени.

Вечерело. По улице брели редкие прохожие. Усталые. Изможденные. С серыми лицами. Видимо, они возвращались домой с работы.

Неожиданно заревела сирена. Воздушная тревога!

Из многих домов выскакивали взрослые и дети с небольшими чемоданчиками или сумками. И быстро-быстро шагали в убежища.

Через несколько минут мы услышали первые взрывы. Одно старинное здание рухнуло, подняв густое облако пыли. У двух других — загорелись покатые крыши.

Мы прошли мимо трех лежащих неподвижно тел. Бабушка, бабушка и внучка в смешной красной шапочке. Их только что убило осколками.

Фюрер подвел меня к отелю.

Из-за выбоин на стенах, затемнения на окнах и валяющихся повсюду мешков с песком это шикарное здание выглядело заброшенным и жалким. Мы вошли в полутемное лобби. Администратором в нем работал очень старый человек, похожий на египетскую мумию. Он молча подал фюреру ключ от номера на третьем этаже.

Мы поднялись по роскошной лестнице, покрытой персидским ковром. Стены украшали конные портреты прусских военных времен Фридриха Великого.

В номере Гитлер быстро разделся, лег животом вниз на что-то вроде деревянного топчана и попросил меня привязать его к нему за руки и за ноги. Веревки валялись рядом с топчаном. Их явно часто использовали. Я подчинился, плохо понимая, что делаю.

Гитлер предложил мне присесть в кресло. Я сел.

Бомбардировка не прекращалась.

С улицы доносились мощные удары. Здание пошатывалось. Иногда с потолка, покрытого античной лепниной, падала штукатурка.

Тут в номер вошла женщина в дорогом платье и шляпке с страусиным пером. Золоченые пряжки на ее туфлях уютно посверкивали. Руки ее прятались в элегантной меховой муфте. Норка?

Не сразу, но узнал в вошедшей Еву Браун. Видел фотографию в нашем школьном учебнике по истории Западной Европы. Гитлер и Браун с собаками в резиденции Бергхоф. Немецкая овчарка и английский терьер.

Браун положила муфту на софу и, не торопясь, разделась. Посмотрела на меня кокетливо.

Затем подняла одну из многочисленных розог, валявшихся рядом с топчаном, немного потренировалась и начала сечь фюрера. По спине, заду и пяткам.

Гитлеру это очевидно нравилось. Он ёрничал, скулил, просил ее «не жалеть мальчика и бить крепче». А мне предложил расстегнуть ширинку, «внимательно наблюдать и наслаждаться».

Сцена эта никакого наслаждения мне, однако не принесла. Скорее наоборот, мучила.

Я бы с удовольствием послал ко всем чертям гнусного фюрера и его кралю и покинул бы отель, если бы... если бы я мог это сделать.

И вот... госпожа Браун перестала пороть фюрера и развязала его.

Он лег на спину, а она, расставив бедра, села над ним на корточки.

Гитлер запричитал: Мамочка, милая, накорми меня! Накорми! Накорми!

А Браун сказала строго: Мама кормит мальчика, только если мальчик — паинька. А когда мальчик паинька? Когда он лижет розочку!

Фюрер высунул свой сивый язык мертвеца и начал испупленно лизать ее анус.

— Еще! Еще! — умоляла она его.

А затем пропела елейным тоном: А теперь мальчик открывает ротик... и получит порцию шоколадного муса.

Фюрер открыл свою пасть, а его любовница начала медленно в нее испражняться.

Запахло экскрементами. Я отвел глаза. Встал. Вышел из номера. Спустился в лобби. Не удержался, взглянул на старика-администратора. Как я мог принять его за человека? Это была кукла на шарнирах. С свастикой на рукаве.

Покинул отель.

Но оказался не на улице, а в лабиринте.

Дирижабль

Шагал и шагал между двумя зелеными стенами тиса. То и дело натыкался на тупики. Старался не психовать, принимать как должное. Какой лабиринт — без тупиков?

Возвращался, лил олово, гадал на кофейной гуще... и шел другим путем. И через шесть минут стоял перед новым тупиком.

Лабиринт не пугал меня. Зеленка!

Я боялся не его, а того, что в нем со мной происходило.

А происходило вот что: Что-то упрямо разлагало меня на множители... или на слагаемые... Расщепляло как полено.

Безумный дровосек щепил и щепил своим острым топором мою душу, мою судьбу, мою жизнь.

Стробоскопически высвечивались только отдельные сцены. Сцены из жизни, которую я еще не прожил. Было это то будущее, о котором говорил мой лукавый дядя, посылая меня в пансионат? Будущее, которое еще не поздно было изменить? Или... эти сцены были моими воспоминаниями? Настоящими или ложными?

Вот поезд проехал. Откуда тут поезд? И вот... я еду в этом поезде. И не один, а в теплой компании сверстников. Мы едем отдыхать и заниматься серфингом на побережье

Португалии и весело болтаем. Какие-то злые мальчишки, дети крестьян, бросают в поезд камни. Один камень с страшным треском вышибает наше стекло. Ранит моего друга. Я вижу пузырящуюся кровь на его пробитом колене. С тех пор он хромает.

А теперь — я как будто в зоопарке. Веду за руку маленькую девочку. Дочку? Она вырывается и прыгает в бассейн с крокодилами. Я ловлю ее в воздухе. А потом выпрашивает у меня мороженое. Без шоколада. Я так люблю ее.

Новая вспышка — ей уже пятнадцать. Она хочет черное пальто. Скрипя сердце даю жене деньги. Жена покупает дочери пальто, но та его не носит. Назло?

В двадцать шесть лет дочка рождает сына, в сорок лечится от депрессии и винит во всем меня.

Что это? Видения?

Почему же все в них так реалистично, правдоподобно?

Вот, я играю в карты с бандитами и шулерами. Проигрываю все, что у меня есть. Сбережения, дом, машину, страховку жены. Жена бросает меня. Я пытаюсь вымолить прощение. Напрасно. Ее новый муж — журналист. Они вместе уезжают жить в Лиму.

Вот меня шантажирует и преследует мафия. И я — с огромным трудом — выслеживаю и убиваю ее главаря, хитрого и безжалостного Пабло. Меня ловят. Судят. На суде замечаю, что воротник судьи давно не стиран, а его ногти — не чисты. Так же как и совесть. Я в тюрьме. Меня бьют сокамерники и пытаются насиловать охранник. Я долго выжидал, а затем перерезал ему горло самодельным ножом в прачечной. И меня не поймали, не осудили. Помню, как он хрипел и визжал.

Вот я работаю в бюро на двадцать пятом этаже небоскреба в Сан-Франциско. Долго-долго. В отделе проходит ре-

организация. Новый начальник увольняет меня, и мне приходится отдать банку купленный в кредит дом. Я уже стар и не способен на месть. Живу в крохотной квартире на окраине Мехико. Солнце палит нещадно. А у меня нет денег на кондиционер. В моей ванной ползают тараканы. Однажды я привел ко мне в квартиру малолетнюю проститутку-мулатку. Ее янтарные глаза были наполнены слезами. Она звала на помощь мать. Кричала, что ненавидит меня. Я жалел ее, презирал себя, но довел дело до конца.

Вот мой близкий друг. Он у меня в гостях. Мы пьем и едим жареную утку. Он улыбается, он хвалит, он любит меня. Облизывает жирные пальцы. Через неделю я застаю его в постели с моей женой. Жена плачет, а он только ухмыляется. Я хочу убить их обоих. У меня есть револьвер и патроны. Но я не могу выстрелить в друга или в жену, бросаю револьвер на пол и сижу, опустив голову. Они решили, что я слабак.

Да, в этой комнате в Боготе я хотел повеситься. Прикрепил веревку к крюку на потолке. Встал на стул. Надел петлю на голову. Но тут увидел попугая на соседской крыше. И неожиданно развеселился. Так смешно он прыгал, пытаюсь разгрызть грецкий орех. Самоубийство пришлось отменить.

Вот, я на концерте. Огромный хор исполняет «Военный Реквием» Бриттена. У меня текут слезы. С каких это пор я стал сентиментален? Зачем пошел на этот концерт? Я не понимаю и не люблю классическую музыку.

Я заплакал, потому что увидел колонну мертвых военных, проходившую по воздуху прямо через зал. Они все шли и шли, роняя пальцы и глазные яблоки. Пока пел хор.

* * *

Здесь, в лабиринте, моя жизнь похожа на додекафоническую пьесу для рояля.

А я сам — представляюсь себе разбитым зеркалом.

Я иду, иду — от тупика до тупика. Собираю осколки са-
мого себя. Я пазл.

Видения преследуют меня.

Я измотан, устал. Потерял чувство времени. Забыл свое
настоящее имя... адрес... забыл, почему я тут...

Мне страшно. Мне чудятся хтонические чудовища. Они
хватают меня за ноги и тащат в свои подземные логова. Раз-
дирают на части и жрут.

Но я оживаю и иду дальше по лабиринту.

Где ты, Ребека, солнце и радость моей жизни?

Где твои нежные смуглые руки?

Почему я не слышу твой звонкий смех?

Кто притаился там, за этой кирпичной стеной?

Чьи фиолетовые глаза следят за мной день и ночь?

Почему никто не приготовит мне суп из фасоли?

В одну из нечастых минут просветления я вспомнил
мою ничем не примечательную одноклассницу, Бланку.
Неуклюжую зануду и зубрилу. Неожиданно для всех она
сошла с ума. Говорили — из-за страха перед выпускными
экзаменами. Разбила дома зеркало. Разжевала и съела его
осколки.

Тут, в лабиринте, я ее понял. Нет, не экзамены стали
причиной ее безумного поступка. Она испытала то же, что и
я. Расщепление. И попыталась его остановить.

Нет, нет — у меня никогда не было одноклассницы
Бланки.

А осколки зеркала съела прекрасная Елена, тонкая как
травинка, беззащитная и ранимая. Когда я ее бросил.

Она так любила меня, а у меня в сердце не было ничего,
кроме эгоизма и похоти. Я заставил ее проституировать в
Марселе, и она кончила свою жизнь в больнице для душев-
нобольных в пригороде Буэнос-Айреса.

Внезапно я услышал шум. Нежное и монотонное шуршание пропеллеров. Утробное урчание хорошо смазанных дизельных двигателей.

Задрал голову. Бог мой, дирижабль!

И не какой-нибудь, а знаменитый «Гинденбург»! С свастиками на хвосте. Правда, почему-то желтыми.

Откуда он сюда прилетел? Из ада?

Мне все равно. Лишь бы вырваться из лабиринта, из этой неестественной осколочной жизни. Из додекафонии.

С дирижабля спустили канат. Поймал петлю. Влез в нее, как в ночную рубашку.

Канат мягко оторвал меня от земли и понес вверх, как орел — Ганимеда. Прямо к открытому люку. Прежде чем влезть в люк, успел оглядеться. Зеленый лабиринт простирался до горизонта. Выбраться из него было невозможно.

Внутри дирижабля меня встретили — капитан в смешной желтой униформе с погонами и в фуражке с огромной золотой кокардой и три полуобнаженные красавицы. Капитан, слегка запинаясь и жестикулируя, произнес краткую приветственную речь. Я был так ошарашен, что ничего не понял. Но кивал и вздрагивал. Вздрагивал и кивал.

Девушки повесили мне на шею венок из цветов. Посадили в удобное кресло недалеко от окна. Предложили свежие фрукты и бокал шампанского.

Никаких немцев на этом воздушном корабле не было. Команда состояла из приветливых азиатов, гортанный язык которых был мне непонятен.

Сексапильные девушки не принадлежали к какой-то определенной расе... в них было что-то от калейдоскопа. Калейдоскопа нежности и красоты, который непрерывно вращался.

Съел маленький калифорнийский банан. Полакомился инжиром, финиками и виноградом. Пригубил бокал, глотнул...

А потом... полчаса любил одну за другой всех трех красавиц в их влажные рты, пахнувшие плодами манго и свежестью.

Решил, что очутился в летающем раю.

Из окон дирижабля был видел только океан. Спокойный. Бескрайний. Синий как стиральный порошок.

Не мог поверить, что все так чудесно. Спросил у девушек, какой нынче год.

Оказалось — 1936-ой.

— Месяц?

— Май.

— Шестое?

— Да, господин.

— Как долго еще лететь до Нью-Йорка?

— Час. Посмотрим на Манхеттен, а затем полетим в Лейкхерст.

Знаю, знаю... читал и фильм смотрел. Там нас ждет гроза. Значит мне суждено наслаждаться этим раем всего три-четыре часа. А потом придется принять огненную ванну и упасть на землю обгорелым трупом или золой.

Что-то подсказывало мне, что мои прекрасные спутницы хорошо осведомлены о нашем будущем. Не удержался и спросил.

— Водород взорвется?

— Да, мой господин. Возникнет пожар. Вы погибнете.

— Если ли возможность избежать катастрофы?

— Нет, мой господин.

— Почему бы нам не приземлиться где-нибудь еще? Завтра или через месяц?

— Все предрешено. Ничего изменить нельзя. Вы сами заказали эту судьбу, милый господин.

— Я ничего не заказывал. Тут какая-то путаница.

На столике передо мной появилась бумага с красной печатью, договор, явно подписанный мной. Где и когда я его подписал?

Бегло просмотрел текст. Действительно, на вопрос — какую смерть предпочитаете, я ответил так: Быструю, неожиданную, по возможности безболезненную. Например, при аварии дирижабля.

Нашел дату подписания договора. 2050-й год.

— Но это же будущее!

— Дорогой господин, договор был проверен нашими юристами. Все составлено по правилам. Мы всегда ведем честную игру с нашими клиентами с Земли. Поэтому... используйте оставшиеся вам часы на что-либо приятное. Это умнее, чем затевать бессмысленные словесные препирательства с нами. Мы делаем все, что можем, для того, чтобы облегчить вам прощание с жизнью. Вы не сгорите живьем. Одна из алюминиевых балок ударит вас по голове и убьет на месте в тот момент, когда вы будете совершать коитус с одной из нас. Наши инженеры все предусмотрели. Вы не почувствуете на себе последствия взрыва, не увидите пожара. Вы ничего не поймете.

— Успею, по крайней мере, кончить?

— Нет господин, но вы будете в приятном ожиданье. Многие клиенты считают, что эти моменты слаще самого оргазма. Фирма обо всем подумала. Наш полет совершается только для вас одного. Посмотрите, уже видно Эмпайр-стейт-билдинг. И Рокфеллер-плаза.

Тут мне в голову пришла идея.

— Как вы думаете, нельзя ли упросить капитана сделать получасовую паузу — прямо над Ар-Си-Эй-Билдингом. Всю жизнь мечтал посмотреть на фреску Диего Риверы. Но не довелось.

— Поговорить с капитаном можно. Только он вряд ли согласится.

— Проводите меня к нему.

Капитан принял меня и выслушал, не перебивая. А затем согласился. Сказал, что спустит меня на крышу здания в той же петле... Покружится над Манхеттеном, а через полчаса заберет меня оттуда же.

— Не забывайте, дорогой Мигуэль, мы тут находимся инкогнито, так сказать. Для жителей Нью-Йорка и мы, и вы невидимы. Но это, вопреки законам физики, не мешает вам насладиться фреской. Если ее, конечно, еще не сбили со стен ревнивые капиталисты. Постарайтесь не вмешиваться в жизнь людей 1936-го года. Если вы все-таки это сделаете, то возможно все мы исчезнем, как говорил взбалмошный профессор с растрепанными волосами в известном фильме. Предупреждаю вас, потому что знаю ваши мысли... Жить вам осталось (капитан вынул из внутреннего кармана кителя золотые часы) ровно три часа, тридцать пять минут и сорок три секунды. Ангелы смерти уже тут, как вы вероятно заметили (он показал рукой на трех стоящих невдалеке девушек) и они заберут вас, что бы ни произошло. Но если вы сознательно нарушите договор, они возможно покажут вам свое истинное обличье...

Девушки смущенно кивнули. Несколько криво. У одной из них вместо лица на мгновение показалась козлиная морда дьявола. Увенчанная толстыми рогами.

— Понял. Хотел бы только узнать, прежде чем окончательно смириться с судьбой, откуда вам известно точное время моей кончины?

— Простите, дорогой мучачо, но время указано в договоре. Вот, смотрите.

— Да, но тут указан не 1936-ой год, а 2063-ий.

— Но мы и находимся в 2063-ем году. Сюда мы прибыли исключительно из декоративных соображений. Особая услуга. Временной скачок. Для придачи достоверности...

— Не буду спорить. Но меня-то вы выловили своей петлей из лабиринта года 2010-го. Мне только двадцать лет.

— Как это двадцать? Вам должно было несколько дней назад исполниться 73. Посмотрите на себя в зеркало. Вы старик. Хм... Давайте сделаем так: Я сейчас на всякий случай свяжусь с главной конторой фирмы. А вы пойдете с тремя нашими красавицами в специальный кабинет. Там есть все необходимое для отдыха души и тела, поверьте.

Не удержался, посмотрел в зеркало в кабине капитана.

И не узнал себя.

Расплывшийся, лысый старик.

Потухшие глаза.

Обрюзгшее тело.

Морщины.

Страшилище!

Позволил увести себя, раздеть и уложить на огромную кровать.

Попросил девушек выйти из кабинета.

Капитан говорил правду... за часы или дни, проведенные в лабиринте, я постарел на 53 года и не заметил этого. Превратился в урод, в пугало.

И эти самые додекафонические ноты, эти осколки зеркала — были ничем иным, как реальными событиями моей жизни.

Людьми, с которыми я встречался, которых любил, с которыми жил.

Зданиями... в которых развлекался или работал. Которые видел из окна трамвая или автобуса.

Ландшафтами...

Неужели это действительно так? И от моей жизни, жизни... остались одни осколки? Ноты? Звуки? Слова?

Или — не осталось ничего?

Капитан, постучав, вошел в кабинет. Встал в позу. И что-то долго вещал... вращая масляными глазами и прижимая руки к груди. Заверял, убеждал, лопотал и хряпал.

Я его не слушал. Ведь он был только говорящей куклой на шарнирах.

Вежливо попросил его уйти и позвать девушек.

Милашки разделись и легли рядом со мной. Грудки их пахли шампунем и ягодами.

ДЕМЕНЦИЯ (пародия)

Эльк

Ехал на трехколесном велосипеде для взрослых. Тяжелом. Неуклюжем. Велосипед дребезжал, скулил и трещал. Приходилось останавливаться, поднимать его и опускать, не обращая внимания на его протесты. Потому что колеса попадали как в капканы — в коварные продольные грязные выбоины в асфальте и там застревали.

Стершиеся от времени ручные тормоза не работали, дырявое плетеное сидение травмировало зад, ржавая цепь то и дело со скрежетом слетала с главной шестеренки-звезды. Ехал я очень медленно, глядел по сторонам и представлял себе, что сижу на сломанном механическом осле. Держусь руками за его огромные волосатые уши. Осел ревет, пускает ветры, но везет.

По самому дну ада.

Странно, из всех окон на меня смотрели неизвестные мне существа с круглыми сапфировыми глазами и с антеннами-присосками на головах, а по тротуарам разгуливали животные... вараны и слоны. Людей я не видел, а слонов... сотни... Они поднимали хоботы и трубили. Бивни их были покрыты сусальным золотом. А все вараны были гуттаперчевыми. Скалили зубы и высовывали длинные раздвоенные языки.

Надо было конечно золотишко прибрать к рукам, только как?

Слоны, как и мамонты, животные упрямые и своевольные. Добровольно золото не отдадут. Живут несколько ты-

сяч лет. Врагов — затаптывают. Просто так подойти и содрать с бивня слона золото — невозможно. Слон обидится. И затопчет. Надо было попробовать их перехитрить. Как Суворов перехитрил Юсуф-пашу в битве последнего с армией принца Кобургского. Главное — быстрота и глазомер. Незаметно подкрасться сбоку. И — хватать слонягу за бивень. И тянуть...

Нет... так ни разу и не решился. Хитрости во мне — как воды в море, а мужества нет вовсе.

Или это не слоны и вараны, а неизвестные мне обитатели нижнего мира?

Нет, это всего лишь газовые фонари. У фонарей нет ни хоботов, ни бивней. Ни когтистых лап, ни оскаленных зубов. Зато есть щупальца, которыми они ощупывают недра Земли. Ищут нефть и газ. Все теперь ищут нефть и газ. Энергетический кризис, ничего не поделаешь. Рост цен.

Может в теннис поиграть? С кем? Со слонем или с гуттаперчевым вараном?

Уже несколько часов еду, но ни одного корта не видел. Или я по кругу ежжу? А все корты столпились где-то посередине. Как зеваки вокруг лужи крови на бульваре. Или наоборот, разбежались как галактики по окраинам вселенной и парят в своем ледяном одиночестве?

Корты... вы где... ах! Есть под вами нефть? Или только могилы, земляные черви и кроты?

Так давно не видел цветущих одуванчиков, что кажется, их и нет вовсе на свете.

Куда я ехал?

Иногда я терял свою цель из вида и ехал просто так. Вперед. Крутил педали. И меня терзало чувство неопределенности. И в горле першило.

В остальное время я твердо знал, что еду домой. Ищу многоэтажный дом, в котором находится моя квартира. На седьмом этаже. Квартиру эту я снял неделю назад. Выбросил мебель, оставшуюся от предыдущего жильца. Содрал старо-

модные обои со стен. Чистил, красил. Травил тараканов на кухне. Похоже и сам отравился. Мерещится все время что-то. Ужасы всякие.

А сегодня утром... или это было вчера вечером? Или год назад?

Переехал в новое жилье. Что было потом — не помню.

Помню только, что сидел на полу, смотрел на голые стены и видел на них давно забытые картины. Навсегда ушедших из моей жизни людей. Тосковал...

Потом не выдержал и вышел из дома... решил купить что-нибудь съестное. Помогает от тоски. Например — хлеб, сливочное масло и пастеризованное молоко. И сыр Рокфор. Можно и сосиску куриную прихватить. С горчицей.

На улице дул холодный ветер... пахло морем и мне захотелось свежей рыбки. Отправился на край города в рыбный магазин. Туда, где ты сам выбираешь рыбу, плавающую в колоссальном вонючем аквариуме. Продавец-ловкач ловит ее сачком, отрезает ей голову, вспарывает кривым ножом ее брюхо, выбрасывает красно-синие внутренности и пузырь, на котором колеблется капелька крови... заворачивает оставшееся в газету.

Купил рыбу, пошел домой. И, представьте себе, заблудился. И рыбу потерял. Не знаю, где. Зашел в неизвестный мне район. Каналы, каналы, как в Гамбурге, вода — как черные чернила, а вдоль каналов — одинаковые шестизэтажные здания. Старинные. Бывшие портовые склады.

Ни машин, ни людей, ни магазинов. Даже слоны исчезли, не говоря уже о варанах.

Только в каналах иногда показываются чьи-то бледные лица. Утопленники?

Фонари светили светло-зеленоватым светом. Где-то далеко-далеко дрожало и мерцало зарево... ревела сирена. Полиция? Скорая помощь? Или воздушная тревога? Доносились и раскаты грома. И гарь. Или это взрывы? Над моей головой пролетели три черных вертолета, похожие на дья-

вольских стрекоз. По набережной медленно полз непонятно откуда тут взявшийся танк.

Тревожно. Брел, брел...

А через час или два вдруг понял, что еду на велосипеде. По мостовой! Трах-тарарах! Ужас!

Не было у меня велосипеда. Рыба была, а велосипеда не было. Неужели... рыба — без головы и без внутренностей — превратилась в трехколесный велосипед? Сама собой? Пожала меня? Всякое бывает. Вспомнил сказку про корыто.

Или я украл где-то велосипед? Я могу взять, если плохо лежит.

Или позаимствовал. Где?

В женской школе для трудных подростков.

Помню, увидел вывеску и сразу вошел. С рыбой под мышкой.

Заинтриговало. Думал там бордель. А там действительно — школа!

На стене в вестибюле — портреты лучших учениц и заслуженных учителей. Ученицы миленькие такие, сексапильные, с антеннами-присосками на головках, похожих на луковички... а у учителей морды как у сенбернаров. Они на своих портретах лаяли, пытались выпрыгнуть из рам, царапали стекла когтями. Может запах рыбы учуяли. Едят собаки рыбу? Не знаю.

Не успел войти, как ко мне со всех ног побежали школьницы-подростки. Трудные. Обступили и давай меня гладить. Не подумайте чего... Только по голове.

Гладить, причитать и подмигивать. Спрашивали: А где твои антенны?

Я ответил: У меня нет антенн на голове. Таким уж уродился. Зачем вы мне подмигиваете? Я ваших знаков не понимаю.

Они только смеялись. Некоторые, впрочем, показали мне свои розовые...

Я к такому приему не привык, растерялся естественно. А они взяли меня под руки и повели в школьный драмкружок. Открыли высокие двери и втокнули в какую-то полутемную комнату.

Неужели они приняли меня за кого-то другого? За Жана Маре или Луи де Фюнеса. Но я не похож ни на того, ни на другого. Я немного похож на Пола Ньюмана. В его молодые годы. Но никто кроме меня этого не замечает. Увы.

Вначале я думал, в этой комнате и нет никого, но потом разглядел два стула, стоящие один напротив другого на небольшой сцене и женщину средних лет, сидящую на одном из них. Лицо ее тоже слегка напоминало морду сенбернара...

Она жестами пригласила меня сесть на другой стул.

Поднялся на сцену, сел.

Женщина впилась в меня взглядом. Раскрыла пасть. Тихо зарычала. Залаяла.

Мне стало страшно. Вдруг бросится на меня и икусает?

Стал демонстративно смотреть на стены. На них висели большие портреты известных драматургов и актеров. Покрытые густым слоем пыли. Узнал Гольдони. Или это был Бомарше? И в них тоже сквозило что-то пёсье. Несмотря на парики.

С трудом выдавил из себя: Мне кажется, вы все тут принимаете меня за кого-то другого. Вы что, ждете какую-то важную птицу? Смею вас заверить, я зашел в вашу школу случайно. К драматическому искусству отношения не имею. В театре был последний раз лет двадцать пять назад. В саксонской провинции. Помню, давали современную пьесу. «Красавицу Сельфинью». Или «Семьсот семьдесят семь оргазмов ублюдка Джимми». Полуголые актеры истерично орали друг на друга. Орали, орали. Потом молчали. Излучали ауру. Потели. Ползали. Хрюкали. Совокуплялись. Потом опять орали. Часа два. Затем пьеса кончилась. До семисот семидесяти семи явно не дошли. Аплодисменты были жидкие. В зале сидели

несколько критиков и журналистов, родственники и друзья актерского состава. Да, была еще любовница режиссера. Красотка с очень коротко остриженной головкой, похожей на гриб. С двумя спутниками, боксерами-близнецами. Все трое смотрели друг на друга, высовывали языки, рыгали и неприятно дергались.

— Как мило вы рассказываете. Гав-гав. Да, да, мы ждали. Вас. Мы ждали вас. Ждали. Гав! Наконец-то, маэстро. Наконец-то вы пришли. Теперь все-все будет иначе. Нас ждет долгожданный успех. Возможно, нас даже пригласят на фестиваль в Верону. А я так давно не гуляла и не приседала по малым делам на набережной Адидже.

Голос у женщины был сиплый, с рычащими глубоко внутри драконами. От него у меня сразу заболели уши и заныло в мошонке.

— Маэстро... Меня? Меня вы ждать не могли. Меня никто нигде не ждет. Я — Эльк. Каждый. Любой. Он. Я человек-местоимение.

— Он? Вы не любой, вы наш! Гав-гав-гав. Мы ждали вас, мастер Эльк. Многие годы. И вот вы тут. И я имею честь предложить вам главную роль в нашей новой постановке.

— Что хотите поставить?

— Прекрасную пьесу. «Свадьба броненосцев на острове Бо». Имя автора вам ничего не скажет. Из лучшего британского питомника.

— Бог с ним, с автором. Может расскажете, очень кратко — содержание.

— Конечно, конечно. Слушайте. Гав-гав-гав...

Вернулся домой часа в два ночи. И получил сюрприз. Довольно неприятный.

Расскажу по порядку.

Прежде всего — не знаю, как и почему, но дом, в котором я живу, стал двухэтажным. Из башни превратился в лежащий на пузе кирпич. Сплющился.

Но это — еще полбеды.

В доме-кирпиче была всего одна квартира. Двухкомнатная. Моя. На втором этаже. Квартиру эту я не без труда нашел, входная дверь была заперта... но у меня в кармане лежал ключ.

Внутри квартиры все было так, как до моего ухода.

Звенящая пустота, по которой бродили призраки прошлого.

Я опять увидел силуэт отца, умершего шестьдесят лет назад, услышал крик бабушки, нелепо погибшей в лифте собственного дома, вынужден был выслушивать снова и снова нотации моего строгого деда-начальника, мне опять пришлось отбиваться от наскоков хулиганов, непонятно как прилетевших сюда из города моего детства, передо мной промелькнули — только промелькнули, но как же это мерзко — вечно мрачные, всем недовольные физиономии коллег по работе, еще хуже — тошнотворные лица вождей страны, в которой мне посчастливилось родиться, я видел тени межконтинентальных ракет, с помощью которых они хотели уничтожить жизнь на Земле...

Я слышал эхо последних стонов в больницах моего города, шепот умирающих в ущельях Гиндукуша, ощутил еще и еще раз дуновение смерти... от кремля... от кремля.

В оставшейся части дома было что-то вроде общежития. В его больших открытых помещениях жили... уроды. Я так и не смог понять, живые ли это люди или собрание мертвецов. Все они были обнажены. Напоминали обитателей острова Моро.

Больше всего там было женщин и детей, но были и мужчины. С серыми лицами, покрытыми волдырями. Вместо волос на их головах, подмышками и на лобках росли сорная трава и грибы-поганки. На коже — царапины, ранки, синяки. Глаз у этих существ не было. Носы — как у обезьян.

Они лежали на толстых поролоновых матрасах. Сидели на стульях и как будто смотрели в потолок, пытались что-то готовить на открытых кухнях, мылись сами или мыли детей,

стирали белье в цинковых ваннах, о чем-то хлопотали, пели, выли, перебранивались, совокуплялись. Все со всеми, независимо от пола и возраста.

Пациенты лепрозория? Беженцы? Или их ожившие после смерти тела?

Когда они меня учуяли и догадались, что я не из их числа... несколько женщин видимо возомнили черт знает что...

И повисли на мне... как приклеились. Целовали меня в засос, льнули, прижимались интимными местами, что-то страстно шептали, изображали внезапно нахлынувшую страсть. И, несмотря на мои вежливые, но настойчивые просьбы, не хотели от меня отлепляться.

Пришлось применить грубую силу, чтобы освободиться от их назойливых прикосновений. Тела их пахли мазутом. Во рту — не было зубов. Треугольные ногти были черными.

Принял душ, растерся полотенцем, сел на пол, подремал. Попытался объяснить самому себе метаморфозу, произошедшую с домом, но не мог ничего придумать.

Волшебство? Иллюзия?

Или возрастное искажение восприятия действительно? Деменция? Ведь я старик.

Никто не мог перестроить дом за время моего отсутствия. И никакого волшебства, способного на такое, не существует. Зато я мог запросто забыть настоящий размер дома и внушить себе все, что угодно.

Но эти странные существа... беженцы... или бог их знает, кто...

Не мог же я снять квартиру в общежитии для беженцев, прокаженных или выходцев с того света. Это было бы безумием! Ведь я трус, мизантроп и расист. Не могу терпеть шума и криков. И к тому же страшно брезглив.

Из-за входной двери все еще доносился рев возбужденной толпы. В дверь то и дело стучали, ее царапали, резали ножами, рядом с ней орали, стонали, визжали...

Не удержался, посмотрел в глазок.

Ожидал увидеть там этих ужасных безглазых женщин, готовых броситься на меня и высосать из меня все соки, как только я покину свое убежище.

Но нет, женщин за дверью не было. Там меня действительно ждали, но не женщины... а проклятые гуттаперчевые вараны. Похожие на горилл. Или это были левиафаны? Они скалили свои огромные зубы и высовывали из пастей длинные лиловые языки, с которых на пол скатывалась ядовитая слюна.

Через какое-то время шум затих.

Посмотрел еще раз в глазок. Вараны исчезли! Что же я увидел?

Такого быть не может. Он?

Я увидел хорошо знакомого мне человека. Имени его я не знал. Не знал, кто он, но был твердо уверен в том, что он много раз по своей прихоти изменял мою судьбу.

Что ему от меня надо?

Динарий кесаря

Ко мне в квартиру вошли два человека... мгновение назад бывшие одним существом. Да, тем самым, крупным мужчиной в длинном черном пальто.

Я с трудом верил собственным глазам. Кусал себе пальцы, но это не помогло. Как он разделился?

Один высокий, другой среднего роста.

Эти люди тоже были моими старыми знакомыми. Часть моей жизни прошла в тесном контакте с ними. Но как я ни напрягал память, не мог вспомнить, ни как их зовут, ни где, когда и при каких обстоятельствах я общался с ними.

Внешне они походили на Панурга и брата Жана.

Если вы непременно хотите их себе представить, найдите иллюстрации Густава Доре к «Гаргантюа и Пантагрюэлю».

— Проходите господа, садитесь на пол. Мебель я еще не купил...

— Не купил, и никогда не купите. Если вы нам не поможете, то вообще больше ничего не купите, — саркастически заметил Панург и улыбнулся без всякой иронии, скорее печально.

— Да, да, не купите. Ничего. Никогда, — сокрушенно добавил брат Жан и сложил свои мускулистые руки на груди, как молящийся.

Панург подмигнул мне и заявил: Мебели нет, но мы-то тут...

И мебель тут же появилась. Три удобных кресла и круглый стол между ними.

Еще через мгновение — мы все уже сидели за этим столом и пили холодное саке из прозрачных стаканчиков.

Панург пил саке маленькими глоточками, наслаждался. Брат Жан выпил стаканчик одним духом. Налил себе еще один из затейливой керамической бутылочки в форме вазы. На боку вазы были изображены лесистая равнина, горы и летящий дьявол, похожий на иероглиф.

Панург смаковал. Брат Жан пил как прорва.

Пауза тянулась и тянулась.

Я слышал, как булькает в животе у брата Жана.

Казалось, мои гости вовсе не желают со мной общаться.

Мое терпение лопнуло.

— Разрешите спросить... чем обязан вашему появлению в моей квартире? Чем могу служить, господа?

— Bravo, bravo, господин хороший. Решили прямо так рубануть... в моей квартире... чем могу служить... Благородная прямота.

Говоря это, Панург барабанил по своему животу. Я узнал ритм «Болеро» Равеля. Брат Жан тоже забарабанил. Волосатыми короткими пальцами по столу. Мне показалось, что началось землетрясение. А в моей голове неожиданно заиграл симфонический оркестр.

— Что, больно? Бедняжка... — пробурчал Панург. Кивнул, и оркестр в моей голове играть перестал.

— Я тоже не люблю, когда громко играют, — доверительно проговорил брат Жан.

Панург решил показать, кто тут главный. Дернул бровью и начал загибать длинные пальцы: Начнем с того, что это не ваша квартира. Это вообще не квартира. Хотите посмотреть, где мы с вами на самом деле находимся? Хотите увидеть заросшее полынью поле размером с вашу Европу? Хотите заглянуть в зияющую бездну вместо неба? Узнать тайну постыдного будущего вашей цивилизации, так усердно занимающейся саморазрушением?

— Не надо, прошу вас.

— И служить нам, милостивый государь, вы не в состоянии.

— Надеюсь, вы не собираетесь карать меня за использование стандартных фигур речи?

— Не собираемся, но можем... Можем покарать за все что угодно! Скажите спасибо за то, что мы вас до сих пор терпим. Кое кто предлагал нам превратить вас в навозного жука. Или раздеть, обмазать медом и посадить в муравейник. Или на кол, — веско добавил брат Жан.

Решил не раздражать попусту моих гостей и помалкивать. Говорить только если спрашивают.

— Золотое правило! — одобрил Панург, очевидно читающий мои мысли.

— Только не надейтесь. Ни на что не надейтесь, сударь мой, — медленно проговорил брат Жан, — говорите вы или молчите, мне абсолютно все равно. Вы бездельник, обжора, эгоист, рукоблудник и позер... вы хуже навозного жука, тот хотя бы навозные шарики катает, а вы катаете только свое брюхо... Кстати, куда вы дели украденный вами в школе для трудных подростков велосипед? Отвечайте, когда вас спрашивают!

— Я не помню.

— Они не помнят! — брат Жан неожиданно рассвирепел, сжал громадные бугристые кулаки и заорал так громко, что зазвенели стекла в окнах, — раздавлю тебя как мокрицу! Глаз на жопу натяну!

Панург с явным удовольствием наблюдал за происходящим. Прихлебывал свое саке.

Потом все-таки вмешался.

— Не будем горячиться, господа! Речь не идет о каком-то дурацком велосипеде. Можете оставить его себе.

Брат Жан тут же успокоился и начал поддакивать: Да, вовсе не о велосипеде. Чихать мы хотели на ваш трехколесный велосипед. На все велосипеды на свете. Нам вообще на все чихать.

Тут брат Жан громко чихнул. Как будто молнией ударил.

Панург поправил приятеля: Но кое на что нам не чихать. Очень даже не чихать! Вы, наверное, подумали, что мы циники и нигилисты. Вломились к вам, посадили вас на стул и начали грозить... А на самом деле...

— А на самом деле, — продолжил брат Жан бархатным голосом, — мы романтики и вегетарианцы. Мухи не обидим. Просто работа у нас тяжелая. Целыми днями приходится общаться с разными подонками, увещевать их, пытаться пробудить в них человечность. Мы ее пробуждаем — изо всех сил, а она не пробуждается. Вот вы, например, наверняка уже давно догадались, что мы ищем, что хотим от вас. Но строите из себя идиота... виляете... раздражаете попусту. Ответьте нам честно только на один вопрос. Где вы ее спрятали? Мы проверим. И уйдем. И позволим вам еще столетия бродить между каналами, кататься на велосипеде и покупать свежую рыбу. Подарим вам килограмм сусального золота. Восстановим ваш дом и уберем из него несчастных уродов. Даже варанов прогоним с улиц. Им тут не место.

Я попытался внести в дело ясность.

— Господа, это все замечательно, но клянусь вам коронами двенадцати цезарей, я не знаю, о чем вы говорите. Я нигде и никогда и ни от кого — не прятал «ее». Понятия не

имею, что или кого вы имеете в виду. Вы легко читаете мои мысли — и знаете, что я не лгу. Зачем же вы меня мучаете? Если вы скажете мне, о чем идет речь, я возможно что-то и вспомню.

Панург покачал головой, затем сказал брату Жану: Кажется, он действительно все забыл. Возможно, его укусил варан. А у варанов слюна ядовитая.

Брат Жан откликнулся: Забыл, забыл... Они все забывают. Время стирает их память как ластик карандашный рисунок, а они этого и не замечают.

— Что же, тогда перейдем к плану Б. Я нашел кое-что в архиве.

— Именно, именно к плану Б. Покажем ему черно-бееелое кино.

В глазах моих померкло. На мгновение я потерял себя, но тут же очнулся... в маленьком уютном кинозале.

Недалеко от меня сидели, вальяжно развалиясь, мои гости. Панург курил длинную серебряного цвета ароматизированную сигарету и пускал лиловые кольца. Брат Жан жадно поедал попкорн из бумажного ведёрка. Больше в зале никого не было.

Невидимый киномеханик включил проектор. Застрекотала пленка. На экране появилось бежево-оранжевое, дрожащее изображение.

Двое мужчин сидели за небольшим столиком и пили пиво.

— Рееезкость! — завопил брат Жан.

Я сразу узнал одного из мужчин. Потому что это был я. Вылитый Пол Ньюман в «Нобелевской премии».

А кто был моим собутыльником?

Вспомнил! Милош, сотрудник отдела нумизматики. Сцена эта происходила в начале девяностых, я работал тогда в музее Боде. Фотографировал картины и пластику и обрабатывал фотографии. Платили мне мало, но публично не унижали.

Распивали пиво мы в последний день моей работы. Точнее — в последние полчаса.

Я пил радлер, а мой визави — настоящий праздрой.

Маленький подслеповатый чех Милош, говорящий по-немецки с пражским акцентом, был единственным сотрудником музея, с которым я подружился. Он не задирает нос как остальные. Он и сам чувствовал себя изгоем в арийском коллективе. Было в нем однако что-то от хитренькой мышки. Хорошо, что нам нечего было делить.

Милош обладал уникальной памятью. Он помнил историю всех старых греческих и римских монет. К нему постоянно обращались за справками те, кому лень было искать монету в каталогах. Он никому не отказывал. Потому что монеты были не только его профессией, но и его хобби, его единственной любовью. Нет смысла упоминать, что он слыл грозным разоблачителем подделок. Он обнаружил много подделок и в коллекции музея. За это — вместо поощрения и похвалы он получил неприятности, и даже чуть было не потерял место. Ведь некоторые подделки были приобретены для музея лично директором или двумя его замами. Обычная история.

Фильм был немой.

Я пытался вспомнить, о чем же мы тогда болтали, но так ничего и не вспомнил. Прошло больше тридцати лет.

Фильм был любительской, короткий. Кто его снимал? Зачем?

В конце Милош достал из нагрудного кармана пиджака и передал мне небольшой предмет, завернутый в бумагу. Видимо, подарил что-то на прощанье. Сказал несколько фраз. Рассмеялся. Похлопал меня по плечу. Зачем-то многозначительно кивнул в камеру.

Фильм кончился. В кинозале зажегся свет.

— Вот видите, — сказал брат Жан, — вы положили ее в карман. Вспоминайте, вспоминайте, пожалуйста. Активируйте ваши серые клеточки.

— Да, да. Эта была монета.
— И не просто монета, а...
— Динарий кесаря. С Тиберием.
— И не просто динарий, а...
— Милош сказал, тот самый...
— И вы ему поверили?
— Разумеется, нет. Я решил, что он шутит, а динарий этот — одна из многочисленных копий, которые Милош и его коллеги изготовили к намечавшейся тогда выставке античных монет. Так вы что же, об этой монете меня спрашивали?
— Да.
— Зачем она вам? Погодите, вы что, действительно верите, что эта та самая монета, которую Иисус Христос держал в руках во время разговора с фарисеями? А затем произнес: Кесарю — кесарево...

Тут что-то произошло. Время остановилось. Пространство завязалось в узел. Мне показалось, что в кинозале выкачали воздух.

Я решил, что пришел мой смертный час.

Мои гости неожиданно посерьезнели. У меня на глазах они потеряли сходство с раблезианскими персонажами, обнялись и... слились в одно существо. В одного человека. В того самого мужчину. Которого я видел в глазок до их прихода.

Роста он был не просто высокого, а — с современного баскетболиста, голосом обладал низким.

Бритый череп. Длинное черное пальто. Пенсне. Руки — неестественно белые. Перстень на указательном пальце. На перстне — изображение совы. Говорил он спокойно и вежливо... но так, как будто нехотя снисходил к собеседнику. Как власть имеющий.

— Расскажите о том, что вы с этим динарием сделали.

— Не помню. Возможно монетка все еще лежит среди других вещей у моей последней подруги. У Летиции. В ее подвале хранятся мои чемоданы.

— К сожалению, мистер Эльк, Летиция выкинула ваши вещи на свалку, где их благополучно сожгли. К слову, она умерла много лет назад... и та свалка больше не существует. Панта рей. Но мы смогли обыскать ваши чемоданы до этого. Ничего не нашли. Вы тогда, после музея, пришли домой, бу-мажку, наверное, развернули?

— Развернул.

— Посмотрели на монету?

— Да.

— И что же по-вашему, это была копия? Литье? Гальванопластика?

— Я об этом не думал. Мне было все равно. Красивая монета. Характер Тиберия — весь как на ладони. Властный, целеустремленный, умный, но ненасытный.

— В архиве есть еще один фильм. Из более позднего времени. Посмотрите?

— Валяйте. Куда я денусь, посмотрю.

В зале погас свет, опять застрекотала пленка.

И этот фильм был черно-белый и немой.

Я увидел красивое озеро между высоких, кое где покрытых снегом гор. Конечно, узнал. Озеро Гарда. Посетил его я за два года до Миллениума. С моей тогдашней подругой Шарлоттой.

Мы плыли в сторону Лимоне и Сало на небольшом туристическом кораблике. Дул сильный ветер с севера. Кораблик сильно качался, трещал... но пассажиры не беспокоились. Волны на озере не были выше полуметра. Молодые, хорошо сложенные итальянцы-виндсёрфингисты в цветных обтягивающих костюмах ловили порывы ветра и совершали затыжные прыжки, иногда переворачивались в воздухе. Я им завидовал. Воздух был теплый, нежный. Пахло лимонами. Мы с Шарлоттой были счастливы, беззаботны. Жадно пожирали глазами окрестности. После нашего серого индустриального города озеро Гарда казалось нам раем на земле. Я достал монетку, поцеловал ее и дал поце-

ловать Шарлотте, собирался бросить ее в воду. По известному обычаю. Но Шарлотта не позволила мне сделать это. Да, да, вспоминаю. Динарий я взял, перед отъездом, не глядя, из коробочки для японского печенья. Специально для того, чтобы бросить в озеро.

Следующий и последний эпизод фильма был снят в Венеции. Туда мы поехали на туристическом автобусе сразу после обильного завтрака в нашем трехзвездочном отеле на берегу озера. Отель, конечно, мог бы быть и получше. Но мы были рады тому, что есть, я тогда вел жизнь свободного художника, а Шарлотта еще не получила хорошую работу в собственном бюро с огромными кактусами...

Денег у нас было в обрез. Так мало, что и на пару капучино на площади святого Марка не хватило бы. И ко мне в голову пришла мыслишка — а не толкнуть ли нам динарий в антикварном магазине.

На экране мы увидели только один эпизод — мы сидим за столиком и пьем по очереди из одной чашечки кофе.

— Судя по этому отрывку, вы тогда динарий не продали.

— Припоминаю сцену у антиквара. Рассказать?

— Я весь внимание.

— Настоящий антиквариат найти в Венеции не владеющему итальянским немецкому туристу — не легко. Слишком многие сувенирные лавки пытаются выглядеть так, как будто они продают старинные вещи. Мы с Шарлоттой отошли как можно дальше от площади Святого Марка и не сразу, но нашли небольшую темную лавку, в которой продавали книги, картины, статуэтки, вазы, марки и монеты. Пахло чем-то особенным. Лавром или ладаном.

Продавец в потертом черном костюме, несмотря на жару, был возможно древнее всего симпатичного барахла, которое его окружало. Я поздоровался и достал мой динарий. Положил его на стол перед продавцом. Тот взял большое увеличительное стекло в изящной серебряной оправе. По-

смотрел на монету, перевернул ее дрожащей рукой, потом долго ее рассматривал и трогал. Затем произнес, ужасно картавя, по-немецки: Вы хотите продать эту монету?

— Да.

— Зачем вам деньги?

— Станный вопрос. Особенно в Венеции. У нас даже на кофе денег нет. А я еще хотел купить дочке подарок. Колокольчик.

Продавец повел себя особенно. Он встал и долго что-то искал на пыльной полке. Кряхтел. Нашел и подал мне. Это был медный колокольчик.

— Вот, возьмите. Это мой вам подарок. За то, что я имел честь подержать этот динарий в руках. Бесценное сокровище. Храните его как зеницу ока. Оно пригодится вам и в этом мире, и в ином.

Мы с Шарлоттой рассмеялись, не придали значения его словам. Подумали, старый дурак!

— Старик знал, что говорил. Он понял, что это реликвия. А дураком в этой истории были вы. Только вы. Невежественной немочке можно простить ее слепоту. Хотя и она... почувствовала что-то, не дала бросить динарий в озеро. Но вы... несколько лет читающий в день по Евангелию... имеющий дома целую библиотеку христианской литературы... Считающий себя чувствительным и проницательным человеком, которому доступно многое из того, о чем и не подозревает обыватель. Ответьте мне еще на один вопрос. Как вы тут очутились? В городе с слонами и варанами на улицах. Как вы стали Эльком?

— Если бы я знал! Однажды утром я проснулся в другом мире... в многоэтажной башне в этом городе, в квартире на седьмом этаже. На полу. Думал, еще сплю. Но сон и не думал кончаться. С тех пор я тут. Стараюсь жить так, как будто ничего не произошло. Тут каждый день все меняется. Сегодня — слоны и вараны, завтра — тигры и динозавры. Метафоры материализуются. Параболы составляют суть

жизни. А реальность вечно ускользает. Кто-то постоянно кладет мне в карман двадцать франков, и я не умираю от голода или жажды. Посетил недавно местного эскулапа — огромную зеленую жабу. Она лизнула мне своим пятнистым языком нарыв на спине — и через час от него не осталось ни следа. А Эльком... меня прозвали мои друзья. Еще в старой жизни. После посещения выставки гравюр по рисункам Брейгеля.

— И вы не протестовали?

— Зачем?

— И вы конечно и понятия не имеете, сколько лет прошло с тех пор, как вы покинули бренный земной мир.

— Не имею. Повторяю, мне так легче.

— И не хотите, чтобы я сказал?

— Нет. Мне и так не легко.

— Ах какие мы нежные... Ровно через десять минут вы перенесетесь во времени туда... в ваш последний день в музее. Прямо за тот самый стол. За минуту до того, как Милош вынет из кармана завернутую в бумажку монету. Тут и я подспею. И мы немножко побеседуем втроем. Боюсь, ваш милый Милош подарил вам эту монету с особой целью.

— С особой целью?

— Полагаю, что таким изощренным способом он хотел вынудить меня с ним встретиться. Ну что же, доставим ему это удовольствие. Интересно, что он потребует за динарий. Деньги? Философский камень? Или макабрическую потенцию и вечную жизнь в замке на берегу Луары с пятью тысячами невинных девушек?

Радлер был так хорош, так сладок и душист, что мне безумно захотелось вернуться в обычную жизнь. Даже мелькающие вокруг постные физиономии бывших коллег по работе в музее, даже надменные лица начальства — не уменьшили во мне желания жить. Этот новый старый мир тянул меня в себя.

— Что с вами? — спросил Милош и насторожился.

— Ничего, все хорошо. Просто радлер превосходный! Взбодрил. И жизнь продолжается. Надеюсь.

— Мне показалось, что вы совсем другое ощутили. И подумали.

— А может и другое, черт с ним со всем. Ухожу из музея. Это прекрасно. А вы остаетесь. И это прекрасно. Потому что тут ваше место. Среди старых монет и прочих сокровищ. А я буду жалеть только о Рименшнайдере.

Кажется, я сбил его со следа. Его мало интересовал разговор со мной. Он нетерпеливо ждал появления черного человека. Предвкушал чудеса и дары небес.

— А у меня есть кое-что для вас.

Милош вынул из нагрудного кармана пиджака завернутую в синюю плотную бумагу монету и осторожно положил ее на стол. Оглянулся.

Но черный человек не появился.

По лицу Милоша пробежала гримаса легкого разочарования. В голосе его появилось едва заметное раздражение. Неужели фокус не удался?

Я позволил себе его немного поддразнить: Кого вы ждете, дорогой Милош, кому на самом деле предназначается этот подарок? Почему вы оглядываетесь? Надеюсь, вы готовы встретиться лицом к лицу с повелителем мух? Кстати, а что это там, в синей бумажке? Не иначе как монета? Золотая?

Милош пошел ва-банк: Вы отлично знаете, что в синей бумажке. Все знаете, не правда ли? Сколько лет прошло после этого момента? Сто? Двести? Он придет?

— Потерпите, дорогой. Он придет. Только, боюсь, общение с ним вам не понравится. Радуйтесь, если он с вас живого кожу не сдерет.

— Все так плохо?

— Боюсь, хуже, чем вы думаете. Впрочем, откуда мне знать... У каждого с ним — свои счета. Может, вы ему понравитесь? Он ждет от вас каких-то фантастических требований в обмен на динарий. В памяти остались нечеловеческая потенция и пять тысяч девственниц в замке...

— Спасибо, рассмешили. Хотя... почему бы и нет?

В этот момент черный человек появился. Возник. Прямо за нашим столом. Ни слова не говоря, он взял левой рукой меня за руку, а правой — за руку Милоша. И унес нас прочь.

Милош успел-таки в последнее мгновение перед нашим исчезновением спрятать монетку в синей бумаге в кармане моего пиджака.

Черный дьявол перенес нас в очень экзотическое место.

На леднике где-то в Гренландии была установлена круглая деревянная платформа. На ней лежал толстый одноцветный ковер.

На этом ковре мы и расселись кто как мог.

В бирюзовых небесах сиял лучезарный диск Солнца. Лучи его не грели. Откуда-то сбоку ревел океан.

Ледник трещал и — мы не сразу это заметили — медленно тащил нас к пропасти.

Я пытался успокоить себя мыслью о том, что я так и так мертв. Что мне мол нечего терять. Почему-то эта мысль не принесла мне облегчения.

Приятель мой кряхтел, стонал и поскрипывал зубами. Охал, хватался руками за бока. Часто менял позу. Как будто танцевал лёжа.

Первым заговорил, как и положено, хозяин наших тел и душ.

— Приветствую вас на Севере, господа. Надеюсь, вам тут понравится. Можно спокойно покалякать о том, о сем. В теплой компании. Тут никто мешать не будет. Ночью видно северное сияние. Самолеты не летают. Сюда и белый медведь не залезет. В океане, внизу, правда, полно акул. Да и падать придется долго. Метров четыреста. И вода, там внизу, холодная. Не вода, а ледяная каша. Но где наша не пропадала...

Знал ведь — надо промолчать, но язык не позволил: Меня-то вы зачем сюда притащили? Монета все еще у Милоша. С ним и разбирайтесь, а меня прошу доставить по месту жительства.

— Откуда что берется? Я должен подарить вам жизнь, которую вы в свое время так глупо поставили на карту и проиграли? Ха-ха-ха. С вами все ясно, господин Эльк. Позже займемся и вами. А сейчас пора высказаться вашему другу. Ждем-с.

Милош охать и скрипеть зубами перестал, но говорить явно готов не был.

С ужасом смотрел по сторонам, то и дело хватался за сердце.

Похоже, его проект был чисто умозрительной конструкцией. Построением которой он занимался в свободное от работы время... мечтал, фантазировал. Представлял себе встречу с сатаной иначе. Его право!

Черный человек видел Милоша насквозь. И презирал его так же, как и всех остальных людей. Он мог взять Милоша двумя пальцами за горло, придушить как котенка и бросить в пропасть. Или сожрать вместе с синей бумагой. Но не делал это. Почему? Потому что даже всемогущие существа подчиняются неким правилам, придуманными не ими. В данном случае правило гласило: Нельзя брать силой у другого божественный предмет. Подобные предметы можно получить только в подарок.

Черный человек попросил Милоша мягким миролюбивым голосом: Быть может вы расскажете нам, как вы догадались, что эта монета — тот самый динарий. Это интересно. Не беспокойтесь, у нас достаточно времени, а если его будет в обрез, то мы его растянем или остановим... Если вам тут неуютно... то платформа наша прекрасно справится с ролью ковра-самолета. Перенесет куда пожелаете. Стоит только захотеть.

И в то же мгновение... наша платформа приземлилась на ровной горизонтальной поверхности внутри кратера. На Луне!

— Я рад, что вы, Милош, проходили в школе астрономию и точно указали адрес нашего прибытия — кратер Коперник. Не сделайте вы этого, наша транспортная система перенесла

бы нас, возможно, на неизвестную планету в другой галактике. Не знаю, выдержал ли бы защитный пузырь такое испытание.

Поглазев вволю на странные, как будто из серого мыла сделанные, лунные ландшафты, Милош заговорил. Хитренькая мышка внутри него очнулась после обморока, правильно оценила ситуацию и приготовилась вешать лапшу на уши самому сатане.

— Ничего особенного не произошло. К счастью. Или к сожалению, не знаю. В рамках рутинной проверки фондов я разгребал пыльный сундучок, полный старых монет и орденов, подаренный музею еще до войны одним известным филантропом. Не знаю, почему русские его вернули. Хотя... золота я в нем не нашел. Возился целый день. Работал я так: Доставал монету из сундука, протирал ее проспиртованной тряпочкой, мыл, сушил, определял примерный возраст и происхождение, клал в круглую прозрачную коробочку, к которой приклеивал бумажный ярлычок. Вечером коробочки кончились. Я устал. Пора было закругляться. И тут на глаза мне попался этот динарий. Подмигнул мне синеватым огоньком. Я в чудеса не верил... тогда. Протер его, вымыл и высушил. Все правильно. Профиль Тиберия. На обратной стороне — Ливия в образе богини мира. Надписи. Гурт. Хорошая сохранность. Что-то однако меня взволновало. В голову пришла мысль: А вдруг это тот самый динарий? Фантазия разыгралась. Увидел перед собой колоннаду Храма, толпу фарисеев, несколько учеников Иисуса и его самого. И вот, Иисус просит дать ему динарий. Молодой фарисей подает ему монету. Иисус смотрит на нее и говорит слова, которые знают теперь сотни миллионов людей. Затем отдает динарий молодому фарисею. И фарисей отходит от толпы своих. Монета жжет ему руку. Но что я рассказываю вам это? Вы (он посмотрел на черного человека) стояли тогда в толпе фарисеев и видели все своими глазами.

— Bravo, bravo! — проговорил черный человек и добавил, — проникновенно рассказали. И что же было потом?

— Подобные фантазии приходили ко мне в голову и раньше. И всегда были удивительно реалистичны. В них-то и заключается главная радость нумизмата. В телесном соприкосновении с стариной. С историей. Спрятал динарий в своем личном сейфе. Я не мог украсть его. Никогда этого не делал. Стал размышлять о том, как мне завладеть этим предметом, не совершив кражи. И пришел к единственному решению — отдать динарий Эльку. Который конечно подумает, что монета — невинная копия. И вынесет ее из музея. Я предчувствовал, что рано или поздно этой монетой заинтересуются очень влиятельные... существа. И захотят встретиться со мной.

— Хитро. Затеяливо. Ну что же, хватит разговоров. Где динарий сейчас?

— У Элька в кармане пиджака.

Черный человек посмотрел на меня так, как наверное Генрих восьмой смотрел на своих жен, перед тем, как им отрубали головы и произнес: Прошу вас, достаньте монету, разверните бумагу и положите динарий тут, на ковер, между нами.

Мне не оставалось ничего другого, как выполнить приказ.

И вот... мы, трое, сидим вокруг динария. Черной горой возвышается сатана.

Приятель мой, Милош, вьется на своем месте как воздушный змей. Раскачивается. Охает. Бормочет что-то. Переводит взгляд безумных глаз с умопомрачительных лунных гор на искривленные в презрительной гримасе узкие губы сатаны.

Я стараюсь сидеть тихо и не привлекать к себе внимания.

И тут... наш черный человек достает из кармана пальто карты. И начинает их ловко тасовать. На их рубашках —

средневековое изображение колеса фортуны. Мужчины и женщины пытаются вскарабкаться по нему к вершине, на которой безмятежно восседает король во всей своей силе и славе, колесо медленно вращается, ангелы смерти стаскивают баграми несчастных вниз, в преисподнюю. И король тоже не может избежать этой участи.

— Ну что же, господа. Сами видите, кому теперь принадлежит динарий — сам черт не разберет. Поэтому, предлагаю сыграть в очень простую игру. Каждый из нас вытянет из колоды по карте. Тот, чья карта имеет больше очков — выиграл. Очки младших карт — по номинации от шести до десяти. Картинки, как в покере, имеют два, три, четыре или одиннадцать очков. Победитель получает динарий и делает с ним то, что захочет. Как быть, если у всех будет... по восьмерке. В этом случае надо будет заново стасовать карты и сыграть еще раз. А что делать, если двое получают королей, а третий валета? Тогда третий из игры выходит, он проиграл. А двое с королями играют дальше. Согласны?

Что нам было делать? Мы согласились.

Тут произошла третья, последняя магическая телепортация. Черный человек перенес нас в казино... Может, в Лас-Вегас, или в Монте-Карло, или в Баден-Баден. Или во дворец господина демонов.

Мы находились в красивом зале, украшенном причудливыми статуями, фресками и всеми возможными предметами искусства эпохи барокко. Удивлял жернов, висящий на потолке как люстра. И костюмы других посетителей казино. Их как будто притащили сюда из разных стран и эпох. В одном из углов зала стояла массивная виселица, в другом — сверкающая металлическим лезвием гильотина.

Мы сидели за инкрустированным малахитом столиком на удобных стульях. Внутри прозрачной, чуть розовой полусферы. Мы видели все и всех, нас не видел и не слышал никто.

Сатана предложил мне снять колоду. Я снял.

Черный человек положил колоду на стол и жестом предложил вытащить из нее карту. Я вынул и положил карту перед собой, рубашкой вверх. Тоже самое сделали и другие.

Сатана приказал железным басом: Открываем вместе на три.

И начал считать. Раз. Два. Три! Как будто из пистолета стрелял.

Мы раскрыли карты.

У всех троих были дамы. У сатаны — пиковая. У меня — червовая. У Милоша — дама треф.

Черный человек щелкнул пальцами. Выхватил из воздуха бутылку шампанского и налил его в три хрустальных фужера.

Я выпил. И у меня сейчас же приятно закружилась голова. Милош схватился за сердце, потом за бок, потом закашлялся. Я заметил в его глазах дьявольскую решимость.

Сатана выпил шампанское из своего фужера, а потом — залихватски — выдул всю бутылку из горлышка. А затем проглотил и бутылку. Как удав — мышь.

Крякнул и начал тасовать колоду. Предварительно засунув в нее трех наших дам.

Предложил снять Милошу. Тот снял.

Колода опять лежала на столе, и мы вытянули из нее наши карты. Опять положили их перед собой.

На сей раз считал я.

Раз. Два. Три!

У сатаны был туз! Туз пик. У Милоша — бубновая восьмерка. А у меня — тоже туз! Червовый.

Сатана ткнул пальцем с перстнем Милоша в лоб, и тот исчез.

— Ну вот, наш нумизмат уже в музее. И ничего не помнит. Амнезия! Переработал и спятил, экзонумист. А мы с вами продолжим игру.

Стасовал колоду. Дал мне снять.

Руки у меня дрожали. По спине катился холодный пот. Я не боялся проиграть, я боялся выиграть. Мы вытянули из колоды свои карты.

Раз. Два. Три!

У меня была девятка червей. А у черного человека — семерка пик.

Сатана заревел как голодный лев и заскрежетал зубами как тормозящий поезд...

Я видел как испуганная девятка закрывает от страха свое карточное лицо руками. А семерка в ужасе пытается убежать со стола. Я услышал как со страшным треском ломаются рамы любимых картин в музее. Ощутил своим телом адский жар от горящих книг. Мне опять померещились окривевшие люди, бегущие по улицам Берлина. Я увидел огромный огненный гриб.

Демидург покинул нашу галактику, сатанинское воинство одержало победу. Колесо фортуны бешено вращалось. Тысячи людей падали с него в преисподнюю.

Я сделал то, что должен был сделать.

Взял в руки динарий, полюбовался им напоследок и отдал черному человеку.

— Держите. Дарю. И ничего не хочу взамен.

Я проснулся на тахте в нашей трехкомнатной конуре на девятом этаже в блочном доме в Марцане. Утром того самого дня, когда меня должна была сбить пожарная машина на Потсдамской площади. Летиции дома не было, она была в гостях у сестры. Племянница выходила замуж за богатого баварца. Надо было помочь выбрать платье.

Я принял ванну, почитал книгу Лео Перуца, поспал... нашел в холодильнике немецкие пельмени из куриного мяса, сварил себе все двадцать восемь штук. И съел их со сметаной, сливочным маслом и уксусом.

Из дома в тот день не выходил.

Великий магистр

А следующей ночью...

Я спал на широкой тахте, которую мы с Летицией лет десять назад купили в складчину в магазине ИКЕА недалеко от берлинской Пирамиды.

Нежился и видел сны.

Все сны позабыл... только кусочек последнего, перед внезапным пробуждением около часа ночи, почему-то сохранился в памяти.

Мой бывший тесть-профессор — голый, распаренный, с березовым веником в руках... в русской бане... хлещет себя веником по спине и советует: Слушай, зятек, умная ты голова, уважь старика, никогда не женись на женщине-одногодке или на старшей тебя! Бери в жены барышню, которая тебя моложе лет на десять, а-то и на пятнадцать! А не то прокиснешь! Заживо сгниешь, с старухой-то. И что ты в этой своей новой нашел? Ни кожи, ни рожи...

— Она же ваша дочь!

— И что, что дочь? Правда дороже!

А я стою в бане, почему-то одетый в зимнюю одежду.

Да... я осознаю, что это сон. Мне жарко, душно, я снимаю теплую куртку, отороченную бобровым мехом, разматываю шарф... раздеваюсь догола, а тесть мой, то худющий как скелет, то распухший как в водянке, делает мне какие-то знаки... ухает, танцует... потом начинает и меня хлестать веником по спине, и по животу, и по заднице, и по половым органам.

И у меня почему-то — эрекция.

И вот, я смотрю на него... а он уже не тесть мой больше, а павлин. Перья распустил...

А теперя — он Будда желтый, сидит в позе лотоса, а в руке — все еще веник березовый держит.

И вот, нет уже ни тестя, ни павлина, ни Будды...

А стоит передо мной... Летиция.

Стоит и смотрит на меня с ужасом, как на выходца с того света.

И тут я понимаю, что не сон это уже, а явь. Что я стою бо-сой, завернувшись в одеяло, в нашем коридоре, а на расстоя-нии вытянутой руки от меня — моя подруга, минуту назад вошедшая в квартиру, в пальто и сапожках. Растопырила руки в красных кожаных перчатках... как будто хочет от меня за-щититься. Над глазами у нее — синь. Губы — темно-зеленые.

Летиция курлычет, хрипит, гулькает. Стучит зубами от страха.

Пытаюсь обнять ее, успокоить. Одеяло падает...

Летиция громко охает, убегает в кухню и запирается там на ключ.

Подхожу к двери, стучу и прошу меня впустить.

Она открыла мне только через полчаса.

Предложила сесть за наш раздвижной кухонный стол. Налила мне какао в желтую кружку. Вынула из шкафа пачку печенья, открыла ее и положила на стол. После того, как я выпил какао и съел печенье с орешком посередине, начала говорить. Видимо, хотела убедиться в том, что я — не при-видение.

— Ты — это ты?

— Конечно я.

— Воскрес?

— Нет, вернулся.

— Ты не покойник?

— Да вроде нет. У меня тут, перед твоим приходом, даже встал. Во сне...

— Ты знаешь, что случилось год назад?

— Что случилось?

— Тебя машина сбила. Через три недели тебя кремирова-ли и похоронили. В лесу, как ты и просил. А теперь ты на кух-не сидишь, печенье ешь. А у меня уже три месяца новый друг. Томас. Заботливый такой, не то, что ты. Компьютерщик. В Берлин полгода назад переехал. Квартиру снял в Веддинге.

— Заботливый... а потом ногу тебе отрежет.

— Что ты несешь?

— Извини, пошутил. Вспомнил ту ногу у нас в парке. Помнишь, ее бабушка какая-то нашла. Чуть не умерла от потрясения. А у нас всех кровь брали.

— Откуда ты взялся на мою голову? Ты хоть что-нибудь помнишь? Как тебя машина сбила пожарная?

— Да, припоминаю... я шел в Новую Национальную Галерею, и вдруг откуда-то сбоку появилось что-то огромное... красное... и ударило меня. Боль чудовищная, кости трещат... сирена... а затем темнота. А теперь я вернулся.

— Так не бывает.

— Как видишь, бывает.

— И что теперь мне делать?

— Не знаю.

— Твои вещи лежали внизу, в подвале. В трех чемоданах. Но неделю назад Томас их на свалку отвез.

— А книги?

— И книги. Все равно их никто не читает. Я сама его попросила. Мне некуда было наш старый комод поставить... а выбросить жалко. Мы новый телевизор купили.

— То есть... Моего у тебя ничего не осталось?

— Кое-что есть.

Летиция ушла в спальню... и принесла оттуда коробку от японского печенья.

Положила ее на стол, открыла.

Там лежали мои документы, зажигалка, которую я непонятно зачем украл однажды в ресторане у бывшего чемпиона ГДР по гандболу, пять авторучек с золотыми перьями, два увеличительных стекла, театральный бинокль, мой старый мобильник, швейцарский перочинный ножик с крестиком, четыре золотых колечка с янтарем и малахитом, наручные часы с металлическим браслетом... и штук тридцать серебряных монет. Да, да... тот самый динарий... тоже лежал в коробке... вот он, опять у меня в руках. Тиберий на нем ничуть не изменился.

Пока я перебирал монеты, Летиция думала. Морщила лоб и нервно грызла ногти. Затем насупилась, посмотрела на меня зло и проговорила: Я приняла решение.

— Быстро ты...

— Ты тут теперь чужой. Ты должен уйти.

— Куда я пойду? У меня документов нет. И денег.

Мой аусвайс — пластиковая карточка — был наполовину разрезан ножницами, а на каждой странице моего заграничного паспорта стояла печать — «не действителен».

— Я похоронила тебя на твои деньги. Оставалось еще шесть тысяч. Три я уже потратила. А последние три могу тебе отдать. Если ты сейчас же уйдешь.

— Почему ты так торопишься?

— Потому что Томас должен прийти с минуту на минуту. Он поехал к себе какие-то бумаги взять. Понадобятся завтра. Потом хотел приехать сюда. Не знаю, почему до сих пор его нет.

— Может в аварию попал?

— Типун тебе на язык. Я не хочу, чтобы он тебя увидел. Да еще и голым.

— У меня ни одежды, ни обуви. Я очнулся на нашей тахте, под одеялом. Хорошо еще без березового веника.

— Какого веника, что ты несешь?

— Мне снился мой второй тесть. С веником. В парилке.

— Я всегда подозревала...

— А я подозревал, что ты сухая деревяшка, а не женщина. Стерва, не способная на элементарную человеческую доброту, не говоря уже о любви. Ты хоть на секунду представь, в каком положении я нахожусь. Упал с неба. А ты меня как собаку на улицу гонишь.

— Опять закрутил знакомую шарманку. Он страдалец, его все должны жалеть и любить, а он сам никому ничего не должен. Сверхчеловек. Писатель! Мы все это тысячу раз обсуждали. Оскомину набило. Я не позволю тебе еще раз отравить мне жизнь. Катись туда, откуда пришел.

— Бессердечная стерва и гадина!

— А ты — нытик и импотент. Мертвяк!

— Сука! Ты сама давно сдохла. Мне там рассказали.

— Как сдохла? Когда?

— Мне не сказали, когда.

— Заврался, подонок!

Ну вот, теперь я наконец узнал свою Летицию. Это и впрямь она. Она.

И наши отношения — остались прежними. Мир не изменился. Мы не изменились.

Летиция вышла из кухни, громко хлопнув дверью. А я приготовил себе еще кружку какао. И съел еще немного печенья.

Минут через десять она вернулась, все еще разъяренная как пантера. Вначале бросила на стол деньги. Затем вывалила на него же ботинки, носки, трусы, спортивный костюм своего первого мужа-горнолыжника, его же, пахнущее нафталином, драповое пальто и вязаную шапочку-трехцветку.

Кружка с какао опрокинулась, печенье упало на пол...

Я вытер стол тряпкой, поднял печенье, затем забрал деньги, вещи и коробку и ушел переодеваться.

Когда шел по коридору, входная дверь открылась, и в квартиру ввалился Томас. С дипломатом в руках. Красивый мужчина лет тридцати восьми.

Посмотрел на меня и решил, что я — вор. Или насильник. Ведь из кухни все еще доносилась брань Летиции, которую можно было принять за стоны.

Бедняга растерялся. Тяжело дышал и потел. Дипломат прижал к груди как щит.

Я пошел в гостиную. А Томас ретировался в кухню. Я слышал его взволнованный шепот: Кто это такой? Что он тебе сделал? Ты уже вызвала полицию?

Интересно, что она ему сказала.

Я не спеша оделся и обулся. Коробку от японского печенья положил в вовремя подвернувшуюся под руку наплечную сумку. Сел на стул...

Автоматически посмотрел на репродукцию в рамочке, висящую на стене. Вспомнил, что купил ее в книжном магазине Дуссмана на Фридрихштрассе. Вспомнил и ее название — «Извлечение камня глупости».

Ведьма выглядывает из раздвоенного ствола дерева, глумливый черт согнулся в дугу и смотрит на зрителя снизу, в

заднице его торчит стрела, огромная рыба разинула пасть, она собирается проглотить волшебный шарообразный кристалл, коленапреклонённый мужчина — не человек, а скала, внутри которой — вертеп разврата, шарлатан вырезает маленькому пожилому простаку камень глупости из головы, его помощник пытается продать монаху фальшивый глаз... или жемчужину.

Нет, мы не далеко ушли от Средневековья. Мир все еще магическое пространство, наполненное демонами. А люди их игрушки, не более...

Фигура и облик горбоносого шарлатана в высокой зеленоватой шапке и свободной красной одежде с высоким воротником, режущего коротким кривым ножом, похожим на наваху, кожу на голове у своей жертвы... напомнили мне моего черного человека. А сидящий на стуле лысый тип с маленькими ножками, одетый во что-то вроде архаичной пижамы, терпеливо сносящий кошмарную операцию — напомнил мне меня самого. Покорный, глуповатый, брюхатый... но себе на уме. Да, это был мой карикатурный портрет.

Из глубины ночи до меня долетел голос черного человека.

— Как же поздно до тебя все доходит!

— Что доходит? Что вы имеете в виду? Отвечайте!

Сатана молчал. Ночь молчала.

В гостиную торжественно вошли Летиция и ее новый любовник.

Летиция все еще была вне себя от возбуждения и злобы. Поскрипывала зубами, гримасничала, топала ножкой.

Ей явно хотелось поскандалить, поорать... а может и устроить кулачную потасовку.

Летиция была сильной здоровой женщиной. Занималась дзюдо. Состояла в обществе «Любителей стрельбы по быстро движущимся мишеням». Было ли у нее в доме оружие, не знаю. Полагаю, если бы было, она бы хладнокровно меня пристрелила. И зарыла бы труп в парке.

Томас явно трусил... тарачил на меня глаза, часто моргал и дергал себя за правое ухо. Ухо покраснело и опухло. Видимо

он пытался осознать... что вот, был у его любовницы сожитель... умер, его похоронили, а теперь он в их гостиной, в спортивном костюме и драповом пальто, сидит и на картинку смотрит. И совершенно непонятно, чем это кончится.

Мне хотелось только одного — поскорее уйти. Напряг мышцы лица, постарался улыбнуться. Получилось не очень. Выдавил из себя: Я как раз собрался уходить. Больше вы меня не увидите. Ни о чем не беспокойтесь. Я не собираюсь являться к вам по ночам или подстерегать вас в толпе с опасной бритвой. Искренно желаю вам долгой и счастливой жизни.

В конце этой речи поперхнулся и раскашлялся.

На улице мне еще долго казалось, что я слышу курлыканье и зубовой скрежет Летиции и вижу огромное опухшее ухо Томаса. Которое сатана то и дело пристраивал к фасадам одиннадцатизэтажных башен.

* * *

Марцан ночью в ноябре — безлюден, жуток. Одинаковые прямоугольные бетонные коробки — наводят тоску, пугают.

Я не знал, куда идти... что искать... как теперь устроить жизнь. Понимал, что, пойдя я в полицию и Расскажи там всю правду — моментально попаду в психушку и вряд ли когда-нибудь из нее выйду. Потому что врачи никогда мне не поверят и с жадной радостью приговорят меня к долго длящейся химической казни.

Нет уж, увольте. Если все равно погибать, то по моим правилам.

— А у тебя оказывается есть правила? — язвительно заметил мой черный человек, — нет у тебя никаких правил.

— Замолчи! Ты обманул меня. Я великодушно подарил тебе динарий, ничего у тебя не просил, а ты отправил меня в мир, в котором я никому не нужен. Сознательно послал на год позже, чем надо было. Пошутил? Выставил меня на посмешище перед этой дурой и ее любовником. Что, смешно?

— Великодушно подарил? Да ты трясся от страха. Распластался, как жаба, которую переехал асфальтовый каток. Ре-

шил — в последний раз — перехитрить судьбу. А послал я тебя в правильное время. Или ты действительно хочешь жить с этой сварливой бабой?

— Не твое дело.

— Помолчи. И слушай. Вон на том перекрестке, слева от магазина «Сатурн», стоит такси. Иди туда. Таксисту скажешь — театр «У Длинного Моста». Он отвезет. Там ты должен будешь обделать для меня одно дельце. Если справишься, поговорим о твоей судьбе еще раз.

— Опять обманешь?

— Поторопись, представление начнется ровно в три.

— Что я должен сделать?

— Догадаешься по ходу дела.

Такси оказалось старинным автомобилем футуристического вида, неизвестной мне марки. Таксист был похож на Мефистофеля с гравюр Делакруа. С маленькой острой бородкой и сверкающими глазами.

— Свободно?

— Садитесь. Куда едем?

— Как будто вы не знаете! В театр «У Длинного Моста».

— Будет сделано.

По дороге я перестал узнавать Берлин. Бетонные коробки скоро пропали.

Долго ехали по широкой аллее между дачных домиков.

Среди дачных домиков я с удивлением заметил высокие заборы с колючей проволокой под напряжением, доты времен Второй Мировой, руины циклопических римских сооружений и готические башни из темно-коричневого камня. В Берлине?

Потом дачи кончились, и появились трех-четырёхэтажные дома постройки двадцатых годов. Могучие здания в стиле сталинского ампира. Промелькнули неизвестные мне треугольные небоскребы...

А затем я увидел каналы с темной водой. И сразу их узнал.

Такси остановилось у одного из мрачных шестиэтажных домов, выходящих фасадом на канал.

Я предложил таксисту деньги, но он отказался: Ваши деньги тут — бумага. Уже несколько столетий.

Сказал и тут же уехал.

Столетий? Куда он меня привез? Точнее... в какое время?

Два раза прошел, не торопясь, вдоль шестиэтажного здания, у которого меня высадил таксист, искал вход. Ничего не обнаружил. Только шесть рядов обыкновенных окон смотрели на меня как хор тюремных надзирателей.

Все окна были закрыты. Нигде не горел свет. Интересно, почему таксист решил, что именно это здание — театр? Знал? Или просто отвез меня — куда-нибудь, подальше от Марцана? Для собственного удовольствия. Чтобы потом, дома, за кофе и миндальными пирожными представлять себе, как я бегая вдоль канала и изрыгаю проклятья.

Тут... как бы реагируя на мои мысли — где-то далеко-далеко ударила молния, прогремел гром, заиграли невидимые фанфары, и во всех окнах театра зажегся свет. Я услышал чарующую, но пугающую музыку... и, о чудо, в центре здания появились высокие двери, а над дверями запылала неоновая реклама:

Только сегодня ночью!
В театре «У Длинного Моста»
СОКРОВИЩА ТАМПЛИЕРОВ
Фантасмагория в пяти актах!
Никакой цензуры! Никаких табу!

Тут ко мне подлетел маленький человек в полосатом костюме.

— Добро пожаловать в театр У Длинного Моста, маэстро Эльк! Прошу вас, пройдемте, не будем терять время. Начало представления — в три, значит у нас есть только четверть часа. Это куча времени, если вы имеете дело с профессионалом, и быстролетящая секунда, если за дело берется дилетант.

Полосатый костюм взял меня под руку железной рукой и провел в театр. Но не через огромные двери для публики, а через малозаметную дверку сбоку.

Вел меня по театральному лабиринту и тараторил.

По дороге мы встретили хорошеньких балерин из кордебалета, задумчивого доктора Фауста с гомункулусом подмышкой, свору лающих борзых собак, ландскнехтов с мечами и пиками, хор сожженных евреев, хранителя королевской печати Гийома де Ногаре, болтающего с интриганом Робертом Артуа в кроваво-красном костюме, группу фальшивомонетчиков, укротителя тигров с питомцами, степенно шагающего маршала Петена, слона, заблудившегося вампира, трех веселых банкиров из Ломбардии, Елену Прекрасную с небольшой свитой, великолепного Императора Константинопольского, неопрятного старика Чингисхана с редкой бороденкой, самостоятельно передвигающееся колесо для колесования, на мачте, Троянского коня, тяжело поднимающегося по лестнице, Наполеона Бонапарта почему-то в кальсонах и плачущего короля Эдуарда.

Эдуард стоял на коленях и восклицал, обращаясь к сидевшей на жердочке металлической сове: Отдайте мне мое королевство, я ни в чем не виноват! Это все козни проклятой французской бестии, моей жены.

— Все они участвуют в представлении, — пояснил полосатый.

— Слон тоже? И Чингисхан?

— И слон, и Чингисхан, и тигры, и борзые собаки. Кроме главного действия наш главреж разработал и несколько сквозных. Мастер!

— А почему Наполеон разгуливает в кальсонах?

— А в чем он по-вашему должен разгуливать?

— А как насчет костюмов?

— Насчет костюмов все прекрасно, чудесно, умопомрачительно. В вашей гримерке вас ждет только что сшитый костюм великого магистра. С кроваво-красным крестом. Знаю, вы будете бесподобны в сцене проклятия. Наши техники придумали специальную огневую машину. Уверяю вас, публика будет уверена, что вас сожгли живьем!

Ага. Вот зачем я здесь. Чтобы сыграть роль великого магистра тамплиеров Жака де Моле. И это еще только полдела.

Черный человек хочет от меня еще чего-то. Особенного. Его желания всегда ужасны. Что ему надо? Чтобы я сжег театр? Разрубил слона на кусочки? Или заколол кинжалом короля Филиппа Красивого? Господи! Надо делать ноги. Но как? Полосатый тут явно не мажордом. Скорее он мой охранник. Из примерки будет один выход — на сцену, а я и пьесу не читал.

— У вас случайно текста пьесы нет под рукой?

— А зачем он вам? Вы что, забыли, что у нас с авторским текстом не работают? Как говорит наш уважаемый главреж: Только импровизация! Импровизация и реинкарнация! Войдите в феерический поток... и отдайтесь ему.

— Как бы меня на сцене не стошнило. Выпил вчера много. В голове — туман. Даже действующих лиц не помню. А вы говорите — поток.

— И не надо помнить. Мы ведь тут не Дрюон. Читали небось в детстве? Обращайтесь к другим персонажам как в голову взбредет. Импровизируйте. Публике только интереснее будет. Назовите графа де Пуатье — Людовиком Сварливым, а королеву Изабеллу — герцогом Бургундским или даже Роджером Мортимером. Хоть горшком называйте. У зрителя в голове все это древнее историческое барахло давно перемешалось и превратилось в труху. Тринадцатый век! Подумать только, даже гильотину еще не изобрели. Жгли людей как хворост. А блевать наш главреж разрешает прямо на сцене. Говорит — так достовернее.

Во втором акте, после сцены казни, в замке Синей Бороды Фауст с этим ублюдком, гомункулусом и с Прекрасной потаскушкой Еленой встречаются в специальном зале с Маргаритой, Жанной и их любовниками для совместного секса. В третьем акте к ним присоединятся Наполеон и Чингисхан. А в четвертом — Троянский конь. А закончится все совместным пением и шарадами в ожидании посланцев-альбигойцев из осажденного Каркассона. Которые кстати приведут с собой слона и тигров. В пятом акте. Тогда и начнется самое главное... умопомрачительное... и тьма, и землетрясение, и воскресение мертвых, и низвержение князя ада на дно озера огненного. Перед занавесом.

— Боже мой! Надеюсь, сцена все это выдержит. А что же будет с сокровищами тамплиеров? Найдет их Железный Король?

— Эта тайна будет раскрыта только для посвященных в известный одному главрежу момент. Ну вот, мы на месте.

Мы вошли в гримерку. Полосатый, на все руки мастер, удивительно быстро загримировал меня под великого магистра, приклеил бороду и усы, и помог одеться.

Представление началось. Мой выход был в середине первого акта.

Я не хотел идти. Полосатый силой выпихнул меня на сцену. Там меня подхватили двое огромных солдат с алебардами, заломили мне руки и повели на суд.

Суфлер-енот в будке сейчас же запричитал театральным шепотом: Магистр, стоните, стоните, спотыкайтесь, плачьте и дрожите. Вас жестоко пытали.

Я, как умел, выполнил его указания. Шаркал ногами, стонал и бормотал как умалишенный.

Мое появление зал встретил бурными аплодисментами.

Главным обвинителем на процессе почему-то был престарелый маршал Петен. Он путался в словах и оправдывался. А защищал меня граф де Вре.

Всю сцену суда я ломал голову над тем, что же мне предстоит сделать для моего черного человека.

В антракте неожиданно для самого себя — догадался. Это же очевидно!

Я должен найти и убить главного режиссера этого безумного театра. Заколоть его стальной рапирой. Не дать свершиться непоправимому. До окончания пятого акта.

СОДЕРЖАНИЕ

Мосгаз.....	5
Кинжал.....	14
Жасмин.....	24
Улыбка гопи.....	45
Обновка.....	62
Летающий мертвец.....	77
Кокосовые шарики.....	83
Гинеколог.....	88
Наваждение.....	91
Спрут.....	97
Карбункул.....	102
Лепрекон.....	109
Вазелин.....	119
Расшиши.....	129
Охота на вепря.....	135
Господин Макс.....	148
Июнь.....	156
Русалка.....	164
Жемчужное ожерелье.....	173
Принцесса.....	182
Монстр.....	190
Сороконожка.....	197
Черный аспирант.....	203
Пациент тридцать пять.....	221
Лаборатория.....	240
Чемодан.....	246
Багровая полоса.....	253
Пантера в кресле.....	260

Синие пятна.....	268
Русское порно.....	278
Коломбо.....	289
На даче	304
Перепрыгнул	316
Прививка	
Уколи шоколадного зайца шариковой ручкой.....	324
Кентавры	328
Алый галстук	333
Жертвоприношение	338
Кома.....	350
Позолоченная рыба	360
Прогулка	374
Палевый голубь.....	386
В пансионате	
Пинг-понг	400
История Исабель.....	422
Мигуэль.....	435
Дирижабль	445
Деменция (<i>пародия</i>)	
Эльк.....	455
Динарий кесаря	463
Великий магистр	482

Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»

Заснована у 2023 році

Ігор Шестков

**ЖЕЧУЖНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ**

(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка Друкарський двір Олега Федорова

Формат 60x84 1/16. Наклад 150 прим. Зам. № 2786

Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 28

Гарнітура «Cambria».

Підписано до друку 14.01.2024 р.

Видавць Федоров О. М.,

«Друкарський двір Олега Федорова»

Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,

e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»

Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



ИГОРЬ ШЕСТКОВ (Igor Heinrich Schestkow)
Родился (1956) и вырос в Москве. Окончил мехмат МГУ. Работал в НИИ. В восьмидесятых годах участвовал в выставках неофициального искусства в галерее Горкома графиков на Малой Грузинской улице в Москве. В 1990 году эмигрировал в Германию. Берлинец. Автор психоделических и сюрреалистических рассказов, повестей и эссе об искусстве и литературе. В книгу «Жемчужное ожерелье» вошли избранные рассказы.



**ДРУЖАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА**

